

СКВОЗЬ ГЛУБИНЫ

РАССКАЗ МАЛЬЧИКА ИЗ БУХЕНВАЛЬДА,
КОТОРЫЙ НАКОНЕЦ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

МЕМОАРЫ

ГЛАВНЫЙ РАВВИН
ИСРАЭЛЬ МЕИР ЛАУ

Издание посвящается 70-летию ПОБЕДЫ
9 Мая – 26 Июня



СКВОЗЬ ГЛУБИНЫ

РАССКАЗ МАЛЬЧИКА ИЗ БУХЕНВАЛЬДА,
КОТОРЫЙ НАКОНЕЦ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

ГЛАВНЫЙ РАВВИН
ИСРАЭЛЬ МЕИР ЛАУ

Издание посвящается 70-летию ПОБЕДЫ
9 Мая – 26 Ияра



Ростов-на-Дону
«Феникс»
2015

УДК 821.411.16-94

ББК 63.3(4)622

КТК 682

Л28

Русскоязычное издание подготовлено и напечатано при поддержке:
Международного благотворительного фонда поддержки
горских евреев СТМЭГИ,
Российского еврейского конгресса,
Комитета «26 Ияра – День Спасения и Освобождения»

Лау, Исраэль Меир

Л28 Сквозь глубины : рассказ мальчика из Бухенвальда, который наконец вернулся домой / Исраэль Меир Лау. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 372 с.

ISBN 978-5-222-25325-0

Книга рассказывает о детстве раввина Исраэля Меира Лау, пришедшемся на годы войны, о выпавших на его долю испытаниях, спасении из Бухенвальда и дальнейшей репатриации в Эрец-Исраэль. Вчерашний узник лагеря смерти смог пойти по стопам своих предков и стал раввином. С течением времени он занял самый высокий духовный пост – главного раввина Израиля. По роду своей деятельности он встречался со многими религиозными и государственными лидерами, принимая участие в решении важных вопросов на самом высоком уровне.

Подробности его невероятной судьбы вы сможете узнать, прочитав эту книгу.

УДК 821.411.16-94

ББК 63.3(4)622

ISBN 978-5-222-25325-0

© Автор и перевод: рав Исраэль Меир Лау, 2011

© Издатель: Герман Захарьев. Все права на печать и распространение издания на территории Российской Федерации, 2015

© ООО «Феникс», 2015

Эта книга посвящается
благословенной памяти
моего отца рабби Моше Хаима Лау,
моей матери рабанит Хаи,
моего брата Шмуэля Ицхака,
моего дедушки рабби Симхи Френкеля-Теомима
и памяти всех моих родных,
которые были уничтожены вместе
с шестью миллионами евреев.

Их кровь взывает к нам от земли,
и не будет она забыта во веки веков.

Да отомстит Вс-вышний
за их невинно пролитую кровь.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Часть первая. Не подними руки на ребенка | 11 |
| Первые воспоминания – гибель дома. | 12 |
| Семья отца. | 25 |
| Речь, спасшая мне жизнь. | 32 |
| Бухенвальд – темный туннель и проблески света. | 41 |
| Освобождение – «Отпусти меня, ибо взошла заря» | 61 |
| Видение костей иссохших. | 78 |
| Земля Израиля – «Кто эти, что летят, как облако...» | 94 |
| «...И как голуби – в голубятни свои». | 114 |
| В мире Торы: отрочество. | 136 |
| В мире Торы: юность | 161 |
| Огненные столпы. | 180 |
| Посему покинет муж | 211 |
| | |
| Часть вторая. Рог овна | 233 |
| И никто не говорил ни слова, ибо слишком велика боль | 234 |
| Препосясывающий Израиль могуществом. | 249 |
| Кто в огне... кто от меча... кто измучится... кто возвеличится... | 265 |
| Ицхак Рабин – распавшееся звено. | 283 |
| Встреча в Кастель-Гандольфо. | 293 |
| От Фиделя Кастро до Нельсона Манделы | 314 |
| Прешов – как вернулось древнее величие. | 344 |
| В земле живых. | 353 |

Перед вами удивительная книга, написанная удивительным человеком. Судьбу ее автора, рава Исраэля Меира Лау, можно назвать типичной для европейского еврейства XX века. Родился он в 1937 году в Польше, в семье, принадлежащей к известной раввинской династии, продолжающейся уже более тысячелетия. После оккупации Польши нацистами попал в гетто, а оттуда, в итоге, в концлагерь Бухенвальд, где Исраэль Лау стал самым маленьким узником – ему было всего 7 лет. Но, несмотря на ужасную и, казалось бы, безысходную ситуацию, в которой оказался маленький еврейский мальчик, потерявший к тому моменту почти всю семью в Трехлинке и Равенсбрюке, Вс-вышний ни на минуту не оставлял его, являя чудо за чудом... В концлагере надзиратели приняли его за поляка и перевели из обреченной на гибель еврейской части лагеря в барак к советским военнопленным. Там о нем начал заботиться юный русский узник Федор Михайличенко, благодаря ему Исраэль смог выжить в лагерном аду и дожидаться прихода американских солдат, освободивших Бухенвальд в апреле победного 1945 года.

Сразу же после окончания Второй мировой войны чудом выживший мальчик совершил алию в Эрец-Исраэль, где получил прекрасное религиозное образование и в 1960 году стал раввином. В 1993 году Исраэль Меир Лау занял пост главного раввина Израиля. В его жизни происходило еще много чудес, и многие чудеса дарил людям он сам. Но где бы он ни был и чем бы ни занимался – он никогда не забывал «Федора из Ростова», которому был обязан жизнью. Именно поэтому много лет спустя он решил найти этого человека, узнать, как сложилась его судьба, и поблагодарить за спасение. Найти Федора оказалось нелегкой задачей, и тут Вс-вышний явил еще одно чудо – об этом вы тоже сможете прочесть в этой книге.

Я очень рад возможности помочь в переводе и издании этой книги в России, так как считаю, что она очень своевременна и актуальна для российского общества.

В заключение хочу сердечно поблагодарить рава Исраэля Меира Лау за то, что он первый понял и поддержал мою инициативу о внесении Дня Победы – 9 Мая – в еврейский религиозный календарь как Дня Спасения и Освобождения – 26 Ияра. Уверен, что эта книга поможет многим открыть глаза и понять, через какое страшное испытание прошел еврейский народ и каким чудом было его спасение.

*Герман Захарьяев,
президент Фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса*

Мне посчастливилось пригласить Исраэля Меира Лау, главного ашкеназского раввина Израиля, на «Марш мира» в Ростов-на-Дону несколько лет назад. Он был очень благодарен за возможность увидеть именно этот город, родину своего спасителя. Мы много говорили, и с тех пор я считаю его «своим» раввином – он удивительно глубокий, жизнерадостный человек, неоднократно помогавший мне точным и дельным советом.

Его иррациональное спасение из Бухенвальда, его восхождение из искалеченного Катастрофой детства к высочайшим должностям в раввинской иерархии, к всеобъемлющему знанию Торы и весомому вкладу в наследие еврейских мудрецов – вся его судьба, начало которой блестяще описано в этой книге, достойна внимания не только евреев, увлеченных историей своего народа.

Я думаю, что автобиографический роман «Сквозь глубины» – обязательное чтение для любого человека, стремящегося узнать больше о настоящих, невымышленных трагедиях, о мужестве и силе духа.

Переживания маленького мальчика, потерявшего родителей, видевшего нечеловеческую жестокость одних и потрясающее самопожертвование других, оставили глубокий след в душе уже взрослого человека. Рав Лау многократно бывал в Германии, но никогда не ночевал в этой стране – несколько часов общения, и прочь. Он потратил годы, чтобы найти русского подростка, фактически спасшего его в концлагере, и нашел, и добился того, чтобы он, Федор Михайличенко из Ростова-на-Дону, был удостоен звания «Праведник мира».

И кроме всего прочего, Исраэль Меир Лау – большой писатель, и эта книга, ставшая бестселлером во многих странах мира, – вне всякого сомнения, достояние мировой литературы.

Ее надо прочесть, чтобы стать лучше.

*Юрий Каннер,
президент Российского еврейского конгресса*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не подними руки на ребенка¹

И сказал он: Вот огонь и дрова,
где же агнец для всесожжения?

...

И простер Аврагам руку свою,
и взял он нож...²

¹ Берешит, 22:12. Традиционный перевод: «Не поднимай руки твоей над отроком»; там слова ангела Господня, обращенные к Аврагаму и предотвратившие жертвоприношение Ицхака.

² Берешит, 22:7, 10.

Первые воспоминания – гибель дома

Образ моего отца, стоящего на площади Умшлагплац, всегда будет сопровождать меня. Это первое детское воспоминание, запечатлевшееся в моем сознании.

Мне пять лет и четыре месяца, я мал ростом и перепуган. И изо всех сил вытягиваю шею, чтобы видеть отца, стоящего на Умшлагплац, что рядом с Большой синагогой в нашем городе, Пётркуве-Трыбунальском. Папа – со своей окладистой бородой, в раввинском костюме – стоит в центре площади, окруженный евреями. С одной стороны стоят мужчины, с другой – женщины и дети.

И я был там, на второй стороне, вместе с матерью и тринадцатилетним братом Шмуэлем-Милеком. Наш старший брат, шестнадцатилетний Толек-Нафтали, находился тогда на стекольном заводе «Гортензия» в Пётркуве, где он работал. Годом раньше его успели забрать из дома и послать в Освенцим. Два офицера СС, в черных мундирах с красной повязкой на рукаве, посреди которой красовалась свастика, ворвались с парадного входа в нашу квартиру и стали кричать на Нафтали, допытываясь, где раввин. Не найдя его, они забрали Нафтали с собой в гестапо, где пытали

и допрашивали его в подвале, а 30 июня 1941 года посадили в грузовик, шедший прямо в Освенцим. Там его послали на принудительные работы, но он не переставал вынашивать план побега. На сороковой день после ареста ему удалось осуществить свой план, бежать из этого ада и вернуться домой.

Однако дыхание ада стало ощущаться уже и у нас, в Пётркуве.

Чудовищное напряжение исходило от стоявших людей, согнанных на площадь перед синагогой, ставшую Умшлагплац. Везде царило грозное молчание. Внезапно начальник гестапо в Пётркуве подошел к моему отцу. В глазах немца застыла убийственная решимость. Он встал против отца, снял с пояса метровую резиновую дубинку с металлическим стержнем и изо всех сил ударил отца по спине. От неожиданности – удар пришелся со спины – и от силы удара отец был вытолкнут на несколько шагов вперед. Тело его согнулось, он скорчился, и казалось, что вот-вот упадет. Но тут, за долю мгновения, он выпрямился, шагнул назад и встал на место, на котором стоял, прежде чем дубинка опустилась на его спину. Там он стоял с прямой спиной, из последних сил не показывая физической боли и чудовищного унижения. Я мог видеть, как, собрав всю волю в кулак, папа старался удерживать равновесие и не упасть на землю под ноги немцу. Папа знал, что само его падение сломит дух евреев города, и всеми силами хотел предотвратить это.

Все вокруг знали, за что и почему немец ударил папу. Нацисты издали приказ, по которому евреи должны были сбрить бороды. Многие из евреев приходили за советом к папе, и все получили решительный ответ: брейте, дабы избежать наказания. Однако к себе он оказался более взыскательным и остался при бороде и пейсах, чтобы защитить честь института городского раввина и традиции предков. Из-за этого неподчинения дубинка и опустилась на его спину.

Но были для избиения и другие причины. Начальник гестапо выбрал для издевательств именно отца еще и потому, что тот свободно говорил по-немецки и занимал должность городского раввина. Папа представлял евреев перед немцами. Многие обращения нацистов к евреям города передавались через него, так же как и просьбы евреев к гестаповцам. Отец был крайне уважаемой фигурой в еврейской общине. Ударить его, а главное – унижить при всех было для них исполнено большего смысла, чем избиение любого другого еврея. Это был символический акт и удар по моральному состоянию евреев.

Возможно, была и еще одна причина, хотя, может быть, это было лишь совпадение. Об этом по прошествии многих лет рассказал мне доктор Авраам Гринберг, директор еврейской больницы Пётркува, спасшийся из

ада и ставший известным гинекологом в Тель-Авиве. Тогда он стоял рядом с отцом на площади перед синагогой вместе с группой членов совета старейшин общины и слышал, как папа сказал, обращаясь к людям, окружавшим его: «Не знаю, почему мы стоим тут сложа руки. Даже если у нас нет оружия, нам следовало бы броситься на них с кулаками и ногтями. Не думаю, что кому-нибудь из нас удастся спастись в результате нашего бездействия. Мы ничего не потеряем, если попытаемся бороться с ними». Не успел он закончить фразу, как дубинка начальника гестапо опустилась ему на спину.

Картина этого страшного унижения отца запечатлена в моей памяти. Как ребенок я, конечно, не слишком понимал, какое значение имеет борода и отчего был дан приказ ее сбрить, но понял, что моего папу жестоко избивают. Ребенок не в состоянии видеть, как унижают его отца – главного героя для него, с которым он себя отождествляет. Я же знал, что мой отец – городской раввин, которого все почитали и любили, и тем более не мог вынести этого удара и унижения – и потому что это был мой отец, и потому что он был раввином города. И сегодня, оглядываясь назад, вспоминая шесть лет той войны, я понимаю, что самое страшное, что мне пришлось перенести в период Катастрофы, было не голод, не холод, не побои, но унижение. Тяжело, почти невозможно, выносить свое полное бессилие перед лицом унижения, выпавшего на твою долю без всякой вины с твоей стороны. Ощущение собственного бессилия становится частью этого унижения. Все годы войны в моем сознании витало польское слово «dlaczego?». Почему? Отчего? Что мы вам сделали, что вы так топчете наши души? Как велико наше преступление, если таково наказание? Ответ был один: мы евреи, а они – нацисты – видели в нас корень всего мирового зла.

Когда ребенок видит, как начальник гестапо бьет его отца дубинкой, пинает его подкованным сапогом, грозит спустить овчарку, когда отец еле может устоять на ногах и оказывается униженным на глазах у всех, – эта страшная картина остается перед внутренним взором ребенка до конца его дней. С другой стороны, я храню в памяти и другое воспоминание: то мгновение, когда папа огромным усилием воли не дал своему телу упасть, не взмолился о пощаде и с прямой спиной встал на свое место против начальника гестапо. По моему разумению, эта картина в один миг стирает чувство бессилия, сопровождавшее унижение, и она, эта картина, порождает величие и крепость духа.

По окончании селекции дети и женщины были отделены от мужчин. Маме, Шмуэлю и мне было приказано зайти в Большую синагогу, где разыгрывались самые бесчеловечные сцены. Одну из них я помню со

всей отчетливостью, несмотря на свой нежный тогда возраст: в женской части сидела грузная старуха лет восьмидесяти с испещренным морщинами лицом. Двумя руками она держалась за деревянное ограждение, и заметное издали кольцо блестело у нее на пальце. Один из украинских охранников, стороживших нас, бросил взгляд наверх, на балкон женского отделения. Заметив краем глаза сокровище на руке старухи, он заорал ей по-русски: «Давай сюда». Старуха не отвечала, и тогда он вдруг, как тигр, бросающийся на свою добычу, понесся наверх, схватил старуху за плечи и поволок ее вниз. Там он потоптался по ней сапогами и грубо сорвал кольцо у нее с пальца.

Такая атмосфера царила внутри синагоги. Наша жизнь ценилась не больше яичной скорлупы. Одно кольцо стоило больше всех нас вместе взятых. Тем временем сумерки сгущались, пока мы не оказались в полной темноте, сотни детей и женщин, скученных в малом пространстве синагоги. Вокруг все было пропитано страхом и ужасом, жизнь висела на волоске. Поздно ночью дверь синагоги открылась, зажегся фонарь, двое гестаповцев встали в дверном проеме один против другого, оставив лишь самый узкий проход между собой. Один объявил громовым голосом: «Я зачитаю сейчас список имен, каждый, кто будет назван, сразу встает и – шнель, шнель – идет домой». Он стал читать список освобождаемых. Первое из имен было Лау Хая, так звали мою мать. Мама не поднялась, она ждала, пока будут названы также имена двух ее сыновей – Шмуэль и Исраэль, – чтобы мы вышли вместе. Немец закончил оглашение списка, и нас обоих, меня и моего брата, в нем не оказалось. Всем было ясно, что те, чьи имена не были названы, останутся в синагоге. Судьба их решена.

Немец, само воплощение порядка и дисциплины, гаркнул: «Один из тех, кого мы назвали, не вышел!» Два немца у выхода вели точный счет вышедшим, и по их спискам один все еще был внутри. Мама, следуя материнскому инстинкту, оценила все особенности прохода наружу и быстро и точно рассчитала наши действия. Одной рукой она схватила меня, другой Шмуэля и приказала: «Идите сюда!» Мы рванулись к ней. Нам не надо было говорить, что следует сохранять полное молчание, а главное – насколько можно теснее прижиматься к маме, вжиматься в нее, обращаясь с ней в единое целое. Она задумала вывести нас обоих под покровом темноты, как если бы мы стали частью ее тела. Тут мама крикнула в сторону выхода: «Иду, иду!», – чтобы немцы не заперли дверь. И так, как единое целое, передвигаясь боком, мы стали выходить наружу. Однако трое, как бы тесно они ни прижимались друг к другу, не могли пройти в узком проходе, оставленном немцами и предназначенном для единовременного прохождения только одного человека. Я шел первым, мама следовала за мной, прижимая меня

к себе, а за ней был Шмуэль. Немец все-таки заметил, что движение в проходе было чуть оживленнее, чем можно было ожидать. Соединив вместе руки, он поднял их над головой и с силой опустил вниз, одновременно разводя в стороны. Шмуэль, оказавшийся слева от немца, был отброшен назад, упал на пол, и его увели обратно в синагогу. Справа от немца оказались мама и я, шедший впереди нее. От удара мы оба упали в лужу перед входом в синагогу, но были уже снаружи, тогда как Шмуэль остался внутри. На этот раз мы оба спаслись, но в один миг оказались разлучены со Шмуэлем, чтобы больше никогда его не увидеть. Позже мы узнали, что в тот же день он был отправлен в Трeблинку.

Мама понимала, что не в ее силах изменить приговор судьбы и вернуть себе сына. В тяжелом удручающем молчании мы оба быстро шагали в сторону дома, на улицу Пилсудского, 21, недалеко от Большой синагоги. Одноэтажный дом с семью комнатами был пуст. Нафтали работал на стеклянном заводе в гетто, Шмуэль остался в Большой синагоге среди обреченных на смерть, папа был в гестапо, и дома остались только мы с мамой. Мама попыталась уложить меня спать, но я не мог сомкнуть глаз. Картины всего происходившего в тот день проносились у меня перед глазами и не давали мне покоя. Несколько часов спустя я стал свидетелем еще одной трагедии. Я услышал оглушительный крик под окном моей комнаты. Я встал на кровати и посмотрел в окно. Молодая женщина лежала в луже крови, обнимая и прикрывая ребенка. Гестаповец стоял над ее трупом и переворачивал его, грубо пиная сапогами, в поисках каких-нибудь украшений на ее шее или пальцах. Я смотрел на этот ужас, застыв на месте. Внезапно я почувствовал прикосновение маминой руки на плече. Она, как и я, не могла заснуть и услышала крик под окном. Желая защитить своего невинного ребенка от душевного потрясения, мама с любовью обняла меня, мягко отстранила от окна и уложила в постель.

Понятно, что я по-прежнему не мог заснуть. Ворочался с боку на бок, пытаюсь – без особого успеха – не думать об этом страшном дне, о Шмуэле и молодой женщине с ребенком. Неожиданно отворилась дверь и кто-то вошел. Я бросился к двери. В первый момент я не узнал папу, возвратившегося домой без бороды. Я первый раз видел папу без бороды, и вид его показался мне странно непривычным. Папа рассказал маме о том, что с ним было после того, как она ушла из синагоги. Слезы катились у него из глаз, сверкающих голубишной из-под очков в золотой оправе. Мой отец, всегда очень сдержанный, не человек – камень, плакал. Он сказал, что, когда ему стало известно о том, что Шмулик остался один в синагоге, без мамы и меня, он тоже понял, что его сын обречен на гибель. Папа, который, как мы помним, был известен гестапо, обратился к офицеру в штабе

гестапо с мольбой освободить его сына. Офицер сделал ему предложение: он освободит Шмулика в обмен на папины карманные часы, дорогие золотые часы марки «Шаффхаузен», висевшие на золотой же цепочке. Папа тотчас отстегнул часы и протянул их офицеру. Тот часы схватил, однако Шмулика не выпустил, как было обещано, а повернулся к папе спиной. «Больше мы Шмуэля не увидим», – сказал папа со слезами на глазах, и я понял, что страшная беда постигла нас, и мы не в силах ничего изменить.

Папа поделился с мамой слухами о готовящейся большой акции, о масштабном прочесывании домов, предпринятом нацистами в поисках оставшихся на свободе евреев Пётркува. Добавил еще, что всех евреев отправляют в Трешлинку. Понизив голос до шепота, рассказал, что в одном доме на Ерозолимской улице можно найти укрытие, добавив, что сам он не готов скрываться. Ему было ясно, что акция будет сопровождаться лихорадочным прочесыванием домов, и что немцы, осведомленные о папином существовании, не оставят евреев города в покое, пока не обнаружат его. «Если я уйду в подполье, они войдут в гетто, перевернут в городе каждый камень, пока не схватят меня. Так что я останусь на виду, тогда обыски домов будут более формальными. Может, это даст возможность спастись в укрытиях другим людям», – объяснил он маме. Слова его врезались мне в память. Он простился с нами и вернулся в синагогу, стоя там со свитком Торы в руках, пока не пришли немцы и не увели его. С высоко поднятой головой он проследовал к эшелону, который увез его в Трешлинку – вместе с 28 тысячами евреев Пётркува.

В день его прибытия в Трешлинку произошло странное событие, с моей точки зрения, явившееся прямым следствием Божественного провидения. В тот же день в лагерь прибыл эшелон с евреями из словацкого города Прешов. За восемь лет до этого папа закончил исполнять обязанности раввина этого города. С тех пор в Прешове так и не был выбран новый раввин. Эти два города были совершенно разными мирами. В Прешове разговаривали по-немецки и по-венгерски, в Пётркуве – на идише и польском. Единственным, что объединяло оба города, было то, что последний раввин Прешова был и последним раввином Пётркува. Им был мой отец – раввин Моше Хаим Лай. На перроне станции Трешлинка, по дороге в газовые камеры, встретились евреи Прешова и евреи Пётркува во главе со своим главным раввином. Папа произнес перед ними речь о рабби Акиве. «Когда римляне сдирали с рабби Акивы кожу железными гребнями, как и с остальных десяти тысяч мучеников царства, ученики рабби спрашивали его, как он выдерживает эту муку, и рабби Акива отвечал им: «Все дни жизни моей я печалился о том, что не исполняю заповедь стиха “Возлюби Господа, Бога

твоего, всей душой своей”, – даже когда Он забирает твою душу. Я говорил себе: когда же выпадет и мне исполнить эту заповедь? И вот теперь, когда и мне выпало, неужто я не исполню ее?» И тянул «Един», пока не отлетела душа его на слове «Един». Евреи, – сказал папа, возвысив голос до крика, дабы все присутствовавшие услышали его последние слова, – из всех бз заповедей осталось нам исполнить одну: «и быть Мне Святому среди сынов Израиля»¹. Погибнуть за то, что мы те, кто возносит Имя Господа, что мы – народ Израиля. Давайте, братья, исполним эту заповедь с радостью. Мир – хаос, огненная печь, полная ненависти и кровопролития, нам же – лишь одна осталась заповедь, заповедь освящения Имени Господа. Давайте же, братья, исполним ее с радостью. И я говорю вам, как говорил рабби Симха-Буним из Пшисхи: «Ибо с весельем выйдете»², – веселью по силам избавить нас от всех невзгод, страданий и мук сего мира». Тут папа еще возвысил голос и стал произносить молитву покаяния «За грех, что совершили мы пред Тобой», и все собравшиеся повторяли вслед за ним. Молитва, начатая шепотом, превратилась в крик: «Слушай, Израиль! Господь царь, Господь царствовал, Господь будет царствовать во веки веков»³.

После встречи с папой в нашем доме в Пётркуве, когда он, подобно Иову, пришел с горькой вестью о судьбе Шмулика и готовящейся акции, больше я его не видел. Лишь немногие его образы я ношу в памяти. Первый из них, самый ранний, связан с иными, далекими днями, безоблачным временем, когда в мир еще не пришла война, а я был малышом, сидевшим на коленях у отца и игравшим его завитыми пейсами. Следующая картина уже радикально отличается от первой: в нашем доме собираются люди, и отец – с озабоченным лицом с проступившими резкими складками – говорит о сложившейся ситуации. Память об общей атмосфере уныния я несу в себе до сего дня.

Папа сопровождает меня всю мою жизнь, что бы я ни делал. Я смотрю на его фотографии, стоящие у меня дома, и много думаю о нем. Мне не хватает

¹ Ваикра, 22:32.

² Йешайа, 55:12.

³ В первый раз мы услышали трогательное описание папиной речи, когда были еще в пётркувском гетто, от юноши Додека Левковича, бежавшего из Треблинки уроженца нашего города. Он уже находился в Треблинке, когда прибыл эшелон с пётркувскими евреями, отправленными в лагерь с четвертой – и последней – акцией, в которой был взят и мой отец, – и слышал его речь. В годы войны выдержки из этой речи публиковались в идишской прессе в США. В десятую годовщину резни, в 1952 г., мой учитель и наставник, ученик отца, раввин Йосеф Йефуда Райнер, возглавлявший йешиву «Коль Тора» в Иерусалиме, опубликовал содержание речи отца в газете «Шеарим». Заголовок статьи был парафразом слов из плача Давида: «Любимые и приятные при жизни своей, Прешов и Пётркув, и в смерти своей неразлучны» (Шмуэль II, 1:23). (Прим. автора.)

его как при радостных, так и при печальных событиях, на каждом перепутье, перед которым я оказываюсь в своей жизни. Перед каждой речью, которую я должен произнести, я задаюсь вопросом, как бы мой отец – одаренный оратор, по свидетельству всех людей, его знавших, – как бы он сформулировал ее. Папа со мной во всех моих начинаниях.

Однако папы не было со мной и мамой, когда мы спрятались в здании по Ерозолимской улице, 12, неподалеку от нашего дома, где он позаботился устроить для нас укрытие. Это было большое здание, все жильцы которого были евреи, покинувшие его по не известным мне причинам. На верхнем этаже была комната, на полу которой была навалена груда досок. Мы с еще десятком евреев теснились на чердаке, куда вел люк из этой комнаты. Почти все время испуганные взгляды прятавшихся были устремлены на меня, словно предупреждая, чтобы я молчал, и на маму, будто укоряя ее в том, что она привела меня в укрытие, где я стал угрозой их безопасности. По крайней мере, мне так казалось. Мне было всего пять с половиной лет, и они опасались, что я громко заплачу или закричу «мама, мама!» и тем самым выдам всех десятерых на смерть. Все были заняты вопросом, как заставить молчать ребенка, который так и не раскрывал рта. Мама, словно предвидя эту ситуацию, напекла загодя моих любимых медовых коржиков. Она знала, что они отвлекут меня, а главное – заполнят рот так, что я слова вымолвить не смогу.

Спустя много лет я рассказал об этом моему тестю, раввину Ицхаку Йедидье Френкелю. И он обратил мое внимание на сходство между тем, как прятали меня и пророка Моше: «И взяла для него папирусный короб и обмазала его глиной... и положила в него дитя... и спустилась дочь фараона, чтобы омыть себя, к реке... и увидела она короб в тростнике... и открыла она, и увидела его, и вот мальчик плачет...»¹ Хотя Моше был трехмесячным младенцем, плач его был тих, как у более взрослого мальчика.

Мы укрылись на чердаке в октябре 1942 года. Война разразилась за три года до этого, все мы пережили ее и познали ее ужасы. Я издали узнавал рев мотоциклов гестапо, хорошо знал, что такое удар немецкой дубинкой и хищный оскал немецких овчарок. Словно зверь, обладающий обостренным инстинктом самосохранения, я понимал, что должен молчать, пока не минет беда, и вовсе не собирался вести себя в нашем убежище, как маленький ребенок. И сегодня, спустя много лет после ужасов войны, закрывая глаза, я могу с умилением ощутить чудесный вкус маминых медовых коржиков. В них я находил утешение в тяжелых ситуациях, капель меда из них я подслащиваю для себя горькие дни, они – мое прибе-

¹ Шемот, 2:3–6.

жище в тоске по родным. Но в те дни, я хорошо помню, с заполненным коржиком ртом, я устремлял на маму укоризненный взгляд, как бы говоря: «Мама, эти коржики, чтобы удержать меня от плача, – лишнее. Разве я не знаю, что мне нельзя издавать ни звука? И я, конечно, буду молчать. Мы же прошли через всякие селекции, и хотя я ребенок, но отлично знаю, о чем идет речь».

Однажды в доме послышался топот сапог; резкие удары, от которых кровь стыла в жилах. Мы знали, что немцы прочесывают здание. Они искали евреев во всех помещениях, и так достигли и нашей комнаты. Тут случилось необъяснимое чудо, ибо каждый, кто попадал в комнату, не мог не увидеть в потолке лаз на чердак. Но, наше счастье, внимание немцев привлекла исключительно груда досок на полу комнаты. Они были уверены, что кто-нибудь укрылся под досками, и, словно охваченные амоком, перевернули всю груду, доску за доской. Наносили удары между досками штыками и прикладами в надежде поразить прячущихся под ними. Каким-то чудом они даже не подумали поднять глаза к потолку с дырой, ведущей на чердак. Переворошив груду досок, немцы покинули здание. Мало-помалу мы успокоились и смогли перевести дух.

В ту ночь закончилась акция – стало можно покинуть убежище.

С тех пор прошло много лет. И вот, когда я служил главным раввином Тель-Авива на исходе 80-х годов, без предварительной договоренности пришел в мою канцелярию еврей из Лондона. «Пожилый человек с белой бородой, – описал его мой секретарь. – Иврит у него так себе». Я не мог устоять перед просьбой секретаря и, несмотря на плотное расписание, принял гостя. Он вошел с полиэтиленовым пакетом в руках, в котором оказалась книга, озаглавленная «Под вечер». «Меня зовут Мотл, Мордехай Каминский», – начал он. У меня не было ни малейшего представления, кем был этот человек. «Я пришел попросить у вас прощения, я был с вами и вашей мамой в укрытии в Пётркуве, – продолжил он, – и стащил у вас яблоко. Вы, конечно, даже не узнали, что это сделал я, но на мне это прегрешение лежит по сей день». Под конец беседы он вручил мне книгу своих мемуаров, в которой была и история украденного в пётркувском убежище яблока. В книге Мотл рассказывает, что в укрытие на чердаке попал один, без семьи. Он был на несколько лет старше меня. У меня был кулек с яблоком, который мы принесли из дома. В какой-то момент Мотл Каминский не смог удержаться и, когда я смотрел в другую сторону, вытащил яблоко из кулька, повернулся ко мне спиной и откусил. В тот же миг послышались шаги немцев, и он замер с непрожеванным яблоком во рту. Он откусил слишком много и не мог проглотить. Жевать он не смел, чтобы чавканье не выдало нас всех. Вернуть надкусанное яблоко было невозможно – из-за

стыда. Все то время, что немцы расхаживали по зданию в поисках евреев, он оставался с набитым мякотью ртом, преисполненный стыда за то, что украл яблоко у сына раввина. Сорок пять лет он носил в себе чувство вины, оставшееся от тех дней на чердаке в Пётркуве, пока не получил мое прощение в канцелярии главного раввина Тель-Авива, и вернулся в Лондон с огромным облегчением.

На следующее утро, после спокойно прошедшей ночи, мы с мамой спустились с чердака вместе с остальными евреями и возвратились домой.

В тот же вечер у входа в дом вынырнул из полумрака силуэт человека с наплечным мешком, из-за темноты его было трудно узнать. Лишь когда человек бросился с объятиями к маме, я понял, что это Нафтали, мой старший брат. Нафтали прибыл из рабочего лагеря. Я помню очень тихую встречу, было пролито много слез. Всю ночь мама с братом переговаривались шепотом. Нафтали отказался возвращаться на работу, несмотря на уговоры мамы, считавшей, что эта работа – залог его спасения. Нафтали, видя, как мама страдает из-за потери мужа и сына, ощущал, что судьба всей семьи зависит от того, возьмет ли он на себя функции продолжателя дела предков. Он помнил свой последний разговор с нашим отцом, в котором тот перечислил 38 поколений раввинов со своей стороны и со стороны нашей матери, дабы подчеркнуть великую ответственность, лежащую на тех, кто сумеет спастись из ада и должен будет продолжить традицию. «И есть надежда будущности твоей, – сказал Господь, – и вернуться сыны в пределы свои», – привел папа стих из 31-й главы пророчества Йирмиягу¹. И повторил, что если мы благополучно выберемся из полыхавшего вокруг пламени, то сумеем обрести дом, но это будет не наш старый дом и вообще никакой другой дом на этой враждебной земле. «Ваш дом будет в Земле Израиля, даже если ее придется обретать в страданиях», – сказал папа, и они заплакали, обнявшись. После этого объятия они расстались, и Нафтали вернулся на работу в гетто. Папины слова эхом отдавались в его ушах, папа верил, что я, младший из сыновей Лау, выйду целым и невредимым из ада и смогу продолжить традицию, которую нацисты стремились уничтожить.

Нафтали прибыл к нам, словно посланец небес. Поколение уходит и поколение приходит. Папа ушел, а старший мой брат, которому было шестнадцать с половиной лет, вернулся и принял главенство над остатком семьи и ответственность за нее.

Но недолго продлилась радость из-за его возвращения. Спустя два дня нас троих забрали в Пётркувское гетто, первое гетто на польской земле.

¹ Йирмийа, 31:16.

Я был с мамой и Нафтали, и мы все трое страдали из-за пустоты, образовавшейся в нашей жизни после ухода папы и Шмулика. Иногда мы разговаривали о них между собой, но в основном мы молчали. Каждый нес свою боль в безмолвии. В гетто я был вынужден работать, чтобы оправдать свое право на существование. Я тоже вышел на работу на стеклянный завод «Гортензия». Около печей, пылавших огнем 24 часа в сутки, рабочие выдували стекла по сменам. Мне была поручена тачка на железных колесиках, вмещавшая шестьдесят бутылок, которые я должен был наполнять водой из колонки на улице. Заполнив бутылки, я толкал тачку в цех, походивший на чан с огнем. Я проходил между печами и стеклодувами, и каждый брал у меня бутылку с водой: они должны были пить, чтобы избежать обезвоживания из-за жары и усиленного потоотделения. На обратном пути я собирал пустые бутылки в тачку, выходил к колонке на улице, чтобы наполнить их, и так снова и снова, по восемь часов в день без перерыва. За время работы на заводе я заболел ревматизмом, что было вызвано постоянными переходами от холода и снега на улице к пылающему зною в цеху десятки раз в день. Мне было всего-то шесть лет, а я проработал на этой работе полтора года. Благодаря этому я остался в живых, получая ежедневную пайку хлеба, как и все остальные рабочие. Помимо работы на заводе, я добровольно помогал маме, открывшей в гетто домашнюю кухню для нуждающихся, больных, стариков и инвалидов, которые были не в состоянии работать и не получали ежедневной пайки. Мама назвала свою бесплатную столовую «Бейт-Лехем», место, где раздают хлеб, но это также было и название, напоминавшее о Земле Израиля и прапаматери Рахели, которая в Вифлееме (Бейт-Лехеме) получила обетование «и вернутся сыны в пределы свои». По четвергам, вечером после работы на заводе я обычно шел к домашней кухне. Помогал маме, в основном чистил картошку, иногда немного моркови, чтобы назавтра, в короткие рабочие часы пятницы, мама успела закончить всю работу по приготовлению пищи для нуждающихся и не нарушила святость Субботы. Нафтали в то время работал на угольной фабрике.

Это жизненный распорядок сохранялся до ноября 1944 года, в течение двух лет после того, как папа и Шмулик покинули нас. Два года мы жили в гетто, оторванные от мира и лишённые представления о том, что происходит в мире за стенами гетто: мы не знали, затихает ли война или противостояние ужесточается, каково положение немцев, известно ли в мире о нашем положении. Единственная вещь, которую мы знали точно, это то, что у нас в Пётркуве еврейское население уменьшалось постоянно. Евреи умирали в гетто от побоев, болезней, голода и всякого рода других горьких невзгод. Оба начальника гестапо в гетто, Харфорд и Вильрад, каждый

в свой период, проявляли чудеса изобретательности, чтобы сделать жизнь евреев невыносимой. Один из них, кажется, это был Вильрад, не делал ни шагу без своего злобного пса, которому он время от времени давал команду: “Mensch, reiss dem Hund” – «Человек, порви собаку». Для него еврей был собакой, а пес – человеком.

В ноябре 1944 года русские самолеты стали кружить над нашим районом, и немцы, отдававшие себе отчет в приближении Красной армии, прежде всего заботились о том, чтобы евреи не смогли спастись. Отовсюду приходили слухи об уничтожении гетто. Мама не отмахивалась от них и сразу же стала готовиться к худшему: приготовила для каждого из нас заплечный мешок с необходимыми вещами. Затем немцы приказали евреям явиться в течение нескольких минут, каждому со своего рабочего места, и собраться на станционном перроне. Там они провели селекцию. Я хорошо помню крики немцев «шнель, шнель» и дорожку, по которой нас гнали к станции. Дети и женщины по приказу были собраны на одной стороне перрона, мужчины – на другой. Мне было семь лет, выглядел я на пять, и естественным образом пошел вместе с мамой, прижимаясь к ней. Нафтали, которому было почти восемнадцать, стоял на мужской стороне. Это разделение на станционном перроне не сулило ничего хорошего. На протяжении многих лет я задавался вопросом, с чем наиболее глубоко ассоциируется у меня Катастрофа, какова квинтэссенция моих воспоминаний о ней. И обнаружил, что выделяю три вещи: собак, сапоги, поезда. На перроне в Пётркуве все три присутствовали вместе. Собаки надрывались лаем, топот немецких сапог раздавался со всех сторон, а в поезда заталкивалось все больше и больше евреев. В воздухе не умолкали крики «шнель, шнель», и все в страхе куда-то неслись со своими пожитками. Мы всегда знали, что наше пребывание в гетто временно, что настанет день, когда нас выгонят в неизвестность. Поэтому у каждого был свой сидор – «мешок изгнания», приготовленный для этого черного и горького дня. Мама снабдила меня большой пуховой подушкой, к которой пришила две лямки. Поскольку я был крайне мал, по ночам подушка также служила мне одеялом, в которое я мог укутаться почти целиком. Она должна была уберечь меня от холода, морозов и смерти. «Лёлек, куда бы ты ни шел, это твой ранец», – сказала мама и положила внутрь подушки немного еды и одежду. Подушка была самым дорогим для меня в течение долгого времени, и я старался никогда не расставаться с ней, пока не настал миг, когда у меня уже не было выбора. У Нафтали была маленькая котомка с филактериями, которые ему дала мать, туда же он попытался засунуть и рукопись книги, которую писал отец.

Мы с мамой стояли на перроне, заполненном перепуганными евреями, против товарного вагона поезда. Слышны были только выкрики немцев. В верхней части стенки вагона была отдушина, затянутая проволокой, по сторонам – раздвижные двери, запиравшиеся на засов. Немцы открыли двери вагонов, чтобы загонять евреев внутрь, все в соответствии с известным немецким порядком: мужчины в одни вагоны, женщины и дети – в другие. При проведении операции не обошлось, конечно, без дубинок, свистков и собак. В течение нескольких секунд мама осознала, что это разделение предвещает самое худшее. Приняв мгновенное решение, за миг до того, как я должен был зайти в вагон вместе с ней, когда нас отделяла друг от друга только подушка у меня на плече, она схватила меня за спину обеими руками и с силой толкнула, отбросив к мужчинам. Я не понял, что происходит, только услышал голос мамы: «Толек, хватай Лёлека. Прощай, Толек. Прощай, Лёлек». И больше я ее не видел. Она поняла своим материнским чувством, обостренным в тот момент в наивысшей степени, что у детей и женщин будет меньше шансов на спасение. Я полагаю, что она быстро все рассчитала, исходя из накопленного опыта, что в этот момент, в 1944 году, после пяти лет войны, когда русские на пороге, немцам необходимы рабочие руки для их военной машины, а посему они используют нас до последнего нашего вдоха. Конечно, она поняла, что ради моего благополучия мне стоит быть с Нафтали, а не с ней, и в тот же миг толкнула меня к брату. Мы не успели перемолвиться ни словом, тем более посоветоваться или попрощаться. Мама бросила меня в сторону Нафтали, тот поймал меня двумя руками и крикнул маме: «Что мне делать?» Она только успела помахать ему рукой, как была оттеснена к вагону с остальными женщинами. Для меня это оказался самый душераздирающий и драматический момент. С толпой мужчин меня и Нафтали затолкали в вагон, миг – и двери закрылись за нами. Я хорошо помню, как Нафтали двумя кулаками стучит в запертую дверь и кричит по-польски: «Тут вышла ошибка. Здесь ребенок. Его нужно вернуть матери». Но никто его не слушал. Никто не услышал его мольбу. Я отчаянно вопил, всю свою злость из-за разлуки с мамой я выплеснул на Нафтали, моего брата. Своими маленькими кулачками я безостановочно стучал ему в грудь. Он пытался обнять и успокоить меня, но я не хотел успокаиваться, продолжал бить его, крича: «Что ты наделал? Зачем ты меня взял? Я хочу быть с мамой!» Несколько мужчин попыталось помочь Нафтали в его попытках успокоить меня. Каким-то чудом мне удалось растянуться на полу вагона, где почти не было места. Рыдания душили меня. Я помню жуткий холод, пронизывавший меня всего, мороз ноября 1944 года. Мужчины пытались напоить меня горячим черным кофе, но я выплевывал жидкость, продолжая плакать от тоски по маме, пока не

заснул на полу. Сегодня, оглядываясь назад, я отчетливо понимаю, что за шесть лет войны это был самый тяжелый для меня момент. Я никогда – ни до, ни после этого – так не рыдал, как в день расставания с мамой. Разлука с мамой не укладывалась в голову. Все эти годы боль от нее не оставляет мою душу. Прошло много времени, прежде чем я понял, что, толкнув меня к Нафтали, мама спасла мне жизнь.

Маму ждал ее путь, нас – наш. Мы думали, что ее дорога лежит в Берген-Бельзен. Только после войны мне удалось узнать, что в тот день мама была отправлена в концлагерь Равенсбрюк, где и погибла. Нафтали и я сошли с поезда в польском городе Ченстохова, где попали в рабочий лагерь.

Семья отца

Я родился в городе Пётркув-Трибунальский в центральной Польше. В те годы папа был главным раввином города. Я был третьим сыном у моих родителей: гаона рабби Моше Хаима Лау, да будет благословенна память праведника и да отмстит Господь за его кровь, и *ребецн'* Хаи, да отмстит Господь за ее кровь; и 38-м поколением в двух раввинских династиях, существовавших непрерывно более тысячи лет.

Папа, да будет благословенна память праведника, был раввином еврейских общин городов Сучава-Шоц в Румынии, Прешов-Эперьеш в Словакии и Пётркув. Его дед по матери был гаон рабби Шмуэль Ицхак Шор, да будет благословенна память праведника, известный как автор респонсов «Минхат Шай», он был одним из самых известных законоучителей в своем поколении. (После смерти мужа бабка отца, *ребецн* Гитл, да покоится с миром, вторым браком вышла замуж за великого законодателя, гаона рабби Шалом Мордехая Гакоѓена Швадрона, автора респонсов Маѓаршама. Очевидцы рассказывали, что на ее надгробии было высечено «Супруга двух великих светил».)

Сын автора «Минхат Шай», дядя моего отца – рабби Авраѓам Цви Шор, да будет благословенна память праведника, – был председателем религиозного хасидского суда в Иерусалиме. Одна дочь автора «Минхат Шай», Маргала, вышла замуж за рабби Якова Шимшона Шапиро, да будет благословенна память праведника, и один из их сыновей – гаон рабби Меир Шапиро, да будет благословенна память праведника, – со временем прославился. Он был известен как раввин из Люблина, основатель и глава

¹ Традиционное название на идише жены раввина.

йешивы «Хахмей Люблин», а также как человек, выдвинувший идею «ежедневного листа Талмуда»: поскольку в Талмуде есть более изучаемые трактаты и трактаты, известные меньше, и так как общее число листов Талмуда превышает две с половиной тысячи, то рабби Меир Шапиро предложил, чтобы, подобно тому, как в синагогах читают определенный недельный раздел Торы во всех общинах Израиля, суббота за субботой, в течение всего года, чтобы так же ежедневно изучали определенный лист Талмуда, день за днем, в течение семи лет. Еврей, который пойдет в любую синагогу в мире между молитвами Минха и Маарив, застанет там урок, посвященный тому же месту в Талмуде, которое изучают в этот день и в его родной синагоге. Рабби Меир Шапиро выдвинул это предложение на втором съезде партии «Агудат Исраэль» в Вене в 5683 (1923) году. Начало цикла было назначено на Рош га-Шана 5684 года. Никто тогда не знал, привьется ли это начинание. В хасидском дворе ребе из Гура, автора книги «Имрей Даат», в Гура-Кальварии, собрались на праздник Рош га-Шана тысячи евреев, дабы получить благословение раввина на новый год. Спустя два-три часа раввин остановил поток входивших хасидов, попросил их подождать и уселся за изучение первого листа первого трактата Вавилонского талмуда – трактата «Берахот». Тысячи ожидавших благословения присоединились к изучению, а с ними и все жители местечка. На следующий день по окончании праздника не было в Гура-Кальварии более востребованного товара, чем трактат «Берахот», и это стало доказательством того, что идея привилась.

Рабби Меир Шапиро, да будет благословенна память праведника, был также одним из немногих евреев, избранных в депутаты Сейма – польского парламента, – в котором он представлял партию «Агудат Исраэль». Он приходился папе двоюродным братом и был его близким другом. Папа был преемником рабби Меира, да будет благословенна память праведника, в должности раввина Пётркува, и они оба в крайне молодом возрасте стали членами всемирного Совета мудрецов Торы («Мозцет Гдолей Га-Тора»).

Вторая дочь автора «Минхат Шай», ребецн Лея Гинда, вышла замуж за рабби Цви Йефуду Лау, из уважаемых граждан общины Львова (Лемберга), основав выдающуюся семью раввинов. Ее старший сын, гаон рабби Исраэль Йосеф Лау, да будет благословенна память праведника и да отмстит Господь за его кровь, был раввином города Коломыя в Галиции. С началом войны немцы поставили перед ним одну из самых ужасных задач, какую только могли изобрести: гестапо приказало ему дать евреям указание разрушать надгробия на еврейском кладбище в его городе, дабы использовать камни при строительстве шоссе.

Раввин осознавал всю серьезность ситуации. Он призвал всех евреев к посту и молитве в Большой синагоге города, а затем возглавил их шествие в сторону кладбища. Прибыв на кладбище с заступом в руках, он остановился у могилы своего предшественника, рабби Гиллеля Лихтенштейна, да будет благословенна память праведника, и обратился к толпе со следующими словами: «У меня нет сомнения, что если бы мне было дано спросить гаона и всех ваших отцов и родственников, покоящихся здесь, следует ли нам исполнять это безбожное приказание, даже ради продления жизни каждого из нас на один только день, то они обязали бы нас исполнить его. Владыка Мира, Ты свидетель наш на небесах, мы были вынуждены». Затем, со словами покаянной молитвы на устах, он поднял заступ и повалил надгробие раввина. За ним сделали так главы общины и самые уважаемые люди, а за ними – каждый член общины стал валить свои семейные надгробия.

Вторым сыном рабби Цви Йеѓуды Лау и ребецн Леи Гинды был мой отец, да будет благословенна память праведника, а третьим – рабби Яков, да отмстит Господь за его кровь, из уважаемых людей города Львова. Он погиб, по всей видимости, в лагере уничтожения Белжец, куда была отправлена на смерть и их старшая сестра, моя тетка Хая, да отмстит Господь за ее кровь. Еще одну папину сестру звали Мирьям-Этель (все называли ее «тетя Мета»). Ей вместе с ее мужем, дядей Бруно-Берахьяѓу Шентелем, и их детьми Авивой и Ури удалось бежать из Брно в Чехословакии и достичь Кубы, которая была одной из немногих стран, распахнувших свои ворота перед евреями. Из Кубы семья переехала в США, откуда в конце жизни они перебрались в Израиль. Долгие годы они жили в районе Кирьят Йисмах-Моше, сегодня носящем название Ганей-Тиква. Дядя похоронен на городском кладбище Петах-Тиквы, тогда как тетя завещала похоронить себя рядом с могилами адморов из Ружина на старом кладбище в Тверии, в виду озера Кинерет. Этим она хотела почтить семейную традицию своих родителей – чортковских хасидов.

Их дочь Авива, известная под фамилией Бертран, возглавляла кафедру французской литературы в Бар-Иланском университете. Она свободно говорила на десяти языках. Она также умерла в Израиле. Их сын, рабби Ури Йеѓуда Йосеф, возглавляет учительский семинар «Бейт-Ривка», связанный с ХАБАДом, в городке Йер (департамент Эссон) неподалеку от Парижа. Мой дядя Йосеф, да будет благословенна память святого и праведника, раввин общины Коломыи, удостоился только одного выжившего потомка – сына Шмуэля Ицхака, да будет благословенна его память (он был назван в честь своего деда, автора книги «Минхат Шай»). Он репатрииро-

вался в Израиль в тридцатые годы и умер в Тель-Авиве. У него один сын, Яков Лау, житель Рамат-Гана.

Младшая сестра отца была ребецн Белла, бывшая замужем за раввином Мордехаем Фогельманом, да будет благословенна память праведника, раввином общины города Катовице. С началом войны им удалось вместе с маленькой дочкой бежать и добраться до Эрец Исраэль, где дядя в течение 45 лет служил главным раввином города Кирьят-Моцкин. К ним я попал по окончании войны, и они заменили мне родителей и семью.

Мой прадед, рабби Шмуэль Ицхак Шор, автор книги «Минхат Шай», происходил из раввинской династии Шор, основателем которой был рабби Ицхак Бехор Шор, один из «Баалей га-Тосафот». Дома я храню обширную родословную этой династии.

Драгоценными звеньями в цепи этой семейной раввинской династии были рабби Йоэль Сиркис, известный как Габах (аббревиатура названия его книги «Баит Хадаш»), рабби Давид Галеви Сегал, известный как Гатаз (аббревиатура названия его книги «Турей Захав»), рабби Йешаягу Галеви Гурвиц, Гашла (аббревиатура названия его книги «Шней Лухот га-Брит»), раввин и учитель наш, рабби Меир Каценеленбоген из Падуи, раввин и учитель наш Минц и многие другие.

* * *

[Историю смещения моего прапрадеда, Гатаза, с должности раввина общины местечка Пробужна я как-то раз пересказал мэру Нетании, когда он назначил мне встречу в преддверии выставления моей кандидатуры на пост главного раввина города (см. ниже главу «Освобождение»).

«Я очень надеюсь, господин Клиглер, – были мои слова, обращенные к мэру города в то время, Реувену Клиглеру, после того как мне стало известно, что он родом из Пробужны, – что отношение администрации города к тому, кого изберут здесь из всех кандидатов, будет более уважительным, чем то, которого удостоился Гатаз от общины вашего местечка, Пробужны».

Гатаз был совершенным бедняком, обремененным женой и детьми и жившим в местечке, которое с трудом содержало своего раввина. Всю свою жизнь, дни и ночи, он посвящал учению. Он спал не более четырех часов в сутки, а остальные двадцать занимался изучением Торы. Это обусловило его глубочайшие знания. Однажды в три часа пополуночи, когда вся его семья и все жители местечка были погружены в сон, у него так разболелись зубы, что он больше не мог сосредоточиться на учении. Ничего не помогало: ни пилюля, ни кряхтенье, боль захватила его всего. Он решил

отложить занятия и попытаться заснуть. «Встану, – подумал он, – обращусь за помощью». Однако он ворочался с боку на бок и не мог сомкнуть глаз.

Было уже четыре часа утра. На улицестоял крепкий мороз. Раввин вспомнил, что на въезде в Пробужну есть корчма, принадлежащая еврею Зелигу. Он попросит у того немного водки, дабы утишить боль. Раввин накинул потрепанную кацавейку и зашагал к корчме по снегу в темноте. Открыв дверь, увидел, что заведение полно возниц-неевреев со всей округи, которые перед выходом на работу разогревались водкой. Раввин направился к Зелигу-корчмарю. Однако рот раввина так раздуло, что он не мог говорить. Зелиг, заметив, как открылась дверь, и видя, что заведение полно возниц-гоев, с ужасом смотрел на вошедшего раввина, дрожа от страха: «Что надо от меня раввину? Что я сделал, если раввин пришел за мной? Раввин? В корчме? Спозаранок?» Раввин же только молча показал себе на рот. Зелиг налил ему рюмку водки. Раввин выпил и вздохнул с облегчением: теперь он мог говорить, мог дышать. Когда раввин спросил корчмаря, сколько с него причитается, тот отказался брать с него деньги. «За мой счет», – сказал, как отрезал. Раввин заспорил: «Мне не нужно подаяний от моих нанимателей. Я получаю жалованье от общины и хочу заплатить. Сколько с меня за рюмку водки?» «Копейка», – пошел корчмарь на попятный. Раввин поискал в карманах и не нашел даже одной копейки. «Запиши у себя, что я тебе должен копейку», – в простоте душевной попросил раввин, и Зелиг записал: «Раввин «шлита» (традиционная аббревиатура для выражения, прибавляемого к званию и имени живущего и действующего раввина и означающее «да удостоится добрых дней, аминь») – 1 копейка».

Тем временем евреи стали просыпаться и потянулись к синагоге. Из-за сильного мороза они заходили в корчму, чтобы опрокинуть у Зелига рюмку водки для разогрева. Подошли к стойке, чтобы заплатить, и у них потемнело в глазах: среди имен должников – Василий, Григорий, Степан и прочие гои – в Зелиговом журнале значилось имя раввина «шлита», который должен одну копейку. Они пришли в синагогу и рассказали всем присутствующим, что они видели. «Ну и раввина мы себе выбрали – вместо того, чтобы сидеть и учить Тору, он по ночам пьянствует с гоями!» – кипели они от ярости. Трое городских старейшин собрались на совет и постановили избавиться от раввина, пока тот не опозорил все местечко. Послали службу, который был правой рукой Гатаза, известить того об их решении. Служка прибыл в полной готовности, с пустой телегой, чтобы погрузить на нее раввина с женой и детьми и скудными его пожитками – в основном книгами, – дабы тот тотчас покинул Пробужну. Зашел в дом и нашел раввина погруженным в изучение Торы. Служка не мог набраться смелости сообщить раввину о его изгнании из местечка. Стал крутиться вокруг да около,

опустив глаза в землю. Занятый учением раввин почувствовал вблизи какое-то необычное движение, поднял взгляд от книги и спросил: «Янкель! Что ты тут ищешь?» Тот ответил: «Раввина Пробужны ищу, а то он куда-то делся». Раввину не потребовалось ничего больше, чтобы все понять. В тот же день Гаатаз покинул Пробужну.]

* * *

Мама, ребецн Хая, да отмстит Господь за ее кровь, была дочерью рабби Симхи Френкеля-Теомима, который был более известен как ребе из Скавины. Он был потомком прославленного гаона рабби Баруха Френкеля-Теомима, автора книги «Барух Таам», одного из величайших мудрецов поколения 150 лет назад. Ее родители, рабби Френкель-Теомим и ребецн Мирьям, урожденная Гальберштам, приходились друг другу двоюродными братом и сестрой и внуками основателю двора цанзских хасидов, адмору гаону рабби Хаиму Гальберштаму, да будет благословенна память праведника, автору книги респонсов «Диврей Хаим». Его второй сын – адмор ребе Давид из Хшанува – был отцом адмора рабби Нафтали из Хшанува (при этом Нафтали – брат действующего адмора хасидов Бобова в Нью-Йорке, они родились в одном году и оба названы в честь него). Рабби Нафтали был отцом моей бабки по матери Мирьям, урожденной Гальберштам, ребецн из Скавины. Ответвления цанзских хасидов дали несколько выдающихся раввинских династий: хасидские дворы Бобова, Хшанува, Шинявы, Клойзенбурга (Клужа), Горелица, Струпкова, Чахова, Рацперта и другие.

* * *

После открытия польских границ для граждан Израиля мы, Нафтали и я, вместе с девятью членами моей семьи и несколькими друзьями поехали в Польшу в путешествие «в поисках корней». Поездку организовал Нафтали. Посетили Пётркув. Там по-прежнему высится Большая синагога, где мне сделали обрезание и где мы расстались с нашим братом Шмуэлем Ицхаком, да отмстит Господь за его кровь. Это было большое здание, красота и отделка которого все еще заметны. За прошедшее время оно было разделено на два этажа. На нижнем этаже помещаются учебные кабинеты, на втором – большая библиотека со стеллажами от стены до стены и от пола до потолка. Когда мы копались в книгах, плотно заполняющих полки, в одном месте перед нами оказалась простая занавеска. Если ее отодвинуть, то окна за ней нет, а обнаруживаются две скрижали завета, поддерживаемые двумя львами. И каждая из букв в десяти заповедях, так же как и львы, пробиты, словно решето, множеством пулевых отверстий.

Скрижали, изначально установленные над арон-кодешем, были добросовестно спрятаны поляками – дабы предать забвению предназначение впечатляющего здания в самом сердце города. Но всякий, кто выйдет из здания синагоги и внимательно присмотрится к нему, без труда заметит выступ на восточной стене, внутренняя часть которого образует нишу, где стоял арон-кодеш. Поляки хотели стереть все внешние знаки еврейского присутствия в этом месте, но без особого успеха. Они не обратили внимания на то, что нижнюю часть люстры в вестибюле украшает маген-давид, что двери синагоги, из которых мы с мамой были выброшены наружу, а Шмулик брошен внутрь, двери вместе с замком – те же двери и тот же замок, что были тогда. Двери и замок, так же с маген-давидом, словно перекинули для меня мост к маме, державшей меня за руку. Я вновь ощутил ее тревогу за Шмулика, когда она поняла, что он остался внутри. И неизвестно было, какая судьба его ожидает. Те же двери, тот же замок, но как же все изменилось!

Остался на своем месте и дом, в котором я родился, по улице Пилсудского, 21. Мое внешнее сходство с отцом, вероятно, так бросается в глаза, что, когда меня видели старики и старухи, живущие в том же дворе, они крестились со страху, показывали на меня и кричали: «Раввин вернулся! Главный раввин пан Лау вернулся!»

Мы также посетили Варшаву и Люблин, где зашли в здание ешивы «Хахмей Люблин», которую – как мы помним – основал двоюродный брат отца, рабби Меир Шапиро. Там папа экзаменовал учеников, желающих поступить в ешиву, а по окончании обучения снова принимал у них экзамены на степень «цорва дерабан», соответствующую посвящению в раввинское звание. Посетили лагеря Майданек и Треблинка и прибыли в Краков. В Кракове нашли большой дом деда, по улице Юзефовской, 3, просторный дом, в котором росли и воспитывались дети и многие из внуков деда. Из 47 его внуков только пятеро пережили Катастрофу, среди них Нафтали и я. (У нас с Нафтали осталось три двоюродных брата: раввин Шимон Йехезкель Френкель-Теомим, да будет благословенна память праведника, более сорока лет служивший главным раввином города Кирьят-Оно, а также – да будут, напротив, отмечены долгой жизнью – Агарон Френкель-Теомим и ребецн Соня Коренрайх, живущие в Бруклине, в Нью-Йорке.)

По дороге из Кракова в Освенцим мы проехали город Хшанув. Нафтали рассказал нам, что на городском еврейском кладбище есть склеп, служащий своего рода усыпальницей членам нашей семьи, раввинам из рода Гальберштам. Мы нашли поляка, у которого был ключ. Он отомкнул нам дверь, и мы оказались внутри склепа, в котором было девять гробниц. В центре покоятся рабби Давид и его сын ребе Нафтали из Хшанува, дед

моей матери. Вдруг мой сын, рабби Давид Барух, раввин города Модиин, промолвил: «Смотрите, сегодня день памяти деда Нафтали». Оказалось, что дата смерти, высеченная на надгробии, 27 тамуза, была днем нашего посещения кладбища. Слово дед пригласил своих внуков и правнуков поклониться его могиле в годовщину дня его призвания в небесное собрание, словно потоп крови, огонь и клубы дыма не залили землю за это время. Мы приехали из Государства Израиль, задержавшись на 67 лет, точно в день памяти прадедушки из Хшанува.

Речь, спасающая мне жизнь

Рядом с Нафтали я трясся всю ночь в душном и забитом вагоне и плакал не переставая, пока поезд не остановился. Это было в пятницу, 26 ноября 1944 года, когда дверь вагона отъехала в сторону с громким лязгом, и внутрь проник сильный луч света от фонаря эсэсовца, вставшего в вагоне с автоматом, нацеленным в нашу сторону. Мы прибыли на завод в железнодорожном узле Ченстохова, недалеко от промышленного города Лодзь. Захватив город, немцы обратили его заводы в оборонные предприятия для своей армии.

В Ченстохове практически было четыре рабочих лагеря, один недалеко от другого, каждый при своем оборонном заводе. Тот, на который попали мы, назывался HASAG¹.

Эсэсовец громко приказал нам выходить из вагона. Мы с Нафтали вместе с сотнями пётркувских евреев вышли из эшелона на платформу. Первый, кого мы увидели, был начальник лагеря, эсэсовец громадного роста с незабываемой фамилией Бартеншлягер (schlagen по-немецки означает бить). Грозным голосом он произнес перед нами речь, содержание которой уже было для нас привычным. Если будете хорошо себя вести, работать как положено и соблюдать дисциплину, то сумеете сохранить жизнь. Если нет – вас ждет смерть. Коротко и ясно, в лучших традициях нацистов. Однако в этот раз, несмотря на воодушевление от собственной речи, Бартеншлягер заметил – среди толпы мужчин, стоявшей против него – маленького мальчика. В его глазах и на лице читалось крайнее изумление. Согласно принятым правилам, дети следовали с женщинами, а не с мужчинами. Его лагерь предназначался для принудительных работ, а что он мог получить на выходе от такого тощего ребенка, как я, не имевшего ничего общего с поня-

¹ Hugo Schneider AG.

тием рабочей силы? Он приказал мне выйти вперед. Глаза его дернулись и заметили Нафтали, стоявшего рядом со мной. «Ты его отец?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил: «С каких же лет ты начал заводить детей?» Нафтали было тогда восемнадцать, он был худ, как и все, и был вовсе не похож на отца. «Я его брат», – пояснил Нафтали. Бартеншлягер толкнул меня назад в строй и, на мое счастье, не придавал моему присутствию особого значения, возможно, из-за загруженности ожидавшего его дня, дня приема и сортировки новых заключенных.

Мы были отведены в один из барачков лагеря. С этого момента мы остались одни друг у друга во всем мире, только мы двое, а ведь мой старший брат поклялся спасти мою жизнь. Он поставил перед собой задачу, бывшую крайне трудной для выполнения в том страшном месте, в которое мы попали. Нафтали расстелил на полу шерстяное одеяло и уложил меня на нем. Я плакал, тоскуя по маме.

Эта была наша первая ночь в Ченстохове, субботняя ночь. Нафтали был подле меня, когда с конца барака донесся знакомый по далеким дням хасидский напев – нигун. Кантор Йосеф Мандельбаум пел нигун «Микдаш Мелех» из гимна «Леха Доди», исполняемого при встрече Субботы. Напев отозвался эхом прошлого, всплывали воспоминания о доме. Он позволил мне забыть о событиях последних дней. Сон сморил меня.

Оберкапо Розенцвайг, еврейский начальник лагеря, велел Нафтали позаботиться о том, чтобы я оставался в бараке и не попадался никому на глаза. Он объяснил, что охранники лагеря – украинцы, а не немцы, они расхаживают с автоматами прикладом вверх, дулом вниз, и избивают каждого, кто им не приглянется. Поэтому, пояснил он, ребенку будет лучше оставаться в бараке и не высовывать нос наружу.

Уже в воскресенье Нафтали забрали на принудительные работы. «Лёлек, оставайся здесь, пока я не приду», – велел он мне перед уходом и уложил меня на пол, который собственно и не был полом, а был сырой и влажной землей. Я не мог заснуть. Я все еще не пришел в себя после разлуки с мамой, но знал, что должен слушаться брата.

Нас было одиннадцать детей в Ченстохове, и я – самый младший в компании – боролся за выживание.

К нам придирались все время, но апогеем стала поданная офицером гестапо Кислингом на одной из проверок команда: «Дети, выйти из строя!» Ни один из нас не шелохнулся. Голос Кислинга загредел снова, на этот раз с добавлением «шнель, шнель!» Выбора не оставалось, и еврейские капо, отвечавшие за нас перед гестапо, вырвали нас из строя и вытолкнули вперед. «Я хочу видеть позади каждого ребенка его отца», – приказал Кислинг. Десять детей оказались с отцами, вставшими рядом, только я остался один.

Краем глаза я взглянул на Нафтали, боясь его выдать. Начальник лагеря остановился против меня с застывшей миной на лице. Я переминался с ноги на ногу, подгребая под ноги снег и грязь прямо на глазах у Кислинга, наводившего ужас на всех. В этот миг я спрятался в тайниках своего воображения, представив, что я насыпаю кочку из грязи и встаю на нее, чтобы казаться выше, чем я был. Эту кочку я не забуду до последнего дня жизни.

Вдруг Нафтали сдвинулся с места и встал позади меня. Еврей Розенцвайг объяснил немцу Кислингу, что это мой брат. Кислинг выслушал, и голос его зазвенел от ярости. По сей день я помню точные его слова на немецком, которые я тогда не понял: "Wozu brauche ich diese dreckigen dicken jungen die sind nicht produktiv?" – «На что мне эти грязные подростки, от которых нет никакой пользы?» Его слова стучали у меня в голове, словно молоток. Не знаю, что именно случилось со мной, откуда я набрался смелости открыть рот, кто вложил мне слова в уста. Презрение, выказанное нацистом с пистолетом, дубинкой и собакой, как видно, заставило меня осознать, что жизнь здесь, в Ченстохове, не стоит и ломаного гроша, а может, и того меньше. И именно поэтому у меня – ребенка, который никому здесь не был нужен, – нашлось что сказать этому начальнику. Стоя на грязном ченстоховском снегу, я произнес первую речь в своей жизни, ставшую также речью всей жизни, – в борьбе за жизнь. Я говорил по-польски, на единственном языке, которым я тогда владел, а Розенцвайг синхронно переводил мои слова Кислингу: «Почему господин так говорит о нас? Что от нас нет пользы? Что мы ни на что не способны? На стекольном заводе «Гортензия» в Пётркуве-Трыбунальском я по двенадцать часов в день толкал тачку с шестьюдесятью бутылками с водой, между печами стеклодувов, в чаду, в цех, на улицу, на улицу, в цех, налить, вылить, налить. И все это я делал уже год назад. Теперь я подрос и могу делать больше. Но это я еще маленький, а остальные ребята больше меня, и у нас тоже есть право на жизнь».

За свою жизнь я выступал тысячи раз, но ни одна из моих речей не была как та первая. Гестаповец Кислинг сделался красным от злости и приказал отвести всех одиннадцать детей в комендатуру. Непроизвольно отцы детей и Нафтали двинулись за нами, но Кислинг затолкал их обратно в строй, сказав, что дети ему нужны без сопровождения. Розенцвайг попытался успокоить отцов и велел взрослым разойтись по баракам, сказав, что Кислинг лично ему обещал обсудить с ним судьбу детей. Спустя полчаса, показавшихся вечностью, Розенцвайг вернулся к родителям детей и Нафтали и сообщил, что Кислинг готов возратить детей, но за деньги, много денег – тысяча марок за голову каждого ребенка, который будет оставлен в живых. На этот раз. До особого сообщения. Негодяй Кислинг сразу заявил, что он отнюдь не обещает, что следующего раза не будет. На мое счастье, мама

все предусмотрела. Когда мы с Нафтали и мамой еще были в Пётркуве, она снабдила брата двумя бриллиантами и золотыми часами. К подкладке пальто Нафтали она пришила потайной кармашек, в котором спрятала бриллиант в два карата, вынутый из кольца. «Этот камень поможет тебе сдержать данное папе слово, сберечь Лёлека», – объяснила она Нафтали.

Нафтали пошел к ювелиру, пригнанному с нами в Ченстохову из Пётркува, чтобы тот оценил бриллиант. Ювелир сказал, что он стоит намного дороже требуемой суммы в тысячу марок. «Жалко его. У тебя нет чего-нибудь другого, чтобы спасти ребенка?» – спросил он.

У нас был еще один бриллиант, однако он был менее доступен: мама прибегла к услугам дантиста-еврея Зигмунда Розенберга, который по ее просьбе вставил камень в пломбу в одном из задних коренных зубов Нафтали. Над пломбой с маленьким бриллиантом дантист поставил коронку, чтобы скрыть камень. Теперь Нафтали вспомнил о драгоценности, спрятанной у него в зубе, и спросил ювелира, сможет ли тот снять коронку и вынуть пломбу из его зуба. Ювелир разбил коронку и достал камень; Розенцвайг, еврейский оберкапо лагеря, передал бриллиант Кислингу, а мне – мне была дарована жизнь.

Несколько месяцев спустя Кислинг снова задумал уничтожить детей, у Нафтали не было другого выбора, кроме как выкупить мою жизнь за больший камень, зашитый мамой в его пальто. Теперь у нас оставались только папины золотые карманные часы, спрятанные в ботинке Нафтали между каблучком и подошвой. Нафтали никогда не расставался с этим ботинком, храня его как зеницу ока. Он знал, что наступит время, когда часы понадобятся, ибо в любой момент и в любом месте мог оказаться очередной Кислинг со своими безумными требованиями.

После сражения за мою жизнь большую часть времени я продолжал прятаться в бараке, тогда как Нафтали использовался на принудительных работах в качестве механика на фосфатном заводе. Время от времени мне приносили для чистки сапоги гестаповцев, и эта работа давала мне какое-то право на существование. Я собирал в бараке немного еды и обеспечивал ею Нафтали, когда тот возвращался вечером после работы. Иногда, чтобы убежать от мучений, выпавших на нашу долю в рабочем лагере, я мысленно возвращался в нашу первую ночь в Ченстохове, когда я впервые услышал гимн «Леха Доди» в исполнении Йосла Мандельбаума. Это случилось, как мы помним, в субботнюю ночь. Нафтали лежал рядом со мной, пытаюсь уберечь меня от промозглой сырости голой земли, как вдруг до него донеслись звуки хасидской мелодии, знакомой ему по Кракову, его родному городу. Он был растроган, на него пахло детством, памятью об иных, таких далеких днях.

Ребенком Нафтали часто бывал у маминого двоюродного брата, рабби Бен-Циона Гальберштама, да будет благословенна память святого и праведника, который был адмором хасидов Бобова – ответвление хасидского двора Цанз. (Он тоже, как нам стало известно позже, погиб в Катастрофе.) Йосл Мандельбаум был бобовским хасидом, кантором в Кракове и одним из самых выдающихся канторов мира. Напев, который мы услышали в его исполнении в ту ночь, был частью субботнего гимна «Леха Доди»: «Поднимись и восстань из развалин! Полно пребывать тебе в юдоли плача, ведь Вс-вышний проявит сострадание к тебе!»

Нафтали пополз на голос по полу барака. И действительно, окруженный группой хасидов пел тот самый Йосеф Мандельбаум из Кракова. Но от его окладистой бороды, памятной Нафтали с детства, не осталось и следа. Он и все окружавшие его люди были выбриты, оставалась только полоска усов. Но чудесный голос, который невозможно было не узнать, не изменился, редкий голос, единственный в своем роде. Нафтали был уверен, что удостоился подарка судьбы. Он уселся посреди хасидов и представился: «Сын раввина Лау из Пётркува». Все присутствовавшие знали отца и его семью, мать и ее семью, они знали нашу с Нафтали родословную лучше нас самих. Любовь и тепло окружали Нафтали в ту ночь – луч света во тьме, поглотившей нас.

Йосеф Мандельбаум, как рассказывал потом мне брат, видел в нас словно слепок со своих сыновей, погибших вместе с матерью, и приблизил нас к себе. Он беседовал с нами, утешал и успокаивал в это тяжелое время, в первые дни нашего сиротства.

В рабочем лагере Йосеф Мандельбаум вел счет не только субботам, но и еврейским праздникам. В один из декабрьских вечеров он зажег первую ханукальную свечу, сделанную из гильзы от патрона. Гимн «Маоз ве-цур йешуати» («Оплот крепости спасения нашего») раздавался в пространстве барака, каждому досталось по печеной картошке. Мы чувствовали себя среди близких людей, знавших нашу семью. Мы знали, что они заботятся о нас, насколько это было в их силах. Однако в январе 1945 года Мандельбаум и прибывшие с ним из Кракова люди были отправлены в Германию, и связь с ними прервалась. Перед их отъездом Нафтали сделал Мандельбауму подарок на память, Танах нашего дяди, Мордехая Фогельмана.

В 1940 году рабби Мордехай Фогельман изловчился каким-то образом покинуть Катовице, намереваясь добраться до Земли Израиля. Обширную свою библиотеку, которую он не мог взять с собой, пускаясь в бегство, он отправил к нам в Пётркув. Когда пришла наша очередь оставлять дом, мама в придачу к филактериям дала Нафтали Танах дяди Мордехая.

Спустя какое-то время, как об этом будет рассказано дальше, мы оказались в Бухенвальде. На входе в лагерь нам было приказано бросать все пожитки в груду вещей, которые собирались сжечь. Нафтали, глядя на кучу, заметил дядин Танах среди прочего хлама. «Йосл Мандельбаум здесь, – сообщил мне брат, – прибыл раньше нас». Однако мы так и не повстречали его в концлагере и полагали, что он погиб, как и большинство узников.

Спустя сорок лет Нафтали занимал пост генерального консула Израиля в Нью-Йорке. По случаю семейного торжества он поехал в Бруклин, в большой бейт-мидраш бобовского адмора, рабби Шломо Гальберштама, да будет благословенна память праведника. Ребе оказал брату огромный почет, усадив его, к удивлению хасидов, по правую руку от себя. Большинство не знало о родственной связи между адмором и Нафтали и связывали оказываемый брату почет с уважением, которое адмор питает к официальному представителю Государства Израиль. В течение вечера адмор беседовал с Нафтали, и тот, между прочим, рассказал ему о Йосле Мандельбауме, певшем «Микдаш Мелех» в субботнюю ночь в Ченстохове, что добавило нам жизненной стойкости. Он как бы вернул нас в лоно семьи даже в тех суровых условиях, в которых протекала наша жизнь в то время. «Жаль, что его следы теряются в Бухенвальде», – снова сокрушенно отозвался брат о Йосле Мандельбауме. Ребе шепнул что-то на ухо одному из старост бейт-мидраша, тот отошел и через несколько минут вернулся, ведя под руку согбенного еврея с впечатляющей белой бородой. «Вот Йосл Мандельбаум!» – возгласил ребе и попросил стоявшего перед ним старца, которому было в то время уже за восемьдесят, исполнить «Микдаш Мелех» из субботнего гимна «Леха Доди». Нафтали слушал с изумлением. Несмотря на прошедшие сорок лет и согбенную спину кантора, голос Йосла Мандельбаума не изменился, оставшись таким же чистым и звучным, как и прежде. Когда Нафтали вслушивался в слова «Поднимись и восстань из развалин!», перед его внутренним взором представляли не бруклинские хасиды, а измученные подавленные люди, сидевшие на холодной сырой земле в бараке в Ченстохове одной субботней ночью на исходе ноября 1944 года.

* * *

К середине января 1945 года до лагеря стали доноситься звуки канонады. Заключение спорили между собой, какие пушки стреляют: русские или немецкие. Никто не располагал проверенными фактами, на которые можно было бы полагаться, но все горячо спорили между собой. Оглядываясь назад, я думаю, что стреляли и русские, и немецкие пушки.

Нам приказали без промедления выйти из бараков и построиться – как всегда, в шеренги по пять человек. Без объяснений и подробностей сказали, что мы покидаем лагерь. Людям в шеренгах выдали по буханке хлеба на трех человек. Нафтали стоял слева от меня, справа был Давид Файнер, тоже из Пётркува, ученик ешивы «Хахмей Люблин»¹. Нафтали нес мешок с нашими пожитками, я же нес хлеб. Мы шагали по глубокому снегу, не зная, куда направляемся. Украинцы и немцы сторожили нас на протяжении всего марша. Неожиданно по нам был открыт плотный огонь. Охранники укрылись в кювете на обочине дороги, мы же распластались в снегу прямо где стояли. Пули свистели над нами. Спустя несколько минут охранники тоже стали стрелять по нам из кюветов, в которых они лежали. Снег справа от меня покраснел, на него натекла лужа крови. Посреди лужи был распростерт труп Давида Файнера. Зрелище это было для меня невыносимо. На мне же и на Нафтали не было, к нашему счастью, ни царапины, но наш товарищ погиб. Это не укладывалось в голове, была только боль.

Мы не могли себе позволить задержаться и оплакать его смерть, потому что, когда закончилась стрельба, нас подняли на ноги и приказали продолжать движение. Мы шли, механически переставляя ноги, пока не добрались до станции. Там нам устроили еще одну поверку, выясняя, кого не хватает, дабы сомкнуть шеренги и организованно загрузиться в вагоны, так, как это любили немцы: во всем должен быть порядок. Больше всего внимания они уделяли точному числу размещаемых в вагоне заключенных. Пока осуществлялась посадка в эшелон, взгляд дежурного офицера гестапо выследил меня, маленького мальчика, хотя я и был вместе с братом. Он ткнул своей тростью мне в лицо, схватил меня за загривок, крикнул «Дети с матерями!» и швырнул меня в группу из примерно пятидесяти женщин с несколькими маленькими детьми. Они прибыли из других лагерей в районе Ченстохова и были собраны вместе, в один вагон, ближайший к паровозу. На определенном этапе этот вагон должен был быть отцеплен от эшелона с мужчинами и проследовать в другой лагерь. Много лет спустя брат рассказал мне, что последнее, что он продолжал видеть, когда я уже скрылся в вагоне с женщинами и детьми, куда меня бросили, была буханка хлеба. Я вцепился в нее обеими руками, держа над головой, всеми силами охраняя вверенную мне драгоценную пищу. Таким ему увиделось наше расставание.

От вагона, в который меня бросили, у меня остались в основном только воспоминания о чудовищной вони, криках, плаче детей. Много говорят

¹ Давид Файнер приходился двоюродным братом писателю Катастрофы Ка-Цетнику, он же Йехиэль Динур, настоящая фамилия которого также была Файнер. (Прим. автора.)

о жертвах, погибших в разнообразных акциях, и значительно меньше вспоминают о днях и ночах, часах и минутах, когда люди испускали дух в лишенных воздуха, воды и туалетов теплушках, предназначенных для перевозки скота. Для людей они не предназначались ни в коей мере. Многие из детей и женщин в нашей теплушке вернули Творцу душу из-за царивших в ней нечеловеческих условий.

Если я был брошен в первый вагон, то Нафтали с остальными мужчинами были загнаны в остальные вагоны того же эшелона. Таким образом, мы сидели в том же поезде, хотя нас и разделяло немалое расстояние. Нафтали был встревожен. Он не имел представления, сколько вагонов нас разделяют. Мысли его крутились вокруг обещания, данного им папе на крыльце нашего дома в Пётркуве: что он будет всеми силами оберегать меня и сделает все, чтобы наша семейная династия не прервалась.

Эшелон тронулся, и в голове у Нафтали мелькнула мысль. Он с двумя товарищами, проделавшими с нами весь «маршрут» от самого Пётркува, стал теревить и дергать ручку двери, пока они не сумели ее открыть. Однако поезд продолжал движение, и открытая дверь теплушки ничуть не продвинула их вперед в попытках меня вызволить. На первой остановке, сделанной эшелонем, Нафтали с товарищами медленно приоткрыли дверь, посмотрели по сторонам, и Нафтали быстро скользнул под вагон, вытянулся между рельсов и на локтях пополз вперед. Достигнув следующего вагона, он застучал в дверь и окликнул меня: «Лёлек! Лёлек!» Тем временем стали раздаваться гудки и свистки, возвещавшие, что поезд вот-вот тронется. Нафтали быстро пополз назад к вагону, из которого спустился. Четыре руки соединились вместе, готовые поднять и закинуть его наверх в вагон. Поскольку он вернулся, не достигнув цели, то операция была проделана вновь на следующей остановке, и на той, что была за ней, и так четыре раза. Всякий раз Нафтали возвращался с пустыми руками. Он не обращал внимания на тех, кто ворчал из-за проникавшего в вагон через открытую дверь холода, и упорно следовал поставленной задаче вызволить меня. Четвертая попытка оказалась успешной. Достигнув седьмого по счету вагона, ближайшего к паровозу, он снова выкрикнул мое имя, и – я был там, с большой маминой подушкой на мне и буханкой успевшего зачерстветь хлеба в руках. Одна из женщин положила мне на хлеб несколько тонких сколков сахара, однако они соскользнули с корки вниз, рассыпавшись по полу вагона, заваленного трупами. Я занимал себя тем, что высккивал сахар на полу. Мне так хотелось положить в рот хоть что-нибудь сладкое! Внезапно, когда я искал сахар, я услышал свое имя. Я подумал, что я сплю и вижу сон. Как бы то ни было, я пошел на голос; наступая на мертвецов и между телами, я прокладывал себе путь среди детей и женщин, пока не

упал прямо в руки брата Нафтали. Он сумел открыть дверь вагона с помощью приготовленного заранее штыря. Я хотел обнять и поцеловать его, но он цыкнул на меня, сказав, чтобы я молчал. Затем потянул меня вниз, под вагон, снова приложив палец к губам, чтобы я сохранял тишину, иначе нас могли услышать: охранник на крыше вагона или часовой у паровоза, высматривавший подозрительное движение на платформе. Дело было ночью. Все вокруг скрывалось в непроглядной тьме. Я видел только глаза брата, но понял, как важно, чтобы нас не услышали, и остерегался проронить хоть звук. Я стал копировать движения Нафтали и пополз вперед, ритмично двигая локтями и коленями. Он отсчитал семь вагонов и лишь тогда высунул голову из-под вагона, потянув меня за собой. Две пары рук втянули его наверх, а он втянул меня и затащил внутрь вагона. Я запомнил, как расчетливо и продуманно он действовал: за миг до того, как пролезть в щель двери, он еще позаботился набить свой картуз снегом, чтобы мы могли попить чистой воды, когда он растает. Пётркувские товарищи бросились к брату с крепкими объятиями, не сдерживая слез.

После расставания, казавшегося окончательным и бесповоротным, мы снова были вместе. Несколько часов спустя выяснилось, что инстинкт Нафтали его не подвел. Вагоны эшелона на определенном этапе были отцеплены, а теплушка с детьми и женщинами продолжила путь в Берген-Бельзен или Равенсбрюк, точно не знаю, для нас же началась очень длинная дорога, прерывавшаяся бесчисленными остановками. Часть людей не выдержала тягот пути. Немало умерло в этих грузовых вагонах. Тот, кто пережил это долгое путешествие, оказался спустя три дня перед воротами концлагеря Бухенвальд.

Из маленьких оконцев вагонов дорога в Бухенвальд казалась сценой из какого-то фильма, не имевшего никакого отношения к моей жизни. Дома стояли на своем месте, целые и аккуратные, не было видно никаких следов бомбежек. Люди вокруг меня пришли к выводу, что мы пересекли границу с Германией. На щите, попавшемся мне на глаза, указывалось направление на город Лейпциг, потом кто-то сказал, что видел щит «Веймар». Веймар, колыбель немецкой культуры, город Гете, Гейне и Шиллера. Но эшелон не остановился, а продолжил движение, пока перед глазами не предстало название «Бухенвальд», звучание которого уже было знакомо и полно коннотаций и смыслов для многих из пассажиров поезда. Страшная слава Бухенвальда как худшего из концлагерей распространилась повсеместно среди еврейских общин.

Концентрационный лагерь Бухенвальд был построен нацистами в 30-х годах с целью содержания противников режима и коммунистов. Позднее в него стали отправлять также и ненавистных нацистам евреев. В крема-

тории лагеря было сожжено множество трупов. Бухенвальд был архетипом концлагеря, по его образцу создавались другие лагеря, Майданек, например. В нашем с Нафтали вагоне разгорелся спор: убивают ли в Бухенвальде в газовых камерах или нет. У каждого из пассажиров вагона накопились за прошедшее время те или иные крупницы информации об этом месте. Название «Бухенвальд» наведало ужас, но никто точно не знал, о чем именно идет речь.

Впоследствии Нафтали имел обыкновение рассказывать мне, что первым, что предстало его взору в Бухенвальде из окна поезда, были сгребавшие снег заключенные в полосатой форме. Когда перепуганные люди из вагонов стали спрашивать их, куда именно они прибыли, самые смелые из уборщиков снега ответили жестом: провели рукой поперек шеи, намекая на неминуемую гибель.

Бухенвальд – темный туннель и проблески света

Мы быстро выгрузились из вагона и прибыли к железным воротам лагеря, над которыми возносилась немецкая надпись "Jedem das Seine" – «Каждому свое». Эта фраза врезалась мне в память, она и поныне не оставляет меня в покое. Порой я думаю о ней и о том, сколько жестокости и цинизма вмещали в себя эти три слова. Какая ужасная судьба была уготована в этом проклятом месте людям, которых другие пытались – всеми возможными способами – лишить их человеческого облика. Сколько одиночества было в этой фразе и сколько иронии, ибо судьба всякого входившего в эти ворота нисколько от него не зависела. Нацисты, командиры и рядовые охранники лагеря, – лишь они одни беспредельно властвовали над нами.

Надпись, исполненная сварщиком над воротами лагеря, всплывала у меня в памяти во многих, самых разных ситуациях. В мае 2004 года силы ЦАХАЛа действовали в лагере беженцев Зейтун в Газе. БМП с солдатами бригады «Гивати» подорвалась на mine, и части тел солдат далеко разлетелись вокруг. Останки были захвачены террористами из организации «Исламский джихад». Армейское командование обратилось ко мне с вопросом, следует ли вести с террористами переговоры, дабы возвратить пусть даже часть тела павшего для предания его погребению. Мой ответ был лаконичен и однозначен: никто – ни боец, ни его останки – не будет оставлен на произвол судьбы. Между правительством Израиля и Армией

обороны Израиля заключен завет: дети должны быть возвращены своим семьям. Если, не дай Бог, происходит несчастье, их следует вернуть домой достойно, с заботой о том, чтобы ни одно имя не было стерто из памяти Израиля. Мораль любого бойца неминуемо пострадает, если, идя в сражение или на выполнение боевого задания, он будет мучиться сомнениями, а не бросят ли его на поле боя в случае, не дай Бог, ранения или гибели. Поэтому не только из уважения к мертвым, но и ради безопасности и благополучия живых нам заповедано не жалеть никаких усилий для возвращения солдат домой.

Нравственный императив, которым руководствуются ЦАХАЛ и Государство Израиль, наиболее коротко выражен в стихе «Все евреи отвечают друг за друга». По смыслу стих этот диаметрально противоположен словам «Каждому свое», определявшим существование человека в Бухенвальде.

* * *

Население лагеря отличалось крайним разнообразием. Проведя несколько дней в Бухенвальде, мы узнали, что в лагере собраны заключенные десятков национальностей. Так, среди них был Леон Блум, социалист-еврей, бывший и будущий премьер-министр Франции; доктор Конрад Аденауэр, бывший мэр Кельна, заключенный в лагерь за антинацистские взгляды и впоследствии избранный первым канцлером Западной Германии; и, в противовес первым, «ведьма из Бухенвальда» – Ильза Кох, сдиравшая кожу с убитых заключенных, чтобы делать из нее абажуры, переплеты, перчатки...

Нафтали опасался, что в Бухенвальде ему не удастся спасти мою жизнь. В лагере была установлена железная дисциплина, и весьма малы были шансы на то, что семилетнему ребенку, в нарушение законов лагеря, позволят войти в его ворота в группе мужчин. Но брат, по своему обыкновению, не отчаивался. С помощью двух друзей он завернул меня в набитое перьями одеяло, которым снабдила нас мама, и затолкал меня в мешок, который таскал с собой с тех пор, как мы с ней расстались. Как человека, уже накопившего опыт этапов, входов и выходов из рабочих лагерей, меня не надо было предупреждать, чтобы я не открывал рта, пока нельзя будет вылезти из заплечного мешка брата. Порядок был мне ясен, несмотря на нежный возраст. Как резвая лань, я скользнул внутрь мешка, скорчился в нем, как только мог, и так, прижимаясь к спине Нафтали, попал внутрь концлагеря Бухенвальд. По своему обыкновению, немцы построили прибывших евреев перед воротами лагеря, по три человека в ряд. Из мешка я слышал знакомый гул: окрики «шнель, шнель», удары дубинок и лай собак. Я вжался в спину брата, как будто вмерз в нее куском льда, – не позволяя себе ни единого

движения. Потом я почувствовал, как Нафтали снимает мешок со спины и кладет его – и меня в нем – себе под ноги. Станный запах коснулся моих ноздрей. Резкий, дотоле мне неизвестный. В дальнейшем я узнал, что это был запах хлорки, служившей для дезинфекции.

Выяснилось, что нас загнали в большой зал, в котором немцы проводили сортировку прибывших. Со сдержанной тревогой Нафтали изучал происходящее. Очень быстро он понял, как происходит прием евреев: по приказу люди раздевались, проходили медицинский осмотр и получали разные прививки. Тут он с тревогой обнаружил, что немцы кидают в печь пожитки евреев, включая и снятую ими одежду, – все сжигают. Таким образом, считали немцы, будет предотвращено попадание в лагерь различных насекомых, которых евреи – по мнению немцев – обязательно носят на теле, и Бухенвальд сможет остаться девственно чистым. Нафтали, конечно, тоже был вынужден расстаться со своим заплечным мешком. Я не забуду его крика «Лёлек, chodź tutaj!» («Иди сюда!»). Не веря своим ушам, я с подозрением выглянул наружу, может, я что-то не так понял, осторожно поднял голову из мешка, лежавшего у брата под ногами, и посмотрел вокруг. Звуки я слышал и до того, запахи тоже. Теперь же я мог увидеть зрелище, ранее скрытое от меня.

Немцы размахивали дубинками, их чудовищные псы лаяли и кусали. Евреев брили и дезинфицировали в грязном бассейне с раствором хлорки. На этой работе по дезинфекции были заняты давно сидевшие в лагере евреи. Когда я вылез из мешка, меня заметил один из охранников, сам, как видно, из заключенных. Он подошел к Нафтали и спросил, что такой ребенок, как я, делает в этом месте, предназначенном только для взрослых мужчин. Нафтали посмотрел ему в глаза и, взывая к его человечности, объяснил, что у ребенка нет ни отца, ни матери. «И что я должен был делать? – спросил он. – Оставить его снаружи в снегу одного?»

У этого охранника мы впервые получили достоверную информацию о способе умерщвления людей в лагере. «В этом месте, – объяснил он Нафтали, – газ не используется, но есть крематорий. И из его трубы, – он показал взглядом в сторону крематория, – дым поднимается 24 часа в сутки, потому что все мусельманы¹ здесь дохнут. Каждый, кто попадает в этот лагерь, становится мусельманом, не важно сколько ему лет, пять или пятнадцать, семь или тринадцать. Однако, – добавил охранник-заключенный и тем в оче-

¹ От нем. *Muselmann* – мусульманин. Распространенное среди заключенных немецких концлагерей пренебрежительное наименование людей, дошедших до крайней степени физического и душевного истощения, не оставлявшего им никаких шансов выжить.

редной раз спас мою жизнь, – знай, что если мальчик попадет в восьмой блок – с ним все будет хорошо». Он закончил свою речь и повернулся к нам спиной, как будто ничего не видел.

Не успел он отойти, как на мне остановился взгляд охранника-немца. Нафтали испугался, увидев, что немец не сводит с меня глаз, и испугался еще больше, когда тот, как и его предшественник, стал задавать вопросы о моем присутствии здесь. Опыт находить выход из опасных для жизни ситуаций не прошел даром. Нафтали снял ботинок, перегнул подошву и достал папины золотые часы, последнее сокровище, остававшееся у нас из всего, чем снабдила нас мама на случай чрезвычайных обстоятельств. Нафтали кинул к ногам немца дорогие часы. Тот наклонился, как бы завязать шнурок, и подобрал их. И проследовал дальше, больше не обращая на нас никакого внимания.

* * *

Но было у нас еще одно сокровище, совершенно иного свойства. Его тоже Нафтали дал себе слово беречь как зеницу ока и тоже потерял в тот день. Только после освобождения, когда мы бесчисленное количество раз обсуждали нашу жизнь в Бухенвальде, он поведал мне, до какой степени был озабочен спасением рукописи книги, которую написал наш отец, – «Освящение Имени Господа в Галахе и Агаде». Папа много лет посвятил написанию этой книги, в которой он впервые затрагивал многие аспекты освящения Имени Господа. Его не раз спрашивали, почему он пишет именно об этом предмете. В то время, в 20-е годы, раввины со всего еврейского мира обращались к нему с тысячами вопросов о соблюдении субботы, кашруте, ритуальной чистоте и нечистоте, бракоразводном и общем праве, правилах, регулирующих отношения между людьми, еврейских праздниках. И никто почти не занимался вопросом освящения Имени Господня. Он всегда отвечал: «У меня есть чувство, что придет день, и от каждого еврея потребуется уметь определять правила в области этой галахи». Он и не представлял, насколько точно он предвосхитил будущее. В книге, например, рассматривались такие вопросы: младенец находится в убежище или бункере вместе со многими другими людьми и, как свойственно новорожденным, плачет. Позволено ли людям, скрывающимся там, зажать младенцу рот, чтобы его крик не выдал всех остальных людей, нашедших прибежище в этом месте? И если да, то кто должен это сделать? Отец младенца? Мать? Чужой человек? Папа глубоко анализировал подобные трудные аспекты проблемы обнаружения людей врагом. Другой вопрос, занимавший его, – насколько человек должен жертвовать собой для исполнения заповедей и религиозных постановлений в подобных крайне тяжелых условиях. Когда наступает праздник

Рош га-Шана, следует ли трубить в шофар – бараний рог, звук которого разносится далеко и может донестись до уха тюремщика или врага, вследствие чего непоправимый вред может быть нанесен всем евреям? Насколько ревностно должно следовать правилу «погибни, но не прегресси» и когда можно действовать по принципу «прегресси и не погибни»?

Папа послал рукопись многим выдающимся еврейским мыслителям и получал в ответ добрые отзывы и критические замечания. На сохранившемся титульном листе рукописи помещено оглавление, из которого следует, что в книге было десять разделов, а также неполный список мыслителей, благосклонно принявших книгу.

Нафтали берег рукопись как зеницу ока. Он успел забрать ее из подвала нашего дома в пётркувском гетто и затем носил с собой в маленькой котомке все семь недель нашего пребывания в Ченстохове. Когда нас погнали в Бухенвальд, он положил рукопись в свой заплечный мешок. Вызволив меня из мешка, предназначенного для сожжения, он попытался спасти рукопись, сунув ее в пустой спинной ранец. Он не знал тогда, что книга погибнет, навеки.

Несмотря на то, что рукопись погибла, она продолжала сопровождать нас на протяжении многих лет.

Минуло 37 лет со дня нашего прибытия в Бухенвальд. В начале лета 1982 года мне позвонили из синагоги на Пятой авеню в Манхэттене в Нью-Йорке и попросили подготовить лекцию для конференции по вопросам устной Торы, которая должна была проводиться через год. Приглашающая сторона желала знать тему моего выступления. Не раздумывая, я предложил им обсудить вопрос, распространяется ли заповедь освящения Имени Господа на детей. Ибо если нет – как же тогда родители, на протяжении всей еврейской истории, жертвовали своими детьми?

В июле того же года я поехал – первый раз в жизни – в далекую Австралию. В отеле, в котором я остановился в Мельбурне, меня ждало письмо от незнакомого человека, некоего мистера Хабера. Шла Ливанская война, и со мной был проведен предварительный инструктаж по обеспечению личной безопасности. Я попросил гостиничного служащего вскрыть для меня неизвестный конверт. Тот вскрыл, и вот передо мной копии страниц из книги респонсов «Имрей Коґен» рабби Йехиэля Михла ґакоґена Голландера, вышедшей в свет в 5697 году в Пётркуве. 5697 год (1936) – год моего рождения, Пётркув – город, где я родился.

К страницам книги была приложена записка: «Книга моего дяди. Я озабочен сделать для вас копии нескольких страниц. Смотрите ответ в параграфе 34». И я смотрю – и читаю: «Рабби Моше Хаиму Лау. Получил от Вас

книгу, и пишу замечания, как Вы просили. Прежде всего, по вопросу освящения Имени Господа у детей...»

38 лет прошло с тех пор, как папина рукопись погибла. И вот я предлагаю, не планируя этого заранее, обсудить один из вопросов, затрагивавшихся в книге. И в течение месяца получаю неопровержимое подтверждение тому, что папу действительно занимал этот вопрос.

Полгода спустя, в День всеобщего Кадиша¹, я прибыл в Бруклин для выступления с рассказом о Катастрофе. Опять ко мне подошел незнакомый еврей и сделал мне подарок: полное издание респонсов «Имрей Кофен».

Нафтали тогда занимал должность генерального консула Израиля в Нью-Йорке. Я навестил его и принес с собой книгу. И только тут мне стало известно, что у Нафтали сохранился остаток той книги – страница рукописи, написанная папиной рукой. Один из величайших мыслителей поколения, которому папа также посылал свою книгу для отзыва и получения критических замечаний, был рабби Дов-Бериш Вайденфельд, «тшебинский гаон», бежавший во время войны в СССР, откуда он неведомыми путями добрался до Иерусалима. Во всех скитаниях он носил собой письмо моего отца. Прибыв в Израиль, мы поехали навестить рабби Дов-Бериша, и он подарил Нафтали лист, сохранивший папин почерк. Там, в далеком Нью-Йорке, Нафтали достал этот лист, который он возил с собой из страны в страну. К моему изумлению, я нашел, что лист содержит ответ папы на замечания ребе из Тшебини по вопросу, распространяется ли заповедь освящения Имени Господа на тех, кто не достиг возраста исполнения заповедей...

* * *

В тот первый наш день в Бухенвальде мы должны были раздеться, разуться и бросить наши вещи в общую груды, возвышавшуюся посреди зала. Когда пришла моя очередь стричься, никто уже не спрашивал, что я тут делаю, никого не интересовал тот факт, что я был ребенком, невысоким, маленьким, тощим. Все делали свое дело механически, как роботы, и никому не был интересен человек, заключенный в тело из плоти и крови. Позже я понял, что это служило защитным механизмом для евреев, поставленных на обеспечение нашего приема. Чтобы не рассыпаться в прах перед лицом людей, каждый из которых был личностью, людей, конец которых был слишком хорошо известен работникам, занятым на помывке, они нарастили себе очень толстую кожу, не дававшую

¹ Пост 10 тевета. По предложению Главного раввината, принят в качестве дня поминовения жертв Катастрофы, точная дата гибели которых неизвестна.

пробиться наружу никакому чувству. Они только мыли мужчин, брили от головы до пят и щетками скребли выбритые места для дезинфекции. Щетки макали в побитый плесенью бассейн с черным от грязи раствором хлорки. Я думаю, что сумел избежать купания в заплесневелой отталкивающей жиже благодаря своему малому росту, исключительному для лагеря. После долгой толчеи в заднем ряду, где я стоял, после этапа бритья (от которого я, конечно, был освобожден) и стрижки, я попал к врачу в белом халате, делавшему прививки. Он, как и все остальные, работал как автомат, вводя шприц людям, двигавшимся к нему, как на конвейере, не глядя в лицо стоявшему перед ним человеку, не заглядывая ему в глаза. Везде был холод и отчужденность, а главное – все совершалось автоматически. Когда подошла моя очередь, врач был вынужден немного наклониться вниз из-за моего роста. Только тогда он осознал, что перед ним стоит ребенок. На его физиономии отразилось изумление. С таким ему не приходилось сталкиваться за весь период его пребывания в Бухенвальде. «Wie alt bist du?» («Сколько тебе лет?») – спросил он по-немецки. Я, уже поднабравшийся опыта в ответах на подобные вопросы, уверенно ответил: «Fünfzehn» («Пятнадцать»). Врач посмотрел мне в глаза и не поверил. Он повторил свой вопрос, я предпочел упереться: «Я же сказал, мне пятнадцать». Врач отчаялся получить от меня ответ и обратился к стоявшему позади меня Нафтали, спросив, не отец ли он мне. «Нет, – ответил Нафтали, – я его брат». Врач сказал, что он заключенный из Чехии. Правда, не еврей, но не хочет навредить мне. Он указал Нафтали на то, что если я получу полную дозу содержимого шприца, то умру на месте. «Скажи мне правду, сколько ему лет, чтобы я знал, сколько вещества ему ввести», – допытывался врач у моего старшего брата. «Семь с половиной», – быстро уточнил Нафтали, так как здесь все должно было делаться быстро и максимально эффективно. С этого момента врач-робот стал в моих глазах чешским ангелом. Он посмотрел вокруг, и в тот миг, когда ему показалось, что гестаповец на него не смотрит, выдал на пол половину содержимого шприца и с силой сделал мне укол, введя оставшуюся половину. Закончив, он споро подтолкнул меня дальше, чтобы не сбиться с ритма и привести в движение очередь заключенных, ожидавших инъекции. Благодаря своей сообразительности, умению стоять на своем и человеческой искре, не угасшей в его душе, врач-чех, который, по-видимому, был коммунистом и за это попал в Бухенвальд, также спас меня от смерти. Я прошел сортировку и остался в живых, благодаря добрым людям, встретившимся на моем пути. Размышляя о своем военном детстве, я не раз чувствовал восторг перед лицом чудес, произошедших со мной, говоря

себе, что ничто в мире не случайно, и песнь Высшего Провидения слышится во всем.

Когда этап инъекций закончился, нас загнали в узкий коридор со сводчатым потолком, из которого торчали душевые трубы. Все как один подняли глаза, на лицах у всех был написан ужас. Мы смотрели друг на друга, щуря глаза, потому что в январе 1945 года мы все уже точно знали, что означают душевые в нацистских концлагерях. Мы знали, что благодаря этим душевым они и называются лагерями уничтожения. От людей, которые бежали и выжили, приходило немало известий о газовых камерах, замаскированных под душевые, в которых множество людей рассталось с жизнью. Мы знали, что есть такие душевые, где из кранов вместо воды течет газ, вызывающий немедленную смерть в жестоких конвульсиях. И то, чего мы страшились, постигло нас в первый же день в Бухенвальде.

Внезапно один из нас рухнул на скользкий пол душевой и умер. Это был портной из местечка поблизости от Пётркува, фамилия его была Шмулевич. Его друг рассказал, что с того дня, когда Шмулевич покинул Пётркувское гетто, он постоянно держал меж зубов капсулу с ядом. Говорил, что когда наступит момент истины, когда он почувствует, что пришло время отправляться в истинный мир, то сам распорядится своей жизнью. Теперь, перед душем, он достал капсулу с ядом из-под временной пломбы в одном из зубов, проглотил ее и испустил дух.

И тогда вдруг хлопнула дверь, а из душа хлынула ледяная вода. Хлеставшие по нам мощные струи – в этом был весь смысл процедуры – должны были смыть с нас всех микробов и всю заразу, которую мы якобы принесли на себе. Люди плакали. Из глаз у них текли слезы радости. До того у всех в голове была только одна мысль: эти душевые – наша конечная остановка, отсюда нам уже не выйти живыми, мы уже не увидим своих близких. Когда обжигающе холодные струи воды ударили по нашим телам, стало ясно, что речь не идет о смертельном газе; несмотря на абсурдность ситуации, холод согривал сердца людей так, что словами это и передать невозможно.

Из душевых нас забрали на следующий этап – получать арестантские робы, одежду хефтлинга¹. Одежда включала полосатую робу в сероватую и коричневую полоску, голландские деревянные башмаки и номер. С этого момента человек окончательно переставал быть человеком, его имя стиралось, и он превращался в номер. Нафтали получил полосатую робу и номер 117029; я получил следующий по счету номер – 117030. Врач-чех со своим другом, тоже заключенным, подыскал для меня приемлемую одежду, кое-как

¹ Häftling (нем.) – заключенный.

соответствующую моим невеликим размерам. А так как было очень нелегко ходить по снегу в голландских деревянных башмаках, я получил обычные ботинки. Старые, потрепанные и на много размеров больше моей ноги. Но поскольку их можно было подвязать шнурками, я мог кое-как ковылять по снегу. К рукаву полосатой робы каждого заключенного пришивался винкель (от нем. «угол») с буквой, обозначающей его национальность: Р – для поляков, R – для русских, и, понятно, Jude – для нас, евреев. Я говорил только по-польски, имел белокурые волосы и светлую кожу, и потому мог попытаться изменить идентификацию на нееврейскую. Врач-чех и его друг отпорол с робы умершего поляка винкель с буквой Р, выдавленной на красной ткани, и английской булавкой прикололи ее к моему рукаву. Придумали мне и легенду-прикрытие: будто бы я польский мальчик из Варшавы, у которого родители погибли при бомбежке. По ошибке ребенок затесался на Умшлагплац в Варшаве, оказавшись среди евреев, и с транспортом евреев через Ченстохову прибыл в Бухенвальд. Я выучил легенду. Врач и его друг снова шепнули Нафтали на ухо, что если ребенок попадет в “Block Nummer acht” – восьмой блок, то у него есть шанс спастись. Я слышал их слова, не совсем понимая их смысл, но увидел, как в глазах у брата загорелась искорка надежды.

Вместе со всей группой я попал в блок № 52. Зрелище, открывшееся нашим глазам, было кошмарным. Две тысячи человек помещались в этом тесном пространстве, большинство из них «музельманы» – доходяги, истощенные голодом и побоями. Люди справляли физиологические потребности прямо в блоке, и вонь была невозможная. Каждое утро из блока выносили трупов сорок людей, которые так и не проснулись.

В углу блока стояла бочка с черной водой, из нее полагалось пить. Выбора не было, другие напитки не подавались. Не было также ни кружки, ни какой-либо другой емкости для воды. Люди пили из сложенных ковшиком рук, чтобы не умереть от жажды.

Только мы расположились, как прогремел голос начальника блока, Вилли: «Где польский мальчик?» Нафтали спустил меня с нар, подошел к Вилли и сказал: «Вот он». Немец сообщил мне, что в настоящий момент я остаюсь в блоке 52, но, возможно, в дальнейшем меня переведут в другой блок. Пока что я оставался рядом с Нафтали.

Мы съели ужин, состоявший из черствой, как камень, буханки хлеба на пятерых, которая распиливалась проволокой, и какой-то мутной жижи. Тут Вилли опять спросил: «Где польский мальчик?» Мы с Нафтали встали, и он дал мне одеяло. Мы оба закутались в него, пытаясь согреть друг друга. Я даже относительно неплохо выспался, потому что Нафтали был рядом.

Я проснулся, когда на улице было еще темно. Струйки ледяной воды текли по моему телу. Было ужасно холодно. Зубы стучали, коленки дрожали, мокрая роба липла к телу. В помещении блока раздалась команда: немедленно встать. Не успев понять, что происходит, мы были вытолканы наружу, в снег, которого навалило сантиметров двадцать. Приученные к подобным вещам, мы построились для проверки в шеренги по пять человек. Было приказано снять шапки и снова надеть, снова и снова: снять, надеть, снять, надеть. Род деятельности, лишенной всякого смысла, издевательство ради издеательства. Поскольку нас подняли без предупреждения, никто не успел справиться нужду. На тех, у чьих ног расплылась маленькая желтая лужа, обрушивались страшные удары резиновыми дубинками, от которых избиваемые не раз складывались пополам и замертво падали в снег. Упасть и уже не встать. Я помню, что я смотрел на людей. Несмотря на темноту, белизна снега высвечивала лица. Я помню, как все сжимали ноги из последних сил, чтобы, не дай Бог, моча не пролилась на снег, чтобы их судьба не оказалась подобной судьбе тех, кто уже был похоронен в снегу рядом.

Два дня я провел в этом ужасном 52-м блоке. Нафтали поставили на работу: доставлять трупы в крематорий. Он тянул сколоченную из двух наклонных досок телегу, на которую наваливались трупы. Заключение были тягловой силой, впрягавшейся в эти телеги. К телеге привязывалось четыре человека, двое спереди, двое сзади, и так они прибывали с трупами к крематорию. Порой было трудно понять, где здесь эвакуаторы, а где эвакуируемые. Эвакуаторы трупов и сами еле стояли на ногах и с трудом волочили телегу.

Когда я приехал в Израиль, меня научили молитве Кадиш, которая написана на арамейском языке. Подходя к фразе «бе-агала увизман карив», я был уверен, что Кадиш – поминальная молитва – читается по телегам, которые мы толкали в Бухенвальде. Прошло немало времени, прежде чем я узнал, что «агала» здесь не ивритское слово, а арамейское, и что имеются в виду не лагерные телеги, а слово «агала», означающее «вскоре»¹, и что смысл Кадиша не в скорби по умершему, а в возвеличивании Господа: «Да возвысится и освятится Имя Господа».

По прошествии двух дней в 52-м блоке Вилли сказал, что меня переводят в блок № 8. Расставание с Нафтали не укладывалось в голове, ведь я был неразлучен с ним с момента расставания с мамой. Я не мог себе представить, как пойдет моя жизнь без его постоянного присутствия рядом.

¹ חַלְלָה (ивр.) – телега, אַרְמָה (арам.) – вскоре. Оба слова произносятся «агала».

Со времен Катастрофы разлуки стали самой трудной для меня вещью в жизни. Уходя с какой-нибудь должности, которую я занимал, я всегда просил близких не устраивать никаких банкетов, ибо мне трудно выдерживать расставания. Слово «разлука» – одно из самых резких и тяжелых для меня, возможно, даже тяжелее слова «смерть». Смерть, конечно, ужасное, страшное слово, но смерть длится один миг. И как человек, верящий в вечность и в то, что душа остается после смерти, я воспринимаю смерть, как переход из сеней в парадный зал, из этого мира в мир грядущий. Разлука же, напротив, означает обрыв связей, который – на мой взгляд – таит в себе большую угрозу и который труднее переносить. Нафтали постарался убедить меня, что в 8-м блоке мне будет лучше и что только там я смогу выжить. Тот, кто носит Р на рукаве, может спастись, я же был один из счастливых, носящих эту букву на одежде. Евреев, продолжал Нафтали, вообще туда не берут, поэтому он предостерег меня, чтобы я ни в коем случае не говорил, что я еврей. Нафтали обещал навещать меня. Я расстался с ним с мокрыми глазами.

Лагерь Нафтали, который назывался еврейским, или малым лагерем (“das kleine Lager”), и блок № 8 (находившийся в пределах большого лагеря), разделяла колючая проволока с охранником, препятствовавшим переходу из одного лагеря в другой. Через несколько часов Нафтали вплотную подошел к проволоке и стал звать меня по имени. Я боялся уже меньше. Понял, что у меня не было выбора, что я был должен перейти в новый блок. Он был расположен недалеко от ворот лагеря. Я был младше всех из заключенных в блоке, хотя там было еще несколько подростков. Там был еврей по фамилии Маргулис, который пользовался правом свободного входа и выхода, иногда он позволял нам с Нафтали связываться друг с другом, чтобы я мог известить брата о том, что жив. Большинство заключенных блока были русские военнопленные. Они хорошо ко мне отнеслись, мое присутствие развлекало и потешало их. Начальник 8-го блока, Хамманн, также прилично со мной обращался. Это, возможно, единственный Гаман, которого стоило бы удостоить звания Праведника народов мира. Кажется, в блоке, не считая еврея Маргулиса, он был единственным человеком, который знал, кто я. Следуя указаниям Нафтали, я строго хранил тайну своего происхождения и никому о нем не рассказывал.

Со временем я узнал, читая мемуары бывших заключенных, что в лагере ходила, передаваясь из уст в уста, легенда о еврейском мальчике, живущем в Бухенвальде. «На работе, – писал в своей книге «Память очевидца» житель кибуца Нир-Галим Зеэв Кац, – мне сказали, что есть такое чудо, и что чудеса еще не перевелись в мире: есть некий еврейский мальчик, сын раввина,

который находится в Бухенвальде, выдавая себя за польского ребенка». Но в то время никто не предполагал, что этим мальчиком был я.

После того как нас разлучили, я долгие недели не видел брата. Я чувствовал себя одиноким и брошенным, ему же пришлось пережить ад, который трудно описать словами. Он по-прежнему пребывал, в основном, в малом лагере для евреев, сначала в 52-м, потом в других блоках. Он видел вокруг себя только трупы и дизентерию, тогда как я жил в относительно «комфортных» условиях. В моем блоке был пленный русский офицер, Федор, из города Ростова¹. Он стал для меня ангелом-хранителем. Он воровал картошку, чтобы варить мне горячую похлебку. Он распустил темный потертый свитер, который нашел у кого-то, и с помощью импровизированного крючка связал мне наушники для защиты от холода. По ночам немцы выводили нас на смотры и построения, на которых, в числе прочего, приказывали нам снимать шапки. Когда стоишь с непокрытой головой на пронизывающем холоде северо-восточной Германии, уши синеют, сворачиваются и отмерзают. Каждую ночь, перед тем как ложиться спать по четырнадцать человек на нары, как саledки в бочке, так прижатые друг к другу, что когда во сне поворачивался один, с ним должны были повернуться на другой бок и все остальные, – Федор подходил ко мне и проверял, надел ли я связанные им наушники под шапку. Чтобы, если нас поднимут посреди ночи на одно из этих проклятых построений, у меня, по крайней мере, не отмерзли уши. Я хорошо помню, как несколько раз я стоял на построении с шерстяными наушниками и чувствовал, какое это благословение для меня. Сам Федор стоял на построениях с открытыми всем ветрам ушами.

В повседневной жизни русский Федор заботился обо мне, как отец заботится о сыне. Его забота и участие придавали мне уверенности и, по-видимому, способствовали тому, что и в эти самые тяжелые и темные дни я не потерял веры в людей. В тот день, когда американская армия освободила концлагерь, пули летали у нас над головами со всех сторон. Стреляли и американцы, и осажденные немцы. Федор прижимал меня к себе, закрывая от пуль своим телом. Когда ворота лагеря распахнулись и американские джипы ворвались внутрь, он побежал к воротам вместе со мной, держа меня за руку. Федор был одним из героев моего детства. Он излучал искреннюю,

¹ Когда писалась книга, автор не знал фамилии Федора. Впоследствии, по прошествии 63 лет, тайна была раскрыта, о чем автор рассказывает в предисловии к новому изданию книги. Это был Федор Федорович Михайличенко (1927–1993). Следует отметить, что в описываемое время Федору Михайличенко было 17 лет, так что он не мог быть офицером. А будучи угнанным в Германию из Ростова-на-Дону в 1942 году 14-ти лет от роду, он не был даже красноармейцем. Но восьмилетнему Лёлеку статный Федор, вероятно, представлялся большим и взрослым.

подлинную человечность посреди царившего вокруг ада, лишавшего нас человеческого облика.

* * *

Историю Федора я рассказал 44 года спустя, во время поездки в Советский Союз в начале 1989 года. Это было начало периода гласности, СССР находился на грани развала, в результате которого распался на 15 республик, и железный занавес начал понемногу подниматься. Горбачеву советовали приложить усилия к установлению связей с еврейским миром. Требование «Отпусти народ мной!» еще не было удовлетворено в полной мере, и протесты продолжались. Советская верхушка полагала, что мировая пресса, обсуждая подавление еврейского движения в СССР, бьет по отношению страны с Западом. Это обусловило инициативу пригласить шесть раввинов из разных стран посетить Советский Союз – Ленинград и Москву. Власти приняли решение допустить встречу раввинов с остатками еврейских общин при синагогах в этих городах. В то время я занимал должность главного раввина Тель-Авива-Яффо и в делегации представлял самую большую еврейскую общину. В силу этого я был избран ее спикером.

В Москве мы встретились с несколькими пожилыми евреями в Хоральной синагоге на улице Архипова. Мы спросили об их пожеланиях, что нам следовало бы сказать от их имени, если нам разрешат говорить в Кремле. Ни один еврей в синагоге не попросил продуктов, лекарств или выездной визы. Мы знали о трудностях существования евреев в Советском Союзе, тяготах повседневной жизни, однако старейшина в синагоге предпочел выплеснуть перед нами горячее желание членов общины быть похороненными на еврейском кладбище как самую жгучую из насущных проблем. Когда я спросил, почему для него это важнее всего остального, он ответил: «Я старик, одной ногой уже в мире истины. Но у меня есть дочь и два внука, они евреи. Если я буду похоронен вместе со всеми членами партии, моим внукам не придет в голову задавать вопросы – и они ассимилируются. Если же я буду лежать на отдельном участке и они спросят, почему так, то дочь сможет рассказать им, что я был еврей, и тогда есть шанс, что и они останутся евреями».

Я заинтересовался, есть ли прецеденты существования отдельных участков для захоронения на кладбищах в Советском Союзе, и евреи в московской синагоге рассказали, что армянам удалось получить собственные кладбища. Я сохранил просьбу старика в своем сердце.

Я прибыл в Советский Союз 1 мая, праздник трудящихся, а 3 мая мы были приглашены в Кремль. Эта дата пришлась на 28 нисана, следующий день после Дня Катастрофы. Как спикеру делегации, мне предоставили слово.

Я поблагодарил за гостеприимство и вдруг вспомнил о дате и обратился к секретарю Президиума Верховного Совета, Тенгизу Ментешашвили. Я сказал ему: «Товарищ Ментешашвили, сегодня у меня день рождения. 44 года». Он смотрел на меня без всякого выражения на лице. Его несколько не интересовало, сколько мне лет, но я продолжал гнуть свое. Объяснил, что на самом деле мне 52 года, и тем не менее я отмечаю свой 44-й день рождения. На данном этапе, я полагаю, он уже думал, что я не совсем нормальный, но я не уступил и продолжил рассказ о себе: «По еврейскому календарю сегодня 28 нисана. Вчера был наш День Катастрофы. Когда американская армия освобождала концлагерь Бухенвальд в Германии и меня в нем, я бы наверняка погиб под градом американских и немецких пуль, если бы один мужчина не прижимал меня к себе, прикрывая от них своим телом. Все, что я о нем знаю, – это то, что он был русским военнопленным, что его звали Федор, и он был из Ростова. Товарищ Ментешашвили, хочу вам рассказать: в те ужасные дни в Бухенвальде русские и евреи были вместе, плечом к плечу боролись против нацизма, против сатаны, против зла, против пролития крови невинных людей. После своего освобождения я праздную день рождения в этот день, ибо, если бы не русский офицер Федор, за мою жизнь нельзя было бы дать и ломаного гроша. Я родился заново в возрасте восьми лет, 44 года назад, не в малой степени благодаря Федору. Если тогда, в тяжелую годину, мы могли протянуть друг другу руки, почему мы не можем сделать это сегодня? Цель нашего визита – протянуть вам руку дружбы, чтобы вместе бороться со злом, с человеконенавистнической идеологией. Я хочу, чтобы вы знали, у нас с вами очень много общего». Мои товарищи раввины, не знавшие моей истории, утирали слезы с глаз, когда я рассказал ее российскому руководству. А Ментешашвили схватил карандаш с середины стола, один из его референтов поспешил подать ему блокнот, и записал три слова кириллицей: «Федор из Ростова».

На следующий день в правительственной газете «Известия» появилась заметка о визите в Советский Союз делегации раввинов. На другой странице было краткое объявление: каждого, кто имеет сведения о человеке по имени Федор, уроженце Ростова, который был освобожден из концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года, просят связаться с Кремлем по телефону, номер которого был указан в объявлении. Объявление это не возымело последствий, не преуспели и другие мои попытки найти Федора. Но после того, как я рассказал историю Федора, лед был сломан, и за столом из красного дерева в Кремле велась дружеская беседа между раввинами и людьми из администрации Ментешашвили. Тогда я передал ему просьбу местных евреев о выделении им отдельного участка для захоронений. Через переводчика Кирилла Ментешашвили спросил, известно ли мне о подобных

прецедентах в Советском Союзе. Он полагал, что я произвел необходимое расследование, прежде чем выложил ему свою просьбу. И я уверенным голосом указал на тот факт, что армяне имеют отдельные кладбища. Ментешашили внимательно выслушал меня и тем же остро отточенным карандашом, которым записал в свой блокнот имя Федора из Ростова, постучал по столу и раскатистым голосом провозгласил: «Если так, то никакой дискриминации не будет – если у армян есть кладбища, то будут и у евреев». И на одном дыхании добавил: «Сегодня ведь 3 мая, верно? А 1 сентября 1989-го наш министр образования Геннадий Ягодин¹ объявит о том, что евреи – как любое другое национальное меньшинство – имеют право посылать своих детей для обучения в любую школу по своему усмотрению. Уважаемый господин раввин, вы говорите со мной о кладбищах, я же обещаю вам еврейские школы».

Это была полная неожиданность, я никак не ожидал столь широкого жеста, и был совершенно счастлив. Перед глазами у меня встал старик из синагоги, чья мечта сбылась.

Благодаря Федору, пленному русскому офицеру из Бухенвальда, рухнула стена недоверия между раввинами и русским лидером. Федор внес свой вклад спустя годы после того, как мы расстались в Бухенвальде. Благодаря ему евреям Советского Союза было предоставлено право на национальное образование и собственные кладбища. Сомневаюсь, что ему известно об этом вкладе. Но о том, что в страшные дни Бухенвальда я остался в живых в 8-м блоке во многом благодаря ему, он знал точно.

* * *

Я, конечно, был «польским мальчиком» и, как кажется, остался в живых благодаря букве-избавительнице Р, однако повседневная жизнь в лагере все-таки была тяжелой и мучительной. Во тьме, царившей там, были одинокие проблески света, которые я старался увидеть и запомнить. Один момент все время мелькает у меня в памяти: Нафтали снова и снова подходит к забору с колючей проволокой, огораживавшему мой блок, и каждый раз он выглядит хуже, чем в предыдущий. Более худым, более изможденным. И я, Лёлек, его младший брат, протягиваю ему намазанный маргарином ломтик хлеба, сохраненный мною исключительно для него. Я помню, как я смотрел на него с удовольствием, пока он грыз этот тоненький кусочек хлеба. Я был горд своим успехом: достал хлеб для старшего брата, дал ему

¹ Геннадий Алексеевич Ягодин – председатель Государственного комитета СССР по народному образованию.

поест, возможно, благодаря мне он потеряет в весе чуть меньше. Я даже пытался достать для него ботинки, но безуспешно.

Несмотря на польскую идентификацию, благодаря текущим сообщениям Нафтали я был в курсе всего происходившего среди евреев в лагере. Так как я был мал, то немногому успел научиться, и мои познания в иудаизме были весьма скудны.

Когда подошло время праздника Песах, Нафтали и его товарищи знали, что сделают все, чтобы не есть квасного в праздник. Правда, квасного в их распоряжении было 100 грамм в день на человека, и тем не менее им было важно соблюсти заповеди Песаха. Уже в начале января Нафтали и его друзья приступили к приготовлениям и собрали немного картошки. Они рассказывали мне об этих приготовлениях и пытались объяснить их смысл. До января меновая ценность картошки установилась таким образом: три картофелины за дневную пайку хлеба, однако с приближением праздника обменные тарифы изменялись. По принципу взаимозависимости спроса и предложения, стоимость хлеба росла, а стоимость картошки падала. В то время я не соблюдал Песах, в первую очередь потому, что не знал о его существовании. Однажды ослабевший Нафтали, волоча ноги, пришел к 8-му блоку, подойдя со стороны заднего забора. Я услышал его слабый голос, окликавший меня, и быстро вышел к нему. Он вынул из карманов несколько картофелин, пояснив, что не сможет работать с трупами в крематории с набитыми картошкой карманами, и поэтому он принес мне этот продукт, заготовленный к Песаху. Меня он попросил беречь картошку как зеницу ока. Тогда, практически в первый раз, Нафтали объяснил мне, почему картошка так важна, и добавил несколько слов о запрете употребления в пищу квасного. Картошку, сданную мне на хранение, я берег самоотверженно. Тем временем, пока Натали с друзьями добавляли картофелину к картофелине в ожидании Песаха, наступил Пурим. Историю празднования Пурима в лагере я, кстати сказать, услышал значительно позднее.

Евреи в Бухенвальде решили отметить и Пурим, насколько это было возможно. Не было *мишлоах манот*¹, подарков бедным, праздничной трапезы, но прочесть свиток Эстер было нужно и – можно. Свитка ни у кого не было, однако от идеи не отказались. Несколько пожилых евреев в лагере посоветовались и решили за несколько дней до срока, что им следует «восстановить из праха» и восстановить текст свитка по памяти. Было решено, что каждый запишет то, что он помнит, а редколлегия, составленная из старейшин блока, постарается скомпоновать все отрывки в правильном порядке. Наиболее значимые стихи помнили все, например: «И было во

¹ Принятый в праздник Пурим обряд «посылки яств» друзьям и знакомым.

дни Ахашвероша», «И настала для евреев пора просвета и радости, и веселья, и почета», «Был один еврей в столице Шушане, и имя его Мордехай», «А Мордехай не становился на колени и не падал ниц»¹. Евреи Бухенвальда записывали стихи свитка углями на желтой бумаге от мешков с цементом. В канун праздника Пурим в лагере прочитали свиток Эстер, без благословения, ибо свиток не был кошерным: написан не на пергаменте и не полон, и тем не менее поднятый из глубин человеческой памяти текст сумел воссоздать традиционную атмосферу праздника, хотя в силу обстоятельств и в ограниченной мере. Под конец евреи спели гимны со столь значимыми, символическими строками: «Лилия Иакова ликовала и веселилась... Спасение их – навеки, упование их в каждом поколении... не устыдятся и не будут опозорены все прибегающие к Тебе». Когда запели «Да будет проклят Гаман, желавший моей гибели», ни у кого из присутствовавших не было сомнения, кто имеется в виду. А слова «Благословен еврей Мордехай» вдохнули надежду в сердце каждого.

Назавтра после скромного празднества рано утром евреи по глубокому снегу пошли на работу. Некоторым было трудно идти, и упавший оставался лежать похороненным под снегом, или же украинские охранники били его прикладами по голове, так чтобы он уже не встал. Евреи, от которых я слышал историю празднования Пурима в Бухенвальде, снова и снова рассказывали об одном гурском хасиде по имени Аврагам Элиягу. Он тоже стал одним из героев моего детства, одной из тех личностей, перед которыми я преклонялся. Он был высок, широкоплеч, что называется ладно скроен и крепко сшит. Сильный парень с исключительным характером. Для него, в отличие от других евреев, не составляло проблемы уверенными шагами, выпрямив спину, идти на работу, но он упорно не хотел становиться во главе колонны, а всегда добровольно шел в хвосте. Всю дорогу из барака он подталкивал в спину тех, кто уже был не в силах идти сам. Его называли «Аврум дер пушер», «Аврум дер штифер»². Он поднимал слабых правой рукой, поддерживал сгибающихся левой и грудью толкал их вперед. Заметив, что кто-нибудь из его братьев-евреев оступается и падает, быстро хватал его и придавал ускорение, чтобы тот мог идти дальше сам. В глазах всех он выглядел каким-то сказочным героем. Даже украинцы-охранники восхищались им. Наутро после Пурима, когда читали импровизированный свиток Эстер, Аврум, по своему обыкновению, подталкивал и спасал оступавшихся и падавших евреев. Один украинец, очень уважавший статного еврея, не смог удержаться и шепнул

¹ Мегилат Эстер, 1:1, 8:16, 2:5, 3:2.

² Аврум-толкач, Аврум-проказник (идиш).

ему на ухо два слова: «Гитлер капут». За минуту, как электрический ток по проволоке, известие распространилось от Аврума в хвосте колонны до самой ее головы. Неожиданно самые доходяги из евреев, «музельманы», распрямили спины и зашагали вперед без посторонней помощи. Кто-то посреди колонны стал напевать, и сразу к нему присоединились все: «Да будет проклят Гаман, желавший моей погибели, лилия Иакова ликовала и веселилась». Ночная песнь снова прозвучала утром, примерно за месяц до освобождения. Это был единственный раз, когда евреи в Бухенвальде шли на принудительные работы с песней.

Пасхальный седер был также проведен в лагере в положенный срок. Не один раз был пропеты стихи: «Приблизь день, который не день и не ночь, сторожей поставь в городе своем на каждый день и каждую ночь. Озари, как светом дня, тьму ночную»¹. Не было Агады, не было мацы, но и квасного не было заметно у евреев. Только картошка. В невозможных условиях лагеря евреи старались сохранить, насколько это было в их силах, свое еврейство.

* * *

В первых числах апреля стала слышна с каждым днем приближавшаяся канонада. Повсюду ходили слухи о близком окончании войны, о терпящих разгром нацистах, о надежде – и, может быть, шансе – остаться в живых. В 8-м блоке надежда эта выражалась более твердо, ибо условия содержания в нем были относительно хорошими по сравнению с другими блоками. Мы получали миску баланды раз в день, нас меньше били и не использовали на тяжелых работах, как остальных обитателей лагеря. Я четко осознаю, что если бы не мой перевод в 8-й блок, я бы не выжил. Немцы готовились эвакуировать лагерь в преддверии близящегося окончания войны и перевезти заключенных – эшелонами – куда-то дальше. Нафтали содержался в блоке, заключенные которого должны были погрузиться в поезд. Перед отъездом он пришел проститься со мной. Ему было важно, чтобы я знал, что его забирают. Он подверг себя опасности, покинул барак и дотащился до моего блока. Тут он заметил, что у входа в мой блок стоят офицеры СС, отчего в голове у него загорелась красная лампочка. У него мелькнула мысль, что заключенных 8-го блока, или, по крайней мере, детей, бывших среди них, собираются уничтожить так же, как и остальных обитателей лагеря.

Несмотря на присутствие эсэсовцев, Нафтали не отказался от намерения проститься со мной. Он только нашел более безопасное место, подойдя

¹ Один из псалмов Пасхальной Агады. Автор – Яннай, VI век н.э., Эрец-Исраэль.

к забору с задней стороны блока, где охрану не выставляли. Из последних сил он позвал меня. Он говорил со мной только одну или две минуты, но все, что он сказал, навеки запечатлелось в моей памяти, как если бы это было его последнее напутственное слово. «Лёлек, меня забирают. Я надеюсь, хотя и не уверен, что мы еще увидимся когда-нибудь. Знай, что оттуда, куда меня увозят, нет дороги обратно. Ты уже большой мальчик, через два месяца тебе исполнится восемь лет. Я не хочу скрывать от тебя правду, да это и невозможно. Я не вижу для себя шанса спастись из этого ада. Это конец света. Как ты знаешь, у нас нет больше папы, Милека тоже забрали, я не знаю, какая судьба постигла маму. Она, конечно, все время думает и говорит о нас, но я не уверен, что она жива. Теперь и меня забирают, и ты остаешься один. У тебя тут есть друзья, как я видел. Хамманн, начальник блока, – хороший человек. Федор тебя любит, Маргулис немного заботится о тебе. Может, случится чудо, и ты останешься в живых, а все это когда-нибудь закончится. Я пришел, чтобы сказать тебе, что на свете есть одно место, которое называется Земля Израиля. Скажи «Эрец-Исраэль». Еще раз. Повторяй за мной». И я, ни слова не знавший на иврите, повторил за ним эти два – Эрец-Исраэль, не понимая их смысла. Нафтали объяснил: «Эрец-Исраэль – это дом евреев. Оттуда нас изгнали и туда мы должны вернуться. Это единственное место в мире, где не убивают евреев. Так вот, если ты останешься в живых, наверняка найдутся люди, которые захотят взять тебя с собой, в другие места, потому что ты славный мальчик. Знай, что ты никуда не поедешь, ни в какое другое место. Помни, что я тебе сказал: только Эрец-Исраэль. Там у нас есть дядя». Нафтали имел в виду рабби Фогельмана, который был раввином еврейской общины Катовице, сумел бежать в Палестину в 1940 году и стал раввином города Кирьят-Моцкин. Но Нафтали не стал засыпать меня этими деталями, а ограничился упоминанием самого факта существования нашего дяди. Он продолжил: «Наш дядя в Земле Израиля, конечно, хочет знать, что с нами происходит. Когда ты спасешься и прибудешь в Эрец-Исраэль, скажи свое имя, что ты сын раввина Лау из Пётркува. Это-то ты ведь знаешь. Чтобы стали искать твоего дядю по твоему имени. А он уж найдет тебя сам. Прощай, Лёлек. Помни. Эрец-Исраэль». И все. Он пошел в сторону лагерных ворот. Я видел его спину, она все дальше удалялась от меня, пока совсем не исчезла из видимости. Нафтали же помнит, как он уходил все дальше и дальше, и все время слышал мой громкий плач.

Нацисты вывели людей из блоков и погнали их к воротам лагеря, чтобы не оставить внутри ни одного живого заключенного, бывшего свидетелем зверств, которые они творили. Они погрузили всех в эшелон, и не выжил ни один человек из тех, кто попал в этот поезд. Через две недели после

освобождения лагеря американцы нашли этот брошенный поезд, сотни трупов заполняли его вагоны. Трупы узников Бухенвальда. Нафтали оказался среди тех, кто остался на перроне, потому что в эшелоне не хватило места для всех заключенных. Оставшиеся были переведены в здание столярной мастерской, где должны были ожидать прибытия следующего эшелона. Нафтали искал способ ускользнуть. Он разбил окно и спрыгнул с третьего этажа на территорию лагеря. 5 апреля он, тем не менее, оказался в поезде, зажатый в тесной толпе евреев, пытавшихся скрыться, как и он. Он решился спрыгнуть с поезда на ходу. Несколько дней, все больше теряя силы, он шел дальше – его двигала вперед возложенная на него миссия. В его ушах отдавался эхом голос мамы в ноябре 44-го: «Береги ребенка», папа просил его спасти Лёлека в октябре 42-го. Он помнил о взятом на себя обязательстве, и это удерживало его на ногах. Он шел долгие часы лесами и полями, пока не вышел снова к воротам лагеря. Из последних сил он пополз к 8-му блоку, рядом с которым упал без сил. Спустя два часа, 11 апреля 1945 года, американские самолеты пролетели над Бухенвальдом на бреющем полете. Нафтали забрали в больницу и поместили в изолятор. Кто-то из блока взял меня туда, чтобы я мог его увидеть. Я пришел в ужас от его вида, но был рад, что он жив. Потом выяснилось, что он заболел тифом. Каждый день я приходил к окошку над его койкой в палате, чтобы увидеть его и чтобы он меня увидел. Мало-помалу Нафтали поправлялся, но тогда заболел я, корью.

Мой старший брат настоящий герой для меня. Не проходит дня, чтобы я не представил себе картину, как мой брат прыгает с поезда смерти. Не для того, чтобы спасти себе жизнь, а потому что оставил меня – Лёлека – одного в 8-м блоке Бухенвальда. Как у него в ушах отдается эхом крик мамы в ноябре 44-го, когда она бросила меня ему в руки на станции в Пётркуве: «Толек, береги Лёлека». И завещание папы, велевшего нам продолжить династию. У Нафтали была миссия и обязательства, и он не мог позволить себе не выполнить их. Эта миссия помогла ему спастись. Он пережил долгий период недосыпания, холода, голода и болезней, в результате чего утратил интерес к жизни. Но он знал, что ему нельзя опуститься, поднять руки, сдаться.

Мне бы хотелось закончить эту главу словами самого Нафтали, завершающими словами его книги «Народ как лев»: «Пятьдесят лет я нес на себе бремя, которое возложил на меня отец перед тем, как отправиться на смерть в Трешлинку. Он оставил у меня на руках худенького слабого мальчика, которому было пять лет, а выглядел он на три, а может, и того меньше. В течение трех лет я был для этого мальчика, моего младшего брата Исраэля Меира, или Лёлека, как мы его звали, отцом и матерью, сторожем и телохра-

нителем. Зачастую я чувствовал, как отчаяние овладевает мной и, обессиленного, ввергает меня в небытие. По-видимому, именно отцовский наказ и возложенная им на меня миссия: доставить брата к безопасному берегу и обеспечить в его лице продолжение семейной раввинской династии, поддерживали во мне жизнь и придавали мне решимости продолжать борьбу за наши жизни и не покориться ужасной судьбе, ставшей уделом остальных членов семьи. В новолуние месяца адар, 21 февраля 1993 года, я стоял вместе с младшим братом у Западной Стены и молился вместе с ним, это был полуденная молитва – минха. На том же месте я стоял с ним за 48 лет до этого, когда мы впервые попали в Иерусалим. В тот раз он уставился в камни Стены, не понимая, что видят его глаза. На этот раз он молился в преддверии своего избрания, ожидаемого примерно через два часа, на самый высокий пост раввина в Израиле. Мой младший брат, вышедший из-под груд пепла лагерей уничтожения, удостоился славы и признания и был избран в тот день Главным раввином Государства Израиль. Я всматривался в него, стоя рядом, и у меня на глаза наворачивались слезы. Выхода с площади перед Стеной, я чувствовал огромное облегчение, ибо тяжелое бремя упало с моих плеч и моей совести. Я знал, что почти невыполнимая моя миссия – выполнена».

Освобождение – «Отпусти меня, ибо взошла заря»¹

Как оторванный лист, я укрывался в 8-м блоке в день освобождения лагеря, 11 апреля 1945 года. Я прятался, я просто хотел выжить. Я собирал картофельные очистки и грыз их, пока они не исчезали во рту. Я свернулся калачиком, надеясь, что меня никто не заметит. Я знал, что на улице что-то происходит. Разговоры об освобождении велись повсюду, но мы не знали, кто будут освободители, американцы или русские. Опасения, высказывавшиеся шепотком в каждом углу, заключались в том, что даже если русские – или еще кто-нибудь – придут, вряд ли мы почувствуем вкус свободы. По моему малолетству со мной не говорили об этих тайных делах, но какие-то отголоски до меня долетали, я воспринимал обрывки фраз и общую атмосферу, царившую в бараке. Федор, русский заключенный, к которому я питал полное доверие, сказал, что боится, как бы в последний

¹ Берешит, 32:27.

день подонки не убил нас всех, поняв, что им нечего терять. По принципу «да погибнет душа моя с филистимлянами»¹, хотя выражение это наверняка было неизвестно Федору.

Эта извращенная идея не только не удивила меня, напротив, она прочно завладела моим разумом и не желала ослаблять свою хватку. Я сказал себе, что нужно только пережить эти несколько дней, пока не придут наши спасители, которые вызволят нас со смертного двора Бухенвальда. Раскаты взрывов, непрерывно раздававшихся снаружи, докатывались до блока и ясно указывали на то, что на улице вокруг происходит что-то исключительное, но я не мог представить себе суть происходившего. Я только был в состоянии чувствовать напряжение, непрекращающиеся разговоры украдкой, внутреннюю собранность окружавших меня людей.

Утром дня освобождения со двора 8-го блока, который, как уже говорилось, располагался недалеко от ворот лагеря, я заметил людей, вышедших из своих бараков. В это утро, в нарушение жесткого распорядка лагеря, они не пошли на работы. В «обычный» день такую картину невозможно было представить: в Бухенвальде царила железная дисциплина. Люди не слонялись без дела вне своих блоков. И вдруг в один день все правила оказались нарушены, как будто бы их и не было. Все как бы взяло и рассыпалось в прах. Мощная башня рухнула, превратившись в кучу обломков.

В небе над лагерем кружило несколько самолетов, казалось, что, заходя на круг, они каждый раз снижаются, как будто летчики пытались разглядеть, что происходит в этом темном месте, где все виделось в искаженном свете.

Освобождение связано в моей памяти с этими самолетами и с реакцией людей вокруг меня: каждый раз, когда над нами проносился самолет, люди махали ему шапками и хрипло выкрикивали одно слово – «ура!». Эти крики предвещали большую радость, которую я не мог объяснить себе. Я не понимал, кому и почему кричат «ура», но чувствовал скрытую в этих криках радость.

Когда по лагерю стал распространяться слух, что американские джипы прорвались через ворота и въезжают в Бухенвальд, все прояснилось. В своей книге «Народ как лев» Нафтали описывает шестерку американских солдат, вышедших из джипа: «Несколько из них сняли каски и рассматривали нас в изумлении. Я посмотрел на лица десятков людей, стоявших рядом со мной. Все были потрясены, как и я. Мы все пронзали взглядами этих шестерых солдат, один из них был черным. Мы знали, что это – спасители, которых мы так долго ждали».

¹ Шофтим, 16:30.

Шестеро солдат, потрясенных не меньше узников лагеря, засыпали их конфетами и сигаретами, залезли в джип и исчезли, оставив сцену основным силам дивизии, подошедшей вслед за ними.

Было ясно, что нашим страданиям пришел конец. Железные ворота, высокомерно и уверенно возвещавшие «Каждому свое», в один миг утратили свою пугающую силу. В них не осталось ничего наводящего ужас. За считанные секунды повыскакивали на улицу и все узники 8-го блока, чтобы собственными глазами увидеть и убедиться в верности слухов о том, что ворота распахнулись.

И действительно, после шести лет, в течение которых ворота были замкнуты, они внезапно оказались открытыми, и началась новая жизнь.

* * *

Во всей этой буре событий неожиданно раздался выстрел со сторожевой вышки. Одна из пуль попала в часы, установленные над надписью на воротах лагеря. Часы остановились, показывая три часа с четвертью. Много позже, в январе 1991 года, я посетил лагерь, который тогда еще был под суверенитетом Восточной Германии. К своему изумлению, я обнаружил, что стрелки часов стоят на трех часах с четвертью. Я спросил экскурсовода, почему не починят часы и не пустят их заново. Ответ его был прост и для меня исполнен глубокого смысла: «Эти часы остановились 11 апреля 1945 года, в день освобождения Бухенвальда. Часы остановились и стоят так с тех пор, как напоминание и предостережение. Мы намеренно не чиним их». Я устремил взгляд на часы с застывшими стрелками, погружаясь вглубь времени, в мое детство в Бухенвальде, и размышляя о пути, проделанном мной с того дня, дня освобождения, когда я был как оторванный лист, и по сей день.

Я продолжил экскурсию по лагерю и попал в следственную камеру, где пытали людей. В очень толстой стене камеры было маленькое окошко, забранное железной решеткой. Я издали заметил в глубине выцарапанные на бетоне подоконника буквы. Взволнованный удивительным открытием, я подошел ближе, и глаза мои различили еврейские буквы. Сколько же сил потребовалось какому-то измученному еврею, который ногтями выцарапал в бетоне слово «некомэ» – мечь!

Я мог почувствовать всю энергию, все могучие силы, с которыми собрался этот еврей в последние минуты своей жизни, я мог почувствовать его муку и его непреклонное желание оставить братьям своего рода завещание: отомстить за все, что сделали нацисты с ним и его братьями-евреями. Спустя годы после ужасов нацизма, снова ступив на землю Бухенвальда в качестве официального представителя Государства Израиль, я ощутил,

как скупая слеза наворачивается в углу глаза, когда увидел еврейские буквы в бетонном чреве лагеря.

* * *

В тот день, в апреле 1945 года, я вместе со всеми бежал к воротам лагеря, толпа неслась, как поток, прорвавший плотину. Федор, военнопленный русский офицер, мой спаситель и защитник, крепко держал меня за руку, по своему обыкновению, стремясь защитить меня. Каким-то образом я освободился от его хватки, а может, толпа разнесла нас в стороны, но я продолжал один бежать к воротам.

В апреле 1945 года мне еще не исполнилось восьми лет. Многие из событий того дня я не помню сам, но знаю о них по рассказам людей, которые я слышал десятки лет спустя.

* * *

В 1978 (5738) году я согласился – по просьбе городской администрации Нетании – выставить свою кандидатуру на выборы раввина города. Мне был тогда 41 год, то есть я был очень молод для столь почтенной должности: Нетания была шестым по численности населения городом страны. И, тем не менее, они сказали, что мои шансы быть избранным весьма высоки. Меня пригласили на беседу с мэром города Реувеном Клигером, членами городской администрации и партактива партии «Маарах» в Нетании. Желая произвести впечатление на главу города, я сказал, что если меня выберут, то я намерен, исполняя обязанности городского раввина, продолжить раввинскую династию, из которой я происхожу¹.

Четыре часа я провел за беседой с мэром города и его людьми, и все эти четыре часа с нами сидел, не раскрывая рта, человек с головой, увенчанной гривой седых кудрей.

¹ Рассказав мэру города о родительском доме и городе, где я родился, я пожелал узнать о его происхождении: «А откуда вы родом, господин мэр?» «Из Галиции, – ответил он. – Папа из Львова, мама из Кракова». «А из какого города вы сами?» – продолжал я расспросы. Мэр хотел уйти от ответа, заметив лишь, что это малюсенькое местечко, названия которого я никак не мог слышать. Я надавил. «Даже у маленького местечка есть название и свое выражение лица», – заявил я. Он уступил и сказал, что он уроженец Пробужны. Я рассказал ему, что в Пробужне служил раввином величайший знаток Галахи, комментатор «Шулхан-Аруха» рабби Давид Сегал, которого называли Гатаз по аббревиатуре названия его труда «Турей Зафав» и который был одним из моих дедов. «Дедушка был раввином у вас в местечке, и может статься, что внук станет раввином у вас в городе», – сказал я. Мэр был поражен. С великим волнением он рассказал, как его отец однажды взял его ребенком в синагогу Гатаза. (Более подробно история Гатаза рассказана в главе «Семья отца».) (Прим. автора.)

Только когда я поднялся, прощаясь и пожимая руки, человек этот обратился ко мне и остальным собравшимся: «Товарищи, уважаемый раввин, прежде, чем мы разойдемся, позвольте и мне сказать несколько слов. Сейчас вы поймете, друзья мои и господин раввин, почему я молчал все это время. Не потому, что мне нет дела до выборов главного раввина впервые в истории Нетании, напротив. У меня особенный интерес, потому-то я и молчал. Все эти часы, которые я сидел напротив раввина Лау, я заново проживал день 11 апреля 1945 года. Я был узником печально известного концлагеря Бухенвальд, куда попал из моего родного города Жарки, что в Польше. 11 апреля американские самолеты кружили в небе над лагерем. Заключенные, и я в том числе, выбежали из бараков, и непроизвольно помчались к воротам лагеря, в надежде на освобождение. Освобождение после шести лет ада. Мы еще бежали, как на нас обрушился шквал свинца. Мы не имели никакого понятия, кто стреляет, откуда стреляют и почему. И вообще, что происходит. Только знали, что нам угрожает опасность.

Среди бегущих к воротам был маленький мальчик. Потом я узнал, что его звали Лёлек и ему еще не было восьми лет. Совершенно естественно я понял, что если в Бухенвальде есть ребенок, то он обязательно окажется евреем. Я прыгнул на него, повалил на землю и лег сверху, прикрывая его от пуль. И вот сегодня я вижу его перед собой, целого и невредимого, потому что раввин Лау и есть тот Лёлек, мальчик из Бухенвальда. И я заявляю вам всем: если я, Дувид Анзелевич, который спасся из ада и воевал в Пальмахе, а сегодня исполняю обязанности заместителя мэра города в Израиле, если я удостоюсь увидеть, как этот мальчик – которого я прикрывал своим телом – станет моим духовным пастырем, то я, Дувид Анзелевич, скажу вам, – и он грохнул кулаком по столу так, что стоявшие на столе стаканы зазвенели от силы удара, – значит, есть Бог». Воцарилась полная тишина, никто из присутствовавших не мог вымолвить ни слова. Я был поражен и изумлен рассказом, который услышал первый раз в жизни. Давид Анзелевич крепко обнял меня, и мы расстались без слов. В течение последующих девяти лет я исполнял обязанности городского раввина Нетании.

* * *

Таким образом, Давид Анзелевич спас меня от шквала огня, а я и не знал об этом. Следующая картина, которую я помню после того, как оторвался от Федора и после свиста пуль над головой и грохота пушечных выстрелов, – как около ворот лагеря моим глазам, которые, казалось, уже успели повидать все, открылась огромная гора трупов.

Помню также американских солдат, впоследствии я узнал, что это были солдаты дивизии генерала Паттона, они входили в ворота лагеря. Помню

выражение ужаса на их лицах, когда они вошли в лагерь и собственными глазами увидели ад, лица музельманов в полосатых робах, трупы и потоки крови тех, кто погиб от пуль немцев, расстреливавших последние патроны, целясь в каждого, кто попадался им на глаза. Помню, как они в шоке застыли на месте, не в состоянии сделать еще шаг.

Я тоже застыл на месте. Меня охватил жуткий страх перед этой новой армией, появившейся в воротах лагеря. Я не знал, они с нами или против нас. Я спрятался за кучей трупов. Раввин Гершель Шехтер, военный раввин дивизии Паттона, а впоследствии председатель конференции президентов еврейских общин США, не раз рассказывал о нашей с ним встрече.

Он вышел из одного из джипов, в военной форме, и остановился против груды тел. У многих из них еще продолжала течь кровь, многие еще хрипели и стонали от боли. Вдруг ему показалось, что он видит пару открытых живых глаз. Его охватил страх. Возможно, он даже выхватил для самозащиты пистолет, следуя солдатской выучке. Осторожно, медленно продвигаясь вперед, он стал оглядывать груду тел. И тут – я ясно это помню – он наткнулся на меня – ребенка восьми лет от роду. Широко раскрытыми глазами я смотрел на него из-за кучи тел. Выражение изумления появилось у него на лице: на поле смерти и погибели, среди луж крови – вдруг ребенок! Я окаменел от страха. Ему же было ясно, что ребенок в этом месте означает, что это еврейский ребенок. Раввин вложил пистолет в кобуру, схватил меня обеими руками, по-отечески обнял и взял на руки. Затем спросил на идише с резким американским акцентом: «Ви алт бисту, майн кинд?» («Сколько тебе лет, мой мальчик?») Я видел, что у него текут слезы из глаз. Несмотря на это, я все еще был напуган, и ответ мой оказался осторожен, как у человека, охраняющего себя от посягательств извне: «Какая разница? В любом случае я больше старик, чем ты». Он улыбнулся мне сквозь слезы и спросил: «Почему ты думаешь, что ты старше меня?» Я ответил без колебаний: «Потому что ты плачешь и смеешься, как ребенок, а я уже давно не смеялся и даже плакать больше не плачу, так кто из нас двоих старше?»

После этих пронзительных слов он представился. Тогда наш разговор принял более непринужденный и доверительный характер. Рабби Гершель Шехтер спросил, кто я, и я ответил: «Лёлек из Пётркува».

– Кто твоя семья? – допытывался он.

– Мой папа был раввином Пётркува.

– А ты здесь один, без папы?

– Без папы, без мамы, но у меня есть брат. Он болен, не может ходить.

Лежит здесь, в лагере.

Рабби Шехтер заслужил еще большее доверие с моей стороны, когда сказал, что слышал о моем отце. И о нем – раввине из Пётркува, и о его двоюродном брате – рабби Меире Шапиро – прославленном раввине из Люблина, выдвинувшем идею дневного листа Талмуда. Мое сердце преисполнилось радостью.

После этого раввин взял меня за руку, и мы вместе стали обходить бараки, неся добрую весть об освобождении. В некоторые бараки я заходил вместе с ним, в другие он входил один. Я помню, что там лежали люди с погасшими глазами, у них не доставало сил даже на то, чтобы встать с нар, побежать к воротам и вместе со всеми кричать «Ура!». «Евреи, вы свободны!» – кричал американский раввин на идише. Люди удостаивали его удивленного взгляда, словно беззвучно спрашивая: кто этот мешигинер, стоящий здесь в форме и орущий на идише?

Это действительно было странное зрелище, почти сюрреалистическое. Недогоревшие человеческие головни, брошенные на деревянные нары, а против них стоит, выпрямив спину, полный решимости рабби Гершель Шехтер, возвещающий избавление.

Только обойдя все бараки, рабби Шехтер нашел время для того, чтобы вместе со мной начать поиски Нафтали. Мы пришли в лагерьный лазарет, там лежал мой брат, заболевший тифом. «Меня зовут Гершель Шехтер, – раввин представился Нафтали, – и я служу военным раввином в дивизии, освободившей Бухенвальд». Он достал из сумки несколько банок с апельсиновым соком. «Я знаю, кто ты, я помогу тебе, все будет хорошо», – сказал он больному Нафтали и закончил: «Мазаль тов, мы вышли из рабства к свободе». Нафтали всегда говорит, что рабби Гершель Шехтер был первым человеком, оказавшим ему помощь и вернувшем ему веру в себя и людей.

* * *

Много лет я думал, что часть описанного – это плод воображения восьмилетнего мальчика и что не все события, детали которых я помнил, происходили в действительности, однако спустя 38 лет, 11 апреля 1983 года, в годовщину освобождения Бухенвальда, я получил приглашение из Соединенных Штатов. Меня просили выступить на съезде американских и канадских евреев, переживших Катастрофу, в Мериленде, примерно в часе езды от Белого дома. Съезд должен был подчеркнуть тот факт, что американская армия освободила Бухенвальд, и на него были приглашены президент Рональд Рейган и его жена Нэнси. На церемонию было приглашено 22 тысячи человек, среди них мой брат Нафтали, бывший тогда генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке, Биньямин Нетаниягу,

в то время атташе в израильском посольстве в Вашингтоне, председатель института «Яд ва-Шем» Гидон Гаузнер и Дов Шилиянский, в то время заместитель министра в канцелярии премьер-министра Израиля, которым на тот момент был Менахем Бегин. Выживших узников Бухенвальда представлял, помимо меня и брата, писатель Эли Визель, который был с нами в лагере, вместе с нами был освобожден и с нами же прибыл во Францию. Я поинтересовался у организатора церемонии, председателя Организации выживших в Катастрофе в США, должен ли я буду выступать. Он попросил рассказать собравшимся только об описанном выше эпизоде дня освобождения. «У меня для вас приготовлен сюрприз», – улыбнулся он мне.

Я был проинструктирован выйти на авансцену в тот момент, когда я услышу, как оркестр ВМС США заиграет «Гимн еврейских партизан», под слова «Не говори, что это наш последний путь». Темнота в зале, оркестр играет, и я начинаю подниматься по ступеням. Сноп света освещает мне путь, сопровождает меня, пока я иду к сцене. И тут – луч света оставляет меня, движется к президиуму и фокусируется на стоящем там человеке. Я узнаю его: рабби Гершель Шехтер, а за ним на экране высвечивается слайд: я, мальчик, покидаю Бухенвальд после освобождения, с винтовкой в руках.

«Я увидел вдруг пару блестящих глаз позади кучи человеческих тел», – рассказывал рабби Шехтер о воспоминаниях, сопровождавших меня 38 лет. «Я выдернул его оттуда и заплакал. Затем спросил его: «Сколько тебе лет, мальчик?» И он ответил: «Я старше тебя, потому что ты плачешь и смеешься, как ребенок, а я уже годы не смеялся и даже плакать больше не могу». История нашей встречи в Бухенвальде чрезвычайно всех растрогала. Президент Рейган пожал мне руку и сказал задыхающимся от слез голосом: «Мне очень хотелось пожать руку живой легенде».

* * *

После освобождения Бухенвальда я оставался в лагере еще некоторое время. Бухенвальд был пригородом Веймара, города Гёте и Шиллера. Лагерь находился в десяти минутах ходьбы от Национального театра в Веймаре, колыбели немецкой культуры. После освобождения лагеря американский комендант города решил пригласить жителей Веймара в Бухенвальд, чтобы они собственными глазами увидели ужасы, творившиеся там.

В это время я уже свободно рассказывал по лагерю, не испытывая страха, и видел приходивших посетителей. В основном это были старики и женщины. Внезапно рядом со мной остановился командирский джип, и огром-

ный американских солдат втащил меня к себе в машину. Он взял меня за руки, поднял вверх и по-немецки прокричал жителям Веймара: «Вы видите этого мальчика? Против него вы воевали шесть лет. Из-за него развязали мировую войну. Вот он – величайший враг национал-социализма, величайший враг нацизма. Мальчик из Польши, у которого вы убили отца и мать и которого почти убили самого! Для этого вы шли за фюрером? Для этого вы шли вперед, так слепо доверяя всему?» Женщины громко всхлипывали от рыданий, а меня всего переполняла великая гордость. Поднявший меня американский солдат произнес свою разящую отповедь ненавистным мне немцам – от моего имени, от имени моих родителей, по сути, от имени всех евреев.

И вот к этому эпизоду мне также предстояло возвращаться и заниматься им в будущем. Невидимая рука направляет меня по жизни. Спустя годы, когда я уже был главным раввином Израиля, в страну приехал известный и почитаемый миллионами людей во всем мире профессиональный баскетболист Карим Абдул-Джаббар, или – по его настоящему имени – Фердинанд Льюис Алсиндор. Он родился у родителей христиан, а в 1971 году принял ислам, вследствие восхищения, которое он испытывал к Малкольму Иксу. Перед поездкой, в которой он должен был рекламировать крупную фирму, производящую спортивную одежду, он устроил пресс-конференцию, на которой рассказал – к моему удивлению, – что в Израиле он намерен встретиться с главным раввином, рабби Лау. Он поведал, что лучший друг его отца, бывший тому как брат, был среди американских солдат, освободивших Бухенвальд. «Этот друг, – рассказал баскетболист, – такой же гигант, как я, поднял на руках маленького мальчика, показал его немцам, выговорив им, что вот этот мальчик и есть их враг, с которым они воевали с безжалостной свирепостью». В течение пятидесяти лет, поведал он, его отец с другом следят за жизнью этого мальчика, и вот им стало известно, что он стал очень важным раввином в Израиле – рабби Исраэль Лау. «Мой отец, – рассказывал баскетболист дальше на пресс-конференции в Соединенных Штатах, – верующий христианин, но по состоянию здоровья он не может поехать в Святую Землю. Когда он услышал, что в рамках моего тура я поеду также и в Израиль, он велел мне посетить раввина и получить его благословение».

Итак, любящий сын, игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар прибыл ко мне в канцелярию главного раввина Израиля, и это был поистине волнующий момент.

Кстати сказать, сопровождавшие рассказ фотографии подняли бурю в Соединенных Штатах, где все еще множество людей отказывается признать тот факт, что темнокожие американские солдаты принимали участие

в освобождении концлагерей в Европе. Я и сам, после того как выступал с этой историей на различных мероприятиях за границей, подвергался нападкам и получал угрозы от членов Ку-Клукс-Клана, ненавистников негров, за то, что рассказываю небылицы, никогда не происходившие в действительности, поскольку нельзя же негров причислять к спасителям людей и ставить им это в заслугу¹.

В интервью, взятом у Абдул-Джаббара для приложения к газете «Гаарец», он рассказал о нашей с ним встрече в Иерусалиме. Выразив свое воодушевление по поводу нашей беседы и теплого приема, оказанного ему, темнокожий спортсмен рассказал о переживаниях, которые вызвал у него разговор с выжившим в Катастрофе человеком: «Черные в Америке, – сказал он, – не понимают, что означала «подпольная железная дорога» (организация в США, в XIX веке помогшая десяткам тысяч негров-рабов вырваться на свободу). Нам не довелось поговорить с людьми, освобожденными благодаря «подпольной железной дороге». Не было возможности взять интервью у человека, спасшегося от этого ужаса. Поэтому встреча с раби Лау стала честью для меня, и меня очень тепло приняли».

* * *

Не только этот черный солдат упоминал меня. Многие американские солдаты хотели побаловать спасенного ребенка, трогавшего их самым фактом своего выживания в невозможных условиях лагеря, открывшихся их глазам. Они заваливали меня жевательной резинкой, конфетами, шоколадками. Взрослые в лагере набрасывались на банки с жирной тушенкой сомнительного качества. После многих лет голодания организм теряет способность расщеплять и переваривать жиры, и многие бывшие узники заболели брюшным тифом. 60% освобожденных из Бухенвальда людей умерло вследствие неосторожного потребления пищи. К моему счастью, меня удовлетворяли шоколадки и варенье. Федор вместе с другими русскими военно-

¹ В 2004 году в США вышла в свет книга Карима Абдул-Джаббара «Братья по оружию. Эпическая история 761-го танкового батальона, забытые герои II Мировой войны». Книга рассказывает об истории американского танкового батальона, все солдаты которого были негры. В течение 183 дней своего пребывания на земле Европы батальон сражался с нацистскими войсками, его солдаты принимали участие в тяжелых боях. Они воевали в районе Дахау и освобождали лагерь Маутхаузен и Гунскирхен. В документальном фильме, показанном в США по телевидению в 1992 году, утверждалось, что 761-й батальон освобождал также и Бухенвальд. В своей книге (написанной в соавторстве с Энтони Уолтоном) Карим Абдул-Джаббар разъясняет, что это ошибка и что Бухенвальд освобождало другое подразделение, в котором служили черные солдаты. (Прим. автора.)

пленными работал после освобождения в Веймаре и окрестных деревнях, и каждый день они приносили в лагерь куриц и сыры. Понятно, что и мне доставалась порция.

Федор был моим героем. Однажды он поймал лошадь, вскочил на нее и проскакал на ней круг. Я восхищался им. Он был красивый парень, и когда скакал на взнузданной веревкой лошади, казалось, что та летит под ним по воздуху. Я помню, как он окликал меня: «Лёлек, смотри», – и бросал на скаку перочинный нож. Нож вонзился в землю, а Федор спустился под брюхо лошади, распластался меж ее ног, на скаку выдернул нож из земли, поднял его, показывая мне, как лезвие сверкает на солнце, и проделал это еще несколько раз. Зрелище было захватывающее. В глазах восьмилетнего мальчика, каким я был, это было сконцентрированное ощущение свободы и героизма.

В конце апреля начались драматические события. Было решено, что русские военнопленные будут возвращены домой. Федору, от которого я не отходил ни на шаг, было ясно, что я еду с ним в Россию. Нафтали лежал больной и слабый, почти в беспомощности. Меня к нему не пускали. Иногда я подходил с Федором к окну лазарета. Я залезал Федору на плечи, чтобы заглянуть внутрь и через маленькое окошко поприветствовать Нафтали. Обихаживавшая брата медсестра Маргит, волонтерка Красного Креста из Голландии, немного поворачивала брата на бок, чтобы он мог увидеть меня. В то время в лагере уже знали, что у Толека есть маленький брат, да и сам он не переставал говорить обо мне в горячечном бреде. Благодаря помощи Маргит, Толеку удавалось меня увидеть, но он был не в состоянии даже помахать мне рукой, настолько был слаб.

Однако Нафтали не позволил руке случая возобладать над нами, и в том хаосе, в котором простекала наша жизнь, пытался, насколько это было возможно, взять управление в свои руки. Заболев, он приставил трех евреев присматривать за мной: раввина Ландау, живущего теперь в Тель-Авиве, Хаима Гальберштама из Бруклина и покойного ныне Шалома Теппера¹.

¹ После прибытия в Израиль Теппер погиб в Войне за Независимость, в боях за Эль-Фалуджу, и был похоронен на кладбище в Нахлат-Ицхак. Он был сирота без единого родственника. Единственный, кто каждый год приходит на его могилу произнести Кадиш, – это мой брат Нафтали. После того как я опубликовал его историю в ведомостях канцелярии президента, к 25-летию основания «Яд ва-Шема», мне позвонил из Хайфы один человек, представившийся как двоюродный брат Шалома Теппера, и сообщил, что он тоже каждый год приезжает в Нахлат-Ицхак, чтобы сказать Кадиш. Шалом Теппер, да будет благословенна его память, был, как сказано выше, одним из трех человек, которым брат поручил присматривать за моими шагами в последние дни нашего пребывания в Бухенвальде. (Прим. автора.)

Он дал им однозначное указание: оберегать Лёлека. После освобождения жесткая дисциплина лагеря ослабла. Евреи свободно перемещались по территории, и три моих сторожа не оставляли меня без постоянного призора. Нафтали и им велел, если он так и не встанет с больничной койки, забрать меня в Землю Израиля. Трое сторожей докладывали моему большому брату обо всем, что со мной происходит, отмечая, что я постоянно при Федоре и тот по-прежнему заботится обо мне. Через них Федору было ясно сказано от имени моего брата, что я не поеду с Федором в Россию, а поеду с братом – в Палестину.

* * *

Шалом Теппер был ровесником Нафтали и обладал обостренным чувством справедливости. Примерно через месяц после освобождения выжившие узники провели церемонию памяти погибших и поставили временный памятник, на котором были названы все народы, представители которых стали жертвами фашистов в лагере. 61 тысяча человек умерло в лагере, и на памятнике значилось: русские, поляки, французы, бельгийцы, голландцы, испанцы, итальянцы. Только слова «евреи» не было на нем. Коммунисты, организовавшие установку памятника, стремились подчеркнуть свои страдания и жертвы, понесенные ими от рук фашистской тирании; с их точки зрения, евреи не были частью этого ужаса.

Спустя несколько часов после установки памятника Нафтали обнаружил Шалома Теппера, распостертого в луже крови у его подножья. Группа освобожденных узников избивала его ногами, нанося удары по всему телу. Оказалось, что Шалом Теппер не мог вынести унижения и обиды из-за отсутствия упоминания еврейских жертв на стене. Когда церемония поминовения закончилась, он нашел ведро, кисть и красную краску и над всеми надписями вывел “Juden”. Поскольку он не знал, сколько евреев погибло в лагере, то ограничился тем, что рядом со словом нарисовал шестиконечную звезду. Потехи от свежей краски Шалома закрыли часть букв в названиях других народов. Это вызвало ярость их представителей, отчего они и принялись его избивать.

* * *

В тот день, когда русских военнопленных отправляли в Россию, Нафтали вышел из изолятора. Он пришел попрощаться.

Перед ним открылось зрелище, которое одновременно напугало и подавило его: я стою рядом с Федором, одной рукой держа его за руку, а в другой у меня небольшой саквояж. В этот миг у Нафтали потемнело в глазах. Я увидел его несчастное лицо, выдернул руку у Федора и подо-

шел к Нафтали вместе с саквояжем. «Толек, я тебя не бросаю. Я только помогаю Федору и держу его саквояж. Это не мой саквояж, а его. Я тебя не бросаю. Ты ведь сказал, что возьмешь меня в страну, которая называется Эрец-Исраэль», – напомнил я ему. Я хотел показать ему, что помню каждое сказанное им слово.

Ему понадобилось какое-то время, чтобы успокоиться. Он нашел младшего брата среди русских военнопленных с чемоданом в руке. Для него это было явным знаком, что они забирают меня с собой. В Россию. Мне-то было ясно, что я никуда не еду, только в Землю Израиля, так я обещал Толеку, и мне и в голову не приходило нарушить слово. Земля Израиля представлялась мне страной мечты, где не убивают евреев. Там был наш дом. Так мне это описывал Нафтали. Я вернулся к Федору, чтобы проститься. Расставание не было легким для меня.

Один из заключенных в нашей группе, бездетный врач-коммунист из Франции, хотел усыновить меня, но я знал, что не поеду с ним. Я не испытывал к нему никаких чувств. Он пытался убедить и Нафтали, объяснил, что нам – двум сиротам – некуда податься, а у него большой теплый дом, где у нас ни в чем не будет недостатка. Под его кровом, обещал он, у нас будут все удовольствия, которых мы были лишены в последние шесть лет. Но у нас обоих не было и тени сомнения, что мы не позволим себя соблазнить¹. Прощание с Федором я, напротив, вспоминаю с болью. Тем более зная, что я обязан ему жизнью и что он не раз подвергал себя опасности ради меня. Я бы много дал, чтобы встретить его и присудить ему звание Праведника народов мира, но, к сожалению, все мои попытки разыскать его закончились безуспешно.

* * *

Еще до того, как Нафтали выздоровел, до меня дошел слух, что в лагерь должен прибыть конвой грузовиков из Берген-Бельзена с выжившими в этом лагере женщинами и детьми. Когда меня разлучили с мамой

¹ Опять Творец явил нам чудесные пути свои. В 1949 году Нафтали был начальником Европейского центра партии «Поалей Агудат Исраэль» и – в рамках организации нелегальной репатриации – разезжал по деревням, монастырям и церквям, занимаясь спасением еврейских детей, которых родители отдали христианам. По работе Нафтали часто ездил в Европу. Однажды на одной из станций парижского метро его хлопнул сзади по плечу мужчина в котелке и шикарном плаще и попросил отойти с ним в сторону. Это был врач из Бухенвальда. Он пригласил Нафтали к себе домой. Когда он открыл входную дверь, глазам брата открылась моя фотография почти в полный рост, снятая в Бухенвальде. «Все, что я хотел бы помнить о пережитых мною годах кошмара, – это твоего брата, Лёлека. Он глубоко запал мне в душу», – сказал он. (Прим. автора.)

в ноябре 1944-го – всего шесть месяцев минуло с тех пор, – я слышал, как говорили о том, что мужчин отправляют в рабочий лагерь в Ченстохове, а женщин и детей – в Берген-Бельзен. Я постарался запомнить это название. Ужасные эти полгода я твердил себе, что мама в Берген-Бельзене. Мне было важно поместить ее в определенную точку в пространстве, знать, что у нее есть адрес, пусть даже у меня и не было представления, что это за адрес. По сути, я и понятия не имел, действительно ли она там, и если да, то какая судьба ожидает прибывающих в этот Берген-Бельзен. И вот теперь последние узники оттуда должны приехать в Бухенвальд. Ведь если мы с Нафтали выжили, то почему и мама не могла выжить, как ее дети. Нафтали тогда боролся со своим тифом. Каждый день я ходил к его окну, согласно его требованию видеть меня, дабы удостовериться, что я не уехал с Федором в Россию. В тот день я, как обычно, пришел к его окну, склоняясь в душе к решению ничего не говорить ему о грузовиках, которые должны приехать из Берген-Бельзена. Я помню внутренний спор, который я вел сам с собой, рассказывать ли Нафтали о маме, помню страх, что если, не дай Бог, ее там не окажется, то великое разочарование не только задержит его выздоровление. Он был так болен, что подобное разочарование могло сломить его, думалось мне. Я решил ничего ему не говорить, а самому отправиться на поиски нашей мамы. А когда я найду ее, то сразу же приведу к нему и позабочусь о том, чтобы она увидела его через то самое окно, сквозь которое я смотрю на него каждый день. И неожиданная радость от того, что я нашел нашу маму, конечно, сразу заставит его выздороветь, и веселью не будет предела.

Я вышел в путь. Восьмилетний мальчик, словно одержимый, ищет свою мать. Девиз, который двигал мною и направлял меня, был: если я, маленький мальчик, сумел выдержать, то она – взрослая и опытная – выдержала вне всякого сомнения, такова уж логика мира.

26 грузовиков прибыло в Бухенвальд, на скамейках в кузовах было множество женщин и очень мало детей. Самое большее, десять. К каждому грузовику приставили лесенку в четыре ступени, и я поднялся наверх с лихорадочно стучащим от волнения сердцем и кружащейся головой. Заглянул в кузов. Глаза всех женщин обратились ко мне, всматриваясь в меня с великим изумлением, словно вопрошая, кто я и что я здесь ищу. Мои взгляд бежал, изучающе переходя от женщины к женщине и направляясь дальше. Вокруг царил глубокая тишина. словно кладбищенское безмолвие. Не было сказано ни слова, только взгляды. Ни одна из женщин не спросила: «Мальчик, ты кто? Что ты ищешь?» Полное безразличие овладело грузовиком. Почти нечеловеческое. Не найдя мамы в первом грузовике, я перешел к следующему, где все повторилось. Я проверял ряд за рядом, скамью за скамьей.

лицо за лицом, и переходил дальше. Я уговаривал себя, что, быть может, мамин внешний вид изменился с тех пор, как мы расстались, вот ведь и Нафтали выглядит совершенно иначе. Тиф страшно искажает облик человека. Я пытался убедить себя в том, что даже если я не узнаю ее, то она-то уж точно узнает меня, ибо какая мать не узнает своего ребенка? Поэтому я задерживался и подолгу всматривался в каждую женщину в грузовике, в надежде, что мама посмотрит на меня и признает сына в стоящем против нее мальчике. В грузовике сидели старухи и молодые женщины, и у всех был погасший, отстраненный взгляд. Все были одеты в тряпье и казались лишенными жизни. Я смотрел этим женщинам в глаза, и они были словно стеклянные. Я не видел ни проблеска любопытства или интереса, ни теплоты, какая могла бы пробудиться в них при виде восьмилетнего мальчика, который мог бы быть их сыном. Во всех 26 грузовиках я остановился против каждой пары глаз, прошел ряд за рядом, не пропустив ни одного лица, всем сердцем надеясь, что мама поймет, что я – ее сын и что я жив. Я не мог думать о другой возможности.

Я закончил проверку последнего грузовика. Неуклюже спустился вниз с ощущением тяжелой пустоты. Сейчас все было ясно, окончательно и бесповоротно. Мама не попала в Берген-Бельзен или не вышла оттуда живой. Тут, я был полностью в этомуверен, ее нет. Нафтали я не сказал ни полслова ни о грузовиках, прибывших в Бухенвальд, ни о моей отчаянной попытке найти маму. Я рассказал ему об этом только после того, как мы покинули лагерь. Я утешался мыслью, что, быть может, ее перевели в другой лагерь. Но и это продолжалось недолго. Несколько недель спустя мы получили извещение, что она умерла в Равенсбрюке в возрасте 44 лет.

* * *

В мае 1945 года я заболел корью. Я весь горел, сыпь на теле страшно чесалась, и меня поместили в изолятор на втором этаже лазарета. Состояние мое было очень тяжелым, болезнь я переносил крайне мучительно, но опасности для жизни не было. Нафтали навещал меня и пристально следил за моим состоянием. Однажды я услышал стук в окно, с трудом повернул голову и увидел, что брат стоит на скобе водосточной трубы. Он показал мне знаками, чтобы я открыл окно. Несмотря на болезнь и крайнюю слабость, я исполнил его желание. Он произнес лишь два слова по-польски: «Иди сюда». Я завернулся в простыню поверх больничной пижамы и вскарабкался ему на спину. Я чувствовал каждую его косточку, так как он и сам был худ и изможден после тифа, от которого только что оправился. Нафтали скользнул по водосточной трубе вместе со мной со второго этажа на землю. Мы прошли какое-то расстояние и оказались в месте, где,

выстроившись в ряд, стояли люди. Нафтали пояснил, что здесь раздают сертификаты, въездные визы в Землю Израиля. Объяснил, что, как и обещал, он сделает все, чтобы вместе со мной репатриироваться в Израиль. Однако количество сертификатов ограничено, преимуществом обладают те, кто пришел раньше. Поэтому важно, чтобы и я встал в очередь, чтобы получить сертификат, пусть я и болен. Тот, кого сейчас не будет в очереди, объяснил мне мой старший брат, останется в Бухенвальде и не попадет в Землю Израиля. Хотя мне было всего восемь лет, я хорошо понял значение его слов. Понял, что нет ничего важнее возвращения домой. Что Земля Израиля означает жизнь, а Бухенвальд – смерть, хотя опасность и миновала, как кажется. «Ты хочешь остаться здесь?» – спросил он. Вопрос показался мне риторическим, ответ был прост и ясен! «Ни в коем случае. Ни на один лишний день», – решительно ответил я. Когда подошла наша очередь, Нафтали расписался за себя, а я поставил отпечаток большого пальца на анкете, потому что еще не умел читать и писать. Подписавшись, Нафтали снова взгромоздил меня себе на спину и вернул в мою койку в лазарете, на этот раз по лестнице. Я возвратился в изолятор, пылая от жара, коревая сыпь досаждала мне, но в горячечных видениях и страданиях я вспоминал, что у меня есть виза в Землю Израиля, и мне становилось легче.

* * *

2 июня 1945 года мы оказались в числе первых, кто покидал Бухенвальд, отправляясь на поезде во Францию. Корь осталась позади, я был здоров и свеж. Нафтали и я получили по пакету со сладостями и едой. Я навсегда покидал Бухенвальд.

Солдат-американец подарил мне небольшой старенький саквояж из излишков снабжения американской армии. Этот саквояж сопровождает меня до сих пор. С ним я репатриировался в Израиль, с ним скитался по различным учебным заведениям. Когда я женился, саквояж уже был донельзя потрепан, жена хотела его выкинуть, но я наотрез отказался: «Это мой дом», – объяснил я и засунул его на антресоли. «Я надеюсь, – добавил я, – что, с Божьей помощью, у наших детей ни в чем не будет недостатка. Но если в один прекрасный день один из детей явится с жалобами, почему у такого-то что-то есть, а у него нет и т.д. и т.п., то я пошлю его за стремянкой, пусть протянет руку, достанет с антресолей и спустит вниз этот саквояж, и тогда я скажу ему: «Это был весь дом твоего отца на протяжении многих лет и на многих этапах пути. Тебе не пристало жаловаться, я ведь не жаловался». Жена поняла меня и согласилась со мной, как и я, она берегла этот потертый саквояж как зеницу ока. Через пять лет, когда жена была беременна нашим четвертым ребенком, мы переехали

в более просторную квартиру. Только выйдя на улицу из старой квартиры, я вспомнил, что забыл саквояж на антресолях. Поднялся 75 ступенек вверх, залез на антресоли и нашел – только ручку от саквояжа. Все остальное рассыпалось в прах. Тель-Авив, доказал саквояж, это не Бухенвальд, в нем не стоит мороз в минус сорок, столь полезный для консервации вещей. Мне было очень жаль саквояжа, но я следил, чтобы мои дети росли на его истории.

Саквояжа, правда, нет, но его фотография висит на почетном месте у меня в гостиной. Я получил ее в 5754 (1993–1994) году, когда был почетным гостем на торжественном приеме в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория», который проводила Израильская ассоциация держателей ценных бумаг под председательством доктора Меира Розена. Выступал на этом вечере Эли Визель, освободившийся вместе с нами из Бухенвальда почти за пятьдесят лет до этого приема. Во вступлении Визель сказал: «Я разделю свою речь на две части. Прежде чем вручить корону Торы в подарок учителю и раввину нашему, главному раввину Государства Израиль, который сам олицетворяет собой корону Торы, я должен подарить Лёлеку один сувенир». Кроме Нафтали, меня и моей супруги, сидевших в президиуме, никто в зале не знал, кто такой Лёлек. А Эли продолжал: «С Лёлеком я познакомился раньше, чем с кем-либо из присутствующих здесь, включая мою жену Мэрион. Он был самым младшим среди детей, выживших в Бухенвальде, и хотя мы все читали Кадиш сироты, Кадиш Лёлека был самым душераздирающим и заставлял нас всех плакать.

Когда меня пригласили выступить на открытии Музея Катастрофы в Ванкувере, в Канаде, я обнаружил там выставку фотографий, жертвоование американского солдата, бывшего среди освободителей Бухенвальда и сделавшего много снимков лагеря во время и после освобождения. Неожиданно я увидел знакомое лицо и невольно воскликнул: «Это Лёлек!» Я рассказал моим сопровождающим, что был там и знаю этого мальчика, и что сегодня этот мальчик известный раввин в Израиле. Я увеличил эту фотографию, обрамил ее, и сегодня мне бы хотелось вручить ее хозяину. Лёлек, встань и подойди сюда, пожалуйста». Так я получил фотографию, что оказалось для меня полной неожиданностью. Я привез ее домой, и все дети, не сговариваясь, закричали: «А вот и саквояж!»

И я действительно снят там с саквояжем. Мне восемь лет, у меня гнилые молочные зубы, и великое счастье написано на лице. Поскольку мне нечего было надеть, кто-то взломал лагерный склад с одеждой, где была сложена форма для гитлерюгенда. Выбора не было, за неимением другой одежды, меня облачили в эту форму, которая совершенно мне не шла и к тому же

была велика. На рукаве мне сделали нашивку с надписью Бухенвальд и красный винкель с номером 17030 на нем.

Так я прибыл в Израиль. Еврейский ребенок восьми лет, одетый в форму гитлерюгенда и с американской винтовкой в руках. Солдаты-американцы провожали нас, когда мы покидали лагерь. Когда я поднялся в поезд, один из них протянул мне винтовку без патронов, сказав незабываемую фразу: «С этим ты сможешь отомстить немцам за родителей». Согласно другой версии этой истории, солдат-американец спросил меня, что я хочу делать в жизни, и получил в ответ: «Я хочу мстить». Услышав о моих поразительных планах, он подарил мне винтовку, с которой я не расставался с этого момента на всем протяжении пути из Бухенвальда: по просторам Германии, через Париж, Лион, Марсель, Геную – и до прибытия в хайфский порт, где британцы отобрали ее у меня.

С тех пор всякий раз, когда я выхожу из дома, я смотрю на фотографию у входа, справа от двери: мальчик в форме гитлерюгенда, на рукаве ужасающее слово «Бухенвальд», саквояж и винтовка. С левой стороны на косяке прикреплена мезуза. Из этих слева и справа складывается мой мир. Я смотрю на фотографию, и всякий раз она снова говорит мне: «Израэль, на тебя возложена миссия – оправдать свое спасение и существование, быть посланцем твоих убитых отца, матери и брата, продолжить династию». «Знай, откуда ты пришел». Я стараюсь исполнять эту миссию каждую минуту, каждый час, каждый день своей жизни. Саквояж – это воплощение обязательства, продолжение стиха Акавии Бен-Маѓалалеля: «И <знай,> куда ты идешь, и перед кем ты должен будешь держать ответ»¹.

Видение костей иссохших²

Я с саквояжем, в форме нацистской молодежи – гитлерюгенда, с горстью конфет в руке; Нафтали – с небольшой котомкой, в которую вошли все оставшиеся у нас пожитки. Мы – Нафтали и я – вышли из ворот Бухенвальда. Вышли на новую дорогу, в новый мир, зная, что из всей нашей семьи на свете остались только мы двое. Я уселся в поезде, который увлек нас в новое странствие нашей жизни. Разные мысли вертелись у меня в голове, тяжелые воспоминания, гибель родителей и брата, чудесная привязанность к Нафтали, блок № 8. Радость неизвестного мне свойства перепол-

¹ Мишна, Масехет Авот, 3:1.

² См. Йехезкель, 37:1–4.

няла меня всего, я питал полное доверие к решениям Нафтали, который доставит меня в Землю Израила, как и обещал.

Мы пересекли Германию с востока на запад через всю страну, наш путь лежал во Францию. На одной из станций на поезд навесили большой транспарант, который возвещал всему миру на английском и французском языках: «Дети Бухенвальда возвращаются домой». На каждой станции нас поджидало множество людей, тепло приветствовавших нас. Американские солдаты, которых так взволновал тот факт, что среди выживших в Катастрофе оказался и маленький мальчик, восхищались мной. Они обнимали меня, поднимали на руки, подбрасывали в воздух, старались развлечь меня, так выражая свою любовь и радость по поводу моего спасения. У меня было сильное ощущение, что они хотят принять участие в моей судьбе, хотя и было ясно, что у них нет ни малейшего представления о том, что мне пришлось пережить за последние шесть лет. На каждой станции меня трепали по щеке и одаривали конфетами.

После двухдневной поездки мы прибыли в Экуи¹, красивую зеленую деревню примерно в 90 км от Парижа, на северо-западе Франции. В глубине чудесной рощи, в уединенном месте на окраине деревни, помещался санаторий: внушительное здание, вокруг которого были раскиданы другие постройки, а между ними располагалась зеленая лужайка. В прошлом это был дворец одного из местных богачей. Дворец был арендован O.S.E., французской еврейской благотворительной организацией, он получал пожертвования и от других благотворительных организаций. В Экуи прибыла группа из 500 подростков из Бухенвальда и Берген-Бельзена, которым инструкторы санатория пытались вернуть человеческий облик как в физическом, так и в ментальном аспекте. Я был самым младшим из детей Бухенвальда, возраст старших достигал 22 и даже 25 лет. Большинство сотрудников – учителя, инструкторы, психологи, медсестры – говорили только по-французски, которого никто из нас не понимал, но их доброжелательность и участие вскоре разрушили языковой барьер. Нас окружили любовью без всяких слов. Глаза говорили, улыбки налаживали связи, и вся атмосфера была приятной и спокойной, такой отличной от всего, что я знал в последние шесть лет, проведенные мной в гетто и лагерях. Экономкой была Рахель Минц, по-видимому, уроженка Лодзи. В конце жизни она репатрировалась в Израиль, приехав в кибуц Цора, членом которого был ее сын, и там же обрела вечный покой. Я произнес над ее могилой последнее слово от имени всех подростков, которых она

¹ Ecouis – коммуна в департаменте Эр (Eure) в Верхней Нормандии.

обихаживала в санатории, и все мы, оставшиеся воспитанники Экуи, оказали ей последние почести.

Все время нашего пребывания в санатории Нафтали был занят тем, что посылал письма, кому только было можно, чтобы выяснить, какая судьба постигла нашу маму. Мы расстались с ней примерно за семь месяцев до этого, и тот факт, что, пережив так много за это время, мы все-таки спаслись и остались в живых, вселял в нас надежду. Мы оба думали, что нет причин полагать, что она не выжила. Однако вопрос, не дававший нам покоя, заключался в том, где она и что с ней происходит. Нафтали посылал письма польскому правительству, Еврейскому агентству в Земле Израиля в Иерусалиме, UNRRA¹ и в любую организацию, которая только приходила ему в голову и в голову Рахели Минц, которая была в Экуи нашим связующим звеном с миром, потому что говорила на идише, по-польски и по-французски. К ней Нафтали обратился за помощью, и она помогала ему с переводом писем.

В один из дней нашего пребывания в Экуи я оказался в послеобеденное время на центральной лужайке. Нафтали писал статью для стенгазеты – также одно из начинаний Рахели Минц. Статью он озаглавил, как потом мне стало известно, «Между смертью и жизнью». Во многом статья была написана под глубоким впечатлением, которое оставили у Нафтали попытки разыскать нашу маму. Я еще не умел читать и писать, а потому сидел на качелях в роще, развлекаясь и предаваясь удовольствию. Одна из французских медсестер качала меня. В одной руке я держал жестяную кружку со свеженадоенным молоком от одной из коров, пасшихся в округе, в другой – плитку шоколада. Посреди всей этой пасторали один из ребят подошел ко мне с конвертом в руке, сказал: «Лёлек, передай этот конверт Толеку», – и убежал прочь. Так как я не умел читать, а все внимание мое было поглощено качелями, то я не придумал этому значения. Я только поплотнее уселся на конверт, чтобы не потерять его.

Когда Нафтали пришел, освободившись от своего занятия, я отдал ему конверт. Он открыл его, и лицо его стало бледным как мел. Он сел рядом со мной, положил мне руку на плечо и сказал: «Лёлек, теперь у нас нет и мамы». Я заплакал. Душераздирающим плачем, как потом классифицировал его Нафтали. Конверт был анонимным. На конверте было написано на иврите имя Нафтали, но не было имени отправителя. Внутри была маленькая записка, написанная на иврите: «Ты должен сказать Кадиш. Теперь ты круглый сирота, твоя мать умерла в Равенсбрюке». Это название ничего

¹ UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций.

мне не говорило. Нафтали объяснил, что речь идет о женском концлагере, бывшем для женщин тем же самым, чем Бухенвальд был для мужчин. И что он тоже находится в восточной Германии.

Нафтали пытался выяснить, кто передал мне конверт, но в тот момент я был больше сосредоточен на качелях, чем на личности передавшего, и не имел представления, кто это был. И Нафтали сказал: «Лёлек, хотя ты не умеешь читать и писать, ты тоже должен произнести Кадиш. Ты уже большой мальчик». Товарищи Нафтали организовали миньян – кворум для молитвы, чтобы он мог прочесть Кадиш, а я – под влиянием его слов – поставил перед собой сложную задачу и стал упорно и старательно учить странные новые слова. Первые еврейские буквы, которые я увидел в своей жизни, были те, что складываются в слова Кадиша. Я не понимал смысла ни единого из слов молитвы, но в моей зрительной памяти запечатлелась форма букв и порядок их огласовки. Я помню, что для себя я их как-то описал и обозначил: буква «йуд» – самая маленькая в компании, «тав» – квадратная, как гостеприимный дом, «гимел» напоминала мне какое-то шагающее животное, вроде жирафа или верблюда, оно наклонилось вперед, словно готовясь получить мучительный удар. Но из всех букв любовь моя была отдана букве «ламед». Длинная шея делала ее выше и стройнее, в моем воображении у нее была голова, вознесшаяся ввысь. Из всех букв в слове «йитгадаль» буква «ламед», по-моему, была самой красивой. Потом я обнаружил, что эта буква присутствует и в моем имени – Израэль, и в фамилии – Лау, и любовь моя к этой букве только усилилась. Буква «йуд» также возбуждала мой любопытство: я поражался тому, как такая мелочь присоединяется к большим буквам, следующим за ней, оставаясь ведущей в слове и во всем предложении. Такая маленькая, а тащит на себе весь Кадиш.

* * *

Страшная судьба мамы открывалась нам мало-помалу, в основном на... свадьбах.

В 70-е годы, когда я был раввином в одном из районов Тель-Авива, дома зазвонил телефон, и одна женщина из Ришон-ле-Циона попросила, чтобы я обвенчал ее дочь. Объяснила, что она много лет мечтает, чтобы именно я венчал ее единственную дочь. Я открыл свой дневник и обнаружил, что в указанный день я уже обязался ставить другую хупу в Тель-Авиве. Я объяснил ей, что, к сожалению, не смогу удовлетворить ее просьбу из-за взятых на себя раньше обязательств, а раздвоиться я не могу. Госпожа из Ришон-ле-Циона настаивала, объясняя, что свадьба ее дочери будет играть в центре Тель-Авива, неподалеку от второй свадьбы, и молила меня, чтобы я все-

таки попытался найти какое-нибудь решение. Я пообещал, что порекомендую ей другого раввина, но она упорствовала. Спросила, в котором часу, по моим расчетам, я могу быть на свадьбе ее дочери. Я ответил, что около полдесятого, в десять вечера. «Я буду ждать вас даже и в двенадцать», – отрезала она. Я все еще колебался, дать ли ей обещание. Объяснил, что не хочу проводить первую свадьбу в авральном режиме. Как бы то ни было, я поинтересовался причиной ее упорства. «Я скажу вам, только когда вы придете на свадьбу, после венчания», – ответила она немного загадочно. Как и следовало ожидать, слова ее пробудили мое любопытство.

Я поговорил с другой парой, пригласившей меня первой. Рассказал им о женщине, которая не оставляет меня в покое, и попросил их о личном одолжении: чтобы не опаздывали и венчание произошло вовремя. Все так и вышло, церемония закончилась в срок, и я поспешил в другой зал торжеств. У входа стояли две пары родителей, встречавшие гостей, и у меня не было ни малейшего представления, которая из двух женщин говорила со мной по телефону и пригласила меня провести венчание ее дочери. Так как мою личность невозможно было скрыть, сразу при моем появлении одна из матерей вышла мне навстречу.

Она не удержалась, ожидая конца церемонии, как заявила мне прежде, а сразу отвела меня в сторону. Женщина была довольно низкого роста, так что ей приходилось задирать голову, чтобы смотреть мне в лицо. Она помолчала, а потом произнесла слова, которые я никогда не забуду: «Ваша мама умерла у меня на руках».

Я застыл на месте в шоке, и единственные слова, которые сумел выдать из себя, были: «Когда и как?» Ответом было: «А вот это я расскажу вам после венчания». Никогда еще я не проводил так обряд хупы. Я не видел ни жениха, ни невесты, да простят они мне. Мои очки были влажными все время. Я с трудом заставил себя стоять под хупой вместе со счастливой парой. Сгорая от нетерпения, я сказал несколько слов, благословляя молодых, и только ждал продолжения разговора с матерью невесты. Сразу после церемонии я отошел с ней в тихий уголок, и она поведала мне свою историю: «Я уроженка Пётркува. Каждый год я вижу вас и хешвана (день последней акции) на поминовении погибших жителей города. Каждый год я слушаю вашу речь, испытывая то же волнение, что и вы, и остальные выходцы из Пётркува. В тот день, когда родилась моя дочь, я решила для себя, что вы будете раввином, который ее обвенчает, когда настанет день. Мою дочь обвенчает раввин, сын раввина, обвенчавшего моих родителей. Раввин, чья мать погибла в Равенсбрюке, проведет церемонию венчания дочери женщины, выжившей в Равенсбрюке. Сам факт, что у нас есть поколение продолжателей, служит мне какой-то компенсацией за те ужасы, что

мы пережили», – так говорила мать невесты, с трудом владевшая собой от волнения, почти как и я.

Только после этого она продолжила и рассказала об обстоятельствах смерти моей матери. Она умерла от истощения примерно за два месяца до освобождения. Мать держалась в течение пяти с половиной лет ада, но в конце у нее не осталось сил. В Равенсбрюке ее любили, рассказала мать невесты. Настолько любили, что узницы лагеря не жалели усилий, делая все, чтобы спасти ее. По дороге на работу на завод по производству патронов они должны были идти из барака через ворота лагеря. Женщины на шестой год войны, истощенные, одетые в лохмотья, измученные, с трудом тащились по снегу. Тех, кто не мог идти, пристреливали у ворот. Нацистам было жаль тратить пайку в сто граммов хлеба на женщину, не приносящую пользы. У мамы уже не оставалось сил, чтобы идти, и остальные поняли, что судьба ее предрешена. Но, как было сказано, узницы лагеря отказывались принять этот приговор судьбы. Они измыслили творческое решение проблемы: каждое утро, с подъемом, собирались в небольшую стаю, этакий рой пчел из 16 женщин, чуть менее ослабевших, чем мама. Маму ставили посредине и поддерживали ее руками и плечами со всех сторон, так что ей, по сути, не приходилось шагать самой. Так они проходили ворота лагеря. Немцы считали по головам, а голова мамы виднелась на том же уровне, что и головы остальных женщин. Ноги не проверяли, а потому не замечали ее крайнюю слабость. Мать невесты была одной из женщин этого пчелиного роя, поддерживавших своими телами маму до последних мгновений ее жизни.

До того дня я не знал, на какую дату приходится день поминовения мамы. Мы с Нафтали решили, что будем отмечать его в тот день, когда мы получили известие о ее смерти в Экуи. Услышав историю, рассказанную матерью невесты, я рассчитал, что мама умерла около 10 тевета с разбросом в пару дней. Это и было примерно за два месяца до освобождения. Эта дата представлялась мне наиболее подходящей, с точки зрения развития событий. Нафтали в течение многих лет придерживался даты получения известия, и только в последние годы, благодаря дополнительным свидетельствам, убедился в том, что мама умерла примерно за два месяца до освобождения, то есть около 10 тевета.

10 тевета – день поста в память о разрушении Первого Храма. Это день, когда Навуходоносор, царь Вавилона, обложил Иерусалим осадой, закончившейся прорывом городской стены 17 тамуза. Спустя три недели Навуходоносор сжег Первый Храм. После провозглашения Государства Израиль главные раввины, Ицхак Айзик Галеви Герцог, да будет благословенна память праведника, и Бенцион Меир Хай Узиэль, да будет благословенна

память праведника, постановили считать 10 тевета Днем общего Кадиша для поминовения всех жертв Катастрофы, точная дата смерти которых неизвестна. И это – мой йорцайт¹ для мамы. День смерти папы и брата Шмуэля нам известен, о нем нам рассказали выжившие узники Трешлинки. Он приходится на 11 мархешвана, тот день, когда их увезли из Пётркува. Если бы я был должен установить общий день поминовения для жертв Катастрофы, то выбрал бы для него ту же дату, какую выбрали мои предшественники, возглавлявшие главный раввинат; хотя бы по той причине, что эта дата наиболее близка ко дню – 20 января 1942 года – проведения Ванзейской конференции, на которой обсуждались пути воплощения в жизнь «окончательного решения», измышленного нацистами для уничтожения еврейского народа.

Нафтали же по-прежнему оставался в неведении в отношении личности человека, передавшего конверт с вестью Йова. Все попытки выявить его не принесли успеха. И вот в 5742 (1981–1982) году, в Тель-Авиве, я выдавал замуж мою дочь Мирьям, да продлятся ее дни. Нафтали прилетел на свадьбу из Нью-Йорка. Во время церемонии рядом с ним стоял Моше Пшигурский, гурский хасид, проделавший с нами весь скорбный путь: из Пётркува в Ченстохову, оттуда в Бухенвальд и Экуи, с нами он репатриировался в Израиль и со временем стал директором школы, а потом генеральным директором йешивы «Адерет» в Бат-Яме, относящейся к движению «Бней-Акива». «Пришло время, чтобы круг замкнулся», – шепнул он брату на свадьбе моей дочери. «Это я передал письмо Лёлеку на качелях в Экуи сорок лет назад. Сегодня, когда Лёлек выдает дочь замуж, я чувствую потребность сбросить с себя бремя этой тайны, которую я ношу с собой так много лет. В Экуи я не мог посмотреть вам в глаза, поэтому не стал открываться вам». Пораженный Нафтали спросил, откуда тому стало известно о смерти нашей матери. «Ты ведь все время был с нами: в Пётркуве, Ченстохове, Бухенвальде. Откуда ты узнал о нашей маме то, чего я не знал?» – допытывался Нафтали. «Я только исполнил роль почтальона, передал письмо, – пояснил Моше Пшигурский. – Не я написал ту записку». «А кто написал?» – упорствовал Нафтали. «Лейбл Айзнер, вот кто», – ответил Моше Пшигурский.

Лейбл Арье Айзнер был одним из самых благородных людей, которых я знал. Гурский хасид, житель Тель-Авива, он был старше нас. Он прибыл с нами в Израиль на одном корабле. Когда мы были в Экуи, он уехал на поиски своей жены на просторах Европы. В своих разъездах он добрался до концлагеря Равенсбрюк в Германии. Его жена, как и мы, была урожен-

¹ День поминовения покойного в годовщину его смерти (идиш).

кой Пётркува. Она попала в лагерь вместе с мамой, с тем же транспортом, вышедшим из гетто Пётркува. В Равенсбрюке он узнал, что его жена умерла, а также услышал о смерти ребецн Лау в том же лагере. Узнав, что мы, двое ее сыновей, находимся в Экуи, он и послал ту записку. Конверт с похоронным известием он вручил разъезжавшему по Европе активисту одной из организаций, потому что сам был не в состоянии смотреть в глаза Нафтали, передавая ему ужасную эту весть. Много лет мы встречались в Тель-Авиве, но он и словом не обмолвился о том конверте.

* * *

Полученная нами горькая весть о смерти нашей матери заставила Нафтали принять окончательное решение о том, что мы направляемся в Эрец-Исраэль. С того момента, как мы ступили на французскую землю в санатории в Экуи, на нас обрушился град соблазнительных посулов и различных обещаний. И еврейская община, и французская общественность делали все, чтобы соблазнить нас остаться во Франции. Куда бы мы ни приезжали, нас узнавали как «сирот из Бухенвальда» и сразу же обрушивали на нас все блага мира, обнимали во всех сторон и обещали позаботиться обо всех наших потребностях, обеспечить нас бесплатным жильем, предоставить бесплатное образование и вообще все радости жизни.

Одно из самых сильных и значимых воспоминаний, оставшихся у меня от Экуи, связано с просьбой Рахели Минц ко всем ребятам собраться в четыре часа пополудни на центральной лужайке для встречи высокопоставленных гостей. Она потрудилась огласить нам список приглашенных, включавший окружного начальника полиции, военного коменданта и мэра города. Понизив голос, она почти проглотила упоминания того факта, что в этой встрече примут участие главы организаций, содержащих детское учреждение в Экуи. Как только она вышла, старшие в компании, не сговариваясь, постановили в один голос: «Мы на эту встречу не пойдем».

«Где они все были, когда немцы убивали наших родителей?» – был вопрос. «А теперь эти уважаемые люди вспомнили о нас и решили прийти? А не в том ли истинная причина, что они хотят сняться с бухенвальдскими сиротами, потому что такая фотография отлично выглядит в газетах?» Ответы на эти вопросы были слишком прозрачны и понятны. Пребывание в Экуи научило нас горькому опыту. Мы уже видели людей, оседлавших волну Катастрофы для карьерного роста. Уважаемые люди жаждали оказаться в нашем обществе, обществе «детей Бухенвальда», или «сирот Бухенвальда», заботясь, прежде всего, о своей общественной репутации

и зная, что мы представляем интерес для общества. Мы были для них инструментом.

Самые старшие в нашей компании, у которых росло чувство собственного достоинства, следили за соблюдением вежливости и уведомили госпожу Минц, что решили не участвовать во встрече, а бойкотировать ее. Пораженная инициативой снизу, госпожа Минц отвечала, что гости намерены вручить личный подарок каждому из нас, и нельзя так оскорблять их, и уж, конечно, не в последний момент. Слова ее не произвели впечатления на ребят. Один из них встал и уверенным голосом решительно провозгласил: «Ни меда твоего, ни жала твоего. Нам не нужны ни их подарки, ни их визит, ни вообще всякая связь с ними. Мы направляемся в Землю Израиля. Экуи всего лишь пересадочный пункт, наш дом не здесь. Французы не подставили нам плечо, когда мы нуждались в них, а посему теперь мы не с ними». Рахель Минц, не ожидавшая столь резкой реакции, поняла, тем не менее, что нет никакого шанса заставить людей изменить свое решение и прибегла к последнему оружию: «Сделайте это ради меня». Она, естественно, знала, что без этих организаций и филантропов ее детский лагерь не сможет существовать, а ожидалось прибытие новых партий детей и взрослых. Услышав ее личную просьбу, заводилы молодежи согласились на компромисс: мы будем на встрече ради госпожи Минц, но сотрудничать не будем. Не только не будет аплодисментов, мы даже не станем смотреть в глаза гостям.

Фотография, сделанная во время встречи, увековечила лысые бритые головы и опущенные в землю глаза и лица. 500 подростков сидели там, а почтенные гости разглагольствовали над этими лысынами. Рахель Минц проводила встречу по-французски, переводя свои слова для детей на польский и идиш. Каждый из гостей произнес по предложению и уселся на скамью посреди сцены. Последнего из выступавших Рахель Минц представила как еврея, выжившего в Освенциме, где он потерял жену и детей. Так как он вел дела в довоенной Франции, после освобождения он сумел приехать в эту страну. С тех пор он отдает свои силы, деньги, время и энергию сиротам. «Это его единственные дети», – пояснила она. В этот момент, без предварительной договоренности или какого-либо общего решения, 500 пар глаз поднялись от земли, и взгляд, выражавший солидарность, устремился на еврея, стоявшего на сцене. Это один из нас. Мы прямо смотрели на него, и он видел сотни пар глаз, поднятых на него с выражением сочувствия и понимания. Слезы душили его. Он держал микрофон дрожащими руками, но не мог говорить. Долгие мгновения из микрофона доносился лишь шорох от дрожи его рук. Несмотря на то, что он пытался преодолеть эту дрожь и волнение, заговорив, сумел

произнести только три слова на идише: «Киндер, тайере киндер» («Дети, дорогие дети»), – и разрыдался. Было тяжело и грустно слышать рыдания взрослого человека, но он сумел сотворить чудо. Вместе с ним заплакали мы все, и щеки наши были мокры от слез. Мы все чувствовали, что это не по-мужски, это неприлично, ведь мы все кацетники¹, выходцы из концлагерей. Все сидевшие на лужайке смахнули слезы рукавом, словно украдкой. Каждый бросил мимолетный взгляд направо и налево, убедившись, что остальные в таком же положении, как и он. И тогда плотину прорвало. В один миг прорвало все плотины внутри каждого из нас. Лужайка в Экуи превратилась в юдоль плача, в прямом смысле этого слова. Еврей из Освенцима сел на свое место, а мы все плакали, освобождаящим, здоровым плачем. Даже 58 лет спустя после этой встречи в Экуи, когда я рассказываю о ней, я чувствую, как у меня на глаза наворачиваются слезы. В этих рыданиях был плач по нам, по нашим родителям, по нашим семьям, по простому и наивному миру, который погиб – и нет его больше. Но была в нем и надежда. Это был плач людей, знавших, где их место, и знавших, что у них есть силы для принятия решений, для того, чтобы быть самостоятельными и иметь собственное мнение, переставших быть бессильными и зависимыми от милостей других людей.

И тогда посреди этого наполненного разными смыслами плача встал Аѓарон Фельдберг, 25-летний парень, один из самых старших в группе. Он сумел попасть в детский лагерь благодаря своей худобе, вводившей в заблуждение. Когда мы прибыли в Экуи, он весил 39 килограмм. Сейчас Аѓарон встал на ноги посреди сидевших на траве подростков и на прекрасном польском обратился к уважаемым гостям: «Я хотел бы сказать, если мне будет позволено, несколько слов от имени моих товарищей. Я хочу от имени нас всех сказать вам спасибо. Спасибо не за то, что вы пришли, потому что мы не желали этой встречи. Спасибо не за подарки, которые вы привезли, потому что нам они не нужны. Мы хотим поблагодарить вас за самый большой подарок из всех, что мы получили от вас несколько минут назад, – за способность плакать. Когда забрали мою мать и отца, я не плакал. Глаза мои были сухи. Когда меня избивали дубинками, не один раз, я кусал губы и не плакал. Уже много лет, как я не смеюсь и не плачу. Мы голодали, замерзали на морозе, истекали кровью, но не плакали. Уже несколько месяцев, с самого освобождения и даже еще до него, я хожу с чувством, что я не нормальный человек и никогда уже им не буду. Что у меня нет сердца. Что если я не могу плакать там, где должно плакать, то, как видно, у меня в груди

¹ От немецкой аббревиатуры KZ для Konzentrationslager – концентрационный лагерь. Кацетник – лагерь.

камень, а не человеческое сердце. Так я думал до последних пяти минут. Но не теперь. Сейчас я плакал и плакал много. И я скажу вам, что тот, кто способен плакать, завтра сможет смеяться и радоваться, сможет быть «менш», человек. И за это вам спасибо.

Прежде чем сесть на место, я скажу вам еще одну вещь. До того, как мне исполнилось 19, как началась война, в своем городе Бендзин в Польше я успел учиться Танаху и даже Талмуду. Наш дом был сионистским и религиозным, и мои родители настаивали, чтобы некоторые разделы я учил наизусть. Уже шесть лет, как я не видел Танах и своих родных, и я почти все позабыл. Однако есть отрывок, который я помню, и он сопровождает меня на протяжении шести последних лет. Его я не забуду никогда. Я хотел бы зачитать его вам. Это отрывок из пророчества Йехезкеля: «Была на мне рука Господня, и увлек меня духом Своим Господь и опустил меня среди долины, и она – полна костей. И Он провел меня над ними, вокруг-вокруг, и вот – многочисленны весьма на поверхности долины, и вот – иссохшие весьма. И сказал Он мне: сын человеческий! Оживут ли кости эти? И сказал я: «Господь Бог, Ты знаешь». И сказал Он мне: пророчествуй о костях этих и скажешь им: «Кости иссохшие, слушайте слово Господне!» Так сказал Господь Бог костям этим: «Вот Я ввожу в вас дыхание (жизни) – и оживете. И дам вам жилы, и вращу на вас плоть, и облеку вас кожей, и введу в вас дыхание (жизни), и оживете и узнаете, что Я – Господь. И пророчествовал я, как повелел Он мне, и вошло в них дыхание (жизни), и они ожили, и встали на ноги свои – полчище великое весьма, весьма. Он сказал мне: сын человеческий! Кости эти – весь дом Израилев. Вот, говорят они: «Иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами». Посему пророчествуй и скажешь им: так сказал Господь Бог: «Вот, Я открываю погребения ваши, и подниму Я вас из погребений ваших, народ Мой, и вложу дух Мой в вас – и оживете. И дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал и сделаю, – слово Господа Бога»¹. Агарон закончил цитировать пророка Йехезкеля, на иврите, черпая из глубин своей памяти, стукнул себя в грудь и громко провозгласил: «Мы иссохшие кости. До сих пор мы были лишь костями. Здесь, в Экуи, заботятся о нас, и кости сочленяются, и тело начинает приобретать форму, но дыхания жизни не было в нас до последних минут, пока мы не заплакали. Европа – наше кладбище. Бог сказал пророку Йехезкелю, что отворит погребения, выведет нас с этого кладбища и перенесет нас на Землю Израиля. Туда мы идем и туда прибудем».

¹ Йехезкель, 37:1–14.

* * *

В 5747–5748 (1987–1988) года я был членом Совета Главного раввината Израиля, работая в комиссии по выработке инструкций по проблеме пересадки сердца и печени. Вместе с членами комиссии, гаоном рабби Шаулем Исраэли, да будет благословенна память праведника, и гаонами, да продлятся их дни, рабби Авраѓамом Шапиро и Мордехаем Элияѓу, в то время главными раввинами Израиля, мы предприняли ознакомительное посещение больницы «Хадасса-Эйн-Карем» в Иерусалиме. Нас приняли гендиректор больницы профессор Пинхас, кардиолог профессор Гутман и специалист в области пересадки костного мозга профессор Славин. Во время посещения к нам подошел человек в костюме, без белого халата. «Ты, Лёлек, конечно, меня не вспомнишь, – сказал человек в костюме, представленный мне как заведующий административной частью больницы, – а вот я тебя, самого младшего из детей Экуи, никогда не забуду. Я слежу за тобой уже больше сорока лет. Я Аѓарон Фельдберг». Мы долго не могли разомкнуть объятия. Я снова слышал внутри его голос, говорящий о видении иссохших костей. Мог слышать его слова благодарности за подарок, врученный нам, – способность плакать. И был снова взволнован, как был взволнован тогда, восьмилетним мальчиком на лужайке в Экуи.

* * *

Представители США также давили на нас, чтобы мы поехали с ними. В Экуи приехал еврей, социалист из Нью-Йорка. Он каялся в том, что еврейские организации делали недостаточно, чтобы спасти нас и наших родителей. Но теперь, говорил он со слезами на глазах, он и другие еврейские организации хотят искупить свой грех.

Были и такие, кто предостерегал нас от переезда в Палестину. Там идет война, докладывали они, действует подполье, и нет независимости. Мандаторные британские власти правят железной рукой, набирает обороты конфликт между евреями и арабами. «Вы достаточно страдали от войн, видели достаточно кровопролития, Палестина – это не для вас». Эта фраза повторялась снова и снова разными агитаторами. Многократные попытки переубедить нас пробуждали сомнения, и так имевшиеся у многих из наших товарищей в Экуи.

Многие из нас колебались, куда двигаться дальше отсюда. Нафтали выслушивал всех убеждавших, прислушивался к их словам, по-своему убедительных у каждого из них, но оставался непреклонен в верности наследию папы и его наказу. С его точки зрения, не было никакого сомнения в выборе Земли Израиля. И так как решение его было нерушимо, он отправился из Экуи в Париж, чтобы установить какие-нибудь контакты с пред-

ставителями Эрец-Исраэль. Он нашел в большом городе представительство Еврейского агентства, без колебаний зашел внутрь и рассказал встреченным им посланцам, ответственным за репатриацию, что в 90 километрах от Парижа находятся примерно 500 еврейских подростков, сирот Катастрофы, из которых по крайней мере 150 – если не больше – жаждут репатрироваться в Эрец-Исраэль. Рут Клугер-Алиав, посланница Еврейского агентства, с которой он разговаривал, тогда впервые услышала из его уст о детях Экуи. Она снабдила его сладостями и деньгами на обратную дорогу и обещала приехать в Экуи сама, как только сможет. И действительно, через несколько дней Рут Клугер приехала, вместе с другими представителями Еврейского агентства и руководителями французского сионистского движения, чтобы проведать сирот Бухенвальда в Экуи. Представители O.S.E.¹, организации, содержавшей санаторий в Экуи, были недовольны посещением сионистов.

Пока не пришло достоверное известие о смерти мамы, Рахель Минц лично оказывала на Нафтали давление, беседуя с ним по-польски и на идише и пытаясь убедить его остаться во Франции. Она старалась убедить его в том, что, только действуя из Европы, он сможет выяснить, что произошло с мамой, а возможно, даже найти ее, несмотря ни на что, живой. Она снова и снова рассказывала ему о событиях в Эрец-Исраэль и изображала картину, далекую от того, чтобы быть привлекательной. Конверт с запиской, сунутый мне в руки, положил конец сомнениям брата. Было ясно, что мы репатрируемся в Израиль, а не остаемся на чужбине, каким бы приятным ни было пребывание в ней. Благополучие жизни в диаспоре было не способно соблазнить Нафтали. Его крайне угнетало опасение того, что в Америке или во Франции у него не будет каждый день миньяна – кворума для молитвы, чтобы читать кадиш по родителям.

Из 500 подростков, собранных в Экуи, 185 решили, что они хотят репатрироваться в землю Израйля. Другие, наши хорошие товарищи, полагали иначе. Были такие, кто предпочел присоединиться к еврейским общинам за границей, в основном благодаря семейным связям, которые они предполагали найти: как в Европе, так и за океаном. Одним из них был писатель Эли Визель, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Он приподнял завесу тайны над «евреями молчания», что позволило международной общественности осознать реалии жизни евреев за железным занавесом и обеспечило рупором безмолвный призыв этих евреев

¹ Euvre de Secours aux Enfants, «Организация по спасению детей» – французская еврейская гуманитарная организация, изначально основанная в России в 1912 году как ОЗЕ – Общество здравоохранения евреев.

«Отпусти народ мой!». Он остался во Франции на долгие годы, а впоследствии перебрался в Нью-Йорк.

Были и такие, которые предпочитали порвать всякую связь с еврейством, обратив спину отчужденному дому и еврейскому наследию. Каждая встреча в столовой санатория в Экуи сопровождалась яростными спорами с теми, кто считал, что достаточно страдал из-за своей принадлежности к евреям, что дорого заплатил за это, и теперь хочет жить, как все народы, без религиозной принадлежности. Большинство считало иначе.

Будучи еще маленьким мальчиком, я не мог принимать какое-либо участие в спорах больших. Я только пассивно слушал, не всегда ясно понимая, о чем идет речь и что заставляет спорщиков и их сторонников повышать голос и волноваться. Часто я слышал слово Америка. Оно ассоциировалось у меня с американскими солдатами, освободившими Бухенвальд и угощавшими меня жевательной резинкой и шоколадками. О большой Америке я не имел и тени представления. Мне была ясна только одна вещь: я сделаю все, что Нафтали скажет.

Только после того, как я репатрировался в Израиль и сформировалось мое самосознание, мне стало ясно, что это – мое место, и здесь я хочу растить детей. На протяжении всех лет я постоянно и осознанно отказывался от всех предложений исполнять обязанности раввина в какой-либо еврейской общине мира. Несмотря на то, что часть предложений, которые я получал, были интересны, захватывающи и соблазнительны. В ответ на предложение стать главным раввином Антверпена я дал обратившимся ко мне представителям общины следующее объяснение, которое в той или иной степени я давал и в ответ на предложения других общин: «Я приехал в Землю Израиля гол и бос. Никогда я не сумею расплатиться с ней за все, что она мне дала, и уж конечно, не сумею, находясь на чужбине. Я покинул Европу, чтобы никогда в нее не возвращаться».

* * *

За месяц, проведенный в Экуи, мы подлечились и набрались физических и душевных сил, оправляясь от пережитых ударов и невзгод. Мы пытались вернуться к человеческой жизни. Во вторник, 22 тамуза 5705 года, 3 июля 1945-го, в ранние часы утра, мы – 152 подростка – покинули Экуи. Сопровождаемые представителями Еврейского агентства, мы тряслись на автобусах по дорогам, ведущим в Париж, а оттуда на поезде – в Лион и Марсель. На всех остановках нас как «детей Бухенвальда» ждала теплая и волнующая встреча. Евреи ждали и обнимали нас с огромной любовью. Все были исполнены согревающего сердце чувства, что еврейский народ – несмотря

на все, что произошло за последние ужасные шесть лет, – это одна большая семья.

На Лионском вокзале внезапно выяснилось, что и во Франции у нас есть семья: Марк Броер, сын раввина Йосефа Броера, возглавлявшего еврейскую общину в Вашингтон-Хейтсе в Нью-Йорке, пришел поприветствовать нас. Он рассказал нам с Нафтали, что у нас есть родственники в Лионе. Рабби Аврагам Шапиро, брат рабби Меира Шапиро, да будет благословенна память праведника, сумел бежать из Вены с женой Блюмой и их единственным сыном Довом. Марк согласился подвезти нас к дому родственников, но, к великому прискорбию, их не было дома. Мы воссоединились с ними только несколько лет спустя, после провозглашения Государства Израиль, когда Дов с семьей репатриировался в страну отцов.

В Марселе, нашей последней остановке во Франции, нас поселили на несколько дней в лагере для репатриантов – это было что-то вроде лагеря для подготовки перед репатриацией. Мы ждали, когда найдется какая-нибудь лоханка в виде рыболовецкого баркаса, которая согласится переправить нас в Геную. 7 июля судно, которое мы ждали, отыскалось. Это был корабль французского флота, служивший во время войны для переброски войск. Мы загрузились на него, теснота была почти невозможной. Но я знал, что мы на пути в Землю Израиля, что я рядом с Нафтали и делаю то, что правильно, по его мнению. Я был спокоен и безмятежен и не занимал себя излишними сомнениями и вопросами. Будущее, которое расписывал мне брат, выглядело значительно более заманчивым, нежели прошлое со всем пережитым в нем за последние шесть лет.

Мы ошвартовались в Генуе, побыли в порту примерно два часа, после чего взошли на борт австралийского судна «Матаруа», на котором отплыли в Землю Израиля. На борту мы встретили инструкторов Еврейского агентства и движения молодежной репатриации, разных посланцев, а также несколько бойцов Еврейской бригады, которые служили в Европе во время войны, а теперь воспользовались этим утлым кораблем, как автостопом, чтобы вернуться в Эрец-Исраэль. Когда один из инструкторов хотел сделать какое-нибудь объявление, он орал во все горло «ш-шекет» («тихо»), с тяжелым венгерским прононсом. Странный выговор заставлял утихнуть ужасающий шум. В то время я еще не знал ни слова на иврите, но слово «тихо» я хорошо запомнил. Инструкторы организации молодежной репатриации раздали нам блокнотики, в которых были записаны наши первые сто слов на иврите.

Немало часов плавания я провел, выступая с песнями перед публикой. Меня приглашали на вечеринки на открытой палубе – петь песни на идише. Я пел песни, которые выучил в лагере и в Экуи. У меня был приличный

голос, а тот факт, что я был самым маленьким на корабле, превращал меня в достопримечательность. Однажды посреди песни я вдруг почувствовал, что кто-то сзади сильно тянет меня за руку. На секунду я испугался, потому что хватка была болезненной и пробудила во мне неприятные воспоминания из других времен и потому что я не различал лицо схватившего мою руку человека. Очень быстро я обнаружил, что это был Нафтали. Выяснилось, что он хотел спустить меня в трюм, где были краны с водой, чтобы смыть с меня стаи вшей, свободно разгуливавших по всем потаенным уголкам моего тела.

Поскольку за много лет я привык к их существованию, как неотъемлемой части меня, они давно перестали мне досаждать. Но Нафтали была невыносима мысль, что его младший брат выступает перед сотнями людей, когда по нему ползают вши. Он засунул мою голову под кран, из которого вырывалась мощная струя воды, и промокнувший с головы до пят я поднялся назад, чтобы спеть любимую мою песню: «А идише мамэ». Много слез было пролито из многих пар глаз, пока я пел, словно я был рупором для всех сидевших на палубе.

Другое переживание, оставшееся со мной после пребывания на корабле, заключалось в моих первых уроках иудаизма. Два брата, Элазар и Ханина Шифы, помогли Нафтали в моем еврейском образовании. Они обучили меня тому, что есть ритуальное омовение рук и каковы его правила. От них я узнал, что, просыпаясь, человек должен омыть каждую руку три раза: начинают с правой, переходят на левую, и снова, и снова. Иврит я не знал, но религиозные законы зубрил отлично. Элазар Шиф обучил меня тому, в каком порядке следует стричь ногти. Дабы облегчить мне запоминание названий пальцев, он дал мне мнемоническую скороговорку, которую я не забыл до сих пор: пять пальцев есть у нас, а ногти обрезают всегда в таком порядке: «бет» (2), «далет» (4), «алеф» (1), «гимел» (3), «ѓе» (5), или одним словом «бедеага» («осторожно», «заботливо»).

Утром воскресенья, 5 ава 5705 года, 15 июля 1945-го, после нескольких дней качки в море, «Матаруа» вошла в Хайфский порт. Мы испытывали огромное волнение. Не спали всю ночь. В каждом билось чувство: вот, мы прибываем в наш настоящий дом, предназначенный еврейскому народу. Ночью мы скучились на палубе, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит Земля Израиля, предмет наших мечтаний. Издали мы увидели силуэт горы Кармель, весь черный, погруженный в ночную тьму, и лишь несколько огоньков поблескивало на нем тут и там.

Пирс был запружен толпой народа, ожидавшего прибытия первых репатриантов, выживших в Катастрофе, прибывающих «оттуда». Люди держали в руках плакаты, которые гласили: «Добро пожаловать во врата Страны!»

В Израиле знали, что приближающееся к хайфскому берегу судно везет детей и подростков, чьи родители были убиты нацистами, и тут тоже все хотели окружить несчастных сирот бесконечной любовью. Многие также надеялись встретить родственников, другие верили, что смогут получить у нас какую-нибудь информацию о своих общинах и родственниках, связь с которыми прервалась. Сильное волнение сопровождалось не меньшим любопытством как у людей, ожидающих на пирсе, так и у нас, на палубе. Глаза мои без усталости перебегали из стороны в сторону, пытаясь впитать как можно больше подробностей, характеризующих то место, куда мы попали. Все было новым, другим, незнакомым. Мне было ясно, что момент, когда мы отдадим в порту якорь, станет началом нового этапа в моей жизни.

Земля Израиля – «Кто эти, что летят, как облако...»¹

Чем ближе мы подходили к входу в хайфский порт, тем яснее вырисовывались отдельные лица и люди в теснившейся на пирсе толпе, которую мы видели с моря. В ней были журналисты и фотокорреспонденты, представители Еврейского агентства и множество британских солдат, в форме и с винтовками. Когда судно приблизилось к берегу, яснее стала чувствоваться особая атмосфера, воцарившаяся в порту перед нашим прибытием: напряженное волнение, любопытство, ожидание увидеть вновь прибывающих, обнять родственника или знакомого.

Мой отъезд из Бухенвальда, прибытие в санаторий в деревне Экуи, репатриация в Израиль и первые шаги на новой земле сохраняются у меня в памяти в виде отдельных картинок. Но не только в моей памяти: все эти этапы были засвидетельствованы снимками, сделанными профессиональными фотографами и фотокорреспондентами, и эти снимки помогают мне – задним числом – помнить.

Когда меня снимали на выходе из ворот Бухенвальда, с маленьким саквояжиком в руках, в котором было все мое имущество, – я улыбался. Когда меня снимали вместе с Нафтали – мы держим по кружке с молоком в одной руке и по ломтю хлеба в другой – я так и лучился улыбкой. Только один снимок есть у меня, на котором я не улыбаюсь: это фотография, снятая журналистом Шимоном Саметом, делавшим для газеты «Гаарец» репор-

¹ Йешайя, 60:8.

таж о прибытии в порт первых репатриантов. Фотография эта появилась в газете на следующий день после нашего прибытия. На ней виден восьмилетний мальчик, костлявый и тощий, сидящий на руках у молодого мужчины. Грустный, хмурый, неулыбчивый мальчик. Мальчик, на лице которого написана тревога, как у взрослого.

Много лет назад Нафтали пригласили выступить на открытии музея Катастрофы в Торонто. Войдя в музей, он заметил краем глаза эту фотографию на одной из стен. Под снимком имелась подпись: «В виду горы Кармель, въездные ворота страны, отец с сыном, выжившие в Катастрофе». Понятно, что произошла ошибка в определении родственных связей, Элазар Шиф – а именно он держит меня на руках на фотографии – не был моим отцом, но выражение моего лица передано достоверно и отражает действительность. Опасение и тревога были подлинными моими чувствами и неотъемлемой частью переживаний при первом знакомстве с Землей Израиля.

Прежде всего, меня напугали арабские рабочие. В хайфском порту работали арабы, у которых были очень широкие штанины. Я отроду не видел таких штанов, и они возбудили мое любопытство. Я спросил у кого-то рядом с собой, что это за штаны, такие странные, и получил в ответ: «Это не евреи, это арабы. Они похищают еврейских детей и прячут их в этих штанах, чтобы переправить их на рынок. Там они продают этих детей в рабство».

Лишь только услышав это «научное» объяснение, я сразу же схватил Нафтали за руку и решительно заявил ему, что не собираюсь сходить с корабля. И добавил сукором: «Зачем ты меня сюда привез? Это не моя страна, не хочу здесь быть, никогда! Не хочу путаться внутри штанин этих людей, которые потом продадут меня кому-нибудь. Я возвращаюсь назад», – заключил я. Братья Элазар и Ханина Шифы бросились на помощь Нафтали, пытавшемуся меня успокоить, но я был так напуган этим зрелищем и сопроводившим его рассказом, что отказывался идти на контакт и выслушивать их объяснения. Внутри себя я свернулся в клубок, как еж, совершенно уверенный в собственной правоте: нельзя сходить на берег в стране, где похищают детей и прячут их внутри странных штанов. Настал момент, когда мы должны были сойти с корабля на пирс, но я уперся. Элазар Шиф поступил просто: взял меня на руки и сошел вниз. Фотограф запечатлел именно этот момент. Поэтому на снимке виден крайне встревоженный мальчик, только что услышавший о том, что ожидает его на Земле Обетованной. Это была моя первая встреча с Землей Израиля, обернувшаяся душевной травмой. Встреча эта была, насколько можно представить, далека от рассказов, надежд и картин, вертевшихся у меня в голове и в моем воображении по дороге в Израиль.

Итак, я был спущен с корабля на берег, несмотря на мои протесты. Толпа, встречавшая нас на пирсе, разразилась радостными криками: «Шалом алейхем! Шалом! Шалом!» Слово это повторялось беспрестанно. Но британские солдаты не позволили нам подойти к приветственно махавшим руками людям. Выставив вперед приклады ружей, они повели нас в большой ангар. Мы с Нафтали искали наши баулы с пожитками, привезенными для начала новой жизни. Один нашелся сразу, но другой исчез. Нафтали положил мешок на пол и приказал мне: «Лёлек, стой здесь. У тебя ружье, охраняй мешок, а я пойду искать второй». Слово Нафтали было свято для меня. Я напряженно застыл на месте, с винтовкой, которую получил от американского солдата, на правом плече, и с баулом под ногами – баулом, который я был готов защищать от потенциальных воров до последнего вздоха. Работавшие вокруг арабы в широких штанах и британские солдаты в форме, с винтовками и дубинками, пугали меня. Я попытался преодолеть страх и сосредоточиться на задаче по охране баула. Я не понимал, куда мы попали. В голове у меня вертелись докучливые вопросы. Неужели это вправду та страна, куда мы стремились? Родина, о которой мечтали? Вот это наш дом? Если в Земле Израиля не убивают евреев, как Нафтали когда-то обещал, то почему вокруг нас крутятся солдаты с винтовками? Для чего им нужны эти винтовки? Наученный опытом войны, я хорошо знал, для чего нужны винтовки. Дополнительных объяснений мне не требовалось.

Пока все эти вопросы не давали мне покоя, была сделан еще один мой снимок: я стою на страже рядом с баулом с нашими пожитками, с винтовкой на плече, и весь мой вид являет картину безграничной серьезности. Фотография экспонируется в «Яд ва-Шеме». Под фотографией, которую также снял фотокорреспондент Шимон Самет, написано: «Когда этого мальчика, нового репатрианта, спросили, для чего ему нужна винтовка, которую он держит на плече, он ответил: «Чтобы мстить немцам за родителей».

Через пятнадцать лет, 25 швата 5720 года, 23 февраля 1960-го, я женился. В рубрике «Что я видел, что я слышал» в газете «Гаарец» журналист Хавив Кнаан писал: «Вчера я был на свадьбе дочери раввина Ицхака Йеидиды Френкеля, раввина квартала Флорентин и южных районов Тель-Авива, но для меня в этой свадьбе был дополнительный волнующий аспект. С женихом я познакомился за пятнадцать лет до этого, когда он в возрасте восьми лет приехал в Израиль, и его фотография была опубликована на страницах этой газеты, – маленький мальчик, прибывший из Бухенвальда. Мальчик с округлым лицом и грустными глазами не расставался с винтовкой, которую получил от американского офицера, вошедшего в Бухенвальд с первыми американскими танками и не представлявшего, что в этом нацист-



Мой отец раввин Моше Хаим Лау



Моя мать Хая Лау, дочь раввина Симхи и Мириам Френкель-Теомим



Семья Лау до Катастрофы. Слева направо: мой отец раввин Моше Хаим, мать Хая и братья Шмуэль и Йехошуа (Шико), брат Нафтали



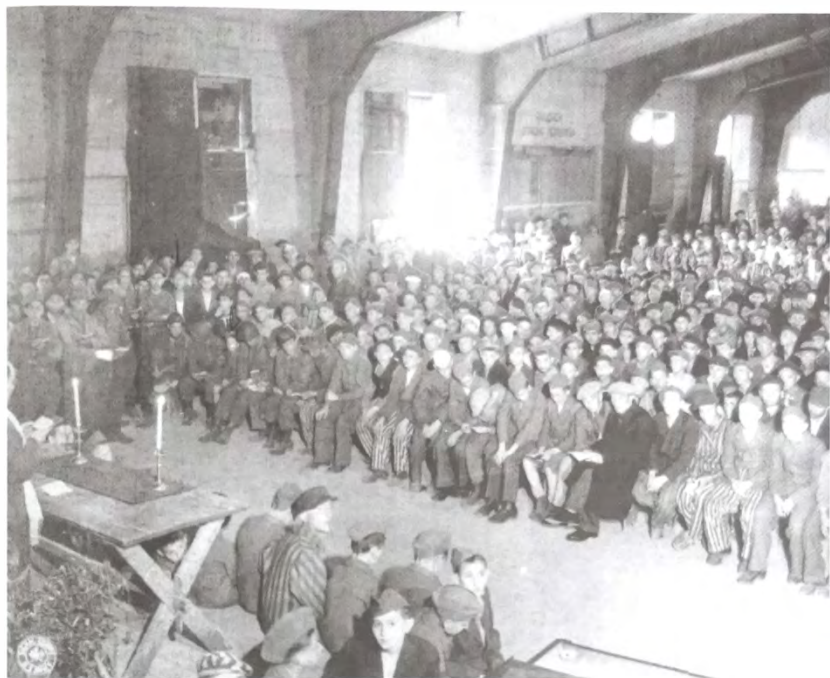
Это я в возрасте одного года – моя первая и единственная довоенная фотография



Семья до Катастрофы; сидят: мой дедушка раввин Цви Иехуда Лау и бабушка Лея Хинда; стоят (слева направо): дядя Бруно-Берхияху Шонталь, его жена (сестра моего отца) тетя Метта (они планировали переехать на Кубу) и кузены Шмуэль Ицхак Лау и Нуся, убитые во время Катастрофы



В 1930-х годах с классом мальчиков из йешивы «Торат Хаим», основанной моим отцом в городе Прешов (Чехословакия). Отец, главный раввин города и глава йешивы, на фото слева вверх. Мой брат Шико сидит впереди справа



Американский раввин Хершель Шехтер проводит Шавуот для освобожденных узников Бухенвальда. Я сижу третий слева в первом ряду между американскими солдатами и смотрю в камеру. Обратите внимание, что на некоторых по-прежнему одежда узников

Мы с моим братом Нафтали во французском городе Экуи, в руках у нас кружки с молоком и хлеб. Я улыбался изо всех сил





Я на плечах двух мальчиков из Бухенвальда на пути во Францию

Юные евреи – «перемещенные лица», пассажиры Бухенвальдского детского транспорта, который собирает их для отправки в Экуи (транспортом руководила французская организация O.S.E., занимавшаяся защитой прав детей) летом 1945 года. В переднем ряду слева направо: Ицио Розенман, Давид Перельмуттер и я, смотрящий вверх. Юноша постарше, сидящий сзади слева в клетчатой кепке, – Шалом Теппер, он погиб в Израиле во время Войны за независимость



С еще одним выжившим узником Бухенвальда – приятелем Элизером Шиффом на борту корабля во время прибытия в порт Хайфа будущего Государства Израиль, 15 июля 1945 года



Я размахиваю самодельным флагом после высадки с корабля, на пути в лагерь временного содержания Атлит под Хайфой. Крайний слева – мой брат Нафтали, всегда приглядававший за мной. На флаге написано: «Мы – молодежь «Агудат Исраэль» из Бухенвальда»



Семейный обед в честь свадьбы моего брата Шико в Тель-Авиве. Во главе стола раввин Мордехай Фогельман. Справа от него – жених в шляпе-федоре и с расстегнутым воротом. Шико был членом религиозного кибуца «Кфар-Эцион». Я слева от Шико в матросском костюмчике и белом берете



Произношу речь по случаю своей бар-мицвы, ее слушает мой дядя раввин Фогельман



В йешиве «Коль Тора» в Иерусалиме. Я – в центре, слева от меня – Биньямин Даян, который был убит во время Шестидневной войны; справа – Эли Берлингер

С группой юных студентов йешивы «Коль Тора». Я – третий справа, с книгой



В Понежевской йешиве в Бней-Браке. Я стою за сидящим раввином Авраамом Шапиро – братом люблинского раввина Меира Шапиро, кузеном моего отца и основателем Daf Yomi (ежедневная программа по изучению Талмуда)





Мой учитель, раввин и тесть – рав Ицхак Йедиद्या Френкель, главный раввин Тель-Авива и Яффо, – произносит Шева брахот (брачное благословение) для меня и моей жены на банкете после бракосочетания; в доме семьи Вейль, февраль 1960 года. Слева от меня – мой учитель раввин Шломо Залман Ойербах



Мое вступление в должность раввина синагоги «Тиферет Цви» в Тель-Авиве на Хануку 1966 года. Слева от меня: главный раввин Израиля в то время – рав Иссер Иехуда Унтерман, мой дядя рав Фогельман и мой тесть рав Ицхак Йедиद्या Френкель



Получаю смиху (диплом раввина) от Аарона Диновица – главы «Тиферет Цви», 1965 год



Моя жена Хая-Ита и я на бат-мицве нашей дочери Мириам в 1975 году, с нами шестеро из восьми наших детей. Теща и тесть сидят в первом ряду, Мириам – между ними



С президентом США Рональдом Рейганом на Американском съезде евреев, переживших Холокост, и их потомков в Мэриленде, США, 11 апреля 1983 года. Эли Визель стоит слева за Нэнси Рейган

ском аду он найдет еврейского ребенка. Офицер вынул из винтовки затвор, превратив ее в игрушку. Эта была первая игрушка в жизни младшего сына раввина Лау из Пётркува, Исраэля Лау, прошедшего детство в трудовых и концентрационных лагерях, при том, что старший брат переносил его с места на место в заплечном мешке. Эта винтовка на протяжении многих лет хранилась у него и в Земле Израиля». Что, кстати говоря, неверно. Англичане отобрали у меня американскую винтовку, выдав вместо нее игрушечное ружье.

Несмотря на появление Нафтали со вторым нашим баулом, вопросы продолжали мучить меня. Так и не получив на них ответов, я вместе с другими подростками был переведен из порта в Атлит. Несмотря на то, что мы были репатриантами с въездными сертификатами, выданными организацией молодежной репатриации, нас погрузили в грузовой поезд, а британские солдаты пересчитывали нас снова и снова – как пастух пересчитывает овец в своей отаре, – и следили за каждым нашим движением, пока мы не покинули территорию порта.

Все выглядело повторением прошлого: опять грузовой поезд, с точно такими же вагонами для скота, в которых нас отправляли в концлагерь в Польше, опять нас окружают солдаты, пусть на этот раз и в другой форме. Конечно, это были не немцы и не американцы, но и они были суровыми солдатами, и этого было более чем достаточно. Я так же не понимал их языка. И на этот раз тоже – как раньше – не знал, куда и на сколько времени мы едем. В вагоне у нас не было ни еды, ни воды, и из всего этого я заключил, что, по сути, мы до сих пор не освободились из лагеря. Или, может быть, наш корабль сбился с курса, и мы возвращаемся «туда»? Мне было ясно, что произошло нечто непредвиденное. Я ни на миг не усомнился в точности фактов, сообщенных мне Нафтали о Земле Израиля. С моей точки зрения, каждое произнесенное им слово было абсолютной истиной. Он ведь сказал, что мы едем в Землю Израиля, что там – наш дом, и что там не убивают евреев.

Никто не приветствовал меня, не было ни улыбок, ни объятий, отметил я для себя. Единственный вывод, который я мог сделать на основании собранных мною фактов, заключался в том, что капитан ошибся и мы прибыли в неизвестное место. Больше всего меня пугало, когда нас снова и снова пересчитывали. Мы ненавидели эти подсчеты. Я опасался, что снова стану заключенным № 17030. Это были самые тяжелые часы. И словно для того, чтобы усилить опасения, после получасовой поездки нас вывели из поезда и – снова окруженных британскими солдатами – повели в лагерь Атлит, со всех сторон огороженный колючей проволокой. Мы шли по тяжелому зною середины июля и прибыли в бараки без вентиляторов и водяных охла-

дителей. От морозов Бухенвальда, через прохладу французской весны, мы попали в душные бараки на прибрежной низменности Израиля в самый разгар июльского пекла. К лагерю мы – мой брат, его друзья и я – шли колонной, а я – самый младший в компании – был удостоен чести нести бумажный флаг. Флаг был довольно большой, с сине-белым маген-давидом, внутри которого было написано на почерпнутом из молитвенника иврите «Союзная молодежь Бухенвальда», как будто в Бухенвальде была молодежная ячейка движения «Агудат Исраэль» («Союза Израиля»).

Еще на корабле начались беседы с подростками-репатриантами инструкторов организации молодежной репатриации и представителей Еврейского агентства, по вопросу абсорбции в стране. Самые близкие к нам с братом ребята, братья Шифы, Пшигурский, Айзнер и другие, происходили из ортодоксальных семей гурских и белзских хасидов и знали, что они хотят воссоединиться со своими адморами. Таким образом, они, по сути дела, обозначили свой путь, заявив, что сами будут определять свое будущее. Нафтали, которому тогда было без малого девятнадцать, без отца и матери, без гроша в кармане, без языка, сам не знал, куда податься, но прежде всего стремился позаботиться обо мне. Он знал, что у нас есть дядя в Израиле, и планировал, что я буду воспитываться у него.

С поднятой головой и великой гордостью я маршировал вперед с флагом в руках, Нафтали во всей компанией шагал вслед за мной. И этот момент был увековечен, на этот раз фотографом Нахумом-Тимом Гидалом, работавшим в газете «Палестайн пост», впоследствии поменявшей название на «Джерузалем пост».

История самого Тима Гидала заслуживает отдельного рассказа. Тим жил в Иерусалиме, в квартале Шейх-Джаррах. Во время Войны за Независимость квартал неоднократно обстреливался, и Тим был вынужден в спешке покинуть свой дом. Он вышел в чем был, бросив все свое имущество, и обосновался в еврейской части города. Спустя 19 лет, во время Шестидневной войны, израильские солдаты обыскивали дома в Шейх-Джаррахе на предмет обнаружения тайников с оружием и боеприпасами. В одном из домов они нашли множество коробок из-под обуви, забытых старыми пленками и фотографиями, на которых была запечатлена жизнь еврейского ишува в Земле Израиля, в том числе и снимки будущих руководителей государства. Выяснилось, что это дом Тима Гидала. Неожиданная находка была перевезена ЦАХАЛом в Центральный сионистский архив.

В 5753 (1993) году, с моим избранием на должность главного раввина Израиля, дирекция Сионистского архива решила поздравить меня и поднесла мне пачку фотографий, напечатанных с тех старых пленок, которые были найдены в обувных коробках в доме Тима Гидала. Были там и фото-

графии детей Бухенвальда, прибывших в Хайфу, а затем в Атлит летом 1945 года, и среди них – моя фотография: восьмилетний мальчик шагает во главе колонны подростков и взрослых с флагом в руке. Я испытал огромное волнение, когда увидел эти фотографии, снова встретил себя в самом начале моей жизни в стране, и вновь убедился в том, насколько мудрыми оказались эти выжившие в Катастрофе подростки, инстинктивно понявшие, что от них требуется действовать, чтобы опять не потерять контроль над своей жизнью. Ибо в Атлите нам открылось, что распределение новых репатриантов по учебным заведениям осуществляется по территориальному и партийному признаку, без учета желаний самих подростков.

* * *

В Атлите мы провели две недели. По ночам я не мог сомкнуть глаз. Вокруг забора лагеря часами стояли люди, издавая протяжные вопли, напоминавшие вой пустынных шакалов, и при воспоминании об этом у меня по сей день стынет кровь в жилах. По ночам, когда умолкали все звуки: шум от машин и людской гомон – и безмолвие воцарялось вокруг, эти вопли отдавались особенно гулким эхом. «Гринберг, Дрогобыч», – слышался вопль. Кто-то ищет человека по фамилии Гринберг из города Дрогобыч. Или: «Гольдберг, Лодзь». Это продолжалось долгие дни и ночи. Люди отпрашивались с работы, приезжали автостопом из удаленных мест или приходили пешком из ближайших окрестностей, чтобы искать выживших родственников или вызнавать у нас крупницы информации о судьбе своих близких. Мы, запертые в лагере, были связующим звеном между «здесь» и «там».

Искали и нас.

Как только мы вошли в барак в Атлите, к Нафтали подошел местный инструктор и представился: Кисман, кибуцник из Кфар-Эциона. Из всех сельскохозяйственных поселений в Атлит прибыли инструкторы. Кисман приехал передать привет от своего друга – «твоего брата Шико». В первый момент Нафтали не понял, о ком идет речь, и попытался объяснить инструктору, что тут какая-то ошибка и тот наверняка должен передать послание другому человеку. Но Кисман стоял на своем и даже сказал, что Шико уже едет в Атлит.

Только тогда Нафтали понял, что речь идет о нашем брате Йеѓошуа Йосефе, известном под прозвищем Шико, с которым он расстался за двенадцать лет до этого, когда Шико уехал праздновать свое религиозное совершеннолетие – бар-мицву – у своего деда, адмора вижницких хасидов, рабби Исраэля Гагера. До того, как жениться на нашей маме Хае – дочери рабби Симхи Френкеля-Теомима из Кракова, да будет благословенна память праведника, наш отец был женат первым браком на Дворе,

дочери рабби Исраэля Гагера, вижницкого адмора, да будет благословенна память праведника, известного под прозвищем «Аѓават-Исраэль» из Вижницы. Рабби Исраэль Гагер был основателем династий четырех адморов: рабби Менахема-Менделя из Вишевы, рабби Хаима-Меира из Выховца, рабби Элизера из Вижница и рабби Баруха из Сирета (идиш – Серта). Трое из четверых выжили в Катастрофе и удостоились подняться в Землю Израиля. Один из них – рабби Элизер из Вижница – прозываемый по названию своей книги «Дамесек Элизер» («Дамаск Элизера») – был бездетен, и когда репатрировался в Израиль в 1944 году, в самом разгаре войны, взял с собой своего племянника, юного Йеѓошуа Лау, которого дома называли Шико. Это мой брат Шико, наш брат Шико. В сертификате, по которому Шико въехал в страну, он был записан сыном адмора. С тех пор во всех документах он проходит под фамилией Гагер, хотя он первый сын папы, рабби Моше Хаима Лау. Последнее обстоятельство нашло выражение только в его книгах, которые он пишет под именем рабби Йеѓошуа Йосефа Лау-Гагера.

Мой отец с женой Дворой и Шико жили в городе Сучаве (известном также под идишским названием Шац), в Буковине, где папа исполнял обязанности городского раввина. Двора рано умерла, и папа остался молодым отцом с маленьким ребенком без матери. Семья Гагер во главе с дедом, автором книги «Аѓават Исраэль», предложила отцу взять ребенка на воспитание и растить его, пока отец не устроит свою жизнь. Однако папа предпочел, чтобы сын оставался с ним, даже после того как женился на маме. Пока папа был раввином Прешова в Словакии, Шико жил с ними. И только достигнув возраста исполнения заповедей, отправился в Вижниц учиться в йешиве у своего великого деда и дяди. Он репатрировался в Израиль, как уже было сказано, со своим дядей, за год до нас, и стал членом кибуца Кфар-Эцион. Шико старше Нафтали на семь лет, а меня – на восемнадцать.

Когда мы с Нафтали вместе с остальными детьми Бухенвальда ожидали в Марселе судна, которое бы забрало нас в Землю Израиля, нас посетил доктор Гиллель Зайдман, журналист из Варшавы, который первым опубликовал – в виде отрывков из своего дневника – историю варшавского гетто. Он был близким другом папы. Обнаружив в Марселе ожидавшую репатриации группу сирот из Бухенвальда, и в ней двоих сыновей раввина Лау из Пётркува, он послал телеграмму в Еврейское агентство в Иерусалиме с сообщением о группе и о нас в частности. Эта информация достигла и Шико. Он мотыжил и расчищал от камней поле рядом со своим кибуцем в Иудейских горах, чтобы насадить на этом месте виноградник, когда к нему прибежал другой кибуцник с газетой «Га-цофе» в руках и криком

на устах: «Шико, у тебя есть два брата. Твои братья живы». Шико был потрясен. До того момента он не знал ничего о судьбе своей семьи, оставшейся в Польше.

Он тотчас бросил мотыгу и попросил Кисмана, посланца Еврейского агентства, с которым поддерживал отношения, если тот увидит братьев Лау, сказать старшему из них, Нафтали, что он уже едет к ним. Шико пустился в путь автостопом из Кфар-Эциона в Атлит. Сильное волнение овладело Нафтали, когда он услышал эту весть от Кисмана. Как из-за того, что нашелся пропавший брат, так и вследствие необходимости известить его о смерти нашего отца, матери и брата.

В моей же жизни произошло волнующее событие: у меня «родился» брат. До этой встречи в Атлите с посланником Еврейского агентства я вообще не знал, что у меня есть еще один старший брат. Когда разразилась война, мне было два года, а он находился в Вижнице, в Гроссвардейне (Орадя) в Румынии, без всякой связи с нами. Никто никогда даже не упоминал в моем присутствии о самом факте его существования. Когда Нафтали разлучили со мной в Бухенвальде, он упомянул, что у нас есть дядя в Земле Израиля, рабби Фогельман, но имени Шико я отродясь не слышал. Нафтали знал брата, я же даже не знал о его существовании.

И вот среди голосов толпы, окружавшей лагерь в отчаянном стремлении получить хоть крупинцы информации, я услышал голос своего брата. Услышал крики двух мужчин, обращавшихся друг к другу: «Толек, Шико», «Шико, Толек». Мне было ясно, что Нафтали кричит, обращаясь к кому-то. Голос его доносился до меня в разноголосице криков, исторгаемых охрипшими глотками множества людей. Затем я увидел кричащего человека: он был одет в брюки цвета хаки, рубашку хаки с коротким рукавом, библейские сандалии без носков. Грива волос, начавшая серебриться сединой в 26 лет, и каскетка на голове, которая не могла скрыть всю его шевелюру. Я рассматривал его, когда Нафтали повернулся ко мне: «Лёлек, познакомься, это твой брат». Я не знал, что сказать в ответ. Шико знал о моем существовании, он был на моем обрезании, в течение двух лет видел меня в Пётркуве, приезжая к нам на праздники. Но для меня это был чужой человек. Он сунул руку сквозь забор, пытаясь дотянуться до кончиков моих пальцев, чтобы пожать мне руку. Я разлился и отдернул руку. Это была демонстрация протеста против того, что никто не удосужился рассказать мне о его существовании. Я сердился, что встреча с незнакомым братом происходит, когда нас разделяет колючая проволока. Известие, как электрический ток по проводам, распространилось среди сотен людей в лагере, все обсуждали встречу двух братьев, младший из которых отказывается идти на контакт. Когда история дошла до британских военных, один из офицеров был так растроган, что

решил по собственной инициативе разрешить братьям непродолжительное свидание, чтобы их не разделяла колючая проволока. Нафтали подвел меня к воротам. Еще раньше офицер впустил Шико, и, когда мы подошли, он уже ждал нас. Тут я сменил гнев на милость, и братья упали друг другу в объятия. Мы плакали, зная, что уже ничто в мире не разлучит нас. Прошло несколько минут, отведенных на свидание, и мы вернулись на свои места по разные стороны забора. Нафтали рассказал Шико о судьбе папы, мамы и Шмуэля. Справившись с потрясением от горьких вестей, Шико рассказал нам о своей жизни в кибуце.

Во время Войны за Независимость Шико чудом остался жив. Его жена Ципора, урожденная Минцер, да покоится в мире, должна была рожать в больнице «Мисгав ла-Дах» в Иерусалиме, и брат повез ее в город. Вернуться обратно он уже не смог, ибо Гуш-Эцион был отрезан, и даже на броневике невозможно было добраться домой. Жители Кфар-Эциона были вырезаны почти все, исключая нескольких человек, члены остальных кибуцев взяты в плен иорданцами. Так маленькая Двореле, носящая имя матери Шико, спасла своих родителей от резни в Кфар-Эционе.

Наш брат Шико, Йеѓошуа Йосеф Лау-Хагер, много лет был преподавателем Талмуда в 5-й средней школе Тель-Авива, затем возглавлял 1-ю вечернюю среднюю школу, пока не вышел на пенсию. Сегодня он живет в Иерусалиме, в районе Катамон, недалеко от дома Нафтали, и посвящает себя воспитанию подрастающего поколения. Он написал несколько книг: «Мужество и стойкость» и «Храбрость и скромность» посвящены армии, войне и военной этике в трудах Рамбама, Воложинского Наместника¹ и автора книги «Ор sameах» («Радостный свет»); тогда как в книге «Истина и мир» он исследовал наши мирные договоры с соседями, от Авраѓама и Авимелеха и до сегодняшнего дня.

После смерти его жены Ципоры, да покоится в мире, Шико женился на Тове, урожденной Айнфельд, которая овдовела, потеряв своего мужа Яакова Юваля, да будет благословенна его память, оставшись с тремя малолетними дочерьми. Бракосочетание Шико и Товы проводил я, в моем доме в Тель-Авиве. Сын Шико, полковник рабби Моше-Хаим Лау-ѓагер, носит имя нашего отца. После многих лет службы в десантных и бронетанковых войсках он основал подготовительную религиозную школу для допри-

¹ Рабби Нафтали Цви Йеѓуда Берлин из Воложина, известный также как реб Ѓирш-Лейб Берлин (1817–1893), глава Воложинской йешивы и известный раввин. Инициалы его имени читаются как «Нацив», что означает «наместник».

² Рабби Меир Симха Ѓакофен из Двинска (1843–1926) – один из известнейших раввинов Восточной Европы в поколении перед Катастрофой.

звоников в поселении Бейт-Ятир, которую и возглавляет поныне. Обе его дочери, Двора и Идит, стали учительницами.

* * *

Конечно, Атлиту я обязан великим благословением – «рождением» старшего брата, однако все остальные события, происходившие там, были непросты для меня, и воспоминания о них вызывают во мне смешанные чувства. Инструкторы приветливо относились к сиротам Катастрофы, но воздух был пропитан ощущением, что не все в Земле Израиля так уж складно. Мечта о родине, песни, которые мы выучили на пути к ней, те, что принято называть «песнями Еврейского агентства», и действительность повседневной жизни на родине оказались далеко не одним и тем же. Грузовой поезд, доставивший нас в лагерь в Атлите, и окружавшие его заборы с колючей проволокой не раз входили в противоречие с такими песнями, как «Построим страну нашу, страну родную» или «Здесь, в стране благодати праотцев», которые я до сих пор помню слово в слово. Осознание этого противоречия вызвало у меня чувство разочарования.

Мы покинули Атлит по истечении двух недель. Все ребята, прибывшие на одном корабле, были распределены по разным грузовикам. На каждом из них был вывешен белый плакатик с напечатанным названием движения: «Союз кибуцев», «Объединенный кибуц», «Всеизраильское движение кибуцев» – «Ха-Шомер ха-Цаир», «Религиозный кибуц», «Рабочий-сионист» и «Организация в пользу детей Израиля», которая была ответвлением движений «Агудат Исраэль» («Союз Израиля») и «Поалей Агудат Исраэль» («Трудящиеся Союза Израиля»). Выяснилось, что у Еврейского агентства был какой-то код, в соответствии с которым распределяли репатриантов по движениям. «Как пастырь, осматривая свое стадо, подводит овец под посох свой, так и ты проводишь, и считаешь, и исчисляешь, и взыскуешь души всех» репатриантов¹. Так решалось, куда направится каждый из нас. По сути дела, этим определялась вся дальнейшая жизнь детей и подростков, которые не имели ни малейшего понятия об отличиях между разными движениями.

Генерал Авидгор Бен-Галь по прозвищу Януш прибыл в Израиль в числе «детей Тегерана»². Будучи командиром 7-й бригады, он пригласил меня –

¹ Парافраз пиюта «Унетане токеф», читаемого в дополнительной молитве – Мусафе – в праздники Рош га-Шана и Йом-Кипур. Предположительно, пиют написан в VI–VII веках в Земле Израиля, возможно, Яннаем или Элазаром Калиром.

² Группа еврейских сирот из Польши, попавших через СССР в Иран, а оттуда вывезенных в Палестину в 1943 году.

тогда районного раввина в Тель-Авиве – прочитать лекцию на тему еврейской самоидентификации всем офицерам бригады в звании от младшего лейтенанта и выше в зале народного дома 3-го микрорайона Беэр-Шевы. Предваряя мою лекцию, Януш рассказал о том, что общего в наших с ним биографиях: мы оба были сиротами Катастрофы, по разнарядкам распределенными по разным общественным движениям. «Будь это произвольное распределение иным, вы бы могли сегодня быть генерал-майором в ЦАХАЛе, а я «досом»¹. Не знаю, стал бы я раввином, но «досом» точно был бы», – сказал он и был прав. Ибо мы оба были детьми и приехали в Израиль без родителей; и нас обоих ответственные за распределение в Атлите могли послать, куда им заблагорассудится, нисколько не интересуясь нашими пожеланиями. Тогда это было общепринятой нормой.

Правда, в моем случае все происходило иначе. Господь сподобил меня прибыть в Израиль не одному, а вместе с братом, который был на много лет меня старше. Нафтали решительно заявлял всякому, кто хотел взять на себя роль моего опекуна, что его младший брат отправится туда, куда он – старший брат – решит, и никто не сможет решать это за него. Нафтали помнил те времена, когда он сопровождал отца в поездках в Варшаву, на совещания Совета мудрецов Торы движения «Агудат Исраэль». Несколько раз он был с отцом на всепольских конференциях «Агудат Исраэль», и даже на мировом съезде движения в Мариенбаде в Чехословакии. Нафтали был знаком с выдающимися людьми, присутствовавшими на этих совещаниях, и знал, что это были члены Совета мудрецов Торы. Поэтому еще на корабле по дороге в Землю Израила он с товарищами озаботился сделать флаг с надписью «Союзная молодежь Бухенвальда», чтобы ни у кого не оставалось сомнений, чтобы каждому было ясно, к какому движению мы принадлежим. Раввин Йосеф Брукенталь, один из основателей кибуца Хафец-Хаим, был с нами на корабле. Уже тогда он рассказывал нам, какие возможности выбора будут у нас, когда мы прибудем к месту назначения.

Спустя почти пятьдесят лет после того, как в Атлите заседала комиссия по нашему распределению, на которой представителями разных движений решались судьбы детей (кому во «Всеизраильский кибуц», а кому в «Трудящиеся Союза Израиля»), мне привезли из Нью-Йорка протокол, напечатанный на пишущей машинке. Это был протокол заседания комиссии, на котором решался вопрос о нашем распределении – моего, Нафтали и наших товарищей. Рядом с каждым именем в протоколе было указано, является ли этот человек «свободным» или «набожным» (так назывались во времена, предшествовавшие образованию государства, секулярные

¹ Насмешливое прозвание религиозных евреев.

и религиозные люди), к какому движению он выразил желание присоединиться и куда был распределен. Рядом с именами «Лау Нафтали и Лау Исраэль, сыновья покойного раввина Моше Хайма из Пётркува» написано: «Начинаем расспрашивать младшего». Далее в протоколе говорится, что мальчика спросили, откуда ему известно, что раввин из Пётркува был его отцом.

В тексте протокола сказано: «Мальчик ужасно разозлился и ответил: «А откуда тебе известно, что тебя зовут так, как тебя зовут?» Все рассмеялись». Они усомнились в моей искренности и умственном развитии. Я же видел себя выпускником бухенвальдского университета, человеком, успешным узнать жизнь во всех ее проявлениях, претерпевшим множество испытаний и подвергавшимся множеству опасностей, а тут передо мной сидит странный чужой человек, который совершенно меня не знает и вряд ли знал моего отца, и на глазах у других людей выставляет меня на посмешище, спрашивая, откуда я знаю, что я – это я. Даже спустя годы, когда я вспоминаю эту сцену, меня захлестывает та же волна гнева и ярости перед лицом тех пугающих обстоятельств. Мне было ясно, что меня невозможно продать, точно так же, как сегодня мне ясно, что если бы рядом не было Нафтали, не позволившего представителям разных движений распределить меня по своему усмотрению, в рамках их соглашений о процентном представительстве, то судьба моя была бы совсем другой. Одним из подростков там был некий Яков Кениг. На вопрос, куда бы он хотел отправиться, он ответил: «У меня есть двоюродный брат в Тель-Авиве, раввин Ицхак Йедидья Френкель. Я прошу, чтобы вы послали меня к нему, и его совет поможет мне решить, куда мне направиться». Впоследствии Яков Кениг стал героем ЛЕХИ¹, он был тяжело ранен при взрыве британских военных объектов в хайфском заливе. А в дальнейшем замолвил за меня словечко, когда я сватался к дочери раввина Ицхака Йедидьи Френкеля.

Проведя около двух недель в лагере Атлит, его обитатели покинули пять бараков, в которых они обитали. Я вместе с еще несколькими ребятами был переведен в Кфар-Сабу, в учреждение «Организации в пользу детей Израиля». Учреждение было связано с движениями «Агудат Исраэль» («Союз Израиля») и «Поалей Агудат Исраэль» («Трудящиеся Союза Израиля»). Во главе его стоял рабби Ицхак Меир Гакофен Левин, лидер движения «Агудат Исраэль» и зять адмора гурских хасидов, автора книги «Имрей Тора», который был депутатом польского Сейма вместе с рабби Меиром Шапиро из Люблина. В дальнейшем он стал первым министром

¹ «Борцы за свободу Израиля» – подпольная боевая организация, действовавшая в Палестине против британцев в 1940–1948 гг.

благосостояния Израиля. Вместе с ним был лидер движения «Поалей Агудат Исраэль» Биньямин Минц, гурский хасид. Он был одним из руководителей Комитета спасения еврейских детей и вместе с главным раввином Герцогом, да будет благословенна память праведника, ездил после Катастрофы в Европу на поиски еврейских детей по монастырям и церквям, дабы возвратить их в лоно иудаизма. Со временем он стал заместителем председателя Кнессета и министром почты в правительстве Израиле. А его внук стал моим зятем.

В автобусе компании «Эгед», которым мы ехали в Кфар-Сабу, нам встретился парень, ровесник Нафтали, он был одет в хасидскую одежду с черной шляпой на голове. Он представился как Нахман Эльбойм, уроженец Варшавы. Сам он репатриировался в Израиль за два года до нас, в группе «детей Тегерана». Нахман Эльбойм рассказал, что учится в йешиве «Поневеж» в Бней-Браке, а в Атлит приехал, чтобы помочь в приеме молодых ребят. Энергичный, умный, улыбчивый, он был гурским хасидом. В основном мне запомнился долгий разговор, который он вел с Нафтали на протяжении всей поездки из Атлита в Кфар-Сабу, объясняя, что происходит в стране. В Кфар-Сабе нас ждал самый теплый прием. Мой инструктор представился Авнером Хаем Шаки, впоследствии он был министром по делам религий. Он должен был преподавать мне краеведение и иврит. Авнер Хай Шаки был первым встреченным мной евреем неашкеназского происхождения. Он был сефардом, родом из Цфата и говорил с ударениями на последний слог, четко произнося гортанные буквы «аин» и «хет».

В первый же вечер приехали руководители движений «Агудат Исраэль» и «Поалей Агудат Исраэль», чтобы приветствовать нас, пожать нам руки и обнять, что было невозможно сделать, пока мы оставались за колючей проволокой в Атлите. Большая часть лидеров обоих движений знали папу, убитого в Треблинке всего за три года до этого, в возрасте 50 лет. Он был ровесником части этих людей. Многие из них знали из прессы, что двое сыновей пётркувского раввина прибыли в страну. Залман Янкелевич, выдающийся педагог, впоследствии избиравшийся в Кнессет от партии «Агудат Исраэль», поднялся, чтобы произнести речь. Увидев меня и Нафтали, он разразился рыданиями, которые трудно описать словами. Это был момент искреннего и настоящего смятения чувств, вызванного нашим спасением.

По сравнению с растроганностью взрослых бросалась в глаза грубость детей. В Кфар-Сабe я впервые услышал из уст заносчивых детей мошавников из окрестностей города кличку «мыло», прилипшую к детям Катастрофы. Мы были бледные, белые, как мыло, а они загорелые, не говоря

уж об ассоциациях с «секретами» производства мыла нацистами во время войны. В ответ на оскорбления между нами не раз завязывались драки.

Мой дядя, раввин Фогельман, приехал к нам в Кфар-Сабу. Нафтали знал его еще по Катовице, куда ездил вместе с папой. Для меня же это оказалось первым знакомством с поразительным новым дядей. Он сразу производил впечатление: красивый мужчина с большими голубыми глазами и длинной квадратной седеющей бородой. Он поцеловал меня в лоб и протянул мне сумку, в которой были носки и шоколад, ничего лучше нельзя было и пожелать. О его существовании я впервые услышал от Нафтали, когда нам пришлось расстаться в Бухенвальде.

* * *

Через три дня после нашего приезда в Кфар-Сабу Нахман Эльбойм сообщил радостную весть, что он хочет устроить мне с Нафтали экскурсию в Иерусалим. Слово «Иерусалим» не говорило мне ничего, а вот слово «экскурсия» вызвало самые приятные эмоции. Сколько я себя помнил, я всегда был в лагерях, интернатах – в закрытых местах. Мы с Нафтали обрадовались возможности вырваться из закрытого учреждения на экскурсию по неведомым просторам.

Мы поехали в Яффу, а оттуда – на арабском автобусе – в Иерусалим. Автобус трясся по дороге. Время от времени у него перегревался мотор, и мы делали перерыв, останавливаясь на обочине, выходили и толкали его своими руками. В 5705 (1945) году поездка из Яффы в Иерусалим занимала полдня. Это была узкая извилистая дорога, взбиравшаяся вверх посреди гористого пейзажа, лишенного всяких построек. Только когда мы подъехали к Иерусалиму, моим глазам открылся многоэтажный дом, и сердце наполнилось радостью. Во всю длину дома висел плакат, возбудивший мое любопытство своими размерами. Так как я не умел читать и писать, мне пришлось попросить Нафтали объяснить, что написано на плакате. Я почувствовал, что он увिलивает от ответа. Попытал счастья у Нахмана, но и он – словно они сговорились – ушел от ответа, сразу переведя разговор в другое русло. Здание с таинственным плакатом осталось в моей памяти неразгаданной загадкой. Только несколько лет спустя, в 5710 (1950) году, когда я уехал в Иерусалим на учебу, мне удалось разгадать эту тайну: это был дом сирот «Дискин». Я задал Нафтали вопрос, почему он тогда скрыл от меня назначение здания. Нафтали посмотрел на меня взглядом, то ли извиняющимся, то ли проникнутым взятой им на себя миссией, и ответил: «Я боялся, что ты не захочешь выходить из автобуса, подумаешь, что мы хотим отдать тебя туда». От Нахмана я получил абсолютно идентичный ответ. Даже по прошествии времени меня крайне растрогала их забота обо

мне, обдумывание каждого произнесенного ими слова и его возможного влияния на мой душевный покой.

Впоследствии Нахман Эльбойм вернулся в мою жизнь: он дядя моего зятя.

От экскурсии в Иерусалим у меня в памяти остались лишь отдельные картинки, но они сопровождают меня многие годы. Нахман Эльбойм, знавший в Иерусалиме каждый переулок, повел нас узким проходом и вывел к высокой стене из огромных камней, у которой стояли несколько стариков с фесками на головах, лица их были обращены к стене. Нафтали и Нахман устремили на стену сосредоточенные взгляды, словно изучая каждую травинку между камнями. Я помню, что над стеной летало несколько голубей. Через минуту или две я утратил интерес к возвышавшейся передо мной стене. Я ничего не понял. У меня не было ни малейшего понятия о символической святости, наполняющей это место. С изумлением я рассматривал собравшихся там людей, истово молившихся, обратившись лицом к стене, как если бы они стояли в синагоге перед арон-кодевом – ковчегом, где хранятся свитки Торы. Ничто здесь не напоминало синагогу в Пётркуве, которую я знал и в которой меня и маму разлучили с моим братом Шмуэлем. Не было ничего общего и с синагогой в Бухенвальде, которую мы устроили перед последним праздником Шавуот в помещении бывшего карантинного барака гестапо. Здесь же, перед иерусалимской каменной стеной, даже не было свитка Торы. Я не понимал, почему Нахману было так важно привести меня именно сюда. Пока мы там стояли, в молчании глядя вокруг, Нахман куда-то исчез. Он вернулся спустя пару минут, ведя за собой нескольких ребят, которых нашел в переулках Старого города. Бросив взгляд на часы, он сказал: «Уже можно читать минху, полдень наступил». Прошло всего три месяца после освобождения, и я еще не знал слов молитвы, поэтому не стал присоединяться к молящимся. Нахман Эльбойм попросил тишины и сказал: «Я привел вас сюда, чтобы он, – он показал на Нафтали, – мог произнести Кадиш сироты по своим отцу и матери здесь, у Стены, в Иерусалиме». Я уже привык произносить Кадиш слово в слово, и мы с Нафтали прочитали поминальную молитву.

Только позже Нахман объяснил мне, где мы были и какое значение имеет эта стена для еврейского народа. И еще объяснил, как важно, чтобы я не забыл этот Кадиш. И действительно, тот Кадиш, произнесенный у Западной Стены в миньяне с чужими иерусалимскими парнями, сопровождает меня по жизни многие годы.

В тот же день Нахман устроил нам прогулку по городу, и мы посетили нескольких известных людей, знавших папу. Много позже я понял, что наш приезд в страну вызвал большой интерес и общественное волнение.

Нахман взял нас к рабби Шломо Давиду Каѓане, да будет благословенна память праведника. Он был близким папиным другом, одним из руководителей раввината Варшавы и раввином Старого города в Иерусалиме. Потом повел нас к своему ребе, адмору гурских хасидов, бывшему религиозным лидером польского еврейства. Самым разветвленным течением среди польских хасидов были гурские хасиды, большая часть которых была погублена нацистскими извергами. Гурский адмор, рабби Авраѓам Мордехай Альтер, да будет благословенна память праведника, посещал Землю Израиля шесть раз, пока не остался в стране в ходе шестого посещения, насадив здесь саженцы, которые пустили глубокие корни. Тем самым он как бы поставил перед десятками тысяч своих хасидов дорожную веху, указав, что Земля Израиля есть место назначения для каждого еврея. Он строил дома, основал йешиву «Хидушей га-Рим» в Тель-Авиве, названную в честь основателя династии адморов из Гура, рабби Ицхака Меира, и йешиву «Сфат Эмет» в Иерусалиме, названную в честь его внука, впоследствии занявшего его место в качестве адмора из Гура. (Часть наших товарищей, приехавших вместе с нами из Бухенвальда, нашли пристанище в йешиве гурских хасидов «Сфат Эмет» в Иерусалиме. Среди них были Ханина Шиф, Йеѓуда Кляйнхендлер и Моше Пшигурский.)

Мы пришли в бейт-мидраш рабби Авраѓама Мордехая Альтера, да будет благословенна память праведника, бывшего в то время гурским адмором, авторакниги «Диврей эмет». Он был уроженцем Польши и в качестве адмора возглавлял хасидов в городе Гура-Кальвария, неподалеку от Варшавы. У него были десятки тысяч последователей, большинство из них погибли в Катастрофе. Наш отец, как и любой еврей, не чуждый польского еврейства, весьма почитал его. Нахман Эльбойм был одним из его хасидов, глубоко чтил адмора и не мог удержаться, чтобы не привести нас к своему ребе.

Мы попали в дом гурского адмора, рядом с йешивой «Сфат Эмет», благодаря Нахману и благодаря заслугам отцов. В тот период ребе по причине слабого здоровья принимал мало людей, но Нахман что-то шепнул габаю – синагогальному старосте, и двери распахнулись перед нами. Габай попросил сделать только одну вещь: записать на клочке бумаги наши имена и имена наших родителей. Нафтали сделал, как было сказано, и габай передал записку ребе. Тот поднес ее к глазам и тотчас позвал нас, чтобы мы подошли к нему. Я удостоился поцелуя в макушку от ребе, пролившего слезу в этот момент. В своей книге «Народ как лев» Нафтали так описывает комнату адмора из Гура: «В квадратной комнате не было никакой мебели. В центре ее в высоком кресле сидел ребе, его ноги – облаченные в белые шерстяные носки без обуви – покоились на скамеечке, стоявшей перед ним. Габай приблизился к ребе, и я – вслед за ним. Я увидел перед собой

черную шляпу, надвинутую на лоб ребе, лицо его украшали белая борода и пышные пейсы, ниспадавшие спереди ушей и прикрывавшие их. В его лице было величие, внушавшее трепет и требовавшее самозабвения. Увидев, что я подошел, он протянул мне правую руку. Прощептал несколько слов, которые я едва услышал, и еще с минуту продолжал держать меня за руку и всматриваться в мое лицо. Когда он выпустил мою руку из своей, габай показал знаком, что посещение закончено. Вслед за габаем я отступил назад к двери, обратившись лицом к ребе. Снаружи столпились хасиды, чтобы услышать, что сказал ребе. Габай разобрал его слова и теперь повторил их: «Головни, избежавшие огня по милости небес и благодаря заслугам отцов, Господь же, да будет благословен, встанет одесную их и сохранит их на всех путях их». Это было мое первое знакомство с двором хасидского цадика вообще и с гурскими адморами в частности.

Ночь мы провели в доме семьи Вердигер, молодой пары из приближенных к ребе хасидов.

Полшестого утра Нахман Эльбойм постучал в дверь и сказал Нафтали, чтобы тот шел вместе с ним на утреннюю молитву в бейт-мидраше адмора. Они пошли пешком к бейт-мидрашу, куда в шесть утра вошел сын адмора, рабби Исраэль, и молитва началась. «Ты Нафтали, сын рабби Моше Хаима из Пётркува, а где же твой младший брат?» – спросил рабби Исраэль, протягивая Нафтали руку.

Рабби сделал габай знак, чтобы тот почтил Нафтали вызовом к Торе и показал ему в молитвеннике благословение по случаю избавления от опасности, которое Нафтали должен был произнести. По окончании благословения рабби Исраэль Альтер шикнул на молящихся, чтобы Нафтали мог один, без остальных, произнести Кадиш. После этого он пригласил Нафтали на завтрак к себе в дом.

Рабби Ираэль Альтер, которого с любовью и преклонением именуют «Бейт Исраэль» по названию его книги, сын адмора из Гура, автора книги «Имрей эмет», и исполняющий его обязанности, жил один в квартире напротив бейт-мидраша. Тогда он еще не знал, какая судьба постигла его жену и детей, которые, как стало известно позже, погибли в Катастрофе. Он пригласил Нафтали и на ужин, чтобы побеседовать с ним. Я остался у Вердигеров. Нафтали мне много раз рассказывал обо всем случившемся той ночью. Рабби упрасивал Нафтали, выжившего в Катастрофе, налегать на еду, сам же почти ничего не ел. Во время ужина они не разговаривали. Покончив с ужином, рабби сделал Нафтали знак следовать за ним. Они вышли на улицу и зашагали вперед, не говоря ни слова. Шли улицами Давида Елина и Йосефа Бен-Матитьягу, пока не дошли до лагеря Шнеллера. Время от времени рабби бросал на Нафтали пронзительный

взгляд, продолжая быстро идти вперед. Они много раз переходили улицу с одной стороны на другую. Внезапно рабби остановился, встряхнул Нафтали, взявшись за лацканы его пиджака, и коротко спросил: «Видели его?» Нафтали не понял смысла вопроса и ответил недоуменно: «Кого?» Рабби продолжил, как будто само собой разумелось, что он имел в виду: «Дым, поднимающийся из тех труб?» Опешивший от вопроса Нафтали сказал «да», однако рабби не ослаблял напора: «Ты своими глазами видел, как горит?» – спросил он, и лишь когда Нафтали ответил утвердительно, повернул назад, возвращаясь прежней дорогой, по улице Йосефа Бен-Матитьягу. Рабби шел напористо, чуть склонившись вперед, оба молчали. Потерявший в газовых камерах жену и детей, рабби ушел в себя. Дойдя до угла улицы, рабби опять тряхнул Нафтали, ухватившись за лацканы, и спросил: «Ты уверен, что видел трубы?» Нафтали снова подтвердил, но рабби, не желая оставить хоть тень сомнения, продолжал выпытывать: «И видел, как дым идет из труб? Дым клубился? И там действительно горело или ты видел только здание с трубами?» Нафтали ответил на вопрос рабби с предельной точностью: «Да, я видел дым. И видел, что бросали в крематорий, чтобы дым шел», – сказал он, с трудом удерживаясь от рыданий. Рабби положил руку Нафтали на плечо и задал следующий вопрос на идише: «А Пресвятого, да будет Благословен, ты видел рядом с собой?» На этот вопрос Нафтали не ответил. Тяжелое молчание воцарилось между ними. Увидев, насколько Нафтали измучен этим разговором, рабби пригласил его переночевать у себя. Эта ночь навсегда запечатлелась в памяти Нафтали. От смятения чувств он не мог заснуть, так глубоко было его потрясение.

В пять утра, совершив утреннее омовение рук, рабби Израэль Альтер зашел в комнату Нафтали и сказал, что тот найдет его в микве. Но вместо того, чтобы пойти в микву, Нафтали поднялся в бейт-мидраш. Он открыл первый попавшийся том. Это был трактат Талмуда Бейца. Нафтали не видел Талмуда в течение всех военных лет, хотя до войны, в йешиве, занимался изучением Талмуда. После миквы рабби Израэль вошел в бейт-мидраш и застал Нафтали за изучением Талмуда. Он спросил, не хотел бы Нафтали вернуться к изучению Торы. Они стали вместе учить трактат Бейца, в котором обсуждаются религиозные постановления на праздничные дни и вопрос о яйце, снесенном в праздник. Так Нафтали сидел с гурским ребе и заново прилеплялся душой к буквам Талмуда.

Рабби поинтересовался, что Нафтали собирается делать дальше и что будет делать его брат. Что касалось его самого, у Нафтали не было ни малейшего понятия, что он будет делать. Что до меня, то он ответил рабби, что я буду расти в доме родственника, раввина Фогельмана. Автор

книги «Бейт Исраэль» слушал его с огромным интересом. Его пронизательные глаза, ставшие притчей во языцех, рассматривали каждого представшего перед ним, достигая самых глубин души. Взгляд его проникал внутрь человека, высвечивая самую его сущность, подобно высокотехнологичному лазеру. Со свойственной ему способностью глубокого проникновения в суть вещей рабби посоветовал Нафтали пойти в йешиву, но не в хасидскую. Рабби опасался, что Нафтали не сможет привыкнуть к жестким рамкам обучения в заведении, где обязательно ношение строго определенной одежды, бороды и пейсов, поэтому спустя недолгое время оставит йешиву. Гурский ребе, напротив, рекомендовал пойти в литовскую йешиву, где учащиеся носят современные костюмы и серые шляпы, говорят на иврите, а не на идише, и не ощущают себя закованными в колодки ужесточенных требований. Нафтали, естественно, последовал совету рабби и выбрал для себя литовскую йешиву «Ломжа» в Петах-Тикве. Один из преподавателей йешивы заметил его и относился к нему с отцовской любовью. Это был раввин Шах¹, впоследствии возглавивший йешиву «Понежев».

* * *

После столь впечатляющей поездки в Иерусалим мы вернулись в Кфар-Сабу. Я оставался там всего несколько дней, потому что в планы Нафтали входило, как мы помним, чтобы я воспитывался в Кирьят-Моцкине у дяди, рабби Мордехая Фогельмана, да будет благословенна память праведника. Его жена, ребецн Белла Фогельман, приходилась сестрой моему отцу. В 1940 году, немного времени спустя после начала войны, дядя с тетей оставили свой дом в Катовице, взяли с собой Лею-Нооми, их шестилетнюю дочь, два субботних подсвечника, четыре тома Мишны, Вавилонский Талмуд, талит и тфилин, и – покинули Польшу. Талит этот до сих пор хранится у меня дома, весь желтый от старости, но бережно сохраняемый. Все свои деньги они потратили на подкуп чиновников, пересекая разные границы, и в Землю Израиля приехали, не имея ни гроша за душой. В поселении Кирьят-Моцкин рядом с Хайфой не было раввина, и дядя был послан туда в качестве временного раввина. Со временем Кирьят-Моцкин превратился в город, и дядя так и остался там. Он исполнял обязанности городского раввина свыше 45 лет. Когда мой дядя, раввин Фогельман, умер, его похоронили подле ребецн, тети Беллы, да

¹ Рабби Элазар Менахем Ман Шах (1898–2001) – духовный лидер «литовского» направления в иудаизме.

покоится в мире, на кладбище Цур-Шалом рядом с Кирьят-Мощкином, кладбище, которое основал сам дядя.

Нафтали считал, что мне нужен нормальный дом, чтобы расти в нем после всех лет ужаса, пережитого мною в раннем детстве во время войны, и выбрал для этого дом дяди и тети. Сам же он собирался поступить в йешиву, по совету автора книги «Бейт Исраэль». Однако он остерегался посвящать меня в свои планы, опасаясь, что если я узнаю, что он собирается оставить меня одного в Кирьят-Мощкине, то не соглашусь садиться в автобус. В то время я не верил людям. Я испытывал огромный страх перед чужими людьми и относился к ним с известной долей подозрительности. Нафтали подготавливал меня мягко и исподволь: «Помнишь того красивого дядю с красивой бородой, который привез тебе шоколад и носки? Мы едем к нему в гости. Я ведь ему обещал, что мы нанесем ответный визит после того, как он навестил нас в Кфар-Сабе», – напомнил он мне. Эти польские манеры, требовавшие наносить ответный визит, были близки и понятны мне, и объяснение Нафтали убедило меня. Я даже поддержал Нафтали, сказав, что действительно – ответный визит причитается дяде, который произвел на меня чудесное впечатление.

На следующий день мы поехали навещать дядю, и эта поездка тоже была похожа на своего рода экскурсию. Автобус из Кфар-Сабы в Хайфу медленно тащился по старому прибрежному шоссе, останавливаясь почти на каждой остановке. Я, с вытаращенными от восхищения и любопытства глазами, впитывал каждую частицу пейзажа, открывавшегося передо мной. Мысли о цели нашей поездки вовсе не занимали меня, ведь я сидел рядом со старшим братом, который был мне надежной опорой в самые тяжелые годы и любое решение которого в отношении меня я привык принимать без оговорок. Пока мы ехали, Нафтали расписывал мне утопающую в зелени деревню, сказав, что дядин дом построен из дерева. Все это представлялось мне красивым и пасторальным, а главное – не таящим никакой угрозы.

Мы приехали в Кирьят-Мощкин затемно. Пошли на улицу Нахума Соколова, нам нужен был дом 21 – одноэтажный дом дяди и тети, в котором было три комнаты, а вся красота его заключалась в скромности. Тетя, папина сестра, не видевшая нас шесть лет, была сильно взволнована. Она пыталась скрыть от нас свои слезы, стараясь, чтобы нам не стало грустно. Она рассказала о своей дочке, Лее-Нооми, которой в тот момент не было дома, обняла нас, и во мне сразу проснулось теплое чувство дома и любящей семьи. Долгая поездка, волнение от появившихся новых родственных связей и поздний час навели на меня сон.

Наутро я проснулся, чтобы начать новую жизнь в Кирьят-Мощкине.

«...И как голуби – в голубятни свои»¹

Мое первое воспоминание в Кирьят-Моцкине – это высокий стул с голубой обивкой и дядя, усаживающий меня на него, словно я какой-нибудь принц. Ноги у меня болтались в воздухе, не доставая до пола. На столе передо мной возвышалась куча всевозможных сладостей, наваленных дядей и тетей, среди них был продолговатый столбик в желтоватой обертке, похожий на сигарету. Тетя протянула его мне, и я, удивленный ее предложением, уверенно заявил, что не курю. Все расхохотались, а у меня – немного смущенного – не было ни малейшего представления, что означает их смех, пока мне не показали, что скрывала желтоватая обертка. Это был шоколад, а не табак. Юмор, смех, сладкий вкус шоколада, а главное, тепло и любовь, которым окружили нас с Нафтали дядя и тетя, согревали мне сердце. Уже в первую ночь в их доме я пошел спать с радостным чувством, какого не испытывал за последние шесть лет: я обрел дом и семью. В тот первый вечер я, правда, еще не знал, что дом этот станет моим на ближайшие годы, но домашнее тепло и уют я впитал безо всякого предубеждения.

Вместе с тем осваивался я на новом месте не без трудностей. Даже тете, которая относилась ко мне с материнской любовью и предупреждала каждое мое желание, я не доверял в первые дни. Я испытывал ее по-своему – не нарочито. Выявлял ее подлинную сущность, следил за ее поступками, требуя все новых и новых знаков, доказывавших, что она действительно папина сестра. И успокоился, лишь когда убедился, что она от чистого сердца желает мне только блага.

* * *

В первое утро, проведенное мною в тетином доме, она дала мне цветной резиновый мячик, из тех, что высоко отскакивают от пола. Она пригласила одного из соседских детей и познакомила меня с ним. Его звали Игаль Креппер; это был невысокий, немного толстоватый мальчик с короткими пальцами, он умел играть на пианино. К нему присоединился его товарищ, Ури Хашман, который был повыше ростом и худой, и оба они попытались вовлечь меня в общую игру. Я не мог сблизиться с ними. До тех пор я еще никогда не оказывался в обществе детей. Я боялся остаться с ними наедине, они были чужими для меня. Поскольку мой опыт общения с незнакомыми людьми был не из самых приятных, то я не доверял почти никому. Я не

¹ Йешайя, 60:8.

знал, что они могут мне сделать. Не знал правила игры, принятые среди них. Я согласился поиграть с ними в мяч лишь при условии, что не останусь с ними во дворе один. И потребовал, чтобы тетя присутствовала, охраняя меня. Тетя поняла мои опасения и пошла мне навстречу.

Оба мальчика были приветливы и дружелюбны, они явно обрадовались новому товарищу для игры в мяч. Я тоже хотел испытать себя в незнакомой игре, и мы трое стали играть в маленьком дворике тетиного дома, под ее пристальным взглядом – как я просил. Спустя много времени мне открылось, что весь поселок знал о приезде ребенка из Бухенвальда, и «взволновался весь город» волнением великим¹. Выяснилось, что почиталось за честь поговорить со мной или поиграть, и оба мальчика с улицы Нахума Соколова чувствовали себя счастливыми из-за того, что тетя выбрала мне в товарищи в моей первой в жизни игре в мяч именно их. Хотя они были моими ровесниками, но оба были выше меня. Они не знали польского, а я не умел говорить на иврите, но тогда я выяснил, что у детей есть свои способы преодолевать трудности языкового общения и что по-своему они умеют находить общий язык, отличный от общепринятого – международный детский язык. После нескольких передач мяча один из мальчиков улыбнулся мне, после чего улыбка появилась и на лице второго. Один хлопнул меня по плечу, другой испустил радостный крик, когда я сделал удачный пас. Все это говорило мне, что Игаль и Ури не настроены враждебно, что мне нечего бояться и я могу быть совершенно спокоен – они не желают мне зла. Они были такие же дети, как и я. Это открытие наполнило мое сердце радостью, напряжение постоянной подозрительности отпустило меня.

Однако, поняв правила и суть игры, я потерял терпение. Игра утратила прелесть новизны, и я почувствовал, что мне скучно. Оставив мяч на земле, я подошел к Игалю, а потом к Ури, и, встав на цыпочки, по очереди ущипнул каждого за щеку. Это был мой способ сказать им без слов: «Ты хороший мальчик, я тебя уважаю, ты славный». Это был единственный известный мне способ выразить свои чувства. Меня, самого маленького в любой компании, тоже вечно щипали за щеку в знак добрых чувств. Я перенял этот обычай, полагая, что он принят повсюду на земле. И они, как выяснилось, восприняли это как должное. Толстый Игаль с тех пор не раз напоминал мне, что в тот момент, когда мы играли в мяч, а я ущипнул его за щеку, то взгляд мой, устремленный на него, был взглядом старика, а не ребенка. В моих глазах не было детской беспечности и жизнерадостности: беспредельная серьезность открывалась в моем вечно изучающем пристальном взоре. Уже в раннем детстве, не раз замечали люди, знавшие меня, я был

¹ Парафраз стиха из Мегилат Рут. I:19.

значительно старше своего биологического возраста. Это несоответствие бросалось в глаза при моих встречах с израильскими детьми.

Моя скоротечная встреча с ровесниками во дворе тетиного дома произвела на меня приятное впечатление, однако игра в мяч не слишком захватила меня. Я предпочел войти в дом и быть с братом Нафтали. Но он должен был уезжать в Йешиву, тогда как я – как он сообщил мне – останусь у дяди и тети. Это сообщение захватило меня врасплох. Я не имел ничего против раввина и его жены, напротив. Но я должен был расстаться с братом. Эта необходимость была сопряжена для меня с эмоциональными трудностями и душевным смятением. Разлуки были главным моим страхом в жизни.

Я проводил брата на остановку, откуда шел автобус из Кирьят-Моцкина в Хайфу. Остановка была на бульваре Судей Израилевых (сегодня бульвар Гошен), рядом с Большой синагогой. Расставание с братом так глубоко запечатлелось в моей памяти, что и сегодня я помню в мельчайших деталях весь путь до остановки, ее внешний вид, мои полные мольбы взгляды, которые я бросал на Нафтали в надежде, что он возьмет меня с собой.

Эта была моя первая разлука с Нафтали с того дня, когда он пришел сказать мне последнее «прости» в Бухенвальде. С тех пор мы не разлучались ни на день. В голове у меня вертелись самые разные вопросы, которые я обрушивал на брата. Почему? Сколько времени я буду жить здесь? Увижу ли его снова? Нафтали объяснил, что он едет учиться в йешиве, но я не уступал. Что такое йешива? И где находится эта йешива? В Петах-Тикве, был ответ. А что такое Петах-Тиква? И где она? Близко от Кирьят-Моцкина или далеко?

Я спросил также, будет ли он приезжать ко мне по субботам. Ответ был отрицательным. Но он дал мне слово, что приедет на праздник Суккот. Я не знал, когда это будет, на какое время он приедет и почему именно тогда. Нафтали объяснил, что Суккот будет отмечаться через шесть недель, тогда в йешиве у него будут каникулы, и он приедет ко мне. Шесть недель казались мне целой вечностью, разум мой был не в состоянии вместить представление о столь долгом сроке, и я разразился рыданиями. Весь мой мир рухнул от самой мысли о том, что Нафтали не будет со мной и я не смогу сопровождать его, куда бы он ни шел. Понемногу я выстроил свой защищенный мирок вокруг старшего брата, единственной близкой мне души в целом свете, и тут подошел автобус на Хайфу, чтобы увезти его от меня. Нафтали сел в автобус, а я остался на остановке вместе с тетей. Он помахал мне из автобуса, и я утер слезы. Тетя повела меня к киоску рядом с остановкой, чтобы побаловать меня какими-нибудь сладостями и тем развеять мою печаль. «Лёлек, выбирай, что хочешь», – мягко предложила она мне.

Я же, между всхлипами и вздохами, сумел процидуть сквозь зубы, что хочу только Толека и ничего больше. Вокруг нас собрались люди. Все знали жену раввина и знали о ее племяннике, уцелевшем «там», в Бухенвальде. Множество глаз были устремлены на меня, в них читалось любопытство, смешанное с жалостью. Мне было немного неловко, но я не мог сдержать слезы. Зрелище машущего мне рукой из окна автобуса Нафтали много часов стояло у меня перед глазами, пока я, наконец, не успокоился. На смену рыданиям пришла глубокая грусть.

* * *

Месяц элуль 5705 года, сентябрь 1945-го, когда я попал к дяде и тете в Кирьят-Моцкин, стал для меня началом совершенно нового периода в жизни, к которому я совсем не был готов. Тот факт, что на следующий день после расставания с Нафтали я должен был идти в школу, облегчил мою акклиматизацию. Я не мог позволить себе замкнуться в своей грусти и заниматься только ею. Задача освоения на новом месте потребовала от меня собраться с силами, которые я мог черпать только в себе самом. В Кирьят-Моцкине в тот период не было религиозной школы. Не было ее ни в ближайшем Кирьят-Хаиме, ни в Кирьят-Бялике и Кирьят-Яме, называвшемся тогда Гав-Ямом. Только в Кирьят-Шмуэле, населенном членами движения «Га-позель га-мизрахи» религиозном районе, названном в честь Шмуэля Хаима Ландау, одного из основателей движения «Тора ва-Авода», была религиозная школа, куда меня и записали.

Кирьят-Шмуэль находился за путями железной дороги Хайфа – Акко – Нахария. По дороге в школу нужно было пройти мимо большой британской военной базы, где были расквартированы солдаты с Сейшельских островов. Каждый день, зимой и летом, я проделывал этот путь пешком – дорога от дома раввина Фогельмана до школы занимала у меня с полчаса.

В школе передо мной открылись новые миры. Я не сразу полюбил школу. Поскольку я не умел ни читать, ни писать, то меня определили в первый класс. После первого же дня в школе, где у нас было всего четыре урока, я решительно заявил тете, что больше туда не пойду. Я не мог переносить принятый там медленный темп обучения, не понимал, почему каждое изучаемое слово нужно повторять десятки раз. В течение четырех часов мы учили слово «шалом» в различных сочетаниях: «Шалом, первый класс», «Шалом, учительница», «Шалом, Сари», «Шалом, Мойше». А потом, рассказывал я тете, учительница специально в честь меня нарисовала на доске корабль, на палубе которого столпились люди с кипами на головах, а поверх всех голов кто-то машет поднятой рукой. Учительница обратилась к классу и спросила: «Что делает человек с поднятой рукой?»

И все хором ответили: «Шалом». Я почувствовал, что это не для меня. Темп, характер преподавания, задачи, ставившиеся перед учениками, – все это было мне не по нраву уже тогда, когда мне было всего восемь лет и три месяца. Тетя меня поняла и в тот же день повела домой к директору школы, Яакову Блауфельду. На иврите, которого я не понимал, она рассказала ему обо всех моих претензиях и трудностях, в том числе и о том, что я оказался самым старшим ребенком в классе, где всем остальным было 6–6,5 лет. «После всего, что он перенес «там», он и так взрослее всех детей в округе», – пояснила тетя. Но директор полагал, что поскольку я не владею ивритом, меня не следует переводить во второй класс, где из-за языкового барьера я не смогу вместе с остальными освоить учебный материал. Тетя не уступила и сказала директору, что и в первом классе я не понимаю языка, так что все равно, буду ли я в первом или во втором: так и так языка не пойму, но во втором классе, по крайней мере, я окажусь в обществе детей чуть постарше. Директору нечего было возразить, но он поставил тете условие – потребовал, чтобы я выучил на иврите все слова, которые позволили бы мне производить основные арифметические действия с числами от 1 до 20. Тетя приняла это условие, и я – раззадоренный желанием преуспеть – начал разучивать эти слова вместе с ней уже по дороге домой. Мы шли пешком, и всю дорогу она учила меня названиям цифр на иврите, а также понятиям «плюс» и «минус». Эти 22 слова, по количеству букв в еврейском алфавите, на следующий день проложили мне путь во второй класс. Там я провел полтора месяца, после чего был переведен в третий класс, где оказался среди сверстников. 23 адара в тот же год, между праздниками Пурим и Песах (26.03.1946), я перепрыгнул в четвертый класс.

Каждую субботу дядя проводил урок Талмуда для детей и подростков, обнаруживших к этому интерес. Ученики собирались у нас дома в три часа пополудни. Одним из постоянных учеников был мой друг Зевик Лихтшайн, со временем ставший известным как герой рейда на остров Грин¹, командир морского спецназа, а впоследствии командующий ВМС Израиля – контр-адмирал Зеэв Альмог². После урока Зевик брал меня за руку и вел в отделение молодежного движения «Бней-Акива» в Кирьят-Шмуэле.

¹ Операция израильской армии по захвату опорного пункта египтян на острове Грин, на севере Суэцкого канала, во время Войны на истощение. Рейд был проведен в ночь на 19 июля 1969 года. С израильской стороны в операции приняло участие около сорока бойцов. Командовал рейдом Зеэв Альмог. Потери сторон составили 6 человек убитыми и 11 ранеными у израильтян и 80 солдат убитыми у египтян.

² Зеэв Альмог (род. 01.02.1935), израильский военачальник, контр-адмирал. Командовал ВМС в 1979–1985 гг.

Сорок лет спустя, когда я был Главным раввином Израиля, мне позволили из канцелярии новоизбранного председателя Кнессета Дана Тихона¹ и передали, что он хочет приехать ко мне, чтобы получить благословение по случаю избрания на новую должность. Мою канцелярию украшало семь фотографий. Четыре члена моей семьи: мой отец, раввин Моше Хаим Лау, его двоюродный брат рабби Меир Шапиро из Люблина, мой дядя, раввин Мордехай Фогельман, и мой тесть, раввин Ицхак Йедиद्या Френкель. На противоположной стене висели портреты дорогих моему сердцу трех руководителей йешив, в которых я учился: раввин Йосеф Шломо Кафанеман – рабби из Поневежа, раввин Шломо Залман Ойербах – глава йешивы «Коль Тора» и раввин Ноах Шимонович – глава йешивы «Кнессет Хизкиягу». Тысячи людей, побывавших в моей канцелярии за десять лет, в течение которых я исполнял должность Главного раввина, узнавали большинство людей на фотографиях, исключая портреты раввина Фогельмана и рабби Ноаха, которые были известны меньше. Войдя ко мне в канцелярию, Дан Тихон остановился у фотографии раввина Фогельмана и словно застыл на месте. Удивившись, я спросил его: «Вы знали этого человека?» Он ответил: «Знал ли я раввина Фогельмана? Если есть человек, открывший для меня мир иудаизма, то это он. И если я питаю уважение к еврейской традиции и раввинам – а я питаю такое уважение, – то это заслуга раввина Фогельмана». «А где вы познакомились?» – спросил я. К моему изумлению, он ответил: «Вы, возможно, не помните меня, но я еще как вас помню и слезу за вами с тех самых пор. Меня звали Дани Бейтнер, я жил в светском районе Кирьят-Хаим и, тем не менее, каждую субботу приходил в дом вашего дяди на улицу Нахума Соколова в Кирьят-Моцкине и сидел с вами за одним столом на уроке Талмуда, который проводил ваш дядя».

Впоследствии, когда я закончил обучение в Кирьят-Шмуэле и поступил в йешиву «Коль Тора» в Иерусалиме, уроки дяди по талмудическому трактату Хулин позволили мне перепрыгнуть через класс, уже не в первый раз.

* * *

Тем временем я продолжал каждый день ходить пешком в школу в Кирьят-Шмуэле, чтобы получить религиозное образование.

¹ Дан Тихон (род. 05.01.1937) – израильский общественный и политический деятель. Избирался в Кнессет 10–14 созывов от либеральной партии «Ликуд». В 1996–1999 годах исполнял обязанности председателя Кнессета и, в соответствии с израильским законодательством, вице-президента Государства Израиль.

Обнаружив отсутствие религиозной системы обучения в Кирьят-Моцкине, дядя с тетей не успокоились, пока не создали такую систему. Они понимали, что религиозная семья или молодая пара не выберут Кирьят-Моцкин для жизни, пока в нем не будет религиозного детского сада, куда бы они могли отдать своих детей. Тетя была женщиной практичной и энергичной, неутомимым двигателем любого начинания. Она решила, что первым делом следует открыть в Кирьят-Моцкине детский сад, в котором были бы все признаки религиозного образа жизни, как, например, зажигание субботних свечей перед наступлением субботы. Это был настоящий прорыв – в первые годы после Катастрофы отход от религии был крайне резким. Существовал почти полный разрыв между «набожными» и «свободными» людьми, как их тогда называли. Понятия «религиозных» и «светских» людей иврит породил позднее.

Тетя знала, что если религиозное воспитание детей начнется с детского сада, то возникнет необходимость в создании системы религиозных учебных заведений для продолжения образования: начальных и средних религиозных школ или средних йешив разного рода.

Когда решение открыть религиозный детский сад окончательно созрело у тети, она отправилась в Иерусалим на встречу с президентом женской организации «Га-Мизрахи», к которой тетя примыкала идеологически. Президент, Сара Герцог¹ – супруга Главного раввина Земли Израиля² и мать Яакова³ и Хаима⁴ Герцогов, дала разрешение на открытие детского сада, о котором мечтала тетя. Сара Герцог также решила, что ребенок Фогельман будет получать пять лир в месяц на съем помещения с двором для детского сада на двадцать пять детей. Ей также был обещан оклад воспитательницы,

¹ Сара Герцог, урожденная Хильман (1896–1979). Дочь раввина местечка Березино неподалеку от Минска, Шмуэля Ицхака Хильмана. Основательница религиозного движения «Эмуна».

² Рабби Ицхак Айзик Галеви Герцог (1888–1959). Родился в Российской империи в городе Ломжа на территории Царства Польского, затем вместе с родителями эмигрировал в Англию. Учился в университете Лидса. В 1908 году получил раввинское звание. В 1915–1918 гг. был главным раввином Белфаста, в 1918–1925 гг. – главным раввином Дублина, с 1925 по 1936 год – Главным раввином еврейства Ирландии. В 1936 году вместе с семьей репатриировался в Палестину. По смерти Главного раввина Земли Израиля Авраама Ицхака Гакогена Кука был 01.12.1936 избран его преемником.

³ Яаков Герцог (1921–1972) – сын раввина Ицхака Айзика Герцога. Израильский раввин, дипломат, общественный и политический деятель.

⁴ Хаим Герцог (1918–1997) – сын раввина Ицхака Айзика Герцога. Израильский юрист, дипломат, генерал ЦАХАЛа, общественный и политический деятель, посол Израиля в ООН (1975–1978), депутат Кнессета (1981–1983), шестой президент Государства Израиль (1983–1993).

когда она найдет двадцать пять детей для своего детского сада. Тетя вернулась из Иерусалима довольная и умиротворенная, но тут возникли организационные проблемы, а именно: как записать в религиозный детский сад двадцать пять детей, если у тети нет списка религиозных семей, где подрастают дети подходящего возраста. Тетин разум лихорадочно искал творческое решение проблемы и нашел его. «Срулик, – позвала она меня и сказала: – Бог наделил тебя даром – отличной памятью. В ближайшее время ты будешь ходить со мной в синагогу в канун субботы. Каждый раз мы будем выбирать другую дорогу, даже если будем вынуждены делать небольшой крюк, что удлинит наш путь. Мы будем проходить мимо одноэтажных домов, а ты запоминай, в каких из них зажигают субботние свечи. На исходе субботы ты мне напомним адреса, а я запишу их в записную книжку». И так было. В течение нескольких недель вместо того, чтобы в каждый канун субботы идти с дядей в центральную синагогу кратчайшим путем, я шел с тетей каждый раз другой дорогой. Все дома в Кирьят-Моцкине были одноэтажные, кроме дома семьи Цедербойм. И сквозь стекла окон можно было видеть горящие субботние свечи. В канун субботы мы шли в синагогу вместе, и, проходя мимо одноэтажных домов, я отмечал в памяти адреса тех из них, в которых горели свечи. А по исходу субботы, после того, как дядя произносил молитву *эвдала*, отделяющую праздник от будней, тетя садилась с карандашом и бумагой, а я диктовал ей адреса домов, в которых мы видели горящие субботние свечи. В течение недели тетя посещала эти дома по списку. Иногда я увязывался за ней и слышал, как она говорила хозяевам домов, в которые постучалась: «Я ребецн Фогельман. Прошу прощения, но я видела через окно, что вы зажигаете субботние свечи. Просто проходишь по улице и видишь пламя свечей. Может быть, у вас есть мальчик или девочка для меня?» Кто-то смеялся, говоря, что дети уже большие. Но тетя не уступала, продолжая расспрашивать: «А может, есть внук или внучка для меня?» На этом этапе беседы брови людей начинали подниматься от удивления. Слово «для меня» было не совсем понятно, и тетя безмятежно, как посланная с миссией исполнения заповеди, объясняла: «Я хочу открыть детский сад, в котором дети будут учиться и играть в точности, как в обычном детском саду. У них ни в чем не будет недостатка, но при этом они научатся петь «Адон олам» (поят «Владыка мира»), читать молитвы «Модэ Ани лефанейха» («Благодарен я Тебе») и «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль») и зажигать субботние свечи. Может, даже научатся делать «кидуш» (благословение на вино или хлеб при наступлении субботы и праздников)». Все обещали помочь и довести тетино начинание до сведения семей, в которых есть дети дошкольного возраста. И действительно, спустя год тете удалось собрать двадцать пять детей и открыть пер-

вый религиозный детский сад в Кирьят-Мощкине. Со временем в городе открылась начальная религиозная школа на восемь классов и религиозная школа для девочек «Сегула». В них обучалось несколько сотен детей. А все началось с моих сыщицких действий по обнаружению субботних свечей.

* * *

Я по-прежнему был невысок и худ – следствие недоедания в годы Катастрофы. Городской врач доктор Дварман-Дорон постановил, что мне следует каждый день проглатывать большую ложку рыбьего жира. Леа-Нооми, моя двоюродная сестра, с которой мы росли, как родные, должна была глотать ту же порцию, но она отказывалась. Тогда тетя пообещала, что за каждую ложку рыбьего жира мы будем получать по монетке в милль – тысячную часть палестинского фунта. Бутылка с рыбьим жиром стояла на кухонном столе, рядом с ней всегда лежало наготове две ложки. Леа-Нооми и я каждое утро уходили в школу: она в школу «Ахдут» в Кирьят-Мощкине, я в школу «Агарон» в Кирьят-Шмуэле, и в животе у меня плескались две ложки рыбьего жира, а карман оттягивали два милля. Возможно, поэтому при призыве в армию я был признан годным к боевой службе, будучи ростом 178 сантиметров...

* * *

Школьные занятия заполняли весь мой внутренний мир в течение двух с четвертью лет после прибытия в Кирьят-Мощкин, пока ООН не приняла в ноябре 1947-го решение о создании Государства Израиль. Тогда начались беспорядки, затем разразилась Война за Независимость. Внезапно выяснилось, что мы находимся между молотом и наковальней. Нижний город в Хайфе по большей части был арабским. Районы Халиса, Вади-Ниснас и нижний город, через которые нужно было проезжать на север, по дороге в Акко и Крайот¹, были населены арабами. В районе Гадар-Кармель и на горе Кармель в основном жили евреи. Из Сирии и Ливана от иракца Кавукджи² и сирийца Шишакли³ для укрепления сил арабов Палестины, включая

¹ Общее название нескольких городков к северу от Хайфы: Кирьят-Ям, Кирьят-Мощкин, Кирьят-Бялик. Иногда в понятие Крайот включаются также город Кирьят-Ата и районы Хайфы Кирьят-Хаим и Кирьят-Шмуэль.

² Фавзи аль-Кавукджи (1890–1977) – ливанский военный и политический деятель, в 1947 году возглавлявший Арабскую освободительную армию (АОА), которая была создана Лигой арабских стран для борьбы с евреями в Палестине. Автор называет его иракцем из-за формального подчинения Кавукджи двум иракским офицерам: Тахе-Паше аль-Хашими и Исмаилу Сафуату.

³ Адиб ибн Хасан аш-Шишакли (1909–1964) – сирийский военный и политический деятель, президент Сирии в 1953–1954 гг. В описываемый период командовал отрядом АОА.

и арабов Хайфы, прибывали конвои с оружием. Располагаясь между Хайфой и Акко, Кирьят-Моцкин подвергался многочисленным нападениям. После полутора лет боевых действий по окончании Войны за Независимость двенадцать человек были награждены медалями «За доблесть». Двое из них получили медали за операцию, проведенную на восточной окраине Кирьят-Моцкина. На перекрестке у въезда в Кирьят-Моцкин, напротив окраинных зданий Кирьят-Бялика, отделение израильтян поджидало арабский конвой с грузом оружия, который, согласно данным разведки, должен был подойти с севера. По легенде прикрытия конвоя, грузовики везли оборудование для хайфского порта. Груз был тщательно привязан и укрыт брезентом, под которым скрывалось оружие. Я был дома, когда внезапно донеслась ружейная пальба, живо напомнившая мне дни, проведенные в Бухенвальде. Потом перед глазами мелькнуло лицо мамы, медовые коржики, которые она давала мне, чтобы я случайно не выдал наше укрытие, устрашающий обыск, устроенный немецкими солдатами в здании, где мы прятались. В поиске евреев они переворачивали все, срывали двери и били окна. И вдруг выяснилось, что и тут, в Земле Израиля, бывшей средоточием наших упований, раздаются точно такие же звуки. Я был напуган до смерти, когда раздалась череда мощных взрывов. В Кирьят-Моцкине, да и по всему Хайфскому заливу, не осталось ни единого целого оконного стекла. На месте взрыва образовалась воронка глубиной в двадцать метров. Позднее выяснилось, что взрыв боеприпасов и взрывчатки на въезде в Кирьят-Моцкин был вызван действиями наших бойцов. Эта операция была проведена за восемь недель до того, как Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Государства Израиль.

Мне было трудно осознать тот факт, что снова рядом со мной, вблизи моего дома, идет война. Это стало очередным моим личным испытанием. Я был уверен, что в Земле Израиля меня ожидает тихая безмятежная жизнь, что больше я никогда не увижу ужасов войны. Я ошибался.

Я с содроганием вспоминаю события на нефтеперерабатывающем заводе. Арабы напали на еврейских рабочих, нанесли им множество ножевых ранений, а потом всем перерезали горло. Погиб 41 человек, из них трое из Кирьят-Моцкина. Мне было трудно принять тот факт, что я снова попал в страну, где убивают евреев. Что через два с половиной года после Бухенвальда евреи снова гибнут, на этот раз в своей собственной стране. Все эти годы я хранил в сердце слова, сказанные мне Нафтали в Бухенвальде, что в Земле Израиля евреев не убивают, и вот действительность дает мне пощечину, опровергая каждое слово его обещания. Не знаю, откуда черпал мой брат свой оптимизм и каким образом у меня вырелась иллюзия, что в Земле Израиля все будет совершенно иначе. Кирьят-Моцкин считался

относительно тихим и безопасным местом, были дети, которых отправили из Иерусалима к родственникам в нашем городе, чтобы защитить их от войны вдали от фронтовой полосы. А тут выяснилось, что и мы находимся в зоне боевых действий, что война не пощадила и нас.

Для моего дяди провозглашение Государства Израиль явилось осуществлением великой мечты. Но мечта его пошла трещинами под ударами действительности, когда по окончании Войны за Независимость число погибших в боях достигло шести тысяч из шестисоттысячного еврейского населения. Молодое государство после страшных человеческих потерь должно было залечивать раны, нанесенные войной, не считая того, что необходимо было принимать все возраставшую репатриацию. Это требовало сосредоточения всех сил и ресурсов. Так получилось, что в первый период существования Государства Израиль не было возможности заниматься вопросами, связанными с отношениями религии и государства. Была учреждена *ad hoc* комиссия, членами которой стали первый премьер-министр Давид Бен-Гурион, первый министр внутренних дел Ицхак Гринбойм и первый министр по делам религий раввин Йеѓуда Лейб Гакоѓен-Маймон. Они приняли совместное решение о сохранении статус-кво. Что было – то и будет. Так как в Хайфе и в районе Хайфского залива общественный транспорт работал по субботам, то этот порядок останется неизменным. В Тель-Авиве автобусы не ходили по субботам в прошлом – не будут ходить и в будущем. В Гиватаиме до создания Государства Израиль по субботам демонстрировались фильмы в синема «Хадар» – так будет и дальше, в соответствии с принципом сохранения статус-кво. Раз в соседнем Рамат-Гане движущиеся картинки не оживляли экраны по субботам, то и теперь кинотеатры будут закрыты. Результаты решения комиссии были абсурдны.

Кирьят-Моцкин был самостоятельным муниципальным образованием. Он не был религиозным поселением, но главы города следили за тем, чтобы суббота не нарушалась прилюдно. По субботам в городе не ходил общественный транспорт, а все магазины и единственный кинотеатр были закрыты.

Однако судьба распорядилась так, что Кирьят-Моцкин географически расположен недалеко от Хайфы. А так как в Хайфе – городе, где жили евреи, арабы и представители других религий, – общественный транспорт работал по субботам, то автобусная компания «Шахар», впоследствии объединившаяся с «Эгедом», решила пустить автобус, который по субботам стал бы доставлять купальщиков из Хайфы на пляж Галия. Автобус выезжал из Хайфы, пересекал весь Кирьят-Моцкин, проезжал по религиозному району Кирьят-Шмуэль, следовал через Кирьят-Ям, где был тогда лагерь новых репатриантов Гав-Ям, пока не достигал пляжа Галия. Раввин Фогельман,

которого мало кто превосходил умеренностью взглядов, по простоте душевной верил, что с созданием Государства Израиль, к которому стремились и о котором мечтали многие поколения евреев, суббота будет соблюдаться по всем правилам, и на улицах по субботам не будет видно общественного транспорта. Раввин и жители города решили совершить поступок. В ту субботу, когда автобус, с началом купального сезона, должен был начать курсировать по маршруту, после чтения Торы все молившиеся вышли под водительством раввина на улицу из центральной синагоги Кирьят-Моцкина. Раввин объявил, что субботняя молитва Мусаф будет читаться на улице, и – он уверен – никакой автобус не станет прорываться сквозь ряды молящихся. Мне было лет двенадцать, и я молился вместе с множеством людей, собравшихся из всех окрестных синагог. Ашкеназы и сефарды, новые репатрианты и старожилы, старики и молодые – все собрались на улице Кирьят-Моцкина. И вот автобус 52-го маршрута движется из Кирьят-Бялика на запад. Дядя с его утонченной душой не мог оставаться в стороне: в неожиданном порыве он снял с плеч свой талит и разложил его на дороге. Я помню, как этот красивый талит с серебряным шитьем во всем своем великолепии был расстелен на черном асфальте. Тогда, вслед за дядей, все остальные сделали то же самое, и бульвар Судей Израилевых покрылся ковром из талитов, так что не было видно ни сантиметра асфальта. Автобус, взвизгнув тормозами, остановился возле раввина, не наехав на талиты. Водитель вышел наружу и дрожащим голосом обратился к дяде с мольбой: «Зачем вы поступаете так со мной, уважаемый раввин? Разве я не еврей? Как я могу попать колесами талит?» И раввин, растроганный его словами, отвечал ему: «Сын мой, так же, как нельзя попирать талит, нельзя попирать и святость субботы! Мы все здесь вокруг тебя – евреи, приехавшие жить в город, где субботу публично не нарушают. Так не нарушь же традицию соблюдения субботы в Кирьят-Моцкине, не прерви цепи поколений». Водитель молча, с уважением, выслушал дядю, вернулся на свое место за рулем автобуса, включил заднюю передачу, проехал задним ходом до более широкого места, где смог развернуться, и выехал из Кирьят-Моцкина той же дорогой, по которой приехал. Не знаю, каково положение дел в городе сегодня, но все то время, пока я жил в Кирьят-Моцкине, общественный транспорт никогда не работал в нем по субботам и еврейским праздникам.

Однажды до нас дошло известие, что после прекращения деятельности мандаторной железной дороги впервые будет пущен поезд Израильских железных дорог. Первой линией, на которой возобновилось движение поездов, был участок Хайфа – Нагария. Пассажиры, ехавшие в Крайот, толпились на перроне станции Кирьят-Моцкина. Город Акко, принявший после Войны за Независимость значительное число новых

репатриантов, также был важной станцией на этой линии. Возобновление движения поездов стало радостным событием для жителей севера страны, национальные флаги развевались на всех станциях, сердца людей были преисполнены гордости. Маршрут движения поезда поражал своим размахом: поезд отходил от площади Пламера¹ в Хайфе, следовал мимо фабрик «Шемен»², «Фениция»³ и нефтеперерабатывающих заводов, далее – Крайот, Акко, конечной станцией была Нафария. Дядя с тетей часто пользовались поездом. Они садились на поезд на станции Кирьят-Моцкин, недалеко от своего дома. Иногда это был экспресс, делавший в Кирьят-Моцкине первую остановку, иногда – пригородный поезд, останавливавшийся на всех без исключения промежуточных станциях. Для большинства жителей Кирьят-Моцкина, не имевших частных машин, железная дорога являлась главной транспортной артерией, немало способствовавшей повышению качества жизни. Так это оставалось, пока по почтовым ящикам жителей не было разложено точное расписание движения поездов Израильских железных дорог на линии Хайфа – Нафария. Взволнованный дядя взял расписание в руки и с сияющим от радости лицом стал просматривать его страницы. Внезапно он издал душераздирающий стон: «Ой-вэй, в субботу». Кто-то в Израильских железных дорогах, кому это было положено по должности, решил, что так как речь идет о линии Хайфа – Акко – Нафария, на которой движение поездов осуществлялось по субботам в период британского мандата, и так как Бен-Гурион постановил, что статус-кво должно сохраняться, то постановление это распространяется и на движение поездов. Это открытие не давало покоя раввину Фогельману, и он всю ночь не смыкал глаз. Рано утром, не медля ни минуты, он сел в автобус и поехал в Тель-Авив. Там он направился в Кирию, тогда носившую название Сарона, где располагались правительственные учреждения, и обратился в Министерство транспорта без того, чтобы ему была назначена встреча. Он явился в канцелярию Давида Ремеза⁴, первого министра транспорта недавно провозглашенного государства. Величественный облик раввина Фогельмана, тот факт, что он специально прибыл из далекого Кирьят-Моцкина, и его утверждение, что он

¹ Герберт Пламер (Herbert Charles Onslow Plumer) (1857–1932) – Верховный комиссар Палестины в 1925–1928 гг.

² Станкостроительный завод в Хайфе, основанный в 1922 году компанией «Шемен», изначальной специализацией которой было производство мыла и растительных масел.

³ Стекольный завод в Хайфе, основанный в 1934 году.

⁴ Моше Давид Ремез (наст. фамилия Драбкин) (1886–1951) – израильский общественный и политический деятель, член партии Мапай, первый министр транспорта и второй министр просвещения Государства Израиль.

приехал по крайне важному делу, которое не займет больше пяти минут, сделали свое, и двери распахнулись перед ним. Министр собственной персоной подошел к двери, увидел раввина, стоявшего в коридоре, и пригласил его к себе, хотя до того не был с ним знаком. «Выпьете чего-нибудь? Горячего или холодного?» – спросил Ремез. Но раввин Фогельман прямо посмотрел на него и ответил словами из Торы: «Не стану пить, пока не изреку речей моих»¹. Интерес министра усугубился. Тогда раввин достал из внутреннего кармана пиджака расписание поездов и сказал министру: «Я свидетельствую в пользу убитого. Если находят тело убитого человека и не знают, кто поразил его, то старейшины города, в окрестностях которого было найдено тело, должны засвидетельствовать, что их руки не проливали кровь погибшего. Итак, – продолжил раввин, – я раввин города Кирьят-Моцкин, который фигурирует здесь, в расписании поездов, господин министр. Это Израильские железные дороги. Но об этом ли ребенку я молился?»² Если на вагоне поезда выведено слово «Израиль», а вагон этот своими колесами попирает святость субботы, за которую мы в течение многих поколений шли на смерть, то разве для этого мы пришли сюда, желая искупить прах святой земли нашей? Это ли было сокровенным нашим стремлением?» И так он продолжал говорить добрых двадцать минут, уснащая свою речь перлами красноречия и словами Торы, тогда как сердце его болело, и дух был поистине смущен. Раввин долго объяснял министру, что есть суббота и в чем ее важность для еврейского народа, а Давид Ремез ни разу не открыл рта, ни на секунду не прервал поток речи сидевшего против него человека, никак не отреагировал, дав раввину возможность выговориться. Министр был захвачен его словами. На столе у него стоял черный телефон. Как только раввин кончил говорить, министр поднял трубку телефона и попросил соединить его с генеральным секретарем Министерства транспорта. В присутствии дяди он спросил секретаря: «Мы уже выпустили расписание поездов на первой линии?» Тот ответил утвердительно и напомнил министру, что он также должен прийти на церемонию открытия железнодорожной линии на площади Пламера, которая состоится при участии мэра Хайфы. «Я хочу изменить расписание движения пассажирских поездов. Грузовые составы пока отложим в сторону. А пассажирские поезда на линии Хайфа – Нагария не должны ходить по субботам и еврейским праздникам. Вы должны вне-

¹ Парафраз стиха из книги Берешит, 24:33. Там: «Не стану есть, пока не изреку речей моих».

² Парафраз стиха из книги Шмуэль I, 1:27. Там слова Ханы, матери пророка Шмуэля: «Об этом ребенке молилась я, и исполнил Господь просьбу мою».

сти соответствующие изменения в расписание. На тех пассажирских линиях, которые будут открыты в будущем, также не будет нарушаться святость субботы. Израильские железные дороги будут следовать тем же правилам, которые приняты в автобусных компаниях «Эгед», «Дан», «Га-Мекашер» и «Дром-Йегуда», – постановил Давид Ремез. Генеральный секретарь министерства несколько раз переспросил, верно ли он понял министра, что израильские поезда не будут ходить по субботам. Тот решительно отвечал, что его намерения именно таковы. В то время министр был окончательной инстанцией в решении подобных вопросов. Когда министр положил трубку, раввин Фогельман растроганно плакал. Он не мог поверить, что его сокровенное желание осуществилось. Он ожидал, что министр выдаст дежурные фразы вроде: «Я вас выслушал, я все взвешу, придется посоветоваться, доложить обо всем Бен-Гуриону», ибо тогда о любой вещи полагалось докладывать Бен-Гуриону. Никким образом раввин не предполагал, что министр в его присутствии позвонит генеральному секретарю министерства и распорядится изменить расписание поездов, исправляя тем самым допущенную оплошность. Успокоившись, раввин поблагодарил министра и поднялся, направляясь к двери. Ремез встал, обогнул свой письменный стол и проводил раввина до самого конца коридора канцелярии, так что все могли убедиться в высокой степени уважения, которое министр оказывает раввину. Давид Ремез, который был немного ниже ростом, чем раввин Фогельман, приподнялся на цыпочках и дружески похлопал раввина по плечу, заключив со своим русским акцентом: «Уважаемый раввин, настанет день, когда народ Израиля еще будет тосковать по таким вольнодумцам, как я. Второго поколения таких безбожников, как мы, уже не будет больше». С этим признанием, сорвавшимся с уст министра, дядя и возвратился в Кирьят-Моцкин. Дома он всю ночь, снова и снова, слово за словом восстанавливал свой разговор с министром. И в эту ночь он не сомкнул глаз, на этот раз от волнения, я же выучил наизусть все детали его разговора с министром. Последствия этой встречи для нашей жизни ощутимы до сих пор.

История с Израильскими железными дорогами произвела на меня неизгладимое впечатление. На протяжении многих лет, когда я сталкивался с теми или иными вопросами в сфере отношений между религией и государством, перед моими глазами вновь возникала эта встреча раввина и министра. Этот частный случай, в который был вовлечен мой дядя, показал мне важность достижения взаимного согласия. Кто-нибудь другой, оказавшись на месте раввина Фогельмана и обнаружив, что поезда будут ходить по субботам и в праздники, быть может, – «гевалт!» – поднял бы крик до самых небес или организовал шумное шествие у синагоги в Кирь-

ят-Моцкине, в качестве демонстративного акта протеста. Раввин Фогельман избрал иной путь. Как раввин, испытывая боль из-за попрания святости субботы, он решил встретиться с главой системы, которая – по его разумению – несла за это ответственность. Он нашел собеседника, который отозвался на его просьбу, разделив его стремления. В своей умеренной манере мой дядя, раввин Фогельман, установил статус-кво в отношении движения поездов. Поскольку в первом расписании Израильских железных дорог было установлено, благодаря дяде, что по субботам и праздникам движения поездов не будет, это стало правилом и для всех вновь открывавшихся железнодорожных линий. Когда мэром Хайфы был Абба Хуши¹, в городе была открыта линия метро «Кармелит»². Члены городского совета требовали, чтобы подземка «Кармелит» работала по субботам, подобно автобусам кооператива «Эгед» в Хайфе. После долгих споров и обсуждений было решено, что «Кармелит» – железная дорога, а посему она не должна ходить по субботам. Так раввин Фогельман определил и судьбу метро «Кармелит», заставив его соблюдать субботу.

* * *

Между Кирьят-Моцкином и Кирьят-Шмуэлем, вдоль железнодорожных путей, тянулись базы британской армии. После того как англичане покинули Землю Израила в мае 1948 года, базы опустели, чтобы в течение считанных дней наполниться снова – новыми репатриантами. В бараках, крытых волнистой жстью, шумела идишская, польская, венгерская, румынская речь. Большинство были спасшиеся в Катастрофе выходцы из Европы. Там были евреи из Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Были те, кто на собственной шкуре испытал страдания всех шести лет Мировой войны, перед другими ад Катастрофы разверзся только в последние два года. Общим для всех была потеря близких. Все они были обломками больших семей, израненных, растерзанных, измолотых. Не было ни одной семьи, не потерявшей близких. Не имея никакого имущества, они попадали в Шаар га-Алия³, располагавшийся на окраине Хайфы. Оттуда их распределяли по местам временного расселения, отправляя, в том числе, и на покинутые исконными обитателями базы британской армии. В Кирьят-Шмуэле был построен квартал одноэтажных сборных панельных домов, который до сих

¹ Абба Хуши (наст. фамилия Шнеллер) (1898–1969) – израильский политик, мэр Хайфы в 1951–1969 гг.

² Линия подземного городского транспорта фуникулерного типа в Хайфе. Открыта в 1959 году.

³ Перевалочный пункт для новых репатриантов, прибывавших в порт Хайфы. Название означает «врата репатриации».

пор называется «квартал репатриантов с острова Маврикий»¹. Там поселили репатриантов, которых британцы когда-то выслали на юг острова Маврикий. Изгнанники были освобождены все вместе и прибыли в Хайфу и в Кирыят-Шмуэль.

Однажды тетя позвала меня и дала поручение отнести приготовленную ею фаршированную рыбу моей кузине и ее мужу, которые незадолго до этого прибыли в страну и проживали в барачно-палаточном лагере рядом с эвкалиптовой рощей в Кирыят-Шмуэле. Мими Герциг, как рассказала мне тетя, приходится дочерью ее кузине Рохеле, сестре гаона рабби Меира Шапиро из Люблина, да будет благословенна память праведника, и внучке автора книги «Минхат Шай». Я был преисполнен волнения от мысли, что у меня обнаружились новые родственники, о самом существовании которых я даже не предполагал. Тетя сказала, что о прибытии в страну Мими Герциг с мужем ей стало известно из списков репатриантов, публиковавшихся в газетах. Еще тетя коротко добавила, что они прибыли в страну с Кипра, куда были высланы, когда репатририровались в Палестину из Румынии. Тогда я впервые услышал о десятках тысяч евреев, прибывших в страну в период Британского мандата и высланных британцами на Кипр.

С тетиной фаршированной рыбой я пришел в лагерь, разбитый в тени эвкалиптов, и познакомился с еще одним побегом моей некогда столь разветвленной семьи. Прошли годы, Мими и Ицхак Герциг перебрались в Тель-Авив и гебраизировали свою фамилию, став Арци. Ицхак Арци много лет был заместителем мэра Тель-Авива, а впоследствии избирался в Кнессет².

Процесс приема новых репатриантов был важной составляющей моей жизни в годы детства, проведенные в доме раввина Фогельмана. Новые репатрианты были крайне бедны, обычно без гроша за душой. Старожилы тоже не отличались великим достатком, но скудость средств не мешала им оставаться щедрыми.

На пороге был праздник Песах, и мы собирались проводить пасхальный седер в доме семьи Фогельман в несколько урезанном составе: дядя, тетя,

¹ Группа евреев из Германии, Австрии и Чехословакии в количестве 1580 человек, высланных британцами из Палестины на остров Маврикий в декабре 1940 года. В августе 1945 года 1310 человек с разрешения властей Британского мандата вернулись в Палестину.

² Ицхак Арци (наст. имя Ижо Герциг) (1920–2003) – израильский журналист, адвокат, общественный и политический деятель, депутат Кнессета 11-го созыва от движения независимых либералов. В браке с Маргалит (Мими) Ликверник у него родилось двое детей: эстрадный певец Шломо Арци (род. в 1949 г.) и писательница Нава Семель (род. в 1954 г.).

их дочь Леа-Нооми, я и еще три-четыре гостя. Но утром в канун праздника тетя сообщила об изменении программы: пасхальный седер будет проведен не у нас дома. Она обещала мне, что я по-прежнему буду тем, кто задал вопросы «ма ништана?»¹, но в другом месте. Как обычно, я шел вместе с дядей в синагогу, мучаясь вопросом, почему я не видел пасхального стола. Дядя пообещал, что у нас будет большой стол для седера, и сказал, чтобы я не беспокоился. Мы вернулись домой, откуда, переодевшись в праздничные одежды, все вместе отправились пешком на северную окраину Кирьят-Моцкина, где находился огромный «Дом нового репатрианта». Пасхальный седер мы провели примерно с тысячей новых репатриантов. Не все из них лучились счастьем от участия в седере. Кто-то – из-за гнетущих воспоминаний о родном доме, ведь ничто лучше пасхального седера не напоминает каждому: «знай, откуда ты пришел», другие – из-за нехватки самого необходимого и бедности, царившей в «Доме репатрианта». Надо полагать, что были среди них и те, кто отвернулся от еврейского наследия из-за ужасов, пережитых ими и бывших их уделом в годы Катастрофы. Раввин Фогельман, всегда внимательный и чуткий к людскому горю, подходил к людям и гладил их по голове, весь воплощение отеческой заботы и подлинного духовного руководства.

В бараке, где проводился седер, было тесно и жарко. Немногие знали и умели петь пасхальные песнопения, такие как «Ве-хи ше-амда»² или «Коль рина вишуа бо-оґолей цадиким»³, не умели и рассказывать пасхальные истории. Однако слова стиха «Шфох хаматха эль ґа-гойим»⁴ почти криком исторгались из их пересохших глоток, а слова «В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта» говорились в высшей степени осмысленно и многозначительно. У ашкеназских евреев не принято есть рис в праздник Песах, однако, поскольку в стране был дефицит картофеля, Главный раввинат с раввинами Герцогом и Узиэлем во главе и такие раввины, как Фогельман, разрешили употребление

¹ «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Часть пасхальной Агады – вопрос, который, согласно традиции, задает самый младший из участников седера.

² Один из пасхальных пияотов: «То (обетование Вс-вышнего), что хранило праотцев наших и нас, ибо не один только (фараон) хотел погубить нас, но в каждом поколении встают желающие нас погубить, но Святой, благословен Он, спасает нас от руки их».

³ Теґилим, 118:15. «Голос радости и спасения в шатрах праведников, десница Господня творит силу».

⁴ Йирмийа, 10:25. «Излей ярость свою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они пожрали Яакова, пожрали они его и истребили его, и опустошили жилище его».

в пищу риса и бобовых¹ во время пасхальной недели. Мне это казалось странным. Праздничная трапеза, таким образом, не включала в меню мясо и рыбу, как это принято, но ограничилась рисом и картофелем, подававшимися на жестяных тарелках.

Среди сотен новых репатриантов раввин Фогельман нашел человека, пришедшегося ему по сердцу, это был раввин Акива Гросс, да будет благословенна память праведника, – знаток Торы и человек богобоязненный. Ему удалось выжить в Катастрофе вместе с женой и единственной их дочерью Хавой. Между двумя семьями, принимающей и принимаемой, завязалась тесная дружба. Впоследствии Хава оказалась мне свояченицей, став женой раввина Исера Френкеля из Тель-Авива.

Седер, устроенный в Кирьят-Мощкине моим дядей для тысячи новых репатриантов, плохо знавших пасхальную Агаду и, тем не менее, соблюдавших все правила, в течение многих лет служил мне образцом для подражания. Пока мои дети были маленькие, я никогда не устраивал седер дома, за исключением нескольких седеров в доме моих тестя и тещи, проведенных сразу после моей свадьбы. С тех пор, следуя примеру дяди, я каждый раз оказывался в другом месте, где, как я чувствовал, мой вклад в проведение седера окажется более весомым.

В 5728 (1968) году всю пасхальную неделю я вместе женой и маленькими детьми провел среди новых репатриантов из западных стран, которые прибывали в Израиль на волне воодушевления, вызванного победой в Шестидневной войне. Седер проводился в Иерусалимском лесу. Возможно, средства для великолепного седера у них были, но не было компании, не хватало духовного руководства, и они попросили в центрах абсорбции, чтобы празднование Песаха было устроено для них в атмосфере, соответствующей уровню их ожиданий от Государства Израиль, «вернувшегося к библейским границам». С 5731 (1972) года я начал ежегодно проводить седеры на базах ВВС, дети обычно присоединялись ко мне. Памятен мне седер, который раввин ВВС полковник Эфраим Цемель попросил провести меня для 1250 солдат на 8-й базе ВВС. Ран Пекар, командир базы, сказал мне, что он сочтет великим моим достижением, если по окончании седера останутся десять солдат, чтобы сплясать со мной хору. Я подумал, что если в свое время я сумел провести седер, который растрогал новых репатриантов, то нет никаких причин для того, чтобы мне не

¹ Слово «китнийот» собственно и означает «бобовые», однако в применении к заповедям праздника Песах трактуется расширительно, означая вообще все полевые культуры с семенами (кроме основных пяти злаков, подпадающих под определение квасного – «хамец»), а также некоторые орехи, например, арахис.

удалось провести его на базе ВВС. Быть может, закралась у меня мысль, кто-нибудь из солдат и офицеров, сидевших за праздничным столом на базе ВВС, приходится сыном или дочерью одного из новых репатриантов, когда-то отмечавших седер в Кирыят-Моцкине. Седер занял часа четыре и закончился впечатляющей хорой.

* * *

В один год меня попросили провести седер в Доме солдата в Тель-Авиве, для семей, потерявших близких в израильских войнах, от Войны за Независимость до Войны Судного дня и дальше. Это был самый тяжелый для меня седер из всех, что я когда-либо проводил. В один миг он вернул меня назад, к тому седеру для выживших в Катастрофе новых репатриантов сразу после провозглашения государства. В зале было человек шестьсот, которым, по их мнению или ощущениям, не подобало улыбаться и петь, ибо это неприлично для семей, оплакивающих своих близких. В зале веяло холодом. Напрасно я пытался сломать лед. Я заметил во всеуслышание, что их безмолвие угнетает меня, но никто из присутствовавших по-прежнему не раскрывал рта, и давящее молчание так и стояло в зале.

Наконец, я решил сделать что-нибудь и начал один во весь голос петь «песни Еврейского агентства», из тех, что разучил на корабле по дороге в Землю Израила. Я начал с «Гине ма тов у-ма наим»¹, затем переходил от одной песни к другой. Мало-помалу ко мне стали присоединяться отдельные неуверенные голоса, потом все больше и больше, постепенно атмосфера в зале потеплела, лед начал таять, и этот вечер оказался для меня незабываемым.

Когда я переходил улицу Вейцмана по дороге домой той ночью, сзади меня шла пара весьма преклонных лет. Мужчина с согбенной спиной обратился ко мне, сказав с сильным русским акцентом: «Мы из Хайфы, семья павшего на войне солдата. Мой единственный сын, Амнон, погиб в Войну за Независимость. С тех пор, вот уже тридцать лет, мы никогда не выходили из дома по вечерам. Днем мы с женой работаем, а по вечерам запираемся дома, слушаем классическую музыку, много читаем, но никому не хотим быть обузой. Мы чувствуем, что наше присутствие угнетает окружающих».

А в этом году, получив от отдела по увековечению памяти павших при Министерстве обороны приглашение на пасхальный седер, который вы

¹ Известная израильская песня. Музыка народная, слова из книги Псалмов – Тегилим, 133:1. «Вот, как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе!»

должны были проводить для семей, потерявших своих близких, мы решились на исключительный, с нашей точки зрения, поступок: принять в нем участие. Подумали, что, может быть, пришло время, когда мы сможем провести пасхальный вечер, не оставаясь вдвоем в четырех стенах. И за это я благодарен вам», – сказал пожилой отец павшего солдата и крепко пожал мне руку. Сам факт, что мне удалось хоть на время избавить эту пару от одиночества, на которое они обрекли себя, послужил мне наградой в эту пасхальную ночь. Я ощутил неразрывную связь с дядей, который за много лет до этого решил, что наш седер будет проведен не в узком и интимном семейном кругу, а напротив, мы проведем его с сотнями незнакомых людей, не имевших семьи, в лоне которой они могли бы отметить праздник свободы. Мне вспомнились стихи из псалма: «Творящий суд угнетенным, дающий хлеб голодным, Господь освобождает узников. Господь делает зрячими слепых, Господь выпрямляет согбенных, Господь любит праведников. Господь хранит чужеземцев, сироту и вдову ободряет...»¹ Есть особенно любимое мною хасидское речение: «Недоумевашь, почему посреди собранных вместе в этом стихе самых несчастных людей в человеческом обществе оказались праведники: «Господь любит праведников»? Почему этих праведников поставили посреди этих несчастных, да еще в средоточии суда? Вот таких праведников, которые находятся посреди всего этого, меж униженных и оскорбленных, меж угнетенных и голодных – таких праведников Господь любит». Я взял себе это речение в качестве девиза в жизни, точно так, как это сделал мой дядя, раввин Фогельман, когда я ребенком жил у него дома.

* * *

Я был одним из пяти первых выпускников нашей школы. Я закончил восьмой класс через неделю после моей бар-мицвы, 22 сивана 5710 года (7 июля 1950). Восемь классов средней школы я проскочил за пять лет. Наибольшую гордость я испытал, когда на выпускной церемонии открылась тайна, которую учителя хранили пуще всего: я был признан лучшим учеником нашей школы. Фанерная доска, вырезанная в форме телеги с сеном и понукающим запряженных в нее лошадей возницей, рядом крестьянин со снопами, а по центру надпись «Израэль Лау – лучший ученик школы» – доска эта многие годы украшала гостиную моих дяди и тети, гордившихся мальчиком, который по прибытии в страну не умел ни читать, ни писать на иврите, а по прошествии пяти лет окончил школу с отличием.

¹ Тегилим, 146:7–9.

Теперь нам предстояло решить, куда я направлюсь дальше. Был вариант поступить в среднюю школу¹ «Явне» в Хайфе, куда посылали многих учеников из округа Крайот. Директор базисной школы, в которой я учился, Яаков Блауфельд, дал мне рекомендацию на получение стипендии для обучения в средней школе. Выдвигалось также предложение послать меня в училище «Ноам» в Пардес-Хане, но Нафтали распорядился по-другому. Он познакомился тогда с молодым раввином, по имени Йосеф Йеѓуда Райнер, которому я многим обязан, ибо именно он указал мне на мой путь – получить раввинское образование. Он был молодым классным руководителем на втором курсе йешивы «Коль Тора» в Иерусалиме. Йешива не имела своего здания, и ученики обучались в классах женской школы «Ландау» при Ивритской гимназии. Питались в «дедушкином доме», арабской постройке в районе Мамила, где впоследствии была гостиница «Эрец-Исраэль». Проживали ученики на съемных квартирах в квартале Шаарей-Хесед, по десять человек в комнате, причем в комнатах не было даже умывальника. Раввин Йосеф Йеѓуда Райнер был папиным любимым учеником в Прешове, где папа открыл йешиву «Торат Хаим». Отец раввина, Шмуэль Элизер Райнер, был одним из руководителей еврейской общины Прешова, именно он встретил папу в 1928 году, когда тот стал раввином города. Раввин Йосеф Йеѓошуа Райнер сумел спастись из ада и добраться до Земли Израиля. О нашем – сыновей раввина Лау из Пётркува – прибытии в страну сообщила заметка в газете «Шеарим», и раввин Райнер связался с моим братом Нафтали. Через него он передал раввину Фогельману свою просьбу – взять меня под свое крыло. «Есть стих в Танахе, – сказал он: – «Низведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него»². Я обязан отцу этого мальчика всем, что у меня есть, и мне хотелось бы отплатить ему тем, что я позабочусь об образовании его сына, как если бы он был моим собственным ребенком. Пошлите его ко мне в йешиву «Коль Тора», и я позабочусь обо всех его потребностях, материальных и духовных». Раввин Райнер упрасивал моих тетю и дядю разрешить мне учиться в его йешиве, и они, понимая, что в Кирьят-Моцкине и округе нет подходящей для меня школы, дали согласие. Несмотря на то, что им не хотелось меня отпускать, они поняли, что мне придется оставить их дом.

¹ Школы в Израиле делятся на восьмилетки – «базисные», и двенадцатилетки – «средние», в которых в узком смысле слова собственно средней школой считаются четыре последних класса.

² Берешит, 44:21.

Я отпраздновал свою бар-мицву, зная, что вскоре стану учеником йешивы «Коль Тора». Нафтали приехал на мою бар-мицву из Парижа, где был израильским эмиссаром. Это был 1950 год, период стагнации, и Нафтали привез с собой копченое мясо и колбасу, которые купил на Плецле¹ в Париже. Еще он привез ящик яблок, бывших тогда в стране сущей редкостью, и, приехав, сложил все деликатесы на стол.

В день бар-мицвы вокруг праздничного стола было много незанятых мест. На фотографии, запечатлевшей это событие, по сторонам от меня видны дядя и братья, а напротив меня на стене висят портреты папы и мамы.

Я произнес проповедь, взирая на торжественное и гордое лицо дяди, раввина Фогельмана, и обращаясь к вниманию нашей узкой семьи. Я знал, что заканчивается очередной этап в моей жизни, а впереди меня ждет следующий. Два месяца спустя, в новолуние месяца эзуль 5710 года (14 августа 1950), в возрасте 13 лет и двух месяцев я переступил порог мира йешив.

В мире Торы: отрочество

Вступительный экзамен в йешиве «Коль Тора» провел для меня раввин Барух Кунштат, глава йешивы. Он вручил мне талмудический трактат Кидушин не раньше, чем удостоверился, что я никогда его не изучал, открыл лист 27а и сказал: «Читай этот лист полчаса, смотри также комментарии Раши и Тосафот, потом зайдешь ко мне, и мы посмотрим, умеешь ли ты изучать лист Гемары самостоятельно».

Этот лист Талмуда посвящен обязанностям отца по отношению к сыну: сделать сыну обрезание, выкупить его – если он первенец, учить его Торе, выучить ремеслу, женить.

Закончив изучение листа и подготовившись, я был проэкзаменован, после чего раввин положил мне руку на плечо и сказал: «Раввин Райнер рассказал мне о тебе. Я удостоился чести знать твоего святого отца, по его незабываемым речам, с которыми он выступал и в Германии. Жаль умерших, которых уже нет с нами². Мы постараемся заменить тебе отца и научить тебя Торе». Раввин не случайно выбрал именно этот лист Гемары. С помощью этого он сумел поселить в моем сердце чувство, что, даже если

¹ Плецл – дословно «маленькая площадь» (идиш). Район в 4-м арондисмане Парижа, примерно с 1880 года ставший признанным еврейским районом города.

² Талмуд, трактат Санхедрин, лист 111а.

физически я сирота, в духовном смысле у меня есть отцы, которые позаботятся о моем воспитании.

* * *

Я приехал в йешиву «Коль Тора» со своим маленьким саквояжем из Бухенвальда, тем самым бежевым саквояжем, о котором уже рассказывал. Как мы помним, с ним я проделал путь из Бухенвальда в Экуи, а оттуда в Марсель, Геную, Хайфу, Атлит, Кфар-Сабу, Кирьят-Моцкин; в этом саквояже была сложена вся моя жизнь. Знание того, что саквояж едет со мной в Иерусалим, было очень значимо для меня. В этом заключалась некоторая преемственность, связывавшая меня с моим прошлым и не дававшая мне забыть все, что я пережил в те тяжелые годы.

У йешивы «Коль Тора» было три центра: бейт-мидраш¹ на углу улиц Керен-Кайемет и Усышкина, столовая и несколько спален для учеников располагались в «дедушкином доме» в Мамиле, где со временем открылась гостиница «Эрец-Исраэль», тогда как большинство учеников проживало по десять человек в комнате в квартале Шаарей-Хесед, в доме арабской постройки с колодцем во дворе. Ночи были холодные, и вода в колодце не раз замерзала.

В первый же мой вечер в Иерусалиме, после вечерней молитвы, мы направились в сторону Мамилы – на ужин в столовую йешивы. Только мы вышли, как прямо на улице Керен-Кайемет нас остановили две девчухи, стоявшие на обочине мостовой с большими мешками за спиной. Они спросили об Исраэле Лау, новом ученике йешивы. Я не знал их, они – меня. Это были Сара и Йеѓудит, дочери раввина Мордехая Гакофена и ребецн Ривки, папиной двоюродной сестры. Ребецн была уроженкой Иерусалима, единственной дочерью раввина Авраѓама Цви Шора, сына автора книги «Минхат Шай». Дядя репатриировался из Галиции и был председателем религиозного суда хасидов в Иерусалиме. С отцом девочек я был знаком, потому что он участвовал в праздновании моей бар-мицвы за два месяца до этого, в Кирьят-Моцкине. Они проделали весь путь с улицы Онег-Шабат в квартале Меа-Шеарим на улице Керен-Кайемет, принесли мне пуховое одеяло и подушку, и скромно сказали: «В Кирьят-Моцкине прибрежная погода, а в Иерусалиме через месяц будет очень холодно». Это был прият-

¹ Традиционно под этим термином подразумевается специально оборудованное помещение или здание для изучения Торы, обычно взрослыми. Здесь и далее, как правило, имеется в виду учебный корпус йешивы или даже просто зал, в котором проводятся занятия.

ный и полезный сюрприз. Одеядло с подушкой оставались у меня много лет, вплоть до моей свадьбы.

Они пригласили меня прийти в гости в субботу. Много суббот после этого я ходил пешком в Меа-Шеарим на субботнюю трапезу в доме семьи Гакоген на улице Онег-Шабат (что вполне отвечало ее названию¹).

* * *

По поступлении в йешиву «Коль Тора» я пришел на первый урок – для начинающих, – который проводил раввин Йона Марцбах. Трактат, изучавшийся в этот первый для меня день в йешиве, был трактат Хулин. К моему удивлению, это оказался тот самый трактат, который преподавал мой дядя у себя дома в Кирьят-Моцкине, каждую субботу в три часа дня; я же, даже когда не понимал сказанного, всегда старательно слушал объяснения дяди. Трактат Хулин – не самый изучаемый трактат в мире литовских йешив. Этот трактат не занимается имущественными вопросами и проблемами, изучение которых распространено в йешивах, он посвящен законам трефной пищи, которыми в йешивах не привыкли заниматься. Глава йешивы, великий знаток галахи раввин Шломо Залман Ойербах, убедил раввинов йешивы, бывших выходцами из Германии и большими педантами в отношении галахических вопросов, включить в программу обучения трактаты Шабат, Бейца, посвященный заповедям праздничных дней, и трактат Хулин. Ни один из учеников, пришедших в йешиву на первый урок, отроду не занимался этим трактатом и не мог обнаружить маломальских познаний в нем.

Урок начался с нарочито дидактического вступления. Трактат Хулин открывается словами «Все режут», что значит: всякий, кто освоил заповеди ритуального убоя скота, достоин того, чтобы заниматься этим, даже если он не высокого происхождения. Раввин Йона Марцбах, да будет благословенна память праведника, бывший одним из трех главных редакторов Энциклопедии Талмуда, до Катастрофы занимал в Германии должность раввина города Дармштадта и обладал большими знаниями не только в Танахе, но и – да не будут поставлены рядом – в математике и астрономии. На первом же уроке он преподавал нам основы заповедей ритуального убоя скота. Обязательное условие кошерности убоя – идеальная заточка клинка, так чтобы на лезвии не было ни единой зазубрины. Нож с щербиной на одной стороне лезвия, при том что другая сторона гладкая, называется ножом раздора, а нож с зазубриной, затрагивающей обе стороны лезвия, – ножом запинки, ибо ножоть при приведении им по лезвию такого ножа запинаятся,

¹ Название улицы переводится как «субботнее наслаждение».

как если бы он попал между зубьев пилы. Раввин Марцбах объяснил, что ущербный нож, нож раздора или запинки, при убое цепляет и вырывает дыхательное горло и пищевод, продлевая страдания убойного животного. Он еще не закончил говорить, как я поднял руку. Раввин посмотрел на меня поверх очков, висевших у него на кончике носа, в его взгляде проскользнуло изумление: что может сказать этот мальчик по такому сложному вопросу?

Мы сидели за длинным прямоугольным столом, и все устались на меня. Я был младше всех новых учеников, пришедших в йешиву в этот день. Тощий, малорослый ученик, единственный в классе в коротких штанах и с беретом на голове, не способным прикрыть шевелюру. Я приехал в йешиву в той одежде, которая была у меня в Кирьят-Мощкине, а был у меня только один костюм: зеленый пиджак и короткие брюки. Было, верно, что-то смешное и странное в моем виде. В йешиве знали, что я «сирота из Бухенвальда», и тепло меня приняли, но, несмотря на понимание и хорошее отношение, сейчас на меня устремились изумленные взгляды из-под приподнятых бровей: как я осмелился задать вопрос?

Я проигнорировал эти взгляды, сосредоточившись на вопросе, захватившем мое внимание. Получив разрешение, я сказал: «Один из амораим¹, один из мудрецов Талмуда, проверял нож перед убоем кончиком языка – реш лишана², – вспомнился мне точный термин по уроку в Кирьят-Мощкине, – обычно же проверяют ногтем большого пальца, который не застревает на одном месте. Но был один мудрец, который проверял не посредством ногтя, а с помощью кончика языка», – закончил я, и тишина повисла в воздухе. Все одновременно повернули ко мне головы, устремив на меня взгляды, выражавшие смесь удивления и уважения. Раввин Марцбах поднял свои очки с кончика носа и сосредоточенно посмотрел на меня. «Кто это спрашивает?» – спросил он с ашкеназским выговором. Я назвал себя. Раввин поинтересовался, изучал ли я раньше трактат Хулин. Я рассказал ему, что мой дядя, в доме у которого я жил, имел обыкновение давать урок каждую субботу, уча также и трактату Хулин. Раввин Марцбах продолжил урок.

После обеда, когда в соответствии с распорядком дня ученики, числом примерно в сто человек, разделившись на группы, занимались самостоятельно – в одном переполненном зале, где стоял оглушительный шум, – меня подозвал к себе отвечавший за учебный процесс раввин Гедалия Айзман, выдающийся педагог. Мы стояли возле книжного шкафа,

¹ Амораим – еврейские законоучители периода составления Вавилонского и Иерусалимского Талмудов (220 г. – V век).

² «Кончик языка» по-арамейски.

и он сказал мне, что завтра я должен идти на урок раввина Райнера, благодаря которому я оказался в мире йешив вообще и в йешиве «Коль Тора» в частности. Я был удивлен. Сказал, что это уроки второго уровня, а я только на первом. Раввин повторил: «Будет, как я сказал. Я слышал от раввина Марцбаха, что ты уже изучал трактат Хулин. Посему ты не подходишь для первого уровня, а соответствуешь второму». Сильное волнение овладело мной. В течение всего года я посещал уроки раввина Райнера, а в элуле 5711 года (август 1951-го) перешел на третий уровень, на котором преподавал раввин Эльханан Кунштат, да будет благословенна память праведника. Раввин Эльханан Кунштат был выпускником Мирской йешивы в Литве¹, в Землю Израила он прибыл через Кременчуг и Шанхай по особой визе – одной из многих, которые при посредничестве доктора Зераха Варгафтига выдавал в Литве японский консул Сугихара², признанный Праведником народов мира.

Отец рабби Эльханана, раввин Барух Кунштат, да будет благословенна память праведника, служил даяном – религиозным судьей в городе Фульда в Германии. Именно он основал йешиву «Коль Тора», вместе со своим коллегой, уроженцем Франкфурта-на-Майне, раввином Йехиэлем Михлом Шлезингером, да будет благословенна память праведника.

Они оба понимали, что их святая обязанность основать в Иерусалиме йешиву, в которой языком преподавания был бы иврит, что казалось в те дни непривычным новшеством в Иерусалиме. В ашкеназской общине города это новшество выходцев из Германии встретило ожесточенное сопротивление из-за опасения проникновения «реформы»³. Но основатели йешивы не отступили, понимая, что это – насущное требование времени.

Благодаря их упорству, мне выпала честь учиться в йешиве с товарищами, происходившими из восточных еврейских общин, которым лишь обучение на иврите позволило поступить в йешиву. Среди них такие будущие столпы Торы, как раввин Йеѓуда Адаc, глава йешивы «Коль Яаков», раввин Матитьяѓу Сарим, председатель религиозного суда в Иерусалиме,

¹ Мирская йешива – ныне одна из двух крупнейших йешив мира. Основана в 1815 году и до 1940 года находилась в местечке Мир (ныне Кореличский район Гродненской области Республики Беларусь). В настоящее время находится в Иерусалиме, имея отделения в Модии-Илите и США.

² Тиунэ Сугихара (1900–1986) – японский консул в Каунасе. В 1940 году, вопреки указаниям японского МИДа, выдал множество транзитных виз в Японию польским и литовским евреям. По официальным оценкам, благодаря деятельности дипломата спаслось около 6 тыс. человек.

³ Т.е. принципов реформистского течения в иудаизме, зародившегося в свое время в Германии.

раввин Моше Майя, раввин района Яд-Элиягу в Тель-Авиве, раввин Нисим Бен-Шимон, глава коллегии председателей религиозных судов Тель-Авива-Яффо и многие другие.

Раввин Шлезингер, да будет благословенна память праведника, умер молодым, и его место попросили занять прославленного знатока Торы раввина Шломо Залмана Ойербаха, уроженца Иерусалима. Он проживал в близлежащем квартале Шаарей-Хесед и приходил в йешиву трижды в неделю, чтобы вести уроки в последнем классе, на пятом уровне обучения. Кроме того, один раз в неделю – по средам – он проводил общее занятие для всех учащихся йешивы.

Велика и заслуга йешивы «Коль Тора» в обучении выживших в Катастрофе юношей, прибывавших в страну по линии Организации молодежной репатриации и пропустивших из-за войны шесть лет обучения. Отношение к ним требовало особой чуткости, потому что, несмотря на то что они были старше возрастом, по знаниям они соответствовали первому, редко второму, уровню обучения в йешиве. В йешиве «Коль Тора» для них разработали курс на особом уровне, который, щадя самолюбие этих юношей, назвали четвертым. Занятия на этом курсе проводил сам глава йешивы – раввин Барух Кунштат, да будет благословенна память праведника. Мы, младшие, переходил с третьего уровня сразу на пятый – на курс раввина Шломо Залмана Ойербаха. Только в редких случаях кому-нибудь удавалось перейти с четвертого уровня на пятый.

* * *

Дни, проведенные в йешиве «Коль Тора», обогатили и многому научили меня, благодаря принятому в йешиве способу преподавания, который, на мой взгляд, был большим педагогическим достижением. Упор в йешиве делался не только на обучение, но и на воспитание. Поучительным примером может послужить различное отношение, которого удаивались я и мой напарник по обучению за одно и то же нарушение. Моим напарником был мальчик на год старше меня, приехавший из Бней-Брака, сын репатриантов из Бельгии. Большую часть проводимого нами вместе времени мы старательно учились, но – как это водится у детей – бывало, что после шести часов занятий мы начинали переговариваться и посмеиваться. Инспектор, рабби Гедалия, наблюдал за поведением всех ста учеников йешивы. Со своего места у книжного шкафа он не упускал ни одного из наших движений и поступков. В один из таких моментов нашего ребячливого поведения он пальцем показал моему напарнику подойти и, как отвечающий за недопущение траты времени на что-либо иное, кроме учения Торы, стал выговаривать моему однокласснику за смешок или разговор, в соответствии со сло-

вами Талмуда: «Всякого, кто отрывается от учения слов Торы, занимая себя словами праздной беседы, – кормят такого дровяными угольями»¹. Но ведь не только он оторвался от учения Торы, но и я занял себя праздной беседой, однако меня-то инспектор не подозревал к себе для выговора!

Я долго размышлял над вопросом, почему инспектор не сделал мне выговор. Оттого ли, что ко мне относятся лучше, так как я сирота? И моему напарнику сделали выговор только потому, что у него есть родители?

На следующий день, когда я проходил мимо книжного шкафа, рядом с рабби Гедалией, он обернулся ко мне и сказал: «Израэль Меир, тебе стоит обращать больше внимания на то, чтобы воздерживаться от пустопорожних разговоров; особенно если – упаси Бог – в них есть толика злословия или сплетни». Он говорил со мной ласковым голосом, как друг, дающий добрый совет, что так отличалось от тона, которого «удостоился» мой напарник!

Много лет спустя рабби Гедалия рассказал мне о своей педагогической методе, на первый взгляд понуждавшей его относиться к нам по-разному. Он поведал мне и о посещении йешивы тем самым моим напарником. В тот день рабби Гедалия сам обратился к нему, сказав: «Ты, верно, не забыл мне того, что тебя я укорял и порицал за то, что ты отвлекался от учения Торы, а твоему приятелю никогда не выговаривал. Только я действовал по мере скромного моего разума. Если бы я тебе тогда говорил: «Ты хороший ученик, но должен быть еще лучше», ты бы сказал себе самому: «Мир тебе, душа моя, довольно мне того, что я в порядке, вот и инспектор рабби Гедалия говорит это», и продолжал бы по-прежнему. Тебе следовало говорить резкие слова, острые, как колючки, чтобы вытрясти из тебя твое безразличие. Тогда как твой напарник – полная твоя противоположность. Он мог бы пасть духом, если бы я отчитал его, и уйти из йешивы из-за моего выговора. У него ведь не было ни отца, ни матери, которые сказали бы ему, что йешива – самое подходящее для него место, что он должен ходить в йешиву. Он ни перед кем в целом свете не должен был отчитываться. И скажи я ему хоть одно суровое слово, он бы тут же мог отвернуться от религии. Большинство его сверстников, оказавшихся в подобном положении, не остались в мире Торы. Поэтому мой долг заключался в том, чтобы растить его в тепличных условиях, всячески о нем заботясь. Если он продвинулся в жизни, то лишь потому, что я, по крайней мере, пока он был на моем попечении,

¹ Талмуд, трактат Хагига, 12б. Традиционные комментарии к этой фразе основаны на мнении, что угли дрова часто выглядят остывшими снаружи, продолжая тлеть внутри. Комментаторы делают упор на нахождении сходства между характером прегрешения и особенностями инструмента наказания. Возможно, хотя и не обязательно, автор имел в виду иное: подобно холодным снаружи и горячим внутри дровяным углям, выговор рабби Гедалии был сдержанным по форме, но жестким по содержанию.

старался ободрить, а не подавить его». Таков был педагогический подход человека, отвечавшего за сто учеников, никогда не изучавшего психологию и педагогику и не знавшего, кто такой Пиаже¹, но обладавшего опытом, интуитивным пониманием и, что главное, любовью и огромной отзывчивостью по отношению к людям.

В первые месяцы, проведенные мною в Иерусалиме, я чувствовал себя совершенно оторванным от семьи: дяди и тети в Кирьят-Моцкине, брата Шико, который после Войны за Независимость вместе с женой и дочкой поселился у своего тестя, брата Нафтали, вернувшегося в Европу продолжать заниматься тем делом, которое он начал во времена нелегальной репатриации – поиском и репатриацией еврейских детей, отданных во время Катастрофы в христианские семьи, церкви и монастыри. Все время его пребывания в Париже мы поддерживали связь, обмениваясь письмами.

Мое крайнее одиночество рассеивало лишь тепло, которым окружили меня мои товарищи по учебе, и отеческое отношение всех раввинов йешивы «Коль Тора». Казалось, я избавился от воспоминаний о Катастрофе. Только одна проблема затрудняла мою реабилитацию: я страдал от частых простуд. Доктор Цви Галавский, врач йешивы, не мог понять природы моих заболеваний и направил меня на дополнительное обследование в больницу «Шаарей-Цедек». Выяснилось, что у меня были воспалены миндалины, распухнув в три раза сверх нормы. Причиной этого было хроническое воспаление горла, которым я страдал еще со времени лагерей. Было решено удалить мне миндалины, и операция эта оказалась крайне болезненной. Я был прооперирован в положении сидя, под местным наркозом, который мне сделали, впрыснув какой-то препарат в полость рта. Выяснилось, что выздоровление протекает не так, как должно было, поскольку мне потребовалась еще неделя в больнице, а затем я еще какое-то время оставался в доме семьи Минцер, родителей моей невестки Ципоры, да покоится в мире.

Кроме моих товарищей из йешивы, которые не оставляли меня в течение всей болезни, приехала из Кирьят-Моцкина и тетя Белла, она часами не отходила от моей постели. Единственным для меня утешением, по сравнению с моей предыдущей болезнью в Бухенвальде – когда Нафтали и сам валялся в лазарете с тифом, – было то, что на этот раз за мной было кому ухаживать. Я ни одного часа не оставался один, что скрашивало мою жизнь, несмотря на непрекращающиеся боли.

¹ Жан Вильям Фриц Пиаже (1896–1980) – швейцарский психолог и философ, специалист в области детской психологии и создатель теории когнитивного развития детей.

Папина сестра, моя тетя Метта, да покоится в мире, беспокоясь о моем здоровье, прислала мне из Нью-Йорка чек на 18 долларов, чтобы я мог купить себе еды, пополнив скромный рацион йешивы. Из-за того, что все шесть лет войны я страдал от недоедания, мне требовалось питание более здоровое, чем то, что предлагалось в йешиве (оно было скудным и по бедности йешивы, и из-за общего экономического положения в стране). Маргарина не было, не говоря уж о масле. На хлеб мы мазали консервированное кокосовое масло, поставлявшееся в страну под эгидой Джойнта. Хлеб, кокосовое масло и фруктовый джем составляли наш завтрак. Мяса мы не видели на протяжении всего года. По субботам получали котлету из каких-то мясных суррогатов. Только два раза в год – на трапезу перед наступлением поста Судного дня и на праздник Пурим – нам давали по порции куриного мяса. На праздник Шавуот мы ели, естественно, молочные продукты, а на Песах и Суккот нас распускали на каникулы.

Итак, я получил от тети Метты чек, называвшийся «Script», на который можно было набрать пищевых продуктов зарубежного производства, но по прямому назначению я его так и не использовал. И потому что я знал, что не стану есть один, а 18 долларов – слишком небольшая сумма, чтобы накормить сотню голодных учеников йешивы, и из-за моей страсти к книгам.

Я поменял сертификат на деньги, на которые положил начало собственной библиотеке (со временем все разраставшейся и ныне разрастающейся): приобрел шесть томов Хафец-Хаима – рабби Исраэля Меира Гакофена¹ из Радуня, шесть томов комментария «Мишна брура» к разделу «Орах Хаим» книги «Шулхан Арух».

Я мечтал купить также Талмуд. На бар-мицву я не получил Талмуд в подарок. Самой дорогой книгой, подаренной мне на бар-мицву, был раздел «Орах Хаим» книги «Шулхан Арух» в трех томах, которые мне преподнес тесть моего брата Шико, Аврагам Йосеф Минцер, да будет благословенна его память. Он был владельцем книжного магазина религиозной литературы на улице Алленби в Тель-Авиве.

Чтобы воплотить в жизнь мою мечту, я должен был начать зарабатывать. Так я стал частным учителем. В занятиях в йешиве имелся дневной перерыв, между двумя и тремя часами дня. По рекомендации рабби Гедалии я взял на себя обязанность проводить в этот час вспомогательный урок по Мишне и Талмуду. Моими учениками были Яир и Йоси Вайль, отец которых держал известный в Иерусалиме обувной магазин на углу улиц Короля Георга и Яффо. Дети учились в школе «Хорев», однако их

¹ Рабби Исраэль Меир Гакофен Пупко из Радуня, Хафец-Хаим (1838–1933) – выдающийся комментатор и законоучитель.

отец хотел добавить им немного религиозного образования. Каждый день я занимался с ними у них дома в районе Рехавия, получая 75 грушей¹ в час. В то время в Иерусалиме издательством «Эль га-Мекорот» было выпущено в свет 16-томное издание Талмуда в коричневом переплете. Талмуд в этом издании стоил 76 фунтов.

На четвертом этаже дома, в котором была квартира семьи Вайль, жил торговец религиозной литературой, господин Койфман. Более ста часов занятий мне пришлось провести с Яиром и Йоси Вайлями, прежде чем я смог подняться на четвертый этаж и вернуться в йешиву, неся на плече продолговатую пачку с 16 томами Вавилонского Талмуда. В целом мире не было человека счастливее меня, когда я сгибался в три погибели под своей ношей по дороге в йешиву. Эти тома служат мне до сих пор, когда я провожу занятия в разных концах страны. В разъезды я беру с собой не большое издание Талмуда, подаренное мне тестем на свадьбу, а маленькие томики, заработанные мною самим в поте лица.

В то время в квартале Меа-Шеарим было три букинистических магазина религиозной литературы: «Папенгайм», «Штицберг» и «Шрайбер». По пятницам, в свободный от занятий день, я шел туда и переходил от одного магазина к другому в поисках удачных находок. Это были маленькие магазинчики, заставленные книгами от пола до потолка. Перемещаться по магазину было почти невозможно. Один из трех торговцев как-то раз сказал мне: «Ты начинаешь напоминать мне рабби Овадию. Есть тут такой молодой человек, – поведал он, – иерусалимский талмид-хахам, рабби Овадия Йосеф его зовут. Иерусалимский ученик йешивы, который приходит в магазин и читает здесь книги. У него нет денег, чтобы покупать книги, потому что у него уже семья и много детей. Вот я ему и позволяю стоять на стремянке и читать. Так он и стоит, часа по три, одна нога с одной стороны стремянки, другая – с другой, и читает, пока не доходит до конца книги. И вся книга уже у него в голове, как в коробке»².

Следующей книгой, которую я приобрел, малой по объему, но великой по содержанию, были «Хидушей Гаран»³ с комментариями к трактату Бава Мециа. Мне удалось купить ее за два с половиной фунта вместо трех. Придя

¹ Груш – ивритский вариант названия турецкой монеты куруш, 1/100 палестинского, а впоследствии израильского фунта. В Израиле название употреблялось для этого номинала до 1960 г., когда его заменили на «агору».

² Овадия Йосеф (1920–2013) – крупный галахический авторитет, Главный сефардский раввин Израиля в 1973–1983 гг., духовный руководитель сефардской религиозной партии ШАС.

³ «Хидушей Гаран» – «Новые толкования» за авторством рабби Нисима Бар Реувена Жиронди (1315–1376).

в йешиву, я обнаружил на подержанной книге экслибрис на трех языках: иврит дублировался латиницей и кириллицей. Надпись гласила: Хаим Хизкиягу Медини. Другими словами, до меня эта книга принадлежала раввину Хеврона, – до того бывшему раввином на Кавказе, – выдающемуся гаону, автору книги «Сде Хемед» – талмудической энциклопедии в десяти томах – плоды труда одного человека¹.

Раввин Моше Блой, лидер партии «Агудат Исраэль», рассказывает в своей книге «На стенах твоих, Иерусалим» о чуде, произошедшем с ним, с рабби Медини, после его смерти: арабские погромщики, пишет раввин Блой, занимались осквернением еврейских могил в Хевроне. Разбивали надгробья, выкидывали кости из могил. И вот в одной могиле, могиле рабби Хизкиягу Медини, обнаружилось нетронутое тленом тело – невредимое, как в день погребения, и завернутое в белый саван без единого пятнышка гнили. И было это загадкой для Иерусалима и всего еврейского мира. После этого открытия люди стали приходить на могилу, как приходят на поклонение к погребальным пещерам праведников.

* * *

Три годы учебы в йешиве остались позади. В новомесячие месяца ав меня вызвал к себе рабби Гедалия, инспектор, бывший как заботливый родной отец для учеников йешивы. Он хотел подготовить меня к периоду «между сроками», времени между 9 ава и новомесячием месяца элул, традиционно служащему каникулами в мире йешив. Приметливый глаз рабби Гедалии заметил мою бледность, и он поделился со мной своим ощущением, что мой организм нуждается в солнечном свете, чтобы окрепнуть. «Ты молод, – сказал он мне, – тебе всего 16, и тебе не повредит немного физической работы вместо того, чтобы денно и нощно корпеть над книгами». Он спросил, есть ли у меня возможность поехать на море на двадцать дней каникул.

Единственным местом в мире, куда я мог бы тогда вернуться, был дом моего дяди в Кирьят-Моцкине. Однако, объяснил я рабби Гедалии, дядя сейчас у брата во Флоренции, тетя же плохо себя чувствует и поправляет здоровье в Зихрон-Яакове. Нафтали, как мы помним, был эмиссаром во Франции; Шико – в Тель-Авиве, у родителей жены. Мне было ясно, что никому из них я не могу взять и свалиться на голову. Рабби Гедалия внимательно меня выслушал, наморщил лоб и сказал: «Есть у меня идея, что тебе

¹ Хаим Хизкиягу Медини, Сде-Хемед (1833–1905) – с 1867 по 1899 год раввин города Карасубазар (ныне Белогорск, Крым), с 1901 и до смерти – раввин Хеврона. В отношении Кавказа – ошибка автора.

предложить. Есть кибуц, который основали члены инициативной группы «Шальѓевет», он называется Шаальвим. Часть членов кибуца – выпускники нашей йешивы. Наш выпускник и раввин кибуца Меир Шлезингер. Так может, тебе поехать туда, поработать немного в поле, сменить обстановку. Побудешь на солнце и с новыми силами вернешься в элуле, как сказано в стихе: «А уповающие на Господа обновят силу, поднимут крылья, как орлы»¹.

Предложение зачаровало и захватило меня. Снова я взял свой бежевый бухенвальдский саквояж и поехал в кибуц Шаальвим. В кибуце было тогда 37 членов, число, к которому у меня особое предрасположение. Инициативная группа основателей кибуца, из четвертого призыва «Молодых бойцов-первопроходцев» движения «Эзра», молодежного крыла движения «Поалей Агудат Исраэль», основала кибуц в 300 метрах от пограничных заграждений на границе с Иорданией, напротив Полицейской школы Иорданского Легиона. Чуть дальше виднелся монастырь молчалиников-трапперов в Латруне. После Шестидневной войны в Полицейской школе были найдены снабженные подробными картами местности планы ночного проникновения в кибуц с целью вырезать всех его жителей. Эти планы и карты сегодня переданы на почетное хранение в Музей ЦАХАЛа.

На следующий день после моего прибытия в Шаальвим там проводилась церемония внесения в синагогу первого в этом кибуце свитка Торы. До того жители кибуца одалживали свиток в кибуце Хафец-Хаим, и вдруг в кибуце Шаальвим оказался свой собственный свиток. Это была великая радость, повод для больших торжеств. Меня пригласили держать один из четырех шестов балдахина, под которым несли свиток Торы, и я был горд важностью порученной мне миссии и выпавшим на мою долю почетом. Шест рядом со мной держал районный раввин Тель-Авива, Ицхак Йедидья Френкель, которому через семь лет предстояло стать моим тестем. Присутствие еще одного из «шестоносцев» вызвало у меня сильное волнение. Это был депутат Кнессета Яаков Кац из Хайфы, заместитель мэра Аббы Хуши. Он знал папу еще по Пётркуву и встречал нас – Нафтали и меня – в порту, когда за семь лет до этого мы прибыли в Хайфу.

Таким образом, мое появление в кибуце оказалось праздничным и радостным, продолжение вышло похожим на начало: кожа моя познала солнце, по завету рабби Гедалии, а сам я – физический труд. В те дни кибуц получил 500 голов овец из Австралии, и меня назначили их пасти. Кибуц был беден, тогда для него еще не выделили земли, и пасти приходилось вдали

¹ Йешайя, 40:31.

от хозяйства. В стаде было пять вожakov, за которыми устремлялись все остальные. В котомке у меня были семена всяких злаков, и когда рабочий день подходил к концу, я подзывал двух из вожakov, кормил их зерном с руки, они шли за мной, за ними текли остальные 500 голов, и я управлял стадом, полный удовлетворения от успеха в доселе незнакомой мне сфере деятельности. Помимо работы пастухом, я был поставлен на рытье траншей в каменистой почве – с помощью мотыги и заступа. Министерство обороны распорядилось о строительстве убежищ в кибуце, дома которого, как уже было сказано, находились прямо против позиций Иорданского легиона. Тендер на строительство убежищ выиграла компания «Меонот овдим», относившаяся к партии Мапам. Рабочим платили пять фунтов и двадцать грушей в день. Тем летом в Шаальвиме было построено три бомбоубежища. Земельные работы сопровождались жаркими политическими спорами между мной, учеником йешивы, и ребятами из движения «Га-Шомер га-Цаир», с которыми я работал. Для меня все было внове, в первый раз, оставляло свежее впечатление. Каждый день я отдавал восемь часов тяжелому, утомительному физическому труду, столь непохожему на мое времяпрепровождение в йешиве. Кибуц был беден, и еды – мало. Мы ели хлеб с майонезом, иногда добавлялось чуть-чуть джема. Очень редко мы получали по сваренному вкрутую яйцу, но кому до этого было дело. Мне нравилась работа на стройке и на выпасе. Я знал, что по окончании каникул вернусь в йешиву загоревшим и окрепшим, и получал удовольствие от того, как крепло мое тело, важность чего мне объяснил рабби Гедалия.

Это лето, лето 5713 (1953) года, связало меня узами любви с кибуцем Шаальвим, с тех пор я пристально наблюдаю за развитием кибуца и расцветших в нем на славу религиозных учебных заведений: средней и военной йешив и йешивы для взрослых людей. Опыт жизни в кибуце с религиозным укладом оставил по себе добрую память, наложив на меня неизгладимый отпечаток. Я познакомился с жизненным укладом, бывшим до того загадкой для меня, научился ценить и любить его. Но в личном плане мне было ясно, что мое место – в мире йешив. И по окончании каникул я без колебаний вернулся в йешиву «Коль Тора».

* * *

По окончании трех лет обучения в йешиве, когда мне было примерно 16 лет, инспектор – рабби Гедалия Айзман – предложил мне отправиться на год в другую йешиву. Он предлагал две йешивы на выбор: в Беэр-Якове или в Зихрон-Якове, во главе обеих стояли выдающиеся и уважаемые

раввины, оба были из учеников главы Каменецкой йешивы¹ в Литве, гаона рабби Баруха Бера Лейбовича, да будет благословенна память праведника. Инспектор, бывший, как уже было сказано, самым великим педагогом из всех, что я встречал, добавил, что мне следует познакомиться с другими системами обучения, прежде чем я вернусь в йешиву «Коль Тора», на курс раввина Шломо Залмана Ойербаха. Раввин Ойербах вел курс самого высокого уровня в йешиве. Прежде чем выбрать, я решил побывать в обеих йешивах. По дороге из Иерусалима я проехал через Беэр-Яаков, и у меня сложилось ощущение, что там настолько тесно, что места для еще одного ученика просто нет. По самому характеру моему я не люблю виснуть тяжким грузом у кого-нибудь на шее, тут же я опасался, что из-за того что я сирота из Бухенвальда и вообще из-за всей моей биографии меня не откажутся принять и как-нибудь найдут мне койку и комнату. Страх оказаться в тягость заставил меня проверить второе место, предложенное инспектором.

Я поехал в Зихрон-Яаков. Под вечер я вышел из автобуса на старом шоссе Тель-Авив – Хайфа и пешком стал подниматься в гору. В центре мошавы², в синагоге, построенной бароном Ротшильдом³, помещался бейт-мидраш йешивы. Ученики столовались и жили в съемных комнатах, разбросанных по всему поселку. Йешива «Кнессет Хизкиягу» была названа в честь раввина Хизкиягу Мишковского⁴, да будет благословенна память праведника,

¹ Йешива «Кнессет Бейт-Ицха», основанная в 1897 году в Слободке, предместье Каунаса в Литве. В 1904 году йешива была переведена в город Каменец (ныне в Брестской области Республики Беларусь). Тогда же ее возглавил раввин Барух Бер Лейбович (1870–1939). С началом Второй мировой войны йешива была закрыта, а ее руководители, в том числе сын раввина Баруха раввин Яаков Моше Лейбович, в 1941 году репатрировались в Землю Израиля. С течением времени они заново открыли йешиву в Иерусалиме под названием «Каменец».

² Мошава – исторически первый тип нового сельскохозяйственного поселения в Израиле. Жители таких поселений владели участками земли и обрабатывали землю в индивидуальном порядке. Отсутствие опыта и кооперативного начала в трудовой деятельности зачастую приводило к финансовым трудностям, что требовало постоянной поддержки извне. Главным спонсором в оказании такой поддержки и был барон Ротшильд. Зихрон-Яаков был основан на горной гряде Кармель в 1882 году на деньги барона и назван в честь его отца Джеймса: «Зихрон-Яаков» означает «память о Якове».

³ Барон Эдмон де Ротшильд (Edmond James de Rothschild) (1845–1934) – французский филантроп, поддерживавший еврейской заселение Земли Израиля. Из-за трений, возникавших между управляющими барона и поселенцами, барон часто насмешливо именовался последними «известным филантропом» без упоминания имени.

⁴ Хизкиягу Йосеф Мишковский (1884–1946) – заместитель председателя Союза раввинов («Агудат ха-рабаним»), президент союза раввинов-беженцев из Польши, один из руководителей Комитета спасения и Комитета йешив в Польше и Земле Израиля.

приходившегося тестем основателю йешивы, раввину Ноаху Шимоновичу. Раввин Мишковский был одним из руководителей Комитета спасения и в сотрудничестве с Главным раввином Герцогом, да будет благословенна память праведника, и Биньямином Минцем, да будет благословенна его память, спас после Катастрофы многие сотни еврейских детей и привез их в Израиль.

В вечерних сумерках – ночи уже были холодные, – с бежевым моим сак-воляжником в руке я подошел к синагоге. Открыв высокую дверь, я увидел в дальнем конце зала, у восточной стены, теснившихся под одной экономичной неоновой лампой 36 парней, живо двигавшихся всем телом, споривших и учившихся. В памяти у меня отложился главным образом чистый льющийся голос одного шестнадцатилетнего парня, который учился один, словно разговаривая сам с собой с крайне трогательной интонацией. Его голос зачаровал меня. Я помню, что, вслушиваясь в этот голос, я застыл на пороге, словно меня прибили к полу гвоздями. Со временем я близко сошелся с ним. Его звали Ицхак Бернштейн, впоследствии он стал одним из важных глав той йешивы, в которой учился в молодости. Место и вся атмосфера пришлось мне по сердцу, и в тот же вечер я решил для себя, что останусь здесь.

Войдя внутрь, я сказал, что приехал из йешивы «Коль Тора» и что рабби Гедалия послал меня к главе йешивы. Мне сказали подождать, пока тот не придет. Когда рабби Ноах вошел, все заторопились на вечернюю молитву. Только по окончании молитвы я подошел к нему.

У рабби Ноаха было красивое лицо с умными глазами, это был выдающийся знаток Торы, добившийся своих знаний великим трудом и непрерывным учением. Он каким-то чудом выжил в Катастрофе, прибыл в страну на судне нелегальных иммигрантов и в возрасте 35 лет был выслан на Кипр. Холостяк, один во всем мире, без родителей и семьи. Хотя впоследствии он и женился на ребецн Хане, да продлятся ее дни, дочери раввина Хизкиягу Мишковского, да будет благословенна память праведника, он до конца своей жизни так и не имел детей.

В 5715 (1955) году было, наконец, найдено решение проблемы скученности в йешиве: ее основатель сумел – приложив немало усилий – перевести ее в Кфар-Хасидим. Однако в день переезда, в День Независимости 5715 года (27 апреля 1955) рабби Ноах упал и скорпостижно скончался от остановки сердца, ему было всего 45 лет. После его смерти выяснилось, что у рабби есть брат в России, полковник русской армии, который в те мрачные дни боялся признаться, что у него есть брат в Израиле. После долгих усилий Главного раввина Герцога, да будет благословенна память праведника, и помогавшего ему посла Советского Союза в Израиле этот брат был

найден и даже совершил обряд «халицы»¹ для вдовы рабби Ноаха, чтобы она могла снова выйти замуж.

* * *

По окончании молитвы я представился главе йешивы, который спросил меня, не прихожусь ли я сыном раввину из Пётркува. Услышав мой утвердительный ответ, он обнял меня и, кажется, даже заплакал. «Я позабочусь о тебе, найдем тебе место», – сказал он, однако поблажек из-за моего происхождения мне не делал. Он захотел провести со мной собеседование и проэкзаменовать меня, как это делал с каждым, кто хотел поступить в его йешиву. Этот его подход мне понравился. Я не хотел быть принятым по заслугам отцов, но только в силу моих знаний и способностей. Он расспрашивал меня о том, где я учился и чьи именно уроки посещал. Я сказал, что учился в йешиве «Коль Тора». «У рабби Шломо Залмана?» – уточнил он. Я объяснил, что еще не дошел до курса рабби Шломо Залмана, но что каждую среду в шесть часов вечера рабби проводит обзорный урок для всех учеников йешивы, и эти уроки я посещал. «Сколько времени?» – хотел он знать. «Три года», – ответил я. «Если ты прослушал трехгодичный курс в йешиве «Коль Тора» и был на обзорных уроках рабби Шломо Залмана, то тыходишь, – постановил он и добавил: – Но я не сделаю тебе поблажки. Завтра, после утренней молитвы и завтрака, мы сядем в комнате при входе в синагогу, и я проверю, что ты выгучил». Так и было. Он проэкзаменовал меня, проверив знания и заглянув мне в душу до самых потаенных ее уголков. Его пронизательный взгляд сверлил тебя, не упуская ни единой малости. По окончании экзамена рабби Ноах сказал: «Если ты действительно хочешь учиться, то я помогу тебе стать великим в Израиле. Но ты должен хотеть». Я хотел. Очень хотел.

И когда ко мне, уже ставшему Главным раввином Израиля, приходили молодые раввины за получением разрешения на занятие должности квартального раввина, я обыкновенно рассказывал им эту историю. «Ты можешь быть сыном такого-то и зятем того-то и посещать самые известные и престижные йешивы, но в конце концов – или прежде всего – ты должен учиться и успешно сдать экзамены».

В йешиве в Зихрон-Яакове учились 36 учеников, со мной нас стало 37 – гематрия моей фамилии – Лау. С течением лет я стал понимать, что число 37 имеет в моей жизни даже большее значение. Получив раввинское зва-

¹ Еврейское право предусматривает левиратный брак: вдова бездетного человека должна выйти замуж за старшего брата своего покойного мужа. Совершение обряда «халица» (дословно: «разувание») освобождает обоих от этой обязанности.

ние, я не раз слышал из уст многих почтенных людей: «После 37 поколений раввинов вы, раввин Лау, служите продолжением этой великолепной династии».

Проведенный мной в йешиве в Зихрон-Яакове год был захватывающе прекрасен, он стал для меня вехой в определении моих путей в Торе. Зихрон-Яаков был тогда уединенным местом, удаленным от больших городов. В тот год никто из учеников йешивы не сыграл свадьбу, не было ни похорон, ни общественных собраний, так что ничто не отвлекало меня от учения. Помимо учения в группах («хаврутот»), которое было посвящено как общим теоретическим положениям, так и разбору частностей, преподавание в йешиве велось на двух курсах с ежедневными занятиями, при этом использовались две различные методы. Один курс вел шурин рабби Ноаха, раввин поселения Кфар-Хасидим, гаон рабби Элиягу Мишковский¹, да будет благословенна память праведника. Каждый день он ездил двумя автобусами из Кфар-Хасидима в Зихрон-Яаков и обратно. Второй курс вел сам рабби Ноах². И в дополнение к этим двум, вся атмосфера была проникнута влиянием личности великого гаона и праведника Элиягу Лопьяна³, бывшего тогда уже в крайне преклонных годах, старейшего из мудрецов мусара⁴ в том поколении. Он был блистательным оратором и харизматической фигурой на голову выше других, из тех, к кому подростков на этапе формирования личности тянет как магнитом. И я был среди этих подростков.

Рабби Элье, как мы называли его, прибыл в йешиву как посланник Хазон-Иша⁵, ниже я расскажу об этом подробнее. Каждую субботу, с наступлением вечера, рабби Лопьян проводил беседу, на которую приходили даже совершенно секулярные кибуцники из кибуцев в округе, настолько впечатляющими и проникновенными были речи рабби. Рабби просил их не нарушать субботу и не приезжать на его беседы на машине. Он обещал им, что беседа не закончится быстро, так что и после исхода субботы им

¹ Он был одним из приближенных учеников известного гаона рабби Шимона Шкопа, да будет благословенна память праведника, главы йешивы в Гродно в Литве, и преподавал по методу своего учителя. (Прим. автора.)

² По методу рабби Баруха Бера из Каменца. (Прим. автора.)

³ Элиягу Лопьян, в повседневной жизни называвшийся рабби Элье Лопьян, или рабби Элье Кельмер (1876–1970) – раввин, педагог и законоучитель. Представитель движения Мусар. В 1951 году по инициативе Хазон-Иша стал духовным руководителем йешивы «Кнессет Хизкиягу» в Зихрон-Яакове.

⁴ Морально-этическое направление в «литовском» иудаизме в XIX–XX веке, представители которого были противниками хасидизма, фаскалы и сионизма одновременно.

⁵ Аврагам Йешаягу Карелиц, Хазон-Иш (1878–1953) – раввин и крупнейший законоучитель двадцатого века.

будет что послушать. Влекомые ностальгической грустью по выгученному и слышанному в детстве, каждую неделю они приезжали с полей на пыльных джипах и, нацепив каскетки на голову из уважения к месту, заворожено внимали нравственной беседе рабби.

Помню, как он имел обыкновение говорить в нравственных беседах, которые велись между нами – юными и ним – глубоким стариком: «Вам по 16–17 лет. Я старше вас больше чем на 70 лет, так что берите пример с меня. Зрение мое уже не то, что прежде, то же и походка. По сути, уже ничто в моем теле не то, каким было когда-то, и уж конечно не память. Сейчас самое время для вас осваивать Тору, углубляться, вчитываться, сосредотачиваться, впитывать еще и еще. Сейчас, когда ваши чувства обострены, способности к анализу и восприятию деталей остры, когда вы в состоянии постигать самую глубинную суть любого вопроса, когда память еще не утекла из ваших голов. У меня же, в моем преклонном возрасте, память уже – как дырявая коробка. Помните, что сказал царь Шломо под старость, в книге Кофелет: «И помни о своем Создателе с юных дней, пока не пришли худые дни, и не наступили годы, о которых скажешь: нет мне в них проку»¹. Худые дни – это мои дни, время моей старости. «В день, когда сдвинутся стерегущие дом»², – написано в Кофелете. Руки мои, стерегущие дом – мое тело, сдвинулись – ибо дрожат они. Как сказано: «и стихнет звук мельницы»³ – это рот, что перемальвает пищу, но он же издает звуки и говорит, однако голос уже стихает, утерев прежнюю силу. «И помрачатся смотрящие в окна»⁴ – это глаза, что затуманились и не видят, «и искривятся мужи брани»⁵ – это ноги, несущие весь дом. И они уже так искривились...» Так цитировал нам рабби Элье 12-ю главу книги «Кофелет», смело и искренне описывая нам недуги старости. И дрожащим, но решительным голосом заключил: «Это ваше время, потом пожалеете. Если вы потратите это время впустую, посвятив себя праздным пустякам, то в конце, когда доживете до моего возраста, – а я желаю вам дожить до моего возраста, – испытаете горькое разочарование из-за упущенных возможностей. Каждое утро мы читаем в молитве: «Дабы мы не утруждали себя впустую и не плодили тщету»⁶. Слова эти словно высечены в скале. В каждой беседе он требовал от нас «войти в преклонные лета», какого описания удостоились

¹ Кофелет, 12:1.

² Там, 12:3.

³ Там, 12:4..

⁴ Там, 12:3.

⁵ Там.

⁶ Ср. Йешайя, 65:23: «Не будут они трудиться напрасно и не будут рождать для тревоги».

только два человека в Танахе: праотец Аврагам и царь Давид¹. «Ладно бы Авраам, который умер в возрасте 175 лет, но почему Давид, умерший 70-ти лет отроду, также назван вошедшим в преклонные лета? Чтобы дать нам понять, что честь, которой удостоится лишь избранные, – предстать перед Творцом в День Суда, принеся с собой все дни своей жизни, так чтобы ни один из них не был потерян или потрачен попусту². Во всякий день жизни успевайте, действуйте, умножайте знание, трудитесь на благо многих, помогайте ближнему. Чтобы все использовать по максимуму. Станьте вошедшими в преклонные лета», – зывал рабби Элье с высоты своих лет, и мы жадно впитывали его взыскующий призыв и нравственный посыл.

Один глаз рабби не виделуже давно, мало-помалу от старости свет начал меркнуть и в видевшем глазу, и рабби Лопьян стал слепнуть. Он жил в доме главы йешивы и его супруги – рабби Ноаха и ребецн Ханы, которые были бездетны. Они «растили» его и заботились о нем, как о единственном сыне, хотя по возрасту он был им как отец. Кормили его, заботились обо всех его нуждах и потребностях. Однажды решили поехать с ним в Иерусалим, в клинику прославленного офтальмолога профессора Тихо³. Рабби сделали операцию на одном глазу и госпитализировали в клинику в Иерусалиме. Большую часть времени за ним ухаживал Яков Леви – ученик рабби, который был более близок к нему, чем я, – однако и мне выпала честь одну ночь сидеть у его постели. Так как Яков Леви не мог выдержать нагрузки по постоянному уходу за рабби, в одну из ночей позвали меня, и я испытал сильнейшее волнение.

Я пришел в клинику поздно вечером. Увидел рабби Лопьяна в постели, он лежал с полностью забинтованной головой. Кажется, он страдал сильными болями, но, с присущим ему величием духа, был весь сама сдержанность. «Исроэл Меир, ты здесь?» – спросил он. Я ответил «да». «Тут в ящике есть молитвенник, я еще не читал вечерней молитвы, а сейчас уже поздний вечер. Я никогда не молюсь по памяти, а только по молитвеннику. Для сосредоточенности, проникновенности. Говори вместе со мной слово за словом», – попросил он. И я, зная, что этот человек молится уже много лет и, конечно же, знает наизусть каждое слово, каждую букву молитвы, открыл ящик, достал молитвенник и стал читать, а он повторял за мной каждое слово. Когда мы подошли к благословию «Извини нам, Отец

¹ Бершит, 24:1; Мелахим I, 1:1.

² Для понимания комментария следует иметь в виду, что в оригинале речь идет о «вошедшем в <преклонные> дни», а не «лета».

³ Аврагам Альберт Тихо (1883–1960) – офтальмолог, основатель первой офтальмологической клиники в Земле Израиля.

наш, ибо прегрешили, прости нам, Царь наш, ибо преступили», рабби не мог продолжать и заплакал. Медсестра, которая была к нему приставлена, начала кричать: «Рабби Лопьян, вам нельзя плакать, из-за слез у вас не заживут швы. Профессор просил держать место операции сухим. Влага мешаает действию мази». Рабби закусил губу, подчинился медицинским указаниям сестры, с трудом сдержал себя и продолжил молиться. Закончив молитву, он подозвал сестру и спросил ее, который час. Было двадцать минут третьего ночи. Рабби продолжал и спросил, есть ли у сестры семья, дети. «Двое», – ответила она. «Я так понимаю, что вы обязаны присматривать за мной, это ваша работа. Но Исроэл Меир тут рядом со мной. Вы же идите домой, побудьте с детьми, посмотрите, все ли в порядке, вам не надо быть подле меня в столь поздний час. Я справлюсь. И Исроэл Меир присмотрит за мной». Медсестра удивилась столь неожиданным речам и улыбнулась. Рабби Лопьян не мог видеть ее улыбки из-за повязок, и она ответила ему: «Это моя работа, мои обязанности. Но я вам очень признательна». Спустя четверть часа он снова позвал ее: «Швестер (сестра), вы еще здесь? Ребецн Хана дала мне несколько бисквитов в дорогу. В ящике есть коричневый сверток, там несколько бисквитов. Возьмите себе», – сказал он проникнутым заботой, любовью и признательностью голосом. Это была единственная в своем роде ночь, подле редкого по своим качествам человека, который, даже испытывая сильную боль и физические страдания, не утратил ни капли своей человечности и чудесной чуткости по отношению к ближнему.

Тот год – 5714 (1953–1954) – был високосным¹. И с новомесечия хешвана по новомесечию нисана, в течение шести месяцев, я не покидал йешиву, кроме двух раз. Один раз – чтобы участвовать в Бней-Браке в похоронах Хазон-Иша, да будет благословенна память праведника. Второй – чтобы сопровождать рабби Элье, приглашенного сказать надгробное слово над могилами двух гениев поколения: Хазон-Иша, да будет благословенна память праведника, и старейшины глав йешив, раввина Исера Залмана Мельцера², да будет благословенна память праведника, бывшего главой йешивы «Эц-Хаим»³ в Иерусалиме. Оба они умерли с разницей в несколько дней.

¹ По еврейскому календарю, то есть в этом году добавлялся лишний месяц.

² Исер Залман Мельцер (1870–1953) – раввин и крупный законоучитель «литовского» направления. Возглавлял йешивы в Слободке и Слуцке. 20 лет был главным раввином Слуцка, пока в 1923 году не бежал от преследований Советской власти в Клецк в Польше. С 1925 года возглавлял йешиву «Эц-Хаим» в Иерусалиме.

³ Йешива, основанная изначально как талмуд-тора в 1841 году в Старом городе Иерусалима. Относится к «литовскому» направлению в иудаизме.

Мир Торы был всем для меня. Я вкладывал в учение всю душу. В тот год мы изучали трактаты Бава Кама и Бава Мециа. Я помню, что, когда учили трактат Бава Мециа, я углубленно занимался им большую часть дня и ночи и читал все его 120 листов, вместе с комментариями, пока не выучил все наизусть. На дневных уроках, где подробно разбирался и анализировался текст, мы успели дойти только до десятого или одиннадцатого листа. Однако в часы после обеда и по ночам я углубленно прочел трактат девять раз.

Мир йешив в начале 50-х годов был предельно беден. Не было денег для поддержки учащихся, не было и постоянных помещений. Йешивы в Беэр-Яакове и Зихрон-Яакове располагались в местных синагогах и существовали в крайне убогих условиях. В нашей столовой, помещавшейся в тесном брошенном арабском доме, не было крана с водой. Повариха заботилась о том, чтобы на улице был выставлен чан с водой и кружка для омовения рук. Помню, как-то раз я увидел главу йешивы на кухне: со снятым скюртуком, засученными рукавами и кухонным полотенцем, повязанным на бедрах.

Что случилось? Стряпуха, жившая в лагере новых репатриантов в Зихрон-Яакове, два месяца не получала жалованья и объявила забастовку. Заявила, что больше не придет и не станет готовить для учеников. Рабби Ноах предпочел не сообщать об этом ученикам и сам встал к кухонным «снарядам». Он мыл овощи в чане с водой на улице, нарезал хлеб, очищал от кожуры огурцы, резал помидоры, плакал над луком, пока не приготовил по всем правилам салат на ужин 37 голодным ученикам в возрасте от 16 до 25 лет. Рабби Ноах не только был великим знатоком Торы, он был как преданный отец для всех своих учеников, и в этом сочетании и заключалось его величие. Не раз, бывало, он возвращался после особенно тяжелого дня обивания порогов Министерства религий в Иерусалиме, в надежде добиться увеличения пособий, с поникшим лицом, уставший с дороги, вымотанный многочисленными униженными просьбами. Но стоило ему войти в зал йешивы, бросить шляпу на стул, оставшись в своей высокой кипе, утереть пот с лица и погрузиться в учение, как лицо его светлело. Он объяснял трудное место, потом другое, проливал свет на какой-нибудь вопрос, давая ему новое толкование, и лучился счастьем вместе с учениками йешивы. Внезапно все становилось понятным и ясным, как день. Йешива и ее ученики составляли весь мир рабби Ноаха. Он жил ради своих учеников. Они были ему сыновьями и лучшими друзьями. Несмотря на тяжелые материальные условия, в духовном плане йешива процветала. Он дышал и жил педагогической, преподаванием и Торой.

* * *

Внезапная кончина рабби Ноаха, да будет благословенна память праведника, явилась потрясением для меня, оставив ощущение пустоты в сердце и глубокой грусти в душе, несмотря на то что к тому времени я уже оставил йешиву в Зихрон-Якове. Он был беженцем Катастрофы, скрупулезным и усердным в учении, собственными руками он построил эту йешиву. После многочисленных трудностей, с которыми он сталкивался в Зихрон-Якове, после многих лет строительства постоянного здания в поселении Кфар-Хасидим, когда он лично заботился о каждой малости в жизни учеников йешивы, он надорвался и умер в день своего праздника, в день, когда он мог бы произнести благословение по завершении всех трудов. Он не успел насладиться плодами своего труда. Ученики, которые должны были приехать спустя четыре дня на открытие учебного года в новом здании йешивы, приехали на его похороны.

Однажды он рассказал мне, как все начиналось, и этот рассказ я храню в сердце. Вместе со своим другом, раввином Моше Шмуэлем Шапиро, – оба они учились в лучших йешивах Литвы, – в 5712 (1952) году они приехали к Хазон-Ишу, в то время духовному лидеру еврейства, чтобы получить его совет и благословение на свое начинание – основать высшую йешиву для юных учеников. Они хотели показать путь учения 16–17-летним юнцам, отучившимся три года в «малых йешивах». Хазон-Иш сказал им в ответ, что энергия будет потрачена втуне, если они оба будут в одном месте. «Каждому из вас по силам нести это бремя в одиночку», – сказал он им и предложил, чтобы каждый основал свою йешиву. Они не посмели спорить с Хазон-Ишем и беспрекословно приняли его слова. Один направился в Беэр-Яков, второй – в Зихрон-Яков. В начале пути ученики страшились поступать в новую йешиву. Они не знали, каков будет уровень преподавания, условия были никакие, а жизнь – крайне тяжелой. Рабби Ноах вернулся к Хазон-Ишу и испросил его разрешения на то, чтобы закрыть йешиву и возвратиться в Иерусалим. С отчаянием в голосе он сказал: «Мне не достичь успеха. Ученики, конечно, приезжают, с удовольствием присутствуют на моих уроках, но не остаются у меня, а снова разъезжаются по своим йешивам в Иерусалиме, Бней-Браке и Петах-Тикве». В ответ на описание этой печальной ситуации Хазон-Иш рассказал рабби Ноаху о еврее, живущем в Иерусалиме, – раввине Элияху Лопьяне, старейшем из мудрецов Мусара, и посоветовал рабби Ноаху отправиться к этому еврею в Иерусалим и убедить того присоединиться к йешиве. Хазон-Иш снабдил рабби Ноаха адресом иерусалимского раввина и велел передать тому, что рабби Ноах послан им и что он – Хазон-Иш – просит того поехать в Зихрон-Яков, чтобы стать там инспектором в новой йешиве. Рабби Ноах сделал, как ему

было сказано, но рабби Лопьян и слушать отказался. «После Катастрофы, когда я покинул Литву, много лет я преподавал в Лондоне. Теперь же, когда мне под 90, я дал обет подняться в Иерусалим и изучать раздел Талмуда Кодашим, занимающийся Храмом и служением кознов. Поэтому я не готов оставить Иерусалим. Я должен учиться. Потому что когда придет Мессия и построит Храм, то о правилах служения в нем придут спрашивать меня, а я не буду знать. Посему я и определил себе такой порядок учения», – объяснил он. Рабби Ноах вернулся к Хазон-Ишу в Бней-Брак, и ответ рабби Лопьяна был написан у него на лице. Хазон-Иш не уступил, послал рабби Лопьяну письмо, и тот прибыл в йешиву в Зихрон-Яакове, став ее краеугольным камнем, притягивающим учеников. Молодые ребята, в основном из Кфар-ха-Роэ и религиозной школы «Ноам», находившихся поблизости, стали приезжать в йешиву «Кнессет Хизкиягу» и были пленены личностью рабби Элье и его глубокими познаниями в Торе. Раввин Лопьян стал той силой, которая притягивала учеников в новую йешиву. Его величие заключалось не только в нравственных беседах, но и в глубочайших познаниях в Талмуде. В йешиве «Эц-Хаим» в Лондоне он не был «инспектором», а был ее главой. В адаре 5714 года (март-апрель 1954-го), когда рабби Элье Мишковский заболел и не мог каждый день приезжать в Зихрон-Яаков, рабби Элье Лопьян взялся замещать его. Его ежедневный урок с глубоким разбором глав трактата Бава Мециа «Одалживающий корову у своего товарища» и «Получающий поле у своего товарища» опирался на ранних и поздних комментаторов, при этом рабби вел урок по памяти, потому что зрение его к тому времени совершенно ослабло. Его метода, основанная на принципах мусара, поднимала на знамя практическое, а не только теоретическое обучение. «Главное не учение, а поступок»: и он обязал учеников йешивы совершать не менее трех милосердных деяний каждый день.

Милосердным деянием мог быть любой поступок, в котором проявлялась милость к ближнему: объяснить затрудняющемуся ученику «Тосафот»¹, комментарии к Талмуду или слова рабби Мишковского или рабби Ноаха на ежедневном уроке. Я не мог пойти спать, если не совершил три милосердных деяния в течение дня. Если день заканчивался, а норма все еще не была выполнена, то я обычно склонялся над чаном и чашкой наполнял его водой, чтобы у пришедшего после меня была вода для омовения рук.

Рабби Лопьян давал нам и другие правила. У каждого из нас была маленькая записная книжка, куда мы заносили правила, которые рабби Лопьян устанавливал для нас на основании еженедельной беседы. Одно

¹ Тосафот – комментарии к Талмуду, составленные группой раввинов и комментаторов Талмуда, живших во Франции в XII–XIII веках.

из правил заключалось в следующем: перед тем как идти спать, даже если было три часа ночи и все время до этого ты занимался, следовало положить лист бумаги на текст «Тосафот» на той странице Талмуда, которую ты изучал перед сном. Затем медленно и осторожно сдвигать бумагу вниз, так чтобы стало возможно прочесть трудный вопрос, всегда открывающийся в «Тосафот» словами «А если скажешь...». Когда край листа достигал слов «То следует сказать...», то есть прямо перед разрешением трудного вопроса, тебе следовало сразу же закрыть книгу и, перед тем как заснуть, постараться разрешить, объяснить, поломать голову, пытаясь найти решение данного трудного вопроса в «Тосафот». Гениальность идеи заключалась в том, что ученики йешивы будут отходить ко сну с трудным вопросом в голове, пытаясь найти для него решение. Так оттачивалось наше мышление, а кроме того, возникало скрытое соперничество: кто раньше предложит ответ, не подглядывая в «Тосафот». Каждую ночь я засыпал с новым трудным вопросом в голове, и не было большего удовлетворения для меня, чем когда я находил ответ. Спустя годы мне объяснили и педагогическое обоснование этой методы обучения, разработанной с тем, чтобы занять мозги 17-летнего подростка талмудическими вопросами вместо соблазнов окружающего мира. Так и вышло: мы почти ничего не замечали вокруг себя, кроме самой учебы. Если есть пример воплощения в жизнь принципа «его учение – его ремесло», то это – образ нашей жизни в йешиве в Зихрон-Якове. Мы не видели газет, почти не занимались будничными вопросами. Новости обо всем, что происходит в стране и мире, мы узнавали по дороге в синагогу на молитву. Все наши мысли были заняты записной книжкой с правилами, отходом ко сну с трудным вопросом из «Тосафот» в голове и самостоятельным поиском правильного ответа на него. Другое правило, которое установил для нас рабби Лопьян, заключалось в том, что один день в неделю, обычно в субботу, мы не могли говорить о ближних. Так, на один день в неделю мы вычеркивали из своего лексикона выражения «он сказал», «он сделал». Это было призвано уберечь наши уста от похвал, злословия и сплетни, пусть в последней и не было ничего худого, или попытки кого-либо осудить. Такова была педагогическая система рабби Лопьяна. Милосердные дела, постоянная учеба, углубленное проникновение в тонкости разбираемых вопросов, избегание сплетен и злословия и тому подобное – вот педагогические подходы, призванные сформировать личность людей Торы.

* * *

Когда рабби Ноах так скоропостижно умер в возрасте всего 45 лет, надгробное слово над ним произносил рабби Элиягу Лопьян, да будет благо-

словенна память праведника. Мне никогда не забыть эту погребальную речь, прозвучавшую в зале йешивы в поселении Кфар-Хасидим. Рабби Лопьян говорил о покойном, как отец о сыне. «Рабби Ноах, пригласи меня свидетелем на Горний суд, свидетельство мое будет в твою пользу. Согласно всем книгам, тайным и явным, на Горнем суде задают несколько вопросов. И первый из них: отводил ли ты время на изучение Торы? Пригласи меня, и я поведаю на Горнем суде о том, как ты всегда пребывал в учении, денно и ночью, не тратя ни мгновения втуне». Рабби Лопьян с глубокой любовью описал усердие рабби Ноаха в учении и продолжил: «Второй вопрос задают там: вел ли ты переговоры честно? Вся йешива была на твоих плечах: подрядчики, мастера, повара, уборщики. Ты же со всеми поступал с присущей тебе честностью и добросовестностью». Так он остановился на всех вопросах и на каждый ответил, как добрый предстатель рабби Ноаха. После чего обратился к нам: «Мне бы хотелось кое-что сказать ученикам йешивы, бывшим и настоящим. У рабби Ноаха не было детей, вы – его дети. И вы останетесь здесь на все семь дней траура. Ни один из вас не покинет йешиву раньше. Мы идем сейчас хоронить рабби Ноаха в земле Израиля, которая была так дорога для него. Когда же вернемся – все семь дней будем учиться день и ночь, сколько позволят силы. И каждая страница, каждый лист, каждый раздел, каждый стих, который мы будем учить, – все это ради вознесения души рабби Ноаха, ибо благодаря ему вы учитесь». В тот день тфилин оказались самым востребованным предметом в йешиве. Люди приехали на похороны, а остались на семь дней траура. Я, например, приехал из Иерусалима в Кфар-Хасидим специально на похороны и планировал в тот же день вечером вернуться в город.

Подобно мне, множество учеников рабби Ноаха не захватили с собой ничего для семидневного пребывания в йешиве, но все мы остались по наказу рабби Лопьяна. Тфилин переходили по очереди от одного к другому. Волнение в часы учения было особенно сильным, ибо мы знали, что каждым произнесенным словом мы помогаем душе рабби Ноаха возноситься ввысь. Все мы видели рабби Элье Лопьяна, склонившегося над кафедрой и учащего Тору с прилежанием и необычным усердием, и его пример воодушевлял нас.

Спустя некоторое время ребецн Хана вторично вышла замуж за главу йешивы, вдовца, репатрировавшегося из Соединенных Штатов, – раввина Шмуэля Давида Варшавчика, да будет благословенна память праведника. Он издал два больших тома поразительных новых толкований Торы, принадлежащих рабби Ноаху, первому мужу его жены. Ребецн Хана, урожденная Мишковская, по сей день остается экономкой йешивы.

В мире Торы: юность

После перерыва длиной в год, в течение которого я пребывал в йешиве в Зихрон-Яакове, я вернулся в йешиву «Коль Тора». Для меня закончились четыре года напряженной учебы в йешивах, и я чувствовал, что за последний год в йешиве в Зихрон-Яакове я повзрослел и окреп. В йешиву «Коль Тора» я вернулся, как возвращаются домой.

Вернулся, чтобы посещать курс гаона рабби Шломо Залмана Ойербаха, бывшего единственной в своем роде личностью. Он был уроженцем Иерусалима и всю жизнь прожил в квартале Шаарей-Хесед. С раннего детства по всему Иерусалиму о нем пошла слава как о непревзойденном гении. В возрасте 18 лет он написал свою первую книгу – «Меорей Эш» («Огненные светильники»), посвященную галахическим аспектам электротехники и использования электричества. В книге обсуждалось, что разрешено и что запрещено в этой области по субботам и праздникам. Она охватывала широкий круг вопросов, как, например, выключение и включение электроприборов, использование автоматики и электромеханического оборудования. И эта книга, широко освещавшая различные проблемы в данной области, вышла из-под пера 18-летнего автора, никогда не учившегося ни в начальной, ни в средней школе, а лишь в «хедере» при йешиве «Эц Хаим» в Иерусалиме. Он был блестящим учеником рабби Исера Залмана Мельцера, бывшего старейшиной глав йешив. Дабы приобрести знания в неизвестной ему области, раввин Ойербах брал частные уроки по физике у инженера по электротехнике.

В возрасте 34 лет он выпустил в свет книгу «Мааданей Эрец» («Яства Земли Израиля»), посвященную законам «швиит» – законам запрета обработки земли в седьмой год семилетнего сельскохозяйственного цикла. В книге обсуждаются и комментируются установления запретов для седьмого года. На этот раз ему потребовались знания в области ботаники и сельского хозяйства, связанные с разными видами растений и сельскохозяйственных культур, а также понимание процессов созревания плодов. В книге обсуждаются установления, связанные с «бикурим»¹ и со всеми проблемами в отношении выделения десятины кофенам и левитам, отделения халы, заповедей «пеа»² и «лекет»³.

¹ Первые в данном году плоды семи видов плодоносящих деревьев.

² В Галахе заповедь оставлять для бедных не сжатым участок в конце поля со зловыми культурами.

³ Заповедь, запрещающая жнецу подбирать колосья, выпавшие из снопа (если их не слишком много), оставляя их для бедных.

Рабби Шломо Залман был исключительно скромным человеком. До конца жизни он жил в двухкомнатной квартире в Шаарей-Хесед, в которой вырастил десятерых детей. Всю жизнь он посвятил изучению Торы. 45 лет он преподавал в йешиве «Коль Тора» и больше всего гордился тем, что он – учитель. Единственными словами, которые он разрешил написать на своем надгробье, была эпитафия «Учил Торе в йешиве «Коль Тора» в Иерусалиме». В своем завещании он однозначно указал, что такие эпитеты, как «гаон», «галахический законодатель поколения», «столп учения, на постановления которого опирались все учителя», не должны быть написаны рядом с его именем. Рабби Шломо Залман был единственным и неповторимым, человеком редчайшей породы, вызывавшим преклонение и почитание во всем религиозном мире. Светское общество впервые услышало о нем в день его похорон, когда за его гробом шло 300 тысяч человек, представлявших все разнообразие течений в иудаизме. Никогда в жизни он не занимался политикой, брезговал всеми партийными раздорами, оставаясь высоко над всем этим.

Когда я впервые попал в йешиву, его манера поведения произвела на меня глубокое впечатление. В то время я посещал только общий урок, который он давал один раз в неделю всем ученикам йешивы, и я не всегда понимал все его слова. Когда я вернулся в йешиву, меня выбрали тем, кто должен записывать общий обзорный урок рабби Шломо Залмана. Тогда еще не было технических приспособлений вроде магнитофона, с помощью которых можно было бы записать его уроки.

Рабби Шломо Залман давал свой обзорный урок по средам в шесть часов вечера. На этом уроке он подытоживал изучавшуюся на данной неделе тему, включая в лекцию и собственные новые толкования. После изучения главы Талмуда со всеми комментариями – ранних и поздних комментаторов¹ – оставалась необходимость в отделке всего здания, его освещении и углублении его фундамента. Этому и был посвящен общий урок рабби Шломо Залмана. Целью урока было разъяснить пройденный материал, показать его в свете понимания рабби, в соответствии с тем, как тема представлялась ему, без бесполезных дискуссий, которые были чужды мировоззрению рабби. Он садился рядом с кафедрой, на которой была раскрыта Гемара, и начинал обсуждение темы. Речь его лилась быстро и свободно,

¹ Ранними, собственно «первыми» – «ришоним» – комментаторами принято считать галахических ученых, работавших в период примерно с XI по середину XVI века. Соответственно к поздним, или «последним» – «ахароним» – комментаторам относят ученых, работавших в период после выхода в свет книги «Шулхан Арух» рабби Йосефа Каро и по наши дни.

каждой странице есть его примечания, написанные на отточенном ясном иврите. В выписанных росчерках букв проявляется его изящество, точность и глубокие знания, и мое сердце взволнованно бьется при мысли о том, что мне выпала честь быть его учеником и записывать его лекции.

По окончании урока я не раз провожал рабби от йешивы к его дому. Иногда мы шли молча, иногда разговаривали. В ходе одного из таких разговоров он поведал мне, что раввин Фогельман, мой дядя, как-то раз посетил его. «Дорогой человек. Он любит тебя, как сына, и хотел бы, чтобы ты сдал экзамены на аттестат зрелости, это облегчит тебе жизнь в будущем. На его взгляд, это поможет тебе устроиться в жизни. Ему известно, что в нашей йешиве изучаются только религиозные предметы, а общие дисциплины не проходятся. Но я ответил на его просьбу согласием, как из-за твоей особой ситуации, так и потому, что мне хотелось уважить его волю. Он большой знаток Торы, и если таково его понимание вещей и если по вечерам – после всего, что предусмотрено распорядком дня в йешиве, – ты сможешь готовиться к экзаменам на аттестат зрелости, – а способностей у тебя хватит, – то иди и учись».

Через несколько дней рабби Шломо Залман спросил меня, что я надумал в отношении этих занятий. Я ответил, что меня не допустят к экзаменам, поскольку я не учился даже в восьмом классе¹. Мне придется сначала сдать предварительные экзамены, только после этого мне разрешат экзаменоваться на аттестат зрелости. Рабби поинтересовался, по каким предметам проводятся экзамены, и я назвал физику, химию, биологию и географию, заметив, что я не силен в точных дисциплинах и предпочитаю гуманитарные. Он в изумлении разинул рот и спросил, как можно не любить физику. Ведь это та наука, которая занимается сотворением мира, в ней раскрывается величие Творца и величие творения. Он продолжал и стал с воодушевлением рассказывать: «Я езжу на 5-м автобусе, со студентами, которые едут в университет в Терра-Санта². Если везет, мне уступают место. Ведь по

¹ То есть не прошел даже первый год обучения из четырех, предусматриваемых средней школой.

² Здание в Иерусалиме на углу улиц Керен га-Йесод и Бен-Маймон, построенное в 1924–1927 гг. конгрегацией Сан-Паоло из Милана по проекту выдающегося архитектора Антонио Барлуцци. Торжественное открытие здания со снятием покрова со статуи мадонны на фонаре, завершающем кровлю, состоялось в 1928 г. в присутствии наследного принца Италии Умберто. Уже в 1929 году из-за финансовых затруднений конгрегации Сан-Паоло здание было передано Кустодии Святой Земли (лат.: Custodia Terrae Sanctae; ит.: Custodia di Terra Santa). В 1949–1999 годах арендовалось Еврейским университетом в Иерусалиме. Изначально называлось Терра Sancta – на латыни, затем, во время Второй мировой войны, по настоятельному требованию владельцев, название было изменено на итальянское Terra Santa.

утрам автобус битком набит, а у меня уже седина, и мне из уважения дают сесть. Я слышу, как они переговариваются в проходе, обмениваются замечаниями по материалу лекции или перед экзаменом. И только я услышу что-нибудь связанное с физикой, электричеством, гидравликой, климатом, как сразу навострю уши: вдруг сумею узнать что-то, что-нибудь новое, интересное. Помни стих из Йешайи: «Поднимите ввысь <к небесам> глаза ваши и узрите, кто сотворил их»¹. Как же ты можешь не любить физику?» – спросил, как отрезал, рабби. Таков он был, рабби Шломо Залман, в 18 лет написавший, как уже было сказано, образцовую книгу в области Галахи и электричества. Во время нашего разговора ему было 44 года, а мне 17, и он не мог понять, как я могу не любить эту великую дисциплину, а я не осмелился пуститься в объяснения. До сих пор помню, как я был обескуражен, увидев его изумление и недоумение.

В один самый обычный день, по дороге из йешивы к дому рабби, среди деревьев во дворе колледжа «Ландау» на углу улиц Усышкина и Керен-Кай-емет, он внезапно остановился и – указал мне путь и задал направление моей жизни.

Рабби долго пересказывал мне все, что слышал от раввина Кунштата, раввина Райнера и господина Зеэва Ланга – административного директора йешивы – о поразительных публичных выступлениях моего отца. Рабби Шломо Залман рассыпался в похвалах моему отцу, выражал восхищение его речами, содержание которых дошло до него из третьих уст, его чудесным красноречием и многочисленными историями, передававшимися от его имени. «Я слышал, – рассказывал он, – как твой отец приехал во Франкфурт, чтобы поговорить о еврействе, о *йидишкайт*. В полночь, когда его выступление продолжалось уже долго, произошло короткое замыкание. Сотни евреев, в большинстве своем уроженцев Германии, собрались во франкфуртской синагоге. Народу было – яблоку негде упасть, и вдруг – полная темнота. Непроглядная тьма. Твой отец, опасаясь, что начнется давка, когда все начнут в темноте пытаться выбраться наружу, сказал на идише: «Евреи, сейчас полночь. Время полуночного тиккуна². «Рахель оплакивает сыновей своих»³. Вы видите могилу Рахели в Бейт-Лехеме. Это наша пра-матерь Рахель, оплакивающая наше изгнание и уповающая на наступление часа, когда «вернутся сыны в пределы свои»⁴. И папа стал описывать облик

¹ Йешайя, 40:26.

² Молитвы и «плачи» о разрушении Храма, которые, согласно обычаю, следует произносить в полночь.

³ Йирмийя, 31:12.

⁴ Там, 31:14.

Рахели и вид ее могилы, как будто стоял против нее и своими глазами взирал на это место. Он говорил в течение двадцати минут, и воображение публики было захвачено описываемой картиной, говорил, пока неполадка не была устранена. Когда зал осветился, он вернулся к своей речи на том месте, где был вынужден прерваться, и говорил еще минут десять, пока не закончил проповедь». Я был юнцом семнадцати лет и не совсем понимал, зачем он рассказывает мне эту историю, просто так, в обычный будний день, по окончании урока, по дороге к себе домой. Но так как я понял, что личность моего отца известна ему и почитаема им, я попросил у него позволения также рассказать ему, касаясь красноречия папы, историю, которую слышал от брата Нафтали. Рабби Шломо Залман посмотрел на меня с любопытством и захотел услышать эту историю. «В 1949 году мой брат Нафтали приехал в Варшаву, чтобы организовать репатриацию детей. У него было рекомендательное письмо Шауля Авигура¹ к посланнику Израиля в Польше Исраэлю Барзилаю², он же Юлек Айзенберг (впоследствии ставший министром здравоохранения от партии Мапам). Нафтали нуждался в поддержке израильского консульства для осуществления той деятельности, которой он занимался. С письмом Авигура он пришел к Барзилаю и представил себя. «Ты Лау? – спросил посланник. – Видел я как-то одного раввина Лау и вовек его не забуду». Нафтали промолчал, и Барзилай продолжил: «Этот человек один раз сделал так, что я провалил задание. Я жил во Влоцлавеке в Польше, когда там должны были проводиться выборы городского раввина. Один кандидат был от партии «Агудат Исраэль», и мы, в ячейке «Гашомер га-цаир», были против него. Ему противостоял другой кандидат, от движения «Мизрахи», избрание которого, с нашей точки зрения, был бы меньшим злом. За день до выборов кандидат от «Агудат Исраэль» привел какого-то человека, о котором говорили, что он – оратор номер один во всей Польше, что из трех с половиной миллионов польских евреев не найдется ни одного, кто мог бы с ним потягаться. Это был раввин Лау из Пётркува-Трыбунальского. В ячейке «Гашомер га-цаир» было известно, что

¹ Шауль Авигур (наст. фамилия Мееров) (1899–1978) – израильский военный и государственный деятель. Один из защитников Тель-Хая и руководителей Хаганы. Стоял у истоков создания израильских разведслужб, в 1933–1948 гг. руководил «Организацией по нелегальной репатриации» («Мосад ле-Алия Бет»), в 50–60-е годы возглавлял организацию «Натив», ответственную за связи с еврейскими общинами в СССР.

² Исраэль Барзилай (1913–1970) – израильский политический деятель. Первый посланник Израиля в Польше. В должности министра здравоохранения способствовал открытию медицинских учреждений на периферии и продвигал развитие патологоанатомической экспертизы и трансплантационной медицины в Израиле, преодолевая сопротивление религиозных кругов.

раввин Лау, благодаря своим ораторским способностям, обладает огромной силой убеждения, и решили сорвать собрание. Я должен был прибыть на место заранее и занять место в одном из первых рядов. Остальные товарищи должны были рассеяться по залу, а один – встать около распределительного щита, у входа в зал. По плану, после трех-четырёх фраз раввина Лау я подниму руку, подавая знак разбросанным по залу товарищам разразиться выкриками, нарушая порядок, так чтобы раввин не смог продолжать выступление. А товарищ возле щита должен был вынуть пробку, чтобы свет погас и началась паника и повальное бегство из зала.

Раввин начал говорить. Он захватил внимание всех присутствовавших и силой своего поразительного красноречия покори́л и меня, так что я позабыл самую цель моего прихода туда. Вот так я и не поднял руки и не подал знак товарищам, чтобы сорвать собрание. И действительно, кандидат от «Агудат Исраэль» выиграл, а наш проиграл». Он завершил рассказ, и с минуту в комнате стояла тишина, пока Нафтали не сказал, что раввин Лау из Пётркува – его отец». Все это я рассказал рабби Шломо Залману меж деревьев, когда провожал его домой из йешивы «Коль Тора».

Рабби был растроган и захвачен моим рассказом. Ласковым, как дуновение ветерка, голосом он сказал мне: «Послушай, Исроэл Меир. Когда происходит что-нибудь, что требует от нас чтения Тегилим (Псалмов): нападение федаюнов, или когда кто-нибудь тяжело болеет, ты должен встать перед арон-кодешем и читать Тегилим, а все повторяют за тобой стих за стихом, меня всегда в таких случаях переполняет волнение. А я ведь знаю все стихи. Так и в твоей манере говорить что-то приковывает к себе слушателя. Помнишь историю пророка Элиягу, пришедшего бросить слова укора Ахаву царю Израиля за то, что тот убил Навота га-Йизреэли и прибрал к рукам его виноградник? Помнишь слова «Ты убил, да еще и унаследовал?»¹. Я сказал, что помню, хотя и не понял, что рабби имел в виду, а тот продолжал: «Ведь ясно, что произошло с Элиягу, ясно и что – с Ахавом, вопрос, однако, в том, почему это все случилось с Навотом. У него есть виноградник в долине Изреэль, который царь возжелал получить, однако Навот не хочет его продавать, потому что он – надел его отцов. «Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе надел отцов моих!»² – объясняет Навот. Так за что он наказан? Почему его казнили?» Чтобы пояснить и подкрепить свою мысль, рабби пересказал мне притчу наших мудрецов, да будет благословенна их память³, трактующую наказание Навота. Господь наградил

¹ Млахим I, 21:19.

² Там, 21:3.

³ Это выражение традиционно используется для обозначения мудрецов Талмуда.

Навота голосом, равным которому не было в его поколении. Три раза в год народ шел на поклонение в Иерусалим, и Навот пел на Храмовой горе, а все паломники наслаждались его пением. Пока гордыня не помutilа его разум, восхищение толп не вскружило ему голову и надменное высокомерие не переполнило его. В дальнейшие годы, поднявшись на поклонение в Иерусалим, он уже не пел, пока его не упрасивали с мольбой снова и снова, и соглашался, только когда посылали к нему вельмож и старейшин. А затем и вовсе перестал петь. Сказал ему Пресвятой, да будет благословен: «Было у тебя задание в мире этом – веселить сердца людей. Я дал тебе этот дар. Я вложил в твое горло сей сладкозвучный колокольчик, дабы ты мог звонить в него, дабы голос твой разносился далеко вокруг. Ты же препятствуешь созданиям моим получать то, что сотворено для них, не для тебя. Но не отбирай блага у хозяев их. Я забираю тебя обратно к себе, ибо нет у тебя более предназначения и цели в жизни. А предназначения, для которого ты был создан, – ты не исполнил».

«Исроэл Меир, – сказал после недолгой паузы рабби Шломо Залман, – Бог одарил тебя красноречием. У тебя есть предназначение в жизни. Ты, по-видимому, похож на своего отца. И ты должен направить свою жизнь в это русло. Дар у тебя, и нельзя тебе упустить его. Милостями Создателя не разбрасываются, и спиной к Нему не поворачиваются. Он одарил тебя. Не могу сказать, это ли вытянуло тебя за кудри из груды пепла в Европе. Я не умею вести учетные книги Владыки мира. Но одно мне ясно: ты должен посвятить свою жизнь учению, умножению знания, еще и еще, пока не придет день, когда звон твоего колокольчика разнесется далеко вокруг». Этот разговор, происходивший в 5715 (1955) году во дворе меж деревьев, между гением поколения и мною, юнцом, стал одной из самых значимых бесед в моей жизни. Эта беседа продолжает формировать, направлять и влиять на меня в каждый миг моего существования.

* * *

Даже покинув йешиву «Коль Тора» и начав учиться в йешиве «Поне-веж», я оставался очень близок рабби Шломо Залману. Перед праздником Рош га-Шана я обыкновенно приезжал в Иерусалим, чтобы получить благословение у него и остальных раввинов йешивы «Коль Тора», которым был столь многим обязан.

Уже два года я учился в Бней-Браке, уже не был его учеником, но пришел, по своему обыкновению, к рабби домой, чтобы получить его благословение. Мы поговорили в его крошечной библиотеке, а потом, когда я уже спускался вниз по скользким каменным ступеням с железными перилами, я услышал, как он зовет меня сверху: «Исроэл Меир!» Я повернул голову

назад и увидел его на лестничной площадке: он знаком показал мне вернуться. Я сделал, как он велел. Он снова зашел со мной в комнату и сказал: «Смотри, у тебя нет отца с матерью. Возможно, тебя ждет большое будущее, но поддержать тебя некому. Я хочу дать тебе письмо. Не знаю, пригодится ли когда-нибудь мое письмо, я ведь всего-навсего веду ежедневный урок в йешиве «Коль Тора». Есть много глав йешив и больших раввинов важнее меня, но если оно и не принесет пользы, то уж точно не навредит. Позволь же мне написать тебе письмо. Не теперь, не теперь, я не хочу тебя задерживать. Только скажи мне, на какой адрес его послать». Я был поражен и словно онемел. Тем не менее, придя в себя, я попросил рабби, чтобы тот послал письмо в йешиву «Поневеж» в Бней-Браке. И действительно, не прошло и недели, как я получил письмо от рабби Шломо Залмана, написанное его рукой на его личной бумаге:

«Раввин Шломо Залман Ойербрах, здесь, в святом городе Иерусалиме, да будет возобновлен и отстроен вскоре, в наши дни, амен. С Божьей помощью, месяц элуль, 5718 год¹.

Мне весьма приятно выразить уважение и признание там, где обычно это не принято, моему милому и дорогому ученику, достойному юноше, продвинутому в изучении Торы и в трепете пред Небесами, господину Исраэлю Меиру Лау, да продлятся его дни, который учился у меня в йешиве «Коль Тора» в святом городе Иерусалиме, да будет возобновлен и отстроен, и, к нашей радости, достиг свершений и удостоился благословения и успехов в учении своем. В дополнение к этому, он приятен в общении, наделен от рождения добрыми качествами и одарен от Господа дорогой способностью ловца душ людских. И весьма велика его сила уделять от духа и мудрости своих юным ученикам, научать их знанию Торы и страху пред Богом и сеять в сердцах их вождление к Торе и любовь к Господу. Посему, да будет явлена милость просьбе моей к главам йешив и к сидящим на кафедрах учения – приблизить и укрепить его, и уверен я, что сие принесет им удовлетворение и отраду, ибо создан он для великих дел, и великое будущее ожидает его. И я благословляю его: да будет Господь в помощь ему в умножении достояния его, в прибавлении мудрости к мудрости его, в поддержке его в восхождении по ступеням святости и во всем, к чему обратится он, да преумножит знание и преуспее и да будет Господь с ним. К сему руку приложил Шломо Залман Ойербрах».

Не существует слов, чтобы описать всю силу моего волнения, удивления и признательности, когда я первый раз прочел это письмо; и каждый раз, когда я читаю его, оно трогает меня до слез. Когда отец рабби,

¹ 17.08.1958 – 14.09.1958.

рабби Хаим Йеѓуда Лейб Ойербах, бывший главой йешивы каббалистов «Шаар га-Шамаим», лежал в болезни у себя дома, ближайших учеников его сына пригласили составить миньян для чтения Теѓилим у одра больного. Мне было семнадцать лет, и будучи среди приглашенных, я вошел в комнату с дрожью в коленях. Хотя в детстве мне довелось насмотреться на бесчисленное множество мертвых, зрелище в иерусалимской комнате было совсем иным. Это был человек, которого я знал, отец рабби, которого любил, и знание того, что рабби вот-вот осиротеет, витало в воздухе, будто заполняя все пространство комнаты. Было странно, что вот, я – сирота с пяти лет, а рабби осиротеет в возрасте 48 лет. Я вошел в комнату и увидел рабби Хаима Йеѓуду Лейба Ойербаха, красивого человека с белой бородой, окаймлявшей его лицо, лежащим на кровати, как будто он спал. У постели, спиной ко мне, сидел рабби Шломо Залман. В левой руке он держал открытую книгу Теѓилим, правая была вложена в руку его отца. Он раскачивался, шептал слова Теѓилим, и слезы катились у него из глаз, падая на страницы книги. Мы все плакали вместе с ним. В задней части комнаты, в углу, стоял зять рабби Шломо Залмана и рабби Хаима Йеѓуды Лейба, иерусалимский праведник – рабби Шалом Мордехай Гакоѓен Швадрон, бывший Магидом¹ Иерусалима и оратором Божьей милостью. Его беседы по субботам о недельной главе Торы в квартале Зихрон-Моше привлекали многие сотни слушателей. Он стоял лицом к стене и непрерывно читал Теѓилим. Мы стояли там очень долго, читая Теѓилим, с глазами, мокрыми от слез, тишина и безмолвие царили в комнате. Внезапно я заметил мимолетное движение у рабби Шломо Залмана. Он почувствовал, как лежавшая в его руке рука отца слабеет. Мягко и очень медленно, ибо с умирающим надо обращаться бережно, он отвел свою руку от руки отца. Встал с места, прошел в угол комнаты, подойдя к своему зятю, и легонько хлопнул того по плечу. Рабби Швадрон обернулся к нему. Я увидел лишь покрасневшие, опухшие от плача глаза и белую мокрую от слез бороду. Рабби Шломо Залман не сказал ни слова. Сводобной рукой он показал на отца, другой, с зажатой в ней книгой Теѓилим, – на дверь. Рабби Швадрон был коѓен, а коѓенам запрещено находиться в одном помещении с покойником. Рабби Шломо Залман почувствовал, что отец вот-вот отойдет в мир иной, и – по речению «пред слепым не клади преткновения»² – не желая ввести своего зятя в прегрешение, попросил, чтобы тот вышел. Рабби Ойербах вернулся к постели отца, а рабби Шалом, встав в двери, стал отступать назад, последний раз глядя на своего тестя. Я помню эту картину прощания, поразительное самооблада-

¹ Магид – проповедник в синагоге.

² Ваикра, 19:14.

ние рабби Ойербаха в этот тяжелый для него час, его руку, которая больше уже не возвращалась к руке отца, потому что запрещено трогать и шевелить отходящего. Больной отец сделал слабое движение рукой, словно желая сказать сыну и зятю, что все хорошо, что он отходит в мир, который весь – благодать, а посему им нечего беспокоиться.

Я по сей день помню мельчайшие подробности, подмеченные мною в поведении рабби Шломо Залмана, каждый обрывок слова, который слышал от него. Наша с ним связь продолжалась 45 лет. Я чувствовал огромную близость к нему. По всем галахическим вопросам, в решении которых у меня были сомнения, я обыкновенно спрашивал его мнения. Рабби Ойербах был моим учителем и наставником и в личной жизни. Он обычно приезжал на наши семейные торжества. Когда я женил своего старшего сына, рабби Моше Хаима, рабби Ойербах специально приехал из Иерусалима, чтобы принять участие в бракосочетании, которое проводил мой тесть и дед жениха, рабби Ицхак Йедидья Френкель. У него никогда не было машины. Если никто не предлагал его подвезти, он ехал автобусом. Раби Ойербах приехал в зал торжеств «Вагшель» в Бней-Браке, где мы справляли свадьбу моего сына. Свадебный балдахин – *хупа* – был поставлен снаружи, под проливным дождем. Я стоял против рабби с керосиновой лампой в руке и мог видеть волнение, отразившееся у него на лице.

Мой сын, рабби Давид Барух¹, готовился к свадьбе с Ципи, дочерью раввина Ицхака Ральбага, который возглавлял Религиозный совет Иерусалима. Мы назначили свадьбу в Большой синагоге Иерусалима, и приехали – раввин Ральбаг, жених и я – к рабби Шломо Залману, чтобы попросить его провести обряд бракосочетания. Рабби, по своему обыкновению, приветливо встретил нас и дал согласие. Спустя короткое время мне сообщили, что он срочно разыскивает меня. Когда я перезвонил ему, он принес мне извинения от всего сердца и сказал, что у него вылетело из головы, что в Иерусалиме есть раввин города – раввин Ицхак Колиц, и честь проведения обряда должна быть предоставлена ему. «Я приду на церемонию, – обещал рабби Шломо Залман, – но право совершить обряд бракосочетания принадлежит раввину города». Таков он был, этот человек. Великий и скромный.

Во время Войны в заливе я поехал в Иерусалим вместе с младшим сыном, Цви Йегудой, чтобы пригласить на празднование его бар-мицвы рабби Шломо Залмана. Мы вошли во внушительную библиотеку в скром-

¹ Давид Барух Лау (род. 13.01.1966) 24 июля 2013 года был избран на пост Главного ашкеназского раввина Израиля и Президента раввинатского совета, став самым молодым (47 лет) Главным раввином в истории страны.

ной квартирке рабби, и тот извинился, что не сможет приехать. Не из-за войны, а вследствие старческого недомогания. Принеся свои извинения, 81-летний рабби обратился к моему сыну, с которым до той поры не был знаком, и сказал: «Цвикале, на своей бар-мицве ты произнесешь проповедь?» Сын ответил утвердительно, и рабби продолжал: «Даже если я не приеду на бар-мицву, ты ведь не станешь на меня сердиться, правда? А не скажешь ли ты мне свою проповедь сейчас, дабы мне не упустить слов Торы?» Мальчик посмотрел рабби в глаза и самоуверенно, без колебаний, ответил, что готов. Рабби спросил, знает ли он свою проповедь наизусть, и мальчик ответил «да». Стоя в маленькой комнатке перед гением поколения, он произнес всю свою проповедь от начала до конца. Положив подбородок на руку, рабби сосредоточенно слушал тринадцатилетнего мальчика с таким просветленным лицом, какого я никогда ни у кого не видел. Руби (Реувен Зер), мой водитель, побежал в машину, принес свой фотоаппарат и запечатлел это мгновение.

На тридцать дней со дня смерти рабби Шломо Залмана Ойербаха Руби принес мне эту фотографию, которую он поместил в рамку, – рабби Шломо Залман внимает Цвике. Эта фотография девять лет висела на стене в моей канцелярии Главного раввина в Иерусалиме. Однажды ко мне в канцелярию пришел сын рабби Шломо Залмана, рабби Барух, впоследствии погибший в автокатастрофе, да будет благословенна память праведника. Войдя, он увидел на стене снятую незадолго до смерти фотографию своего отца, которую никогда прежде не видел, остановился перед ней, и плечи его затряслись от рыданий.

Мой сын, Цви Йегуда, много лет хранит в душе воспоминания о своей проповеди перед рабби Шломо Залманом, уже очень большим и худым, и о том, как сосредоточенно тот его слушал. Когда подошло время решать, в какой йешиве учиться, ему было ясно, что это будет йешива «Коль Тора». Он успешно сдал экзамены и учился там – как я.

Когда рабби Ойербах скончался, я надорвал одежду в знак траура, как сын по отцу. Я был тогда Главным раввином Израиля и перед похоронами пошел домой к рабби, в Шаарей-Хесед. Кто-то повстречался мне по дороге и обеспокоенно спросил, что случилось, всматриваясь в мою надорванную одежду. Я ответил, что у меня не было возможности надорвать одежду в знак траура по моему биологическому отцу. А так как рабби Ойербах стал моим отцом по духу, то я надрываю одежды теперь. На его похоронах слышались рыдания сотен тысяч любивших его людей. Брат рабби зачитал его завещание, в котором он, между прочим, просил: «Я не хочу быть обузой моим детям и молюсь Пресвятому, да будет благословен, дабы он не лишил меня понимания, сохранив разум светлым и чистым вплоть до

дня приказа, когда велено мне будет отправляться в горнюю йешиву. Если увидите, что мне трудно выполнять мое предназначение и вести себя, как положено человеку, не утруждайте себя заботами обо мне, но переведите в заведение вроде дома престарелых, дабы я не был обузой моим детям». Рабби Ойербах служит мне примером в жизни. Я часто думаю о нем и тоскую по великому знатоку Торы, которым он был, по личности воспитателя, которым он был, и, главное, по человеку, которым он был.

* * *

Завершив курс обучения в йешиве «Коль Тора», я поступил в йешиву «Поневеж»¹ к гаону рабби Йосефу Каганеману². Эта йешива была алмазом в венце литовских йешив – самой известной и важной среди них, а рабби Каганеман – одной из самых выдающихся личностей еврейского общества в поколении Катастрофы и возрождения. Йешива помещалась в вытяннутом здании с массивными стенами. Над входом в него была написаны слова, взятые из книги пророка Овадии: «И на горе Цийон будет спасение, и будет она святыней»³. Это не самый известный и не самый цитируемый стих, и уж конечно, это не один из тех стихов, которые принято писать над входом в общественные здания, вроде знакомых и всем известных стихов «Как хороши шатры твои, Яаков»⁴ или «Севрата Господни, праведники войдут в них»⁵. Однако основатель йешивы, раввин Каганеман, выбрал именно этот стих, запечатлевшийся в моей памяти, прежде всего благодаря своей исключительности и загадочности.

Раввин Каганеман был видной фигурой в литовском еврействе, великолепной общине, почти полностью стертой Катастрофой с лица земли. Он был широко известен как гаон, великий знаток Торы и блестящий утонченный оратор. Велики были его заслуги в увековечении памяти о Катастрофе. Он создал в своем городе, Бней-Браке, «Огель Кдошим» («Шатер Мучеников») – мемориал литовского еврейства – за много лет до того, как

¹ Высшая йешива, считающаяся «флагманом» йешив в «литовском» направлении иудаизма. Основана в 1919 году раввином Йосефом Каганеманом в Поневеже (ныне город Паневежис в Литве). Большинство студентов этой йешивы погибло в Катастрофе. Раввин Каганеман репатрировался в Эрец-Исраэль в 1940 году. В 1943 открыл йешиву заново в Бней-Браке. В настоящее время в ней обучается около тысячи студентов.

² Рабби Йосеф Шломо Каганеман (1888–1969) – раввин, основатель и бессменный руководитель йешивы «Поневеж» в Паневежисе и Бней-Браке, депутат Сейма II созыва Литовской республики, первый глава Совета мудрецов Торы.

³ Овадия, 1:17.

⁴ Бемидбар, 24:5.

⁵ Техилим, 118:20.

были основаны такие музеи и мемориалы, как «Яд ва-Шем», «Подвал Катастрофы», музей «Повстанцев гетто», Яд-Мордехай, «Масуа», Дом свидетельства и Хасидский архив.

Прибыв в страну в середине 40-х годов, он собрал в зале Яши Хейфеца, что в переулке Бейт-га-Шоэва, несколько уважаемых жителей Тель-Авива и обратился к ним со следующей речью: «Я пришел из ада. Перед глазами у меня стоит картина трехсот раввинов Литвы, собравшихся на конгресс примерно семь лет назад. Больно и страшно вымолвить, что из этих трехсот раввинов, молодых и старых, в живых остался лишь я, единственный, кто сегодня стоит перед вами и обращается к вам. Я основал в Бней-Браке зал памяти, названный «Шатром Мучеников», и не желаю создавать другие мемориалы. А желаю обеспечить домом детей, прибывающих по линии Организации молодежной репатриации, «детей Тегерана» и всех других, кто сегодня приезжает в нашу страну, не имея дома. Я обращаюсь к каждому из вас с призывом взять в свою семью ребенка и стать ему отцом. Я собираюсь обосновать для них дом, но это будет не дом сирот, а «дом отцов», – сказал он, обращаясь к собравшимся. И они без колебаний впряглись в выполнение поставленной им задачи. Раввин Каганеман действительно основал «отеческий дом» для каждого ребенка Катастрофы, видя в этом дело своей жизни.

Второй задачей, которую он поставил перед собой, было основание им названной «Поневеж» по имени его города в Литве йешивы, главой которой он стал. Раввин Каганеман не тешил себя громадьем планов по увековечению всех шести миллионов, он удовлетворился увековечением еврейства Литвы, своих близких и знакомых. Основанную им йешиву он не стал называть своим именем или в честь своего отца или какого-нибудь досточтимого спонсора, но назвал ее «Поневеж» по имени еврейской общины, раввином которой он был и которая была уничтожена в Катастрофе. Он приобрел у раввина Яакова Гальперина семь дунамов земли на холме в квартале Зихрон-Меир в Бней-Браке. Квартал носит имя рабби Меира Шапиро из Люблина, о котором я уже рассказывал, двоюродного брата и близкого друга моего отца. Рабби Яаков Гальперин был чортковским хасидом, подобно рабби Меиру и моему отцу.

На семи дунамах приобретенной им земли он основал высшую йешиву, ставшую образцом для всех йешив в еврейском мире. Это помимо учреждения йешив для молодежи и его «отчих домов» для сирот. Рабби Каганеман удостоился увидеть высший расцвет своего детища, когда в его йешиве обучалась одновременно тысяча студентов. Он самолично заботился обо всех этих детях, об их пропитании и обеспечении, посвятив всю свою жизнь собиранию пожертвований и повседневной заботе о благополучии детей.

Стих из книги пророка Овадии рабби Каганеман пожелал высечь крупными буквами на фасаде здания йешивы в память о погибших в Катастрофе в Европе и ради возрождения жизни в Сионе. Впоследствии он объяснил нам смысл своего выбора.

Рабби Каганеман был учеником Хафец-Хаима, он же рабби Исраэль Меир Гакоген из Радуни, автор книги «Хафец Хаим», трактующей заповеди чистоты речи, и книги «Мишна Брура» – книги комментариев к разделу «Орах Хаим» книги «Шулхан Арух». Хафец-Хаим умер на исходе месяца элуль 5693 года, в сентябре 1933-го. За девять месяцев до этого Гитлер был избран канцлером Германии и не скрывал своих завоевательных намерений. Еврейскому народу он объявил войну на уничтожение. Вопрос, не сходящий со всех уст, был один: что теперь будет? Хафец-Хаим, на склоне дней своих, также испытывал сильную обеспокоенность происходящим в Европе. Вместе с со многими другими людьми рабби Каганеман стоял у смертного одра Хафец-Хаима. Однако, будучи когеном, он был должен покинуть комнату за минуту до того, как Хафец-Хаим испустил дух. Последней фразой 96-летнего Хафец-Хаима был тот самый стих из книги пророка Овадии: «И на горе Цийон будет спасение, и будет она святыней». Еще в 33-м году, до того, как разверзлась преисподняя, Хафец-Хаим понял, что нет другого пути к спасению, кроме как обратиться к Земле Израиля.

Рабби Каганеман покинул комнату учителя, и стих из Двенадцати пророков эхом отдавался у него в голове. «Когда я основал йешиву, этот стих был для меня чем-то вроде завещания моего учителя, Хафец-Хаима. Йешива «Поневеж» в Бней-Браке – это воплощение в жизнь предвидения пророка. Вот спасение на горе Цийон». Так объяснил он свой выбор нам, его ученикам, и в свете этого стиха личность рабби предстает четко и выпукло. На освящение здания йешивы были приглашены Главный раввин Герцог, да будет благословенна память праведника, и президент страны Ицхак Бен-Цви¹.

Кроме того, что он был великим знатоком Торы, ребе из Поневежа, как его еще называли, славился редким остроумием, проявившимся, например, в следующем эпизоде. В начале 50-х годов одна очень богатая американская еврейка родом из Литвы попала на какой-то конгресс, где рабби Каганеман выступал с речью. Личность рабби и его ораторские способности вызвали ее восхищение, однако к религии и еврейской традиции она относилась отрицательно. Он обещала рабби пожертвовать часть своих средств на соз-

¹ Ицхак Бен-Цви (наст. фамилия Шимшелевич) (1884–1963) – израильский историк, этнограф и государственный, военный и политический деятель. Депутат Кнессета от партии Мапай. Второй президент Государства Израиль.

дание детского дома для сирот Катастрофы, но выставила условие: рабби должен был дать слово, что в этом детском доме не будут воспитываться дети «мит пейсалах» («с пейсиками»), как она выразилась. Рабби дал ей слово. И действительно, на пожертвованные ею деньги он построил на своем участке в Бней-Браке два здания для школы «Лос-Анджелес», где воспитывались привезенные Организацией молодежной репатриации девочки, у которых, естественно, пейсов не было.

* * *

В 50-е годы йешива «Поневеж» считалась «матерью всех йешив» и ведущей среди них, как по числу студентов, так и по уровню преподавания. Уже тогда в ней было 1000 учащихся, в том числе 350 студентов высшей йешивы, куда после нескольких экзаменов поступил и я.

Рабби Каганеман не только организовал физическое строительство йешивы, не просто завладел холмом и построил на нем великолепные здания, но и, будучи выдающимся педагогом, заложил ее основы в духовном и педагогическом аспекте. Вместе с ребецн рабби Каганеман проживал в комнате, примыкавшей к главному залу йешивы. Много раз его спрашивали, не мешает ли ему громкий шум, стоящий в зале в процессе учения. Рабби отвечал вопросом на вопрос: «Разве мельнику мешает шум мельницы, дающей ему пропитание? Утихни мельница, и он бы от беспокойства не мог спать ночами. Так и я. Если, сохрани Господь, здесь когда-нибудь погаснет свет и ученики перестанут корпеть над учением, то я и глаз не смогу сомкнуть», – объяснил рабби. И в йешиве «Поневеж» действительно никогда не угасал свет. Когда в два-три часа пополудни последние ученики уходили спать, первые уже вставали, чтобы еще до утренней молитвы приступить к своему дневному уроку.

Система преподавания, разработанная рабби Каганеманом, имела продуманную структуру и была единственной в своем роде. В высшей йешиве было три курса, читавшиеся шестью старшими преподавателями¹, которые и проводили занятия. За второй и третий (высшие) курсы отвечали старшие преподаватели: раввин Элазар Менахем Манн Шах, следовавший учебной методе Бриска², раввин Давид Поварский, преподававший по системе,

¹ Арамейский термин «реш метивта» соответствует ивритскому «рош йешива» и означает главу йешивы. Однако в их употреблении существует некоторое разграничение: рош йешива действительно глава йешивы, что-то вроде ректора или директора, тогда как реш метивта (которого иногда тоже называют «рош йешива») отвечает за отдельный курс, и его пост в высшей йешиве примерно соответствует должности декана.

² То есть принятой в свое время в йешиве Бриска – идишское название Брест-Литовска.

принятой в Мире, и раввин Шмуэль Розовский из Гродно – все трое были одними из величайших глав йешив в последнем поколении. Пока двое проводили дневные занятия, делившиеся на двухчасовые уроки, третий посвящал два часа самостоятельному учению, чтобы восстановить силы. Раз в неделю каждый из них проводил общий урок для всех учеников йешивы, по воскресеньям, вторникам и четвергам. 350 студентов стояли на ногах, а преподаватель приводил новые толкования на весь изучавшийся на данной неделе материал. Сам рабби Каганеман проводил урок каждую субботу. Даже в возрасте 72 лет, оставшись с одной почкой, он не сдался и продолжал приходить в йешиву. Он много ездил по миру с целью сбора пожертвований на свое учебное заведение. И всегда, возвращаясь из аэропорта, даже если это было в четыре часа утра, в такси по дороге в Бней-Брак, узнавал, какой лист Талмуда изучался в тот день в йешиве, и по прибытии занимал свое место на кафедре и проводил урок, по памяти глубоко и всесторонне анализируя вопросы, обсуждающиеся на данном листе.

Занятия на первом курсе, для 16–17-летних студентов, велись тремя другими преподавателями, которые были младше великих первых трех. Один вел занятия, а двое других в это время учились сами. Рабби Каганеман привез из Лондона раввина Элиягу Элизера Деслера, да будет благословенна память праведника, сделавшего себе имя в области еврейской мысли, чтобы тот занял должность духовного инспектора в йешиве «Поневеж». Философия раввина Деслера нашла свое выражение в его трехтомной книге «Послание Элиягу». Сформировавшаяся педагогическая система рабби Каханемана, особая структура организации занятий и тот факт, что в йешиве преподавали величайшие знатоки Торы в этом поколении, в глазах всех делали йешиву «Поневеж» средоточием значительной духовной силы, и на этот «флагманский корабль» стремился попасть каждый ученик в мире йешив. В ней формировались личности людей, со временем ставших ведущими раввинами и главами йешив. В течение последних пятидесяти лет мир Торы в большой мере опирается на выпускников йешивы «Поневеж».

Мой прием в йешиву был обусловлен, как уже было сказано, успешной сдачей вступительных экзаменов. Экзаменовал меня раввин Давид Поварский, и я до сих пор помню вопрос экзамена – трактат Бейца, повседневные заповеди. Я процитировал новое толкование, приведенное им самим в его книге «Йешуат Давид» («Спасение Давида»). Раввин Поварский пришел в восторг от моих знаний и сказал: «Ты меня подкупил: привел мое новое толкование. Даже не знаю, кто еще из учеников знает мою книгу». Я рассказал ему, что его толкования я учил в йешиве «Коль Тора» у рабби Шломо Залмана Ойербаха. Раввин Поварский удовлетворенно улыбнулся.

После экзамена он повел меня в комнату рабби Каганемана, примыкавшую к главному залу йешивы, и представил меня ему. Как всегда в начале разговора, меня спросили о моем имени. «Израэль Меир Лау», – ответил я. Рабби Каганеман пронзил меня взглядом и спросил, связан ли я как-нибудь с раввином Лау из Пётркува. Я сказал, что это – мой отец. В комнате воцарилась тишина. Потом рабби Каганеман обеими руками взял мою голову, крепко обнял меня и прижал к груди. Я помню, что это был утренний час, сразу после молитвы шахарит, и рабби еще не снял талит и тфилин. Он заплатал. Рабби Каганеман был известен как человек сентиментальный, и следующие слова он произнес дрожащим от слез голосом: «Я помню твоего отца. Оратор Божьей милостью. Он был одним из людей, которыми я восхищался, благодаря его красноречию. Я слышал его выступление на Всемирном съезде «Агудат Исраэль» в Вене и Мариенбаде в 5697 (1937) году. Никто не мог превзойти его в ораторских способностях». Услышав его слова, я испытал сильное волнение. 5697 год был год, в который я родился. Мысль о том, что рабби Каганеман слышал выступление моего отца в том самом году и спустя двадцать лет помнил все детали, свидетельствовала – в моем понимании – о его величии.

Взволнованный рабби Каганеман пригласил меня на субботнюю трапезу за своим столом. Я, новичок, один из 350 студентов, приглашен к самому главе йешивы! Это был редкий жест с его стороны. Когда я пришел в его комнату в субботу, рабби Каганеман спросил, умею ли я петь субботние песнопения. Я напел что-то, что знал, рабби восхитился моим пением и спросил, могу ли я также произнести слово Торы. Я предложил истолковать что-нибудь из недельного раздела, ибо не садятся за трапезу, не обсуждая сказанного в Торе, как написано в «Пиркей авот» («Поучениях отцов»): «Трое, что ели за одним столом и не осуждали сказанное в Торе, подобны тем, кто ест жертвенное мясо из приношений мертвым»¹.

Я высказал ему какую-то идею. Рабби Каганеман выслушал меня с большим интересом и по окончании моей речи отметил, что во мне есть искра чудесного дара красноречия моего отца. Я и надеяться не мог услышать более значимые для меня слова, чем это его высказывание. После этой субботней трапезы в его доме, всякий раз, когда к нему приезжали важные заграничные посетители – из тех, кого он именовал «столпами йешивы», – то есть люди, жертвовавшие на нее из своих средств, рабби следил за тем, чтобы я оказался с ними за одним столом и произнес какое-нибудь толкование сказанного в Торе. У йешивы «Поневеж» были «столпы» во всем мире, это были люди, жертвовавшие ей значительные суммы. В основном это

¹ Пиркей авот, 3:3.

были друзья рабби по Литве, и среди них немало бездетных людей, стремившихся увековечить свое имя после смерти. Из любви к рабби Каганеману, высоко оценивая дело его жизни, они делали ему пожертвования от чистого сердца.

Я помню день 29 октября 1956 года, когда началась операция «Кадеш» и по радио сообщили, что танковые силы ЦАХАЛа прорвались в сектор Газа. Рабби вышел из своей комнаты и поднялся на биму¹, на которой был установлен привезенный из итальянского города Мантуя позолоченный арон-кодеш, состоявший из тысячи сборных частей, которые мастера в Бней-Браке сложили в изначальном порядке. Рабби Каганеман остановился перед великолепным арон-кодешем, попросил учеников прерваться и закрыть книги Талмуда и произнес своим незабываемым голосом: «Наши сыновья – ваши братья ушли на войну, чтобы защитить нас всех. Я прошу вас беспрестанно читать Тегилим, пока они не вернутся с войны. Таким путем мы поддержим ЦАХАЛ в достижении победы и внесем наш вклад в военные усилия страны». Рабби не нужно было распространяться больше, все мы были частью израильской действительности тех дней. Все мы помнили произошедшее незадолго до того в Кфар-Хабаде убийство феодалами Симхи Зильберштрума, да отмстит Господь его кровь, и пяти его воспитанников. Тогда террористы бросили гранату в окно синагоги во время вечерней молитвы. Симха, молодой парень, прибывший в Хайфу на одном корабле со мной, а затем со мной же учившийся в йешиве «Коль Тора», погиб вместе с пятью своими воспитанниками, новыми репатриантами из Северной Африки. Шесть трупов остались лежать на полу синагоги, а залитые кровью молитвенники рядом с ними были открыты на благословении «Гашкивени»² вечерней молитвы.

С нашей точки зрения, операция «Кадеш» была отмщением за их смерть. По воле рабби мы читали Тегилим, в том числе и 144-й Псалом: «Благословен Господь, твердыня моя, обучающий руки мои битве, пальцы мои – войне»³.

Рабби Каганеман не ввязывался в политические распри, он был в высшей степени человеком Торы, воспринявшим все, что исходило и происходило из нее; и одновременно он был глубоко патриотической личностью. К моему сожалению, я провел в его обществе недолгое время, но его образ

¹ Бима – возвышение, амвон в центре или у обращенной в сторону Иерусалима стены синагоги, на котором устанавливается кафедра для чтения свитка Торы.

² «Дай нам с миром отойти ко сну» – первые слова благословения «Дарующий покой» в вечерней молитве.

³ Тегилим, 144:1.

один из самых близких сердцу среди воспоминаний, хранящихся в моей памяти. Рабби Каганеман умер в конце 5729 года (3 сентября 1969). Память о его вкладе в восстановление мира Торы после страшной гибели еврейства Европы и в создание центров изучения Торы как сердца этого мира останется навеки.

Огненные столпы

Две личности в юности повлияли на определение мною своего пути, и я по-прежнему черпаю в них жизненные силы, третья добавилась к ним, когда я уже достиг зрелых лет. Все трое пришли в мою жизнь не из мира йешивот, в которых я учился, они не были моими наставниками, не были и родственниками. Раввина Ицхака Айзика Галеви Герцога, да будет благословенна память праведника, бывшего Главным раввином Земли Израиля и Государства Израиль в первые годы его существования, и адмора из Гура, автора книги «Бейт Исраэль», да будет благословенна память праведника, я узнал в детстве. Рабби Менахема Менделя Шнеерсона¹ – Любавичского ребе – я повстречал, когда уже сам был раввином.

В качестве Главного раввина Земли Израиля, в период, предшествовавший провозглашению государства, раввин Герцог поехал в лагерь беженцев и перемещенных лиц. Целью поездки было укрепление духа выживших евреев, содержащихся в лагерях для перемещенных лиц в Германии и других странах. В той же поездке была предпринята попытка вызволения еврейских детей, переданных в ходе войны в монастыри, церкви и семьи католиков. История этого путешествия описывается в книге «Путешествие с целью спасения», которую написал сын раввина, сопровождавший его в поездке, Яков Герцог, впоследствии бывший советником Бен-Гуриона, Леви Эшколя² и Голды Меир.

За несколько лет до этого, в 1940 году, раввин Герцог приложил значительные усилия для того, чтобы встретиться с Папой Римским Пием XII и убедить его выступить с осуждением убийства евреев нацистами. В 1944 году, после освобождения Италии американцами, раввин Герцог

¹ Рабби Менахем Мендель Шнеерсон (1902–1994) – 7-й и последний Любавичский ребе, один из выдающихся лидеров еврейского мира в XX веке.

² Леви Эшколь (наст. фамилия Школьник) (1895–1969) – израильский военный, профсоюзный и политический деятель. Третий премьер-министр Государства Израиль (1963–1969).

снова обратился к Папе, при посредничестве друга Папы, будущего папы Иоанна XXIII, а тогда кардинала Ронкалли¹. Раввин Герцог просил кардинала о помощи в организации встречи с Папой, дабы попытаться спасти то, что еще можно было спасти, например, венгерское еврейство. Папа отказал ему во встрече под предлогом того, что немцы могут узнать о ней, что может вынудить их в отместку расправиться с венгерскими евреями. И по окончании войны раввин Герцог не оставил своих попыток, снова приняв действия для организации встречи с Пием XII, на этот раз для того, чтобы попросить Папу обратиться ко всем верующим католикам с призывом вернуть переданных в христианские семьи и монастыри в Польше еврейских детей в лоно своего народа. Только в 1946 году Папа согласился принять раввина Герцога. Выйдя со встречи с Папой, раввин попросил у своих сопровождающих лишь одного: чтобы его незамедлительно отвезли в микву в Риме.

Йешива «Коль Тора» находилась напротив дома раввина Герцога. Как только я, еще несмышлениш, попал в йешиву, инспектор рабби Гедалия попросил меня каждый день заботиться о том, чтобы в доме раввина был миньян для молитвы, потому что тому уже трудно было ходить в синагогу. Дом раввина Герцога был двухэтажным. На первом этаже помещалась его канцелярия, где стоял арон-кодеш. Это помещение служило для молитв и встреч с людьми, приходившими выразить почтение Главному раввину. На втором этаже были личные комнаты раввина и его семейства, а также огромная и на редкость богатая библиотека. В течение шести лет каждое утро, пока собирался миньян, я проводил в этом доме, и это было крайне интересно. Вечером по субботам там молился рабби Арье Левин², да будет благословенна память праведника, известный под прозвищем «раввин узников». Он приходил пешком из удаленного квартала Кнессет и молился в одном миньяне с доктором Яаковом Герцогом, с его братом Вивьеном – он же Хаим Герцог, который был начальником АМАНа (военной разведки), а впоследствии президентом Государства Израиль, с раввином Зеэвом Голдом – одним из лидеров движения «Мизрахи» и первым председателем Отдела религиозного просвещения и культуры в диаспоре. Кроме того, там постоянно молились Хаим Моше Шапиро, бывший министром внутренних дел, репатриации и здравоохранения, и доктор Йосеф Бург, в то время

¹ Анджело Джузеппе Ронкалли (Angelo Giuseppe Roncalli) (1881–1963) – католический священник, кардинал. Римский Папа с 1958 г.

² Арье Левин (1885–1969) – иерусалимский раввин. Единственный раввин, допущенный британцами в тюрьму для посещения заключенных-евреев, отчего получил прозвище «отец узников». Известен еще тем, что в 1950 году бросал жребий Гагра для идентификации 12 неопознанных тел погибших бойцов «конвоя 35-ти».

министр почты. Я, маленький, не был вовсе чужим для раввина Герцога. Он немало знал о моем отце и еще больше – о двоюродном брате отца – Меире Шапиро, рабби из Люблина. Он знал о написанной папой книге «Освящение имени Господня» и не переставал спрашивать, где находится рукопись, потому что страницы из нее видел собственными глазами. Раввина Герцога также связывала личная дружба с раввином Фогельманом. Ребецн, моя тетя – папина сестра, и ребецн Сара Герцог вместе работали в Женской организации «Мизрахи». Я же – мальчишка – получил должность *габая*, отвечавшего за сбор миньяна в доме раввина Герцога.

Незабываемые воспоминания связаны с еженедельным уроком по Иерусалимскому Талмуду, проводившимся в утренние часы в доме раввина каждую пятницу. Мне выпала честь видеть там величайших знатоков Торы в этом поколении, ибо эти уроки действительно были доступны пониманию лишь избранных. Довольно будет, если я назову только несколько выдающихся имен: рабби Исер Залман Мельцер и рабби Михл Тукачинский – главы йешивы «Эц Хаим», председатель религиозного суда Лондона раввин Йехезкель Абрамский, автор книги «Хазон Йехезкель», после репатриации в Землю Израиля ставший главой йешивы «Слободка» в Бней-Браке, и тесть раввина Герцога, раввин Шмуэль Йосеф Хильман. Три более молодых завсегда этих уроков были раввин Иерусалима Бецалель Желтый, мой учитель и наставник рабби Шломо Залман Ойербах и – да продлятся его дни – его свояк раввин Йосеф Шалом Эльяшив. Стоять там с краешку и впитывать атмосферу учения и талмудической дискуссии – для мальчика, только входящего в чертог Торы, было незабываемым ощущением, память о котором я храню всю жизнь.

У раввина Герцога в те дни был личный секретарь, Исраэль Липпель, впоследствии, во времена министра Ицхака Рафаэля, исполнявший обязанности генерального директора Министерства религий.¹

Много позже, когда меня избрали Главным раввином Израиля, члены избирательной комиссии прибыли в Гейхал-Шломо¹ в Иерусалиме, чтобы поздравить меня с избранием. Среди них был и Исраэль Липпель, в то время генеральный исполнительный директор Министерства религий. После многочисленных поздравлений и перед тем, как люди стали подниматься с мест и продвигаться к выходу, Исраэль Липпель попросил разрешения сказать несколько слов: «Товарищи, мне бы хотелось поведать вам нечто личное после того, как мы подняли бокалы с уважаемым Главным равви-

¹ Возведенное в 1958 году на улице Короля Георга рядом с Большой хоральной синагогой здание, в котором до 1992 года находились канцелярия Главного раввина Израиля и Верховный раввинатский суд.

ном. Эту историю я никогда вам не рассказывал, дабы не оказать влияния на ваш выбор. Когда я был секретарем великого человека, Главного раввина Герцога, да будет благословенна память праведника, и его ближайшим доверенным лицом, один подросток в возрасте после бар-мицвы каждое утро, в шесть часов, неукоснительно появлялся в доме раввина Герцога, чтобы – по велению своих учителей – озаботиться сбором миньяна для Главного раввина. И раввин Герцог нежно любил его. Однажды, когда этот мальчик по окончании молитвы отправился обратно в йешиву, раввин сказал мне: «Израэль, видишь этого мальчика? Его тоже зовут Израэль». «Конечно, – отвечал я раввину Герцогу, – это Израэль Лау, я его хорошо знаю: он приходит сюда каждый день». «Настанет день, – продолжал раввин Герцог, – когда он займет это кресло – Главного раввина Израиля. Запомни это». Эту историю Израэля Липпеля я услышал впервые, как и все остальные присутствующие. Я почувствовал, словно весь воздух вышел из моей груди. Придя в себя после этого сюрприза, я сказал Липпелю: «Израэль, ты не мог избавить меня от всех этих месяцев ожидания? Не мог рассказать мне эту историю год назад? Только сейчас ты вдруг вспомнил?»

Я помню раввина Герцога в его последние дни, когда ему уже было очень трудно ходить. Однако разум его оставался ясным, мышление острым и четким. По утрам, после молитвы, ему обыкновенно приносили газеты. Раввин просматривал только заголовки и делал замечания. Он старался оставаться в курсе событий. Только один раз я видел, как он вышел из себя. В 1953 году в ООН очередной раз обсуждалась интернационализация Иерусалима (идея перехода города под международный контроль), при которой он переставал быть частью Государства Израиль. Абба Эвен¹, посол Израиля в ООН, приходившийся свяжком Хаиму Герцогу, от волнения лишился чувств, когда выступал на Генеральной Ассамблее. Увидев сообщение об этом в газете, раввин Герцоготреагировал гневно и безапелляционно: «Должно восстановить клятвенный завет с Иерусалимом». Сказал и вышел вон из дома, зашагав по улице Керен-Кайемет к улице Короля Георга, чтобы оттуда направиться к улице Яффо. Часть пути он проделал в машине, часть пешком, и мало-помалу вокруг него собралась толпа, шедшая вслед за ним до Горы Герцля. Раввин Герцог поднял правую руку и слабым голосом произнес: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет <меня> десница моя»². Один из иерусалимских старожил, стоявших

¹ Абба Эвен (Aubrey Solomon Meyer Eban) (1915–2002) – израильский культуролог, публицист, государственный и политический деятель, депутат Кнессета, посол Израиля в США и ООН, министр иностранных дел.

² Тетилим, 137:5.

среди многотысячной толпы, сказал мне: «Это – раввин Герцог. Совсем как тогда, на митинге протеста, когда он, стоя на ступенях синагоги Йешурун, порвал Белую книгу¹ Макдональда, ограничивавшую право евреев на иммиграцию в Палестину». Таков он был, раввин Герцог. Спустя годы Хаим Герцог не раз вспоминал при мне, что когда он сам порвал на трибуне Генеральной Ассамблеи резолюцию, приравнивавшую сионизм к расизму, пред его внутренним взором стоял образ его отца, разрывающего Белую книгу. «Папа стоял у меня перед глазами, ночью, когда я готовил свою речь. Я знал, что я один против всех, единственный, кто отвергнет резолюцию ООН, и подумал, что я должен сделать какой-нибудь драматический шаг, потому что все равно у меня нет никакого шанса добиться отмены резолюции или переубедить кого-нибудь. Они ведь были во всем уверены априори», – объяснял он мне. Его свояк и предшественник на посту посла Израиля в ООН, Абба Эвен, своим сочным языком обычно описывал расстановку сил в ООН так: «Если будет соответствующее мнение, согласно которому Земля квадратная, то тотчас же обнаружится автоматическое большинство в его поддержку». «А посему, – объяснил мне Хаим Герцог, – я решил последовать примеру отца». И порвал резолюцию Генассамблеи в полном драматизма акте протеста.

* * *

Второй личностью, наложившей на меня глубокий отпечаток, был гурский ребе. Когда мы с Нафтали репатриировались в страну в 5705 (1945) году, адмором из Гура был автор книги «Имрей Эмет», рабби Аврагам Мордехай Альтер, да будет благословенна память праведника. Он уже был в очень преклонных летах и в крайне плохом состоянии здоровья. Именно он возгласил своим хасидам, что им следует уезжать в Землю Израиля и возвращаться домой, положив конец изгнанию. Он построил бейт-мидраш на улице Давида Елина и йешиву «Сфат Эмет» в Иерусалиме, ставшую духовным центром гурских хасидов в Израиле и диаспоре.

Автор книги «Имрей Эмет» умер в праздник Шавуот во время Войны за Независимость. Из-за того, что вследствие войны его нельзя было предать земле на Масличной горе, он был похоронен во дворе своего дома в квартале Зихрон-Моше напротив рынка Махане-Йеѓуда. Это было из ряда вон выходящее погребение, с семикратным обходом участка со специальной молитвой. Автор книги «Имрей Эмет» оставил по себе трех

¹ Имеется в виду отчет министра колоний Великобритании Малькольма Макдональда, опубликованный 17 мая 1939 года после провала Сент-Джеймской конференции.

сыновей: автора книги «Бейт Исраэль», автора книги «Лев Симха», он же рабби Симха Бунем, и автора книги «Пней Менахем», он же рабби Пинхас Менахем. Все трое его сыновей по очереди становились адморами из Гура. В других хасидских дворах случается, что если у адмора остается по смерти два сына, двор распадается на два. У гурских хасидов никогда не бывало раздела, и всегда был только один ребе. Со смертью автора книги «Имрей Эмет» в адморы был возведен его сын, автор книги «Бейт Исраэль», и стоял во главе двора до 2 адара 5737 года (20 февраля 1977) – около тридцати лет.

Гурский хасидизм пострадал во время Катастрофы больше любого другого хасидского двора. Из трех с половиной миллионов польских евреев осталось лишь несколько «тлеющих углей». Катастрофа нанесла смертельный удар европейскому еврейству вообще и польскому еврейству в частности, но сильнее всего она ударила по гурскому хасидизму. Автор книги «Бейт Исраэль» восстановил этот хасидский двор, подняв его из развалин, и за тридцать лет своего правления превратил его в империю. Гурский хасидизм стал ведущим хасидским двором, а гурский ребе непререкаемым авторитетом среди лидеров партии «Агудат Исраэль». Гурские хасиды создали разветвленную сеть йешив и *талмуд-тор* по всему еврейскому миру, у истоков же всей этой мощной империи стоял ребе, потерявший в Катастрофе жену и детей. Это он когда-то схватил за лацканы моего брата Нафтали и стал его трясти, желая своими ушами услышать от него, видел ли он поднимающийся из труб крематория дым и – Бога где-нибудь поблизости. Он обладал редкостными способностями руководителя. Он не только был великим знатоком Торы, но и прирожденным лидером. Этого человека Высшее Провидение послало в должное место в самый нужный час. После Катастрофы все лежало в руинах. Многие из выживших евреев отвернулись от иудаизма, от своей веры. Гурский ребе имел обыкновение говорить, иногда на идише, иногда на сочном польском: «Всякий, чья рука хоть раз коснулась засова на дверях Гура, обязательно отворит эти двери перед собой снова. Непременно вернется домой». Так оно и было. Я могу сам засвидетельствовать это на примере моего доброго друга, восьмидесятилетнего Исраэля Краковского. Он живет в Нью-Йорке, куда прибыл после нескольких ужасных лет в Освенциме. После Катастрофы он испытывал сомнения в вопросе своего отношения к иудаизму, отошел от гурского хасидизма, но всегда хорошо помнил гурского ребе. Он помнил его по времени, когда тот был еще «сыном ребе», потому что как-то раз схлопотал от него увесистую пощечину, когда пытался пролезть без очереди, чтобы поприветствовать ребе в бейт-мидраше в Гуре-Кальварии. «Эта пощечина, – он имел обыкновение говорить, – всегда напоминала мне, где мои корни». После многих лет отчуждения мой друг стал одним из видных людей среди выживших в Ката-

строфеевреев, поселившихся в Нью-Йорке. Он связан с тремя центральными синагогами на Манхэттене, а его внучки учатся в хабдаской школе.

Когда в эзуле 5710 года (август-сентябрь 1950) я приехал в йешиву «Коль Тора», в моем потертом саквояже был только один костюм, оставшийся у меня после бар-мицвы: короткие брючки, пиджачок и берет. Такое одеяние не характерно ни для одного хасидского течения и, конечно, совершенно неприемлемо для гурского хасидизма. После моей первой субботней трапезы в йешиве, в субботу, когда читался недельный раздел «Ки теце», мои товарищи по йешиве решили пойти на *тиш* – застолье, устраивавшееся гурским ребе, – и позвали меня с собой. Я не имел ни малейшего представления, о чем они толкуют. Я никогда я не бывал на тише у ребе, ведь я приехал из Кирьят-Моцкина, где вместе с моим другом Зеэвом Альмогом ходил в отделение «Бней Акива» в Кирьят-Шмуэле, а тот никогда не упоминал слова «тиш». Товарищи, увидев немой вопрос у меня в глазах, дали мне соответствующее разъяснение: на тише поют, а в гурском дворе есть один хасид, рабби Яаков Талмуд, который сочиняет музыку хасидских напевов и даже дирижирует хором. Я был покорен этим описанием, и меня потянуло увидеть хор, в котором – как мне рассказали – поют и дети, и старики. Еще мне сказали, что стоит пойти туда хотя бы для того, чтобы увидеть гурского ребе. Прежнего ребе – автора книги «Имрей Эмет» – я хорошо помнил, потому что пятью годами ранее, по приезде в страну, он поцеловал меня в лоб. Я не забыл его величественного облика, но знал, что он умер. И я решил присоединиться к товарищам.

Мы пришли к старому бейт-мидрашу в квартале Зихрон-Моше, на улице Давида Елина. Теснота была страшная, зал был битком набит. А над всеми, на деревянной кафедре с тремя ступенями, величественно возвышался человек, приковавший к себе мой взор. Лицо его обрамляла ниспадавшая вниз белая борода, голову венчал *сподик* – высокий штраймл, который гурские хасиды надевают по субботам и праздникам. Человек стоял и зачитывал имена. Я был уверен, что это и есть ребе собственной персоной, хотя чтение имен присутствующих показалось мне немного странным. Потом оказалось, что это был габай – рабби Шайя Ноах Бинке, человек поразительной внешности, отвечавший за составление списка евреев, удостоенных чести быть приглашенными за стол к ребе. Внезапно все замолчали, и в зале воцарилась абсолютная тишина, хотя в нем собралось несколько сот людей. Не раздавалось ни звука, только потоки людей растекались направо и налево в этой невозможной тесноте, и я вдруг почувствовал, как мои ноги оторвались от земли. Меня толкали со всех сторон, как порывы ветра толкают плот в открытом море. Стиснутый толпой, я повис в воздухе, потеряв товарищей из йешивы «Коль Тора». Вдруг я понял причину

движения толпы: в зал вошел ребе, с заложенными за спину руками, как генерал. Как только он вошел, люди стали освобождать ему место, чтобы он мог пройти. Подобно водам Черного моря, огромная толпа, заполнившая зал, расступалась перед ребе. Он прошел в образовавшемся проходе, и на какой-то миг его взгляд остановился на моем лице. Это был особый взгляд, не походивший ни на какой другой. Такой взгляд невозможно забыть, нельзя увернуться от него. За всю мою жизнь я удостоился такого взгляда лишь дважды: один раз от гурского ребе, другой – спустя 24 года – от Любавичского ребе. За эти 24 года я не встретил ни одного человека, который обладал бы таким пронизательным и взыскующим взглядом, как у гурского ребе. Я, маленький мальчик в коротких брюках и берете, так сильно отличался от хасидов, облаченных в шелковые черные «капоты», подвязанные широкими кушаками, и с меховыми сподиками на головах. Ребе прошел через толпу, состоявшую из сотен окружавших его людей, и глаза его внимательно всматривались во всех, отмечая, кто присутствует в зале. Через несколько секунд было передано указание ребе внести меня в список приглашенных за его стол. К полному моему изумлению, я услышал среди других имен: «Срул Меер, сын рабби из Пётркува». Я не сумел отнести это имя к себе, потому что до тех пор никто не называл меня Меером. Прошло уже пять лет с тех пор, как я приехал в страну, и все эти годы я звался Израэлем Лау. Тут и там кто-нибудь назвал меня Лёлеком, но имя Срул Меер было совершенно чуждым для меня. Я не откликнулся. Подумал, что речь не обо мне, но слова «сын рабби из Пётркува» продолжали звучать у меня в ушах, и тогда я решил, что такого второго здесь нет. Ибо Нафтали уехал со своей миссией в Париж, а Шико был в Тель-Авиве. И, тем не менее, я не осмелился направить свои стопы к столу ребе. Через пару минут ко мне подошел Йеѓошуа Кляйнлерер, один из товарищей по йешиве «Коль Тора», с которыми я пришел на тиш, и дрожащим голосом возвестил мне, что меня звали. «Разве ты не слышал?» Я поделился с ним своим недоумением: с какой стати им приглашать меня? У него не было ответа, но он настаивал на том, что звали именно меня и имели в виду тоже меня, а потому я обязан идти. Я был сбит с толку и смущен и спросил его, что мне следует делать. Йеѓошуа Кляйнлерер спокойно и подробно все мне объяснил: «Видишь ступени, на которых стоит габай Шайя Ноах? Поднимись на эти три ступени, посмотри в сторону стола ребе. Тебе дадут в одну руку рюмку с вином, в другую – ломтик яблока. Ты должен сказать «лехаим», глядя на ребе, и ребе ответит тебе «лехаим». Это очень большая честь. Ты был выбран из многих сотен людей, находящихся здесь». Я внимательно его выслушал, чувствуя дрожь в коленях. Из всех многочисленных людей в этом зале, мелькнуло у меня в голове, я знаю только троих. Как же вышло,

что именно я был избран и удостоен описанной Кляйнлерером великой чести? Я понял, что обязан откликнуться на приглашение. Поднялся, как он сказал, по трем ступеням, и мне действительно дали полрюмки вина, вложив в другую руку ломтик яблока. И ребе, во всем величии, с высоким штраймлом на голове, окруженный со всех сторон старейшинами хасидов, направляет на меня свой проникновенный взгляд и медленно кивает вверх-вниз: «лехаим».

Взалепели гимн «Леха доди» на новую мелодию и новые напевы песнопений для Грозных дней¹, сочиненные рабби Яаковом Талмудом, который обучил им свой хор, но я так сильно волновался, что ничего не слышал. Шок от встречи с ребе еще не отпустил меня, и я был не в состоянии вслушаться в наполнявшие зал чарующие звуки. Я пытался уложить в голове все, что со мной случилось, когда ко мне подошел Йеѓошуа с очередным поразительным известием: ребе велел мне назавтра, после молитвы «ѓавдала», прийти к нему домой, в здание напротив, потому что он желает говорить со мной. У меня перехватило дыхание. В йешиву «Коль Тора» я вернулся ошеломленным, сбитым с толку и не понимающим, что происходит. Я пошел к инспектору, рабби Гедалии, рассказал ему обо всех событиях и попросил разрешения, в нарушение распорядка дня, отлучиться в субботу вечером, потому что меня пригласил к себе гурский ребе. В ответ рабби Гедалиа скептически улыбнулся: «Да? Коли так, никто не вправе отказать гурскому ребе, даже я. Ступай с миром». Не знаю, поверил он мне или нет, но препятствий чинить не стал. Симха Эйдельман, мой товарищ по йешиве, объяснил, что к ребе нельзя идти в такой одежде, как у меня, и одолжил мне свою каскетку, длинные брюки и кушак. На подгибающихся ногах я подошел к входу в дом ребе, и там повстречал Ханину Шифа, которого не видел за последние пять лет ни разу. «Лёлек, как дела?» – приветствовал он меня. Я ответил вопросом на вопрос, поинтересовавшись, что он тут делает. Ханина рассказал, что он учится в йешиве «Сфат Эмет» и живет в доме у ребе. Кстати, он и по сей день является доверенным лицом и управляющим делами всех гурских адморов. Эти его слова, рассудил я, приоткрывают завесу тайны. Я продолжил задавать вопросы, поинтересовавшись, не он ли сообщил ребе о моем присутствии в зале. Ханина Шиф ответил, что ничего не знал о моем присутствии, не видел меня с тех пор, как мы расстались после прибытия в страну, а потому и не мог сказать ребе обо мне. «Но я видел, как ты поднимаешься на кафедру и приветствуешь ребе. Я еще удивился, откуда ты взялся и как тебя заметили среди сотен людей, теснившихся в зале», –

¹ Традиционное название периода в десять дней между праздником Рош га-Шана и Судным днем.

поделился он со мной своими ощущениями. «Если это так, – подытожил я, – то мне совершенно непонятно, кто меня позвал к ребе». Ханина ничего не успел промолвить в ответ, ибо в этот момент дверь отворилась и кто-то провел меня в комнату. Я увидел, как ребе расхаживает туда и обратно по комнате, словно тигр в клетке, устремив глаза в пол. В левой руке у него было зажато немного табаку, который он время от времени нюхал, в правой же он держал высокую бархатную ермолку, которой обмахивал лицо, чтобы хоть как-то умерить зной эзуля. Меня, вставшего у двери, он не удостоил ни единым взглядом. Я подумал про себя, что, возможно, меня привели сюда по ошибке, а приглашение предназначалось кому-то другому. Пока я так рассуждал, ребе остановился, обратил на меня и мою одежду свой взыскательный взгляд и спросил на идише: «Кто одолжил тебе эти вещи?» «Симха Эйдельман», – ответил я. На губах его появилась теплая улыбка, и он продолжал: «Твоего брата Нафтали я привык видеть чаще, чем тебя. Что подельывает твой дядя, раввин Фогельман?» Одно предложение гурского ребе объяло весь мой мир: Нафтали и раввина Фогельмана. Человек, с которым я ни разу не разговаривал, на чьих плечах лежала забота о десятках тысяч хасидов, точно знал, кто главные люди в моей жизни. Я отвечал кратко, четко и исчерпывающе, как принято в разговорах между гурскими хасидами. Ребе продолжал: «Ты, верно, был удивлен, когда тебя вызвали на тише. Я тебя видел здесь пять лет назад, когда ты приходил вместе с Нафтали к моему отцу, автору книги «Имрей Эмет», да будет благословенна память праведника. Я проходил между рядами людей в зале и вдруг увидел тебя. Тебя невозможно было не заметить. Ты очень похож на Нафтали. Я вспомнил имя, которое твой отец дал тебе в синагоге в Пётркуве, при твоём обрезании. Он сказал, что нарекается тебе имя Исраэль по имени его рабби, ребе из Чорткова – рабби Исраэля Фридмана, и по имени его первого тестя – рабби Исраэля Гагера – вижницкого ребе, автора книги «Аѓават Исраэль». А также, сказал он, нарекается тебе имя Меир по имени его двоюродного брата рабби Меира Шапиро из Люблина, не оставившего по себе сыновей и дочерей. А вместе – Исраэль Меир – по имени Хафец-Хаима, рабби Исраэля Меира из Радуня. Со всеми четырьмя твоего отца связывали прочные семейные и духовные узы. Ребе из Чорткова, рабби из Люблина и Хафец-Хаим умерли один за другим, в течение трех месяцев, хотя одному из них было 46 лет, а другому – 94. Твой отец, держа тебя на руках, сказал, что он молится Владыке мира, чтобы искра, я хорошо помню выбранное им слово на идише – «а финк», чтобы искра от каждой из этих душ поселилась бы в душе ребенка. Такое выражение невозможно забыть. Увидев тебя на встрече субботы и поняв, что ты брат Нафтоле (так он прозносил это имя), я сразу вспомнил твое имя, памятное мне с самого дня

твоего обрезания». Он снова посмотрел на меня своим взыскательным взором, дал мне целое яблоко и сказал: «Я надеюсь чаще видеть тебя у себя». Я кивнул ему в знак подтверждения, понимая, что такая фраза из его уст ко многому обязывает меня.

Рассказ о моей встрече с гурским ребе стал почти сразу притчей во языцех. Все гурские хасиды, где бы они ни были, обсуждали ее и видели в ней своего рода чудо. Все поражались тому, как ребе вспомнил, – ненароком пройди мимо, – лицо ребенка, в церемонии обрезания которого он участвовал за тринадцать лет до этого, а потом видел его лишь миг, один раз, вместе с братом. Все рассказывали о том, как он сказал мне, кто были те четыре человека, в честь которых я был назван, видя в этом еще одно доказательство величия ребе. Я тоже по сей день поражаюсь этому обстоятельству. С того дня, как ребе поведал мне о том, каким образом мой отец выбрал для меня имена, мое имя – Исраэль Меир. Имя Меир, которое до того момента я и не вспоминал, теперь порой даже затмевает имя Исраэль. Во многих публикациях я фигурирую как Меир, несмотря на то, что с детства меня звали Исраэль.

Хотя из отчего дома я не мог вынести никакой связи с гурским хасидским двором (со стороны отца мы – чортковские хасиды, а со стороны матери я – пятое поколение последователей автора книги «Диврей эмет», ребе из Цанза), мне выпала честь быть зятем рабби Ицхака Йедидьи Френкеля, который был гурским хасидом, весьма близким к ребе.

Отношения между гурским ребе и рабби Ицхаком Йедидьей Френкелем были очень близкими, основывались на большом взаимном уважении. На склоне лет, когда ему уже исполнилось 80, гурскому ребе стало известно, что у раввина Френкеля произошел внезапный сердечный приступ, и его госпитализировали в больницу «Ихилон» в Тель-Авиве. Все посещения были под абсолютным запретом, чтобы излишне не водновать больного. Моя жена Хайта оставалась с матерью дома в Тель-Авиве, а ее братья не отходили от постели больного в больнице. В доме в районе Флорентин раздавалось несметное число звонков: люди спрашивали о здоровье тестя, бывшего раввином южных районов Тель-Авива. Один из звонивших говорил быстро и резко, он спросил, можно ли посетить больного. Хайта объяснила, что по указаниям врачей посещения запрещены, и на одном дыхании спросила, кто говорит. С другой стороны линии донесся ответ: «Говорит Альтер из Иерусалима». Альтер – довольно распространенная фамилия, и Хайте и в голову не пришло, что это был сам ребе; так разговор и закончился. Однако об этом разговоре стало известно ее брату, раввину Арье Френкелю, жившему тогда в Иерусалиме и бывшему весьма близким к ребе. Из источников при дворе ребе он узнал, что именно гурский ребе был тем,

кто справлялся о здоровье раввина Френкеля и желал знать, можно ли посетить его в больнице. Брат быстро поехал в Тель-Авив и открыл Хайите, кто был ее собеседником. До сих пор она помнит этот разговор. «Ты знаешь, какой это почет, если ребе приедет из Иерусалима, чтобы навестить папу? Какая это честь? Ребе почти не выезжает из Иерусалима, и вот он сам желает поехать в Тель-Авив, чтобы благословить папу, а ты ему препятствуешь», – сказал брат. Хайита смутилась и попыталась объяснить, почему она отнеслась к звонку гурского ребе как к одному из массы звонков, раздававшихся в доме с утра до вечера, и почему в простоте душевной ответила, что врачи запрещают посещения. А кроме того, сказала она, ребе никак не представился, кроме того, что назвал себя Альтером из Иерусалима, так что она просит прощения за то, что это имя ей ничего не сказало. Родственники решили ничего не говорить раввину Френкелю о несостоявшемся посещении ребе. На следующий день гурскому ребе откуда-то стало известно, что состояние раввина Френкеля немного улучшилось, и он решился на свой страх и риск приехать в больницу «Ихилув», никого не спрашивая и ни с кем не договариваясь. Он вошел в палату, где сидела моя теща, жена раввина, и первыми его словами был вопрос: «Дочка здесь? Она достойна уважения: именно так должно оберегать покой отца». Со свойственными ему мудростью и тактом ребе опасался, что дочери раввина Френкеля придется несладко из-за ее ответа на его телефонный звонок и за то, что она воспрепятствовала его визиту, и именно поэтому он решил воздать ей хвалу за ее поведение. Гурский ребе задержался у постели раввина Френкеля с минуту, отрывисто сказал в своей четкой манере – каждое слово словно высечено в скале: «Ицхак Йедидья, ты нужен нам и должен быть здоров и крепок», – повернулся и вышел. Слух о том, что ребе находится в стенах больницы, распространился мгновенно. На всех шести этажах начался переполох. По коридорам заездили кресла-каталки, пациенты требовали, чтобы их кровати вывезли из палат, родственники толкали кресла своих близких, ходячие больные в халатах толпились по коридорам – все питали в душе надежду удостоиться благословения ребе, а если нет – то уповали хотя бы на то, что он увидит их и посмотрит им в глаза. Когда ребе из Гура вышел в коридор, один из больничных охранников попытался разогнать людей, перекрывших ребе проход. Ребе, известный своей быстрой и энергичной походкой, велел охраннику оставить людей в покое, после чего пошел, останавливаясь у каждой койки и каждого кресла-каталки, и лично пожелал каждому больному полнейшего выздоровления. Медсестры, не ведавшие, кто этот человек с лицом ангела, в изумлении спрашивали, кто это был. Эта картина до сих пор стоит перед моими глазами и приводит меня в волнение. Раввин Френкель выздоровел и был выбран на должности главного раввина

Тель-Авива-Яффо и главы председателей религиозных судов. Нам всем, как сказал ребе, он был крайне нужен.

Ребе из Гура умер 2 адара 5737 года (20 февраля 1977). В то время я занимал должность районного раввина в Тель-Авиве и все эти годы поддерживал тесную связь с ним. Было понятно, что на время похорон весь Иерусалим будет в пробах, почему я и решил поехать на похороны на такси, а не на своей машине. Я приехал в Иерусалим, и город был черен от собравшихся толп. Более 200 тысяч человек шло много километров пешком: из квартала Зихрон-Моше через Геулу до кладбища на Масличной горе. Десятки тысяч людей шествовали в полном молчании, потому что адморов не оплакивают и не произносят над их могилами траурных речей. Хасиды понимают, что, когда их отец уходит в мир иной, слова непригодны, и остается только молчание. Казалось, весь Иерусалим скорбит о смерти ребе. Всякий торговец на рынке Махане-Йегуда как-нибудь да был с ним связан: у этого дочь заболела, и он пошел к «святому», по их определению, и тот помог наложением руки, другой сказал, что ребе был его очами, а теперь его очи погасли. Любовь простых людей к ребе была очень трогательной. После того, как свежая могила на Масличной горе была засыпана, я стал искать, кто бы подвез меня в Тель-Авив. Я спустился пешком с Масличной горы, дошел до здания «Дженерали»¹ на улице Яффо и пошел дальше вдоль по улице в надежде, что сумею остановить одну из машин. Внезапно какая-то машина действительно остановилась, хотя я даже руки не поднял. У водителя на голове было что-то вроде панамы для сафари бежевого цвета. «Раввин Лау, – спросил он, – я могу вам как-то помочь?» Я сказал, что хотел бы попасть в Тель-Авив, и он пригласил меня садиться. Мы продвигались медленно, потому что улицы были все еще запружены потоками народа. Я сказал водителю-благодетелю, что возвращаюсь с похорон гурского адмора. Когда я закончил говорить, на губах у водителя появилась легкая улыбка, и он сказал, что возвращается с тех же самых похорон. Это пробудило мое любопытство, потому что по внешнему виду он никак не походил на тех людей, из которых состояла толпа скорбящих. Я не смог удержаться и спросил, как он познакомился с ребе и что привело его на похороны. Оказалось, что водитель – полковник запаса, работает директором большого промышленного предприятия и живет в районе Цагала в Тель-Авиве. Его

¹ Здание, построенное в 1935 году на углу улиц Яффо и Шломцион га-Малка (царицы Саломеи) по проекту близкого к Бенито Муссолини архитектора Марчелло Пьячентини (1881–1960). Оно предназначалось для базирующейся в Триесте крупнейшей в Италии страховой компании Assicurazioni Generali. В 1946 году было национализировано властями Британского мандата.

отец был одним из старейшин гурских хасидов. Посвятивший всю жизнь армейской службе сын отдалился от религиозной атмосферы, царившей в доме его отца. На старости лет отец был помещен в гериатрический центр в Тель-Авиве. В один из дней Хануки сын взял отца в Иерусалим – прочитать молитву минха у Западной стены, а потом к гурскому ребе, на зажигание ханукальной свечи. Сын остался в машине, потому что у него не было головного убора, да и вообще – он не видел никакой надобности заходить к ребе. Шестью неделями позже, в праздник Ту-би-Шват, он предложил отцу снова поехать в Иерусалим к ребе, но отец резко отказался. «Почему, – спросил его сын, – ведь в прошлый раз тебе так понравилось?» «Не радость, а одно расстройство, – стал жаловаться ему отец. – Ребе спросил меня, с кем я приехал в Иерусалим. Я говорю ему, что с сыном, а сын сидит там в машине. «Почему? – спрашивает ребе: – Ты ведь не с чужим человеком приехал?» Мой собственный сын не желает зайти вместе со мной к моему ребе? Такую обиду я не могу тебе простить!» «И тогда, – продолжил водитель свой рассказ, – я обещал ему, что в следующий раз надену шляпу и пойду с ним вместе к ребе. Я пришел к нему вот в этой самой шляпе, которая на мне сейчас. Ребе радушно меня встретил и сказал: «Я слышал, что ты строго соблюдаешь заповедь почитания отца. А что же с небесным отцом? – и он показал пальцем вверх. – Его почитать не нужно?!» Всю обратную дорогу голос ребе звучал у меня в ушах. Войдя домой, я сказал жене, что мне бы хотелось немного вернуться к корням и хотя бы сделать так, чтобы наш дом был кошерным, дабы папа мог чувствовать себя у нас как дома. Понемногу я возвратился к соблюдению заповедей. Папа к тому времени уже умер. А услышав по радио, что скончался гурский ребе, я совершенно естественно счел своим долгом – также в память о папе – прийти на его похороны, ибо он возвратил меня к самому себе».

Мой старший сын, раввин Моше Хаим Лау, и внук, Ицхак Йедидья Лау, – гурские хасиды. И два моих зятя, Йехезкель Шейнфельд и раввин Бенъямин Каган-Минц, основавший в Иерусалиме йешиву «Хайей Моше», названную в честь моего отца Моше Хаима, также пламенные последователи гурского хасидизма.

Мой сын Моше Хаим с раннего детства преклонялся перед гурским ребе. Уже с той поры он связан с ребе прочными узами благоговения. На свою бар-мицву он попросил в подарок шелковую черную капоту. Я немного колебался и сказал ему об этом: «Моше, – поделился я с ним своими сомнениями и мыслями, – как бы не вышло, что это только детская забава, может, ты только хочешь вырядиться, как дедушка, раввин Френкель? По мне, так это нормально, но я боюсь, что однажды ты снимешь эту капоту, потому что ты еще слишком молод, чтобы брать на себя такие обязательства. Я хочу знать,

осознаешь ли ты, что ты хочешь, и обещаешь ли строго придерживаться выбранного пути?» Я предложил ему подождать до свадьбы, когда он станет старше и будет готов к этому. Сын, как две капли воды похожий на моего отца, решительно посмотрел на меня своими голубыми глазами. Взгляд его выражал ответственность взрослого человека, а главное – осознание того, что он делает. Он взял на себя все обязательства, связанные с выбором шелковой капоты в качестве одежды, и никогда больше уже не снимал ее.

Он очень привязался к гурскому ребе. Учась в иешиве «Коль Тора», тогда уже помещавшейся в иерусалимском районе Байт-ва-Ган, каждую субботу в пять утра он шел к ребе в квартал Геула, и тот угощал его стаканом чая и беседовал с ним. На мой взгляд, это и есть связь поколений.

* * *

Много лет спустя к числу моих наставников прибавился Любавичский ребе. Вскоре после завершения Войны Судного дня меня пригласили в офис Еврейского агентства в Иерусалиме. За приглашением стоял Эйб Шенкар, член директората Еврейского агентства от партии Мапам. Американский еврей по происхождению, Шенкар возглавлял в агентстве отдел организации и связей с общественностью. Я не был с ним знаком и удивлялся, отчего ему вздумалось пригласить именно меня. Выяснилось, что он был постоянным слушателем моих радиобесед о недельном разделе Торы. Тут и там ему удавалось отследить мои выступления по телевидению, и он решил, что будет правильным задействовать меня в миссии самой высокой важности, как он выразился. В США, рассказал мне Эйб Шенкар, и в первую очередь в Нью-Йорке, активны ультраортодоксальные круги, придерживающиеся самых крайних взглядов. Они до сего дня отказываются сотрудничать с Государством Израиль и со всей решительностью противостоят сионизму. И вот наконец Война Судного дня несколько поколебала их взгляды, заставив их по-новому посмотреть на свое отношение к Израилю. «Я могу вам сказать, – рассказывал мне Эйб Шенкар, – что в праздник Суккот евреи в штраймлах и длинных белых чулках добровольно ходили от дома к дому, из синагоги в синагогу и собирали пожертвования на нужды Государства Израиль, ЦАХАЛа и Фонда помощи в военное время. Когда мы спросили их о причинах их действий, они объяснили, что дни войны напомнили им худшие времена в Европе, что эта война обострила осознание ими опасностей, грозящих уничтожением еврейской общины в Земле Израйля».

Такое впечатление сложилось у них под влиянием телевизионных и газетных репортажей о войне, появлявшихся за океаном. Они с ужасом восприняли сообщения о том, что тысячи солдат, павших на южном

фронте, были временно похоронены в кибуце Беэри, а погибшие на северном фронте – в Нағарии. Эта секретность породила волны самых черных слухов, и у евреев Нью-Йорка создавалось ощущение, что речь идет, не дай Бог, о разрушении Третьего храма. Неожиданно все самые разные еврейские круги вышли из рамок своего обычного поведения и мобилизовались для поддержки государства, даже те, которые до того не признавали права Израиля на существование. Эйб Шенкар рассказывал об этом с нескрываемым волнением. В силу своего положения начальника отдела по связям с общественностью он решил использовать благоприятный момент эмоционального подъема для укрепления связей этих евреев с Государством Израиль. Но так как, по его мнению, к ним не следовало посылать политика, дипломата или генерала, то у него появилась идея послать меня: раввина, уважаемую личность, человека, который сам выжил в Катастрофе, испытал на себе все ее ужасы там, в Европе, а теперь и пережив последнюю войну здесь, в Израиле. «Если вы предстанете перед этими общинами, то перед вами распахнутся все двери», – уверенно сказал он. Я не был склонен разделить его уверенность и пожелал узнать, на чем она основывается. Эйб Шенкар объяснил, что беседовал с председателем Конференции президентов американских еврейских организаций, Азриэлем Миллером, который и сам был ортодоксальным раввином. Бывая в Израиле, Миллер слышал мои выступления, и я произвел на него самое благоприятное впечатление. Он приветствовал идею моего приезда. Вследствие рекомендации Миллера Эйб Шенкар попросил меня поехать с месячным туром лекций, который бы сплотил вокруг Израиля еврейские религиозные и ортодоксальные организации и общины в США, включая движение Хабад, бобовских хасидов, весь мир американских литовских йешив, учебные заведения, такие как «Йешива-юниверсити», колледж Штерна – женский эквивалент «Йешива-юниверсити», Флэтбушская йешива в Бруклине и другие учебные учреждения всех кругов ортодоксального еврейства. Я дал ему согласие, пояснив, впрочем, что отнюдь не бегло говорю по-английски. Это мое ограничение не сильно взволновало Эйба Шенкара, он сказал, что счастьем евреев я смогу говорить на иврите, а с остальными – на идише. Кроме того, он предложил мне подготовить за несколько оставшихся до поездки месяцев несколько речей на английском и выучить их наизусть. Я принял это достойное всех похвал предложение. Несмотря на охватившее меня воодушевление в связи с возложенной на меня миссией, тем большее, что никогда до этого случая я не бывал в США и мне было любопытно «открыть» для себя Америку, – меня очень пугало мое слабое владение языком. Как человек, чьим оружием является язык – оратор, лектор, учитель, – я боялся, что стану заикаться, не будучи в состоянии подобрать правильные слова. Опасался ску-

дости своего словарного запаса. А посему следующие два месяца я провел в самой напряженной работе. Написал себе речи на английском и выгучил их наизусть. Научился выступать на тему еврейско-арабского конфликта, говорить о нашем праве на Землю Израиля, о живучести, которой наделен еврейский народ, но важнее всего для меня было оказаться в состоянии повторить перед публикой по-английски речь, произнесенную мной в ходе войны, в конце октября 1973 года на берегу Суэцкого канала, где враг теснил нас со всех сторон.

В то время я дни и ночи проводил в больнице «Ихилув», где работал на добровольных началах. Один раз, вернувшись домой поздно ночью, я обнаружил, что меня весь день искал командир резервного батальона ПВО, в гражданской жизни бывший директором школы ОРТ¹ в Кфар-Сабе. «Сделайте мне одолжение, – сказал он, когда мы, наконец, смогли связаться, – я часто слушаю ваши выступления по радио, иногда по телевидению, но вы мне нужны здесь, с нами. Доставим вас на «Геркулесе» в Файид², а оттуда джип подбросит вас к каналу. У меня в батальоне мораль уже совсем ни к черту. Всех призвали в один миг, в Судный день. Кто-то должен был сыграть свадьбу, другие в конце октября должны были начать учиться в университете, кто-то только открыл свое дело, есть и такие, кто запутался в долгах из-за своего отсутствия. Мне нужен кто-нибудь, кто сможет поднять их дух, и срочно. Приезжайте и объясните им, зачем нам все это нужно». Я выслушал его со всем вниманием, но сказал, что какой-нибудь развлекательный концерт уж верно поднял бы их дух лучше меня. Комбат упорствовал, объясняя, что ансамблей у них уже было много, но после двадцати минут выступления они залезают в самолет и улетают в центр страны, а солдаты остаются в пустыне и все больше и больше падают духом. «Мне нужен кто-нибудь, кто обратится не только к их чувствам, но и к разуму», – пояснил он, и тут я сразу ответил согласием.

Из Файида я направился на восток к перерезанному каналу. Между «мостом Баруха» и «мостом Йегуды»³ располагался «амфитеатр» – весь из песка. Я уселся внизу вместе с комбатом, весь батальон расположился на склоне дюны, и я стал говорить о нашем праве на Землю Израиля, объясняя, почему нигде больше у нас не может быть дома. В воздухе повисло

¹ Изначально Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России, созданное в 1880 г. Впоследствии название было изменено на Общество распространения труда. С 1921 года всемирная еврейская филантропическая организация, которой содержится в Израиле много учебных учреждений.

² Военный аэродром в 23 км к югу от Исмаилии.

³ Понтонные переправы через Суэцкий канал, называвшиеся по именам командиров строивших их саперных частей – Баруха Дильона и Йегуды Худеды.

вдумчивое молчание, я словно чувствовал, как навстречу моим словам открываются уши и сердца, стремящиеся впитать их без остатка. Это была одна из немногих речей, среди великого множества моих выступлений в жизни, которую я помню во всех деталях, и могу повторить каждое слово, слетевшее тогда с моих уст. Слова, сказанные в разгаре войны, в минуту затишья между боями, обращенные к слуху отчаянных пропыленных солдат, чей командир, заботясь об их физическом и нравственном здоровье, по собственной инициативе обратился ко мне, – для меня эти слова обладали особым значением и важностью. Перед поездкой в Америку я записал эту речь по памяти, попросил кого-то перевести ее для меня на английский, а потом зубрил ее все часы полета в Америку, чтобы произнести перед религиозными слушателями в Нью-Йорке.

В ходе приготовлений к поездке я получил письмо от раввина доктора Азриэля Миллера. Он выражал свою радость в связи с тем, что я согласился взять на себя часть задачи по объяснению положения Государства Израиль нью-йоркским евреям, обещал позаботиться обо всех организационных вопросах моего пребывания в США и предупреждал меня о том, что это будет изнурительный тур, в котором мне придется выступать по пять раз в день. На информацию о том, что происходит в Израиле, есть огромный спрос, люди просто жаждут ее, поведал он. В заключение он спросил, какой гонорар я желал бы получить за свои усилия. Вопрос поверг меня в изумление. Мне было ясно, что я еду волонтером. Мне и в голову не приходило, что речь может идти о каком-либо вознаграждении. Я вызвался помочь Государству Израиль за его пределами, после только что окончившейся войны. Мой ответ раввину Миллеру был следующим: «Я никогда не бывал в Соединенных Штатах Америки, и не знаю, буду ли я после этого визита когда-нибудь приглашен снова. Есть несколько людей среди американских евреев на Восточном побережье, слава которых идет впереди них и которых я причисляю к духовным лидерам поколения. Если вы сумеете устроить мне встречи с ними, с теми, кого я осмелюсь перечислить письменно, то на большее я не могу и рассчитывать, и да будет это моим вознаграждением. И вот их имена: Любавичский ребе; рабби Йосеф Дов Галеви-Соловейчик¹; адмор из Сатмара² – знавший моего отца; адмор из Бобова³ – мой родствен-

¹ Йосеф Дов-Бер Галеви-Соловейчик (1903–1993) – один из крупнейших галахистов и духовных лидеров еврейства в XX веке. Философ религии, стоял у истоков религиозного сионизма, относился к литовскому направлению в иудаизме.

² Йоэль Тейтельбаум (1887–1979) – основатель сатмарского хасидизма, один из крупнейших идеологов современного ультраортодоксального иудаизма.

³ Шломо Гальберштам II (1907–2000) – третий адмор бобовских хасидов, восстановитель бобовского хасидизма после Катастрофы.

ник по матери; адмор из Блужова¹ – тот, кто сосватал мою мать моему отцу и был членом Совета мудрецов Торы; рабби Моше Файнштейн² – великий законоучитель; рабби Яков Каменецкий³ и рабби Рудерман⁴, последние оба главы йешив: йешивы «Тора ва-Даат» в Нью-Йорке и йешивы «Нер Исраэль» в Балтиморе».

Раввин Миллер энергично взялся за дело и устроил мне эти встречи. Мое стремление встретиться с этими людьми было настолько велико, что это поистине стало достойным вознаграждением за мой труд.

* * *

Долгожданная встреча с Любавичским ребе была вершиной моих желаний, вызывая у меня сильнейшее волнение. Я много о нем слышал, преклонялся перед его мудростью и пониманием вещей и больше всего на свете хотел, наконец, встретиться с ним с глазу на глаз. Его имя было переплетено с множеством моих личных воспоминаний. В 5725 (1965) году в канун субботы был устроен симпозиум в тель-авивском клубе «Га-медура» («Костер»), принадлежавшем партии «Ахдут га-Авода» и помещавшемся в подвале дома на углу улиц Гордона и Райнеса. Симпозиум был посвящен проблеме отношений религии и государства, и меня пригласили принять в нем участие. Нарушения субботы там не было, потому что выступавшие говорили без микрофона. Ведущим был депутат Кнессета Моше Адам от объединенного списка партий «Ахдут га-Авода» и Мапам, а одним из участников – Ицхак Гринбойм, бывший министром внутренних дел в первом правительстве Израиля. На склоне лет Гринбойм круто поменял свой политический курс, примкнув к коммунистам. В выборах он принял участие независимым кандидатом, не преодолел избирательного барьера и до конца жизни затворился в своем кибуце, Ган-Шмуэле.

Ицхак Гринбойм был превосходным оратором и харизматической личностью. В моей памяти запечатлелась одна его фраза, произнесенная в ту ночь в клубе «Костер» в присутствии около двухсот человек: «И когда

¹ Исраэль Шапиро (1889–1989) – воссоздатель блужовского двора в США. Похоронен на кладбище на Масличной горе в Иерусалиме.

² Моше Файнштейн (1895–1986) – из потомков Виленского Гаона, возглавлял йешиву «Тиферет Йерушалаим» в Нью-Йорке, выдающийся галахист. Похоронен на кладбище Гар га-Менухот в Иерусалиме.

³ Яков Каменецкий (1891–1986) – крупный галахист литовского направления в иудаизме.

⁴ Яков Ицхак Рудерман (1901–1987) – один из раввинов, стоявших у истоков еврейского религиозного возрождения в США. Относился к литовскому направлению в иудаизме. Троюродный брат Яакова Каменецкого.

настанет день и приподнимется железный занавес, когда Советский Союз откроет двери и перед гражданами Государства Израиль, мы, придя туда и обнаружив хоть одного человека, объявляющего себя евреем, будем обязаны этому заслугам лишь одной личности, пребывающей в Бруклине, – Любавичскому ребе». Это было удивительное заявление в устах такого левака, каким был Ицхак Гринбойм, но он хорошо знал, о чем говорил.

В ходе визита в Советский Союз в мае 1989 года – это было новомесячие месяца ияра 5749 года – в составе делегации раввинов мы посетили синагогу «Коль Яаков» в Москве и встретились там с пришедшими на молитву евреями. По большей части это были старики, но среди них была и горстка молодежи. Эмиссары Любавичского ребе втайне действовали в среде советских евреев, которых называли тогда «евреями молчания», стараясь – и подвергая себя великой опасности – помочь им сохранить ощущение своей принадлежности к еврейству. В случае ареста советскими властями их в лучшем случае отправили бы в Сибирь, где бы они навсегда и остались. Я снова восхитился силой ребе, сидящего в Нью-Йорке и руководящего оттуда Хабадом, который действует по всему миру, преследуя лишь одну цель: не дать угаснуть пламени еврейства.

Мы с ребе один раз установили друг с другом связь, через его секретаря раввина Ходакова, – в праздник Песах 5730 (1970) года. За пять недель до этого Кнессет принял поправку к Закону о возвращении, закону, определяющему, «кто есть еврей». Поправка гласила: «Евреем является человек, рожденный матерью еврейкой и не исповедующий иной религии, или тот, кто принял гиюр». Ребе требовал, чтобы к этой формулировке были добавлены слова «в соответствии с галахой», дабы только галахический гиюр мог служить входным билетом в среду еврейского народа. В холь *ѓа-моѓд* (будние дни праздника) у меня неожиданно-негаданно произошел телефонный разговор с Нью-Йорком, в котором я до того времени еще не бывал. Голос в трубке представился как Мендель Ходаков, со двора Любавичского ребе. Ребе просит организовать разъяснительную кампанию как по вопросу целостности Земли Израиля, так и в отношении единства еврейского народа, то есть по поводу вопроса «кто есть еврей». Первое собрание планировалось провести в ближайший праздник Лаг ба-Омер в городе Реховоте. Собрание откроет мэр города Шмуэль Рехтман, вслед за которым выступят два оратора: депутат Кнессета Менахем Бегин будет говорить о целостности Земли Израиля, и они надеются, что раввин Исраэль Меир Лау согласится выступить с речью о единстве еврейского народа. Я изъявил согласие и выступил на этом собрании. Выступил я и еще на двух собраниях, на этот раз посвященных только вопросу единства народа: в месяце аве в Хайфе и в элуле – во Дворце культуры в Тель-Авиве. Эти обстоятельства объясняют ту осо-

бенную близость, которой удостоил меня ребе спустя четыре года. В этом выразилась его признательность.

* * *

Моя встреча с Любавичским ребе была назначена на одну из ночей месяца адара 5734 года – в марте 1974-го. Мне было сказано прийти в двенадцать часов ночи. Я получил обещание личной аудиенции – «уединенной беседы», – на таких встречах ребе обычно оставался с глазу на глаз с человеком, которого находил достойным этого.

Я приехал к ребе, как и было велено, в двенадцать ночи. В полвторого меня провели в его комнату, откуда я вышел без десяти минут четыре, под утро. Наш разговор, продолжавшийся тет-а-тет два часа и двадцать минут, явился одним из самых главных взлетов в моей жизни. Ребе говорил со мной в основном о моих обязанностях в области воспитания молодежи, ибо слышал, что я был учителем. К тому времени я в течение девяти лет преподавал в средней школе «Цейтлин», а до того был учителем в средних школах «Бреннер» и «Ахад га-Ам» в Петах-Тикве. Мне было важно обсудить с ребе педагогические вопросы. Он разъяснил мне важность моих обязанностей и огромную ответственность, лежащую на моих плечах, главным образом в свете того, что речь идет о духовном формировании молодых людей, которым предстоит создать семьи, которые станут отчим домом для будущих поколений. В качестве примера от противного ребе напомнил, что когда Каин убил Гевеля (Авеля), Господь не воззвал к нему: «Глас крови брата твоего взывает ко Мне – из земли», говоря о крови в единственном числе, но употребил форму множественного числа. Казалось бы, Каин убил лишь одного человека, однако, говорит ему Бог, на нем кровь Гевеля и кровь семени его. Ибо, если бы Каин не был убит тобой, целый мир мог бы пойти от него, как пошел впоследствии от Шета (Сифа), отца Эноша. А посему, убив Гевеля, не одного человека ты убил, но погубил целый мир. Отсюда и пошло выражение: «Всякий, спасающий одну душу из Израиля, как будто сотворяет целый мир, и всякий, губящий одну душу из Израиля, как будто уничтожает целый мир». И если это верно для зла, то еще более верно для добра. Если ты спасешь одну душу, то все побеги, которые разветвятся, произрастая из нее, будут вменены тебе в заслугу.

Закончив говорить, ребе посмотрел на меня своими пронизательными глазами, такой взгляд был еще разве что у гурского ребе – автора книги «Бейт Исраэль». Я совсем не пытаюсь сравнивать этих двух людей, но взгляд обоих оставил у меня неизгладимое впечатление. Их взор, казалось, проникал вглубь души, и по силе проникновения с ним не мог сравниться взгляд никакого другого человека. Глядя мне в глаза, ребе неожиданно сменил тему

разговора и сказал на идише с литовским выговором и той русской интонацией, которая сквозит во множестве слов на иврите и в некоторых словах в английской речи: «Я хочу задать тебе вопрос из совсем другой области. Мне бы хотелось понять народную душу израильтян. Я понимаю, что ты знаешь людей в Израиле, ибо в среде народа своего живешь. Может быть, ты сможешь просветить меня в одном вопросе, который очень меня занимает. За последние столет мир испытал множество пертурбаций. В России, почти всегда бывшей страной, строго следовавшей установленным догмам, в 1917 году произошла революция, а в пятидесятые годы Хрущев произвел своего рода контрреволюцию против первой – революции Ленина и Сталина, и каждый из них добавил что-то свое в жизнь людей в Советском Союзе. Также и в Америке: даже сравнить нельзя Кеннеди с его предшественником Эйзенхауэром. Мартин Лютер Кинг совершил свою собственную революцию. В Англии нельзя сравнивать Эттли с Черчиллем, бывшим до него, а во Франции Помпиду – не де Голль. Весь мир изменился. Во многих революциях евреи часто играли первые роли. Евреи – народ революционеров. Всегда на передней линии. Среди знаменосцев революций в основном шагали евреи. В России, во Франции, в Германии они стояли у истоков марксизма, социализма, во всех этих движениях всегда ощущалось мощное присутствие евреев. Единственное место, где не произошло никаких революций, – это Государство Израиль. Вот уже сорок лет все те же люди стоят у кормила власти в государстве самого революционного народа в мире – еврейского. С 1933 года, когда была создана Рабочая партия Эрец-Исраэль, и по сей день – до 1974 года, то есть свыше сорока лет, у власти находятся те же самые лидеры. За эти годы произошла чудовищная Катастрофа, было создано государство, принята огромная репатриация, страна прошла через кровопролитные войны. И вот, через два месяца после Войны Судного дня проводятся выборы и – *унд де зельбе зах* – все то же самое: Голда Меир, Менахем Сапир, Моше Даян. Бегин уже девять раз проигрывал на выборах, и никакой революции. Что должно случиться, чтобы в Государстве Израиле произошло то, что происходит во всем мире, – перемены? Объясни мне, пожалуйста, эту стабильность. Ты ведь приехал оттуда, а мне любопытно это понять».

Я не знал, что сказать в ответ на этот тонкий и точный анализ ситуации. Любавичский ребе обладал обширными познаниями во всех областях и способностью широкого охвата в понимании вещей. Ко мне же никто никогда – ни до этого разговора, ни после него – не обращался с подобным вопросом, я совершенно не был к нему готов. Я всего лишь приехал встретиться с Любавичским ребе, чтобы познакомиться с ним поближе. Я предполагал, что наш разговор будет обращаться вокруг педагогических вопросов, распространения ценностей иудаизма вообще и хасидизма в частности.

Эти вопросы были близки мне. И, тем не менее, ребе задал вопрос, и хотя это стало для меня полной неожиданностью, – ответ был вложен мне в уста с небес. «Я хочу рассказать ребе об одном эпизоде, пережитом мною во время последней войны, Войны Судного дня. Все это произошло пять месяцев назад, и, возможно, в моем рассказе будет содержаться ответ на поставленный ребе передо мной вопрос, о котором я – скажу правду – доселе не задумывался. Война разразилась в Судный день, пришедший на субботу, в полуденный час, когда в синагогах читали молитву «Эле эзкера» («Сих помяну»), в которой описываются десять праведников, убитых властями, – рабби Акива и его товарищи. Неожиданно, без десяти два воздух пронзила сирена, и появились первые убитые в этой войне. На следующий день, в воскресенье вечером, я был дома. В квартире было сумрачно из-за затемнения. В девять вечера зазвонил телефон. На проводе был господин Веллер, владелец зала торжеств «Тхелет» («Синева») на углу улиц Шенкина и Ахад га-Ама в Тель-Авиве. Говоря с немецким, венским акцентом, господин Веллер попросил меня об одолжении и рассказал мне свою историю. Молодая пара за несколько месяцев до этого назначила день своей свадьбы между Судным днем и праздником Суккот. Жених и невеста настаивали на том, чтобы не откладывать свадьбу из-за войны, ибо отсрочка свадьбы – дурной знак. Жених получил увольнительную из армии на 12 часов и прямо в военной форме прибыл в зал торжеств, невеста облачена в белое подвенечное платье, родственники ждут раввина, а того все нет и нет. Может быть, он думает, что из-за затемнения невозможно провести бракосочетание, может, уверен, что все воюют на фронте, и вообще, кому сейчас до свадеб. Владелец зала просил меня спасти положение. Я попросил его выяснить, какой раввин должен был проводить церемонию, но молодые не имели об этом ни малейшего представления. Они только знали, что в раввинате обещали кого-то прислать. Я объяснил хозяину зала, что у меня займет минут сорок добраться от дома к залу «Тхелет», потому что я не могу приехать на своей машине, так как еще не успел нанести защитную краску на фары, как это требовалось по инструкции по затемнению в военное время. Также я просил узнать, подготовлена ли у пары *ктуба* (брачный договор) и есть ли у них документы, удостоверяющие, что они подали в раввинат просьбу о регистрации брака. Я опасался, как бы мне не оказаться в ситуации, когда я проведу бракосочетание пары, которая не подавала просьбу о браке по всем правилам. Это чревато возникновением проблемы двоеженства, или венчания лиц, брак между которыми невозможен, или – не дай Бог – речь идет о смешанном браке; ведь я не был знаком с брачующимися. Отсутствие раввина и документов требовало от меня разобраться в ситуации. Сказав, чтобы я не вешал трубку, владелец зала вышел из конторы в зал, чтобы

выяснить все по поводу поднятых мной вопросов, и, вернувшись, сообщил, что у пары есть ктуба и все необходимые справки из раввината. Если так, сказал я ему, я приеду и проведу бракосочетание. Совсем запыхавшись.. я примчался в зал, где были накрыты столы на 250 человек и выпечка уже украшала белые скатерти на столах. На свадьбу пришло всего 15 человек. Лицо невесты было мокрым от слез, но улыбка, появившаяся у нее на лице с моим приходом, была незабываема. Собравшиеся гости тоже были очень взволнованы.

Я провел церемонию бракосочетания, сказал молодым несколько напутственных слов, и гости вместе с парой молодоженов были совершенно счастливы. Когда все закончилось, ко мне подошла официантка, работавшая в зале. Лицо ее было мне знакомо по свадьбам и бар-мицвам, на которых я присутствовал, но ее имени я не знал. Она подпернула вверх рукав и показала мне вытатуированный у нее на предплечье номер, свидетельствовавший о том, что она была в Освенциме. Она заговорила с сильным польским акцентом: «Ваша честь, раввин Лау, вы, верно, рассердитесь на меня за то, что я говорю такие вещи. Я знаю, так нельзя говорить, но вы единственный в зале, кому я могу это сказать и кто поймет меня. Я знаю, что вы – ребенок Катастрофы, так вам я могу сказать, что если мой сын не вернется с войны, то я наложу на себя руки. Мне не для чего жить без него. Если он не придет, я больше не встану». Я ответил, что так действительно нельзя говорить. «С номером-то на руке, пережив то, что вы пережили, как вы можете говорить такое? После всего, что мы испытали?»

Женщина в белом переднике попросила меня выслушать ее рассказ. Сказала, что может говорить на работе, потому что много приглашенных не пришло, и вообще она тут сейчас не нужна.

«Я была совсем молодой, когда вышла из Освенцима, – начала она, – может, лет 17-ти. Три года я была там, работала в швейной мастерской. И как бы ни была худа и слаба – выдержала. Меня отправили в Освенцим после того, как немцы на моих глазах зарубили папу и маму. Мне было 14 лет, меня бросили в поезд и привезли в Освенцим. Все эти годы у меня пред глазами стоит картина: папа с мамой в луже крови. Меня освободили в январе 45-го, и я стала искать возможность попасть домой, в мое местечко. Я знала, что родителей у меня больше нет, но надеялась найти кого-нибудь из моих братьев и сестер. Не нашла никого. Кто-то сказал, что все беженцы собираются в Лодзи, что мне стоит добраться туда, там я, может быть, найду кого-нибудь из родных. Я добиралась до Лодзи поездом, на телегах, пешком. В Лодзь стекались беженцы из всех местечек, но не было ни одного из моего местечка и никого из родственников. Там я нашла одного парня, он точно так же, как я, остался один в целом мире.

Мы подружились, подали документы на репатриацию в Землю Израиля, запросили сертификаты. Много времени прошло, пока мы их получили, тем временем нас перевели в лагерь для перемещенных лиц в Германии. Там мы поженились. Британцы не давали нам разрешения на въезд, так что мы попали в страну только в день провозглашения независимости. Только тогда двери открылись и перед нами. Я уже была беременна. Нас поместили в лагерь для новых репатриантов, а мужа забрали в армию, на Войну за Независимость. Он погиб в Латруне. У него еще не было ни номера удостоверения личности, ни номера военного билета, только номер Освенцима на руке. После его гибели я родила этого ребенка, о котором я говорю с вами. Я дала ему три имени: моего мужа, моего отца и отца моего мужа. Чтобы дать сыну все то, чего я сама всегда была лишена, я работаю днем на почте на улице Алленби, а по вечерам у господина Веллера, официанткой. Мы живем в двухкомнатной квартире. Одна комната – музей, с черно-белыми фотографиями папы и мамы, еще несколько фотографий моего мужа в Европе и на корабле, и по всем стенам – цветные фото моего мальчика, родившегося в 1949 году. Сейчас, в 73-м, ему 24 года. Вчера его забрали из синагоги на войну, и до сих пор от него не было весточки. Если он не вернется, мне незачем будет просыпаться». Я сделал глубокий вдох. Мне было тяжело слушать рассказ официантки из зала торжеств «Тхелет». И не менее тяжело мне было пересказывать его Любавичскому ребе. Он слушал внимательно, не сводя с меня голубых глаз, смотревших пронизательно и неотрывно, и я продолжил: «Может быть, мы немного подустали от революций, ребе. У нас уже не осталось сил. Сколько можно? Доколе? Возможно, эта официантка – живой пример того, что испытало мое поколение. От кого ребе ожидает, что они вновь пойдут со знаменами на баррикады? Все, что нам теперь нужно, это немного покоя, немного тишины». Из голубых глаз ребе скатывались жемчужины слез и падали ему на руку, лежавшую на моей руке. Любавичский ребе не знал официантку из зала «Тхелет» в Тель-Авиве, но ее история затронула потаенные струны его души. С его уст только и слетело взволнованное восклицание, еле слышное сквозь слезы: «Теперь я понимаю, очень хорошо понимаю»¹.

Три раза за время нашего разговора с ребе в его комнате звонил внутренний телефон. Услышав звонок, я понял, что он служит сигналом для окончания беседы. Я встал, но ребе схватил меня за руку своей мягкой теплой

¹ Кстати сказать, сын официантки благополучно возвратился с войны после долгих месяцев резервистской службы, мне же выпала честь быть приглашенным его матерью, не находившей себе места от тревоги за него, провести церемонию его бракосочетания. (Прим. автора.)

рукой и усадил обратно. После трех звонков дверь открылась и секретаря ребе, раввин Лейб Грюнер – с которым я тогда не был знаком, – заглянул внутрь. Опять я посчитал, что разговор подошел к концу, и вновь поднялся с места. Время приближалось к четырем утра, и ребе опять положил свою руку на мою, на этот раз произнеся на иврите с ашкеназским выговором: «Олай ве-ал цовори»: мол, вся ответственность лежит на нем, и он принимает на себя вину за то, что мы до сих пор не закончили.

Когда я вышел от ребе, меня окружили десятки учеников йешивы, пытаюсь разузнать у меня о нашем столь продолжительном разговоре и выуживая всякую крупицу информации. Пока мы так стояли, из дома, энергично ступая, вышел ребе, левой рукой придерживая под мышкой книгу, за ним шел раввин Йегуда Кринский, доверенное лицо ребе. Заметив меня на тротуаре, ребе подошел и спросил: «Раввин Лау, что же будет с *Маасэ Меркава* (действием созидания)?» Я испугался, не понимая, о чем он говорит и что требуется от меня. Однако ребе широко улыбнулся: «Я имею в виду: как вы собираетесь возвращаться отсюда в гостиницу на Манхэттене? Где повозка, что ожидает вас?»¹ Я ответил, что возьму такси. «Нет, – сказал ребе, – в это время и в этом районе опасно брать незнакомое такси». Он обернулся, показал рукой на своего доверенного секретаря и сказал: «Реб Юдл отвезет меня домой, здесь недалеко, а потом вернется и отвезет вас на Манхэттен». Я почувствовал себя крайне неловко. Ученики йешивы застыли на месте в изумлении. И только тогда вдруг все вспомнили, что у них тоже есть машины, и ринулись спорить за право отвезти меня в гостиницу. В конце концов, в машину одного из них набилось вместе со мной восемь ребят, и так мы и ехали до Манхэттена.

Следующая моя поездка в Нью-Йорк состоялась через восемь лет, когда мой брат Нафтали занимал пост генерального консула Израиля в Нью-Йорке, а я уже был главным раввином Нетании. В этот раз я также попал к ребе на «уединенную беседу». Помнится, передо мной от ребе вышли – один за другим – главный раввин Иерусалима Бецалель Желтый, да будет благословенна память праведника, и председатель финансовой комиссии Кнессета раввин Аврагам (Моня) Шапиро, да будет благословенна его память. Не успел я открыть дверь и зайти, как ребе сказал мне на идише: «Восемь лет ты не был у меня».

¹ Игра слов. В Каббале под *Маасэ Меркава* понимается продолжающееся созидание мира, в отличие от первичного акта творения – *Маасэ Берешит*. Имея в виду изначальное узкое значение слова *меркава* – повозка, колесница, ребе таким образом спросил у раввина Лау о наличии у него транспорта.

При этом разговоре ребе спросил меня, словно невзначай, дошли ли уже мои дети до изучения трактата Кидушин¹. Я сказал ему, что как раз накануне моего отъезда было назначено первое свидание для знакомства с будущим женихом моей старшей дочери Мирьям. Сын, Моше Хаим, старше ее на два года, но душа его пока алкает Торы, и он посвящает все время учению в йешиве «Хеврон» в Иерусалиме, не желая пока принимать предложения сватов. Из какой семьи парень, которого сватают моей дочери, спросил ребе. «Семья как раз родовитая», – отвечал я. Его дед, рабби Залман Сороцкий, да будет благословенна память праведника, известный как «рабби из Луцка», был президентом комитета йешив и возглавлял Совет мудрецов Торы. Ребе помолчал немного и сказал: «Если внук рабби из Луцка и внучка рабби из Пётркува, вместе заседавших в Совете мудрецов Торы, что был до Акеды², встречаются в Святой земле, чтобы вместе воздвигнуть новый дом в Израиле, то это – счастье для их дедов, пребывающих в мире истинном, и великая радость на небесах». Вернувшись в гостиницу, я получил по телефону радостную весть, что первая встреча прошла к обоюдному удовлетворению и уже назначена вторая. Возвратившись домой, я узнал, что ждали только моего приезда, чтобы получить от меня благословение на создание первой семьи, которую мне выпадет честь устроить в поколении моих потомков.

После моей первой встречи с Любавичским ребе я бывал у него много раз, но в большинстве случаев это уже не были «уединенные беседы», а встречи на «воскресных приемах», когда множество людей проходило перед ребе. Один раз я был на уроке у ребе, и там я осознал (и сумел свести для себя в одно понятие) главную особенность, отличающую этого человека, – его талант наставника, умение дать людям возможность усвоить древние ценности. С тех пор путеводной нитью мне служит стих «Создатель мой, наставь мой разум, чтобы я усвоил наследие <отцов>», взятый из утренней молитвы, читаемой кантором в праздник Рош га-Шана. Для меня Любавичский ребе был примером в вопросе «усвоения наследия отцов».

В одну из поездок в Нью-Йорк я сопровождал моего тестя раввина Ицхака Йедидью Френкеля, да будет благословенна память праведника, которого пригласили выступить с лекцией на симпозиуме, посвященном освящению Имени Господня. Во время нашего пребывания там раввин Френкель сказал мне, что 14 ияра Любавичский ребе проведет урок по теме

¹ Еще одна игра слов: кидушин (дословно – освящение) – традиционное наименование взятия мужчиной девушки в жены.

² Словом акеда – дословно связывание – в Танахе названо жертвоприношение Ицхака. Ребе имеет в виду Катастрофу.

второго праздника Песах¹. Он добавил, что сам намеревается посетить этот урок, и спросил, не хочу ли я присоединиться к нему. Я, понятно, ответил утвердительно. Мы оказались в зале, и зала, более переполненного людьми, мне отроду не доводилось видеть. Люди толпились в крайней тесноте, касаясь друг друга головами. На сцене поставили очень длинный стол, за ним сидели старейшины хасидов, среди которых присутствовали самые выдающиеся раввины США и Канады. Там же выделили местечко и для нас: главного раввина Тель-Авива с зятем, главным раввином Нетании. Мы сидели в ряду раввинов позади места, где должен был воссесть ребе. Любавичский ребе вошел очень быстрым шагом, держа под мышкой маленький томик Рамбама, и атмосфера в зале сразу наэлектризовалась. Он уселся в одиночестве за пустым столом. Шурин ребе, раввин Гур-Арье, сел с одного края стола, а раввин Ходаков, главный секретарь ребе, – с другого. Ребе сидел посредине и провел урок, продолжавшийся около четырех часов, не пользуясь никакими конспектами и даже ни разу не открыв принесенную им книгу. Его урок основывался на явных и тайных источниках², на первых и последних комментаторах, относящихся ко всем периодам. Он цитировал источники наизусть целыми разделами.

Через весь урок красной нитью проходила мысль о важности второго Песаха, который мудрецы Талмуда называли малым Песахом. Идея Любавичского ребе была такова: накануне исхода из Египта сынам Израиля было заповедано принести пасхальную жертву, а после этого – из года в год – приносить ее снова, как символ выхода из рабства на свободу. Но ритуально нечистым – прокаженным и больным, имевшим истечение из плоти их (Ваикра, 15:1), людям, касавшимся кишашего, передвигающегося по земле (Ваикра, 11:29), или занимавшимся покойником, – было запрещено приносить пасхальную жертву и подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме. Такие люди жаловались Моше на то, что они не могут принять участие во всенародном жертвоприношении и тем самым показать свою принадлежность народу. «Почему нас исключают? Ведь мы тоже евреи», – приводили они свой довод. И вот, Пресвятой, да будет благословен, откликнулся на эту их жалобу, и постановил в своей Торе, что всякому, кто был нечист или был в дальней дороге, отчего не мог принять участие в пасхальном жертвоприношении вместе со всем

¹ День 14 ияра установлен как второй, или малый, Песах. В этот день в древности могли принести пасхальную жертву люди, у которых по тем или иным причинам не было возможности сделать это во время основного праздника Песах.

² Нигле и нистар – понятия в Каббале, относящиеся к Торе явленной и Торе скрытой, но, тем не менее, доступной для проникновения в ее тайны.

народом, будет дан для этого дополнительный день – 14 ияра вместо 14 нисана, – дабы не отторгся он от общности Израиля. В основе урока Любавичского ребе лежало убеждение, что идея, скрытая в праздновании второго Песаха, вызывает к каждому из нас, словно говоря, что есть среди нас братья, которые нечисты не по своей вине или были насильно отторгнуты от всякой связи с еврейством. И они вызывают к нам – а даже если и не вызывают – в безмолвном крике: «Почему нас исключают? Мы тоже евреи. Мы тоже хотим вместе со всем народом Израиля участвовать в выходе из рабства на свободу». В этом заключается вся идея покаяния и возвращения к вере: мы тоже хотим покаяться и вернуться. Я был далек, но хочу приблизиться, – такое ясное и поразительно точное толкование дал любавичский ребе. В ходе нескольких наших с ним личных бесед я также слышал от него это логическое построение. Он мог долго говорить о сближении евреев, ощущая всем сердцем, что речь не идет о приближении удаленных, ибо кому дано знать, кто далек, а кто близок.

Это был захватывающий урок, подобных которому просто не бывает. Время от времени я получал толчок в бедро от моего тестя, раввина Френкеля, который и сам был блестящим оратором и мудрейшим человеком. Его, по критическому складу его ума, было нелегко поразить и изумить чем-либо, но и он не сталкивался со способностями, отличавшими Любавичского ребе. Это восхищение и преклонение перед аналитическим талантом ребе и его поразительно глубокими познаниями и заставляло раввина Френкеля время от времени толкать меня. По окончании урока, когда мы вышли из зала, раввин Френкель восхищенно сказал: «Я видел польское еврейство во всем его великолепии, удостоился быть у рабби Кука и швата 5695 года (15 января 1935), когда он дал мне свое письмо¹, был знаком со всеми выдающимися учеными в последних поколениях, но с таким владением материалом еще не встречался. Это гений».

На одну из наших встреч я принес ребе в подарок свою книгу «Практика иудаизма», переведенную на русский язык и переплетенную в кожу, на которой золотыми буквами было вытиснено имя ребе. Я объяснил ему, что когда железный занавес поднялся, мы обнаружили за ним миллионы евреев, и меня попросили подготовить перевод моей книги на понятный им язык. Я решил преподнести ребе первый экземпляр этого издания,

¹ То есть свидетельство о предоставлении раввинских полномочий в Земле Израиля, выданное раввину Френкелю Главным раввином Эрец-Исраэль Аврагамом Ицхаком Гакогеном Куком сразу после репатриации первого в страну.

потому что без Любавичского ребе мне было бы не для кого переводить эту книгу на русский.

15 элуля 5751 года (25 августа 1991), в бытность мою главным раввином Тель-Авива, я снова приехал к Любавичскому ребе. В ту неделю в районе Краун-Хейтс произошли столкновения между чернокожими и хасидами. Две тысячи представителей полиции Нью-Йорка охраняли порядок в этом районе Бруклина. По воскресеньям ребе обыкновенно принимал людей со всех концов света, и на тротуаре перед его домом уже с самого раннего утра выстраивалась извивающаяся очередь. Среди теснившихся там людей был и я с женой и несколькими друзьями. Когда мы вошли внутрь, я сказал, что ребе просил меня кое-что проверить в отношении миквы на улице Бар-Кохба в Тель-Авиве, и я бы хотел доложить ему, что его просьба исполнена. Попав к ребе, я сказал ему три слова: «Я сделал это». Он взглянул на меня своими голубыми глазами и сказал обычной своей скороговоркой: «Ты должен уладить все свои дела и успеть закончить все начатое в Тель-Авиве, потому что меньше чем через два года тебе предстоит восхождение в Иерусалим в качестве Главного раввина Израиля». Я застыл на месте от изумления. В то время еще и разговоров не велось о выборах Главного раввина, которые должны были проводиться в месяце нисане 5753 года (апрель 1993-го), только через полтора года, и никто еще не занимался этим вопросом. Я онемел, не зная, что сказать, и в смущении спросил: «Что с благословением, ребе?» Его ответ был короток: «Мое благословение есть у тебя, и даже более того. В Святых писаниях сказано, что тому, кто достигает величия, даруются с Небес особые духовные силы, дабы он мог исполнить стоящие перед ним задачи. Это тебе уже дано. Теперь ждут только твоего согласия». Единственное предложение, которое я сумел произнести в ответ, было: «Если для меня есть особое благословение с небес, то я бы хотел использовать эти силы, чтобы перенести это благословение на ребе, дабы он удостоился долгих лет жизни в добром здравии, ибо вся общность Израиля нуждается в нем», – и вышел вон. На тротуаре стояли Ури Савир, в то время генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, и рядом с ним – Дэвид Динкинс, мэр Нью-Йорка, они приехали обсудить с ребе беспорядки в городе. Когда я подошел к ним, Ури Савир приветствовал меня словами: «Мои поздравления, Главный раввин Израиля». Я улыбнулся, а он рассказал, что сообщение ребе о моем предстоящем избрании на пост Главного раввина распространилось в осаждавшей дом толпе со скоростью электрического тока. Я спросил Ури Савира, неужели он всерьез это воспринимает. В ответ он взглянул на меня, словно не веря своим ушам, и сказал: «Если человек, живущий в этом доме, может решить, кто будет

премьер-министром, Перес или Шамир, то, кто будет главным раввином, он может указать и подавно»¹.

3 тамуза (12 июня 1994), после моего избрания Главным раввином Израиля, ребе умер. Я услышал об этом от продюсера на радио, она хотела побеседовать со мной о Любавичском ребе. Я испытал абсолютный шок. Хотя ребе перенес инсульт и лишился речи, сам факт его смерти было невозможно осознать. По телефону из машины, по дороге в свою канцелярию в Иерусалиме, я сказал несколько слов в память ребе: «Хотя Любавичский ребе не оставил по себе потомства, хотя у него никогда не было детей, сегодня, когда он умер, он оставляет сиротами десятки тысяч людей по всему миру». Я вспомнил его вклад в дело сохранения еврейства и иудаизма, в основном в Советском Союзе, но также и в других местах, где Государство Израиль оказывается не в состоянии спасти положение дел, например, в Марокко, Танжере, Йемене, Латинской Америке. «Как говорится в известной шутке: в любом месте на планете непременно найдутся две вещи – Кока-Кола и Хабад. И в последнем заслуга Любавичского ребе, который своими руками творил это чудо в течение 50 лет».

Я не мог не принять участия в его похоронах и сделал все, чтобы загодя прилететь в Нью-Йорк. Я вылетел из Израиля спецрейсом, организованным для людей, желавших попасть на похороны, но добрался до кладбища уже после погребения. В США я провел три часа, после чего вернулся в Израиль. Свежий холмик земли над могилой ребе был засыпан тысячами писем и записок, в которых люди указывали имена своих близких и излагали свои просьбы, моля ребе забрать их упования с собой в небесные хранилища и стать им там верным заступником. Над могилой выросла бумажная гора. Тысячи людей обходили могилу вокруг, читая Тегилим и тихо и безмолвно освобождая место другим. Пока воздух не прорезал страшный, полный отчаяния крик, который не мог сдержать любавичский хасид, также прилетевший самолетом из Израиля. С огромной белой бородой, напоминающей видом узника Сиона, долгие годы проведенного в Сибири, без ботинок, в одних носках, он брел по сырой земле, покрытой множеством камешков, потом протер руки к небесам и во весь голос вскричал: «Та-атэ!» («отец» на идише). И кровь застыла у нас в жилах. Слезы навернулись у меня на

¹ На кладбище, где похоронен ребе, около могилы его тестя, находится видеостановка, которая показывает многочасовой фильм о пятидесяти годах служения ребе руководителем Хабада. В фильм включены фрагменты записей выступлений ребе, в числе которых – такая мне выпала честь – и запись нашей встречи, на которой ребе сообщил мне о моем предстоящем избрании Главным раввином Израиля, за полтора года до того, как это произошло, когда еще самая мысль о такой возможности даже не возникала у меня в голове. (Прим. автора.)

глаза. В этот миг, на бруклинском кладбище, я понял, что такое хасид, оплакивающий своего ребе. Когда Элиша увидел пророка Элиягу, в вихре возносящегося на небо на огненной колеснице, он вскричал: «Отче, отче мой! Колесница Израиля и всадники его»¹, в связи с чем учеников пророков стали называть детьми пророков. Возможно, у того любавичского хасида уже лет пятьдесят как не было своего отца во плоти, но только в день кончины Любавичского ребе он осиротел по-настоящему. Об этом его сиротстве и был тот исступленный вопль, который он вознес к небу.

Посему покинет муж²

Я был студентом йешивы «Поневеж», когда разные сваты стали обхаживать меня. Их стало совсем много, когда мне исполнился 21 год, принятый в мире йешив возраст для свадьбы. Многие мои товарищи думали, что я женюсь первым из них, в связи с тем, что я испытывал большую потребность в собственном доме. Товарищи также полагали, что душой я взрослее их, хотя мы и были ровесниками, и это суждение заставляло их ставить меня на первое место в списке будущих новобрачных. Все знали, что у меня, в отличие от них, нет дома. На каникулах я уезжал не к родителям, как большинство моих однокашников, а к дяде и тете в Кирьят-Моцкин. Я приезжал к ним два раза в год: на праздники Песах и Суккот. Летом они, как правило, ездили в отпуск в санаторий в Зихрон-Яакове, и мне не всегда удавалось побыть с ними. Вот почему мое стремление создать собственную семью было таким сильным.

Предложения сватов, которые я получал, были очень лестными. Многие из них поступали из-за границы, от учеников моего отца, выживших в Катастрофе, или от людей, простослышавших о нем, или от тех, кто покинул Европу до Катастрофы и спокойно жил вдали от европейской бойни. Сам я наотрез отказывался от предложений жить за границей. Я, конечно, упаси Бог, не отвергал в принципе дочерей иностранных жителей, но полагал, что сватам следует недвусмысленно и ясно дать понять, что моей суженой предстоит строить свой дом в Израиле.

Среди называвшихся мне имен не раз появлялось имя Хайиты Френкель, дочери раввина Ицхака Йедидьи Френкеля. На протяжении пяти поколе-

¹ Млахим II, 2:11.

² Берешит, 2:24: «Посему покинет муж отца своего и мать свою, и прильнет он к жене своей, и станут они плотью единой».

ний подряд в семье Френкель не было дочерей. Когда же раввин позвонил в больницу в Тель-Авиве, чтобы справиться о состоянии Ханы, своей жены, которая только что родила, он услышал слова: «Поздравляем, у вас дочь». Раввин Френкель был в совершенном изумлении. Он был уверен, что его перепутали с каким-то другим Френкелем – это весьма распространенная в Израиле фамилия, – потому что не может же быть, чтобы в его семье появилась дочь, после пяти-то поколений, когда у него самого уже было четверо сыновей. Когда переполох в семье утих, для новорожденной стали искать имя. У нее, понятно, были две бабушки, по матери и по отцу. Одна – бабушка Хая, другая – бабушка Юта. И чтобы не обделить почетом ни одну из них, решили назвать девочку в честь обеих бабушек. Есть люди, дающие детям двойное имя: Хая-Юта, но ясно было, что в этом случае все будут звать девочку первым именем – Хая, что может обидеть бабушку Юту в мире истинном. Так как никто не хотел обижать ее, раввин Френкель решил дать дочери одно имя, но составленное из двух: Хайита.

Первый раз имя Хайиты Френкель было произнесено при мне Йерахмиэлем Бойером, моим однокашником в йешиве «Поневеж», впоследствии ставшим мэром Бней-Брака. Он познакомился с раввином Френкелем в Тель-Авиве. Однажды, когда мы сидели в столовой йешивы и разговор зашел о сватовстве, так как многие из 350 студентов уже были обручены, Йерахмиэль Бойер сказал мне: «Израэль, есть у меня идея насчет тебя. Ты сын раввина, вырос в доме раввина, только и говоришь о раввине, тебе, как никому, подойдет дочь раввина». Я не отнесся всерьез к его предложению, поскольку Йерахмиэль Бойер отнюдь не был профессиональным сватом. Так что после того, как он упомянул имя Хайиты Френкель, эта его попытка не подвигла меня на какие-либо реальные действия.

Однажды мне на глаза попало сообщение: принято решение перевезти в Израиль останки рабби из Люблина, раввина Меира Шапира, двоюродного брата моего отца, чье имя я ношу. Рабби Меир Шапира был похоронен у входа на люблинское кладбище. Польскими властями было принято решение о прокладке скоростного шоссе, которое должно было пройти через кладбище, – те же власти дали указание сократить территорию кладбища и разрушить часть надгробных памятников. А поскольку могила рабби Меира была у кладбищенских ворот, она подлежала уничтожению. Брату рабби Меира, раввину Авраѓаму Шапиру, жившему в США адмору из Тлуста, стало известно об этом от американских граждан, наездами бывавших в Польше. И он счел своим долгом спасти от уничтожения могилу брата. В 5718 (1958) году было принято решение доставить останки рабби Меира из Люблина и перезахоронить их на кладбище Гар га-Менухот в Иерусалиме. Похоронная процессия проследовала из аэропорта в Лоде к Большой

синагоге в Тель-Авиве, и надгробное слово произнес раввин Ицхак Йедидья Френкель, знавший покойного еще по Люблину. На этих вторых похоронах рабби Меира из Люблина присутствовало много людей, преклонявшихся перед его памятью как инициатора идеи «дневного листа Талмуда», однако родственники были немногочисленны, потому что рабби Меир, да будет благословенна память праведника, умер бездетным. Из родственников на похоронах были только его братья и сестра, двоюродный брат, мои братья, мой двоюродный брат Шмуэль Ицхак Лау и я. Раввин Френкель произнес блестящее надгробное слово. Поминая рабби Меира Шапиро, он оплакивал и три миллиона польских евреев. Не просто так на надгробии самого раввина Френкеля на кладбище Нахлат-Ицхак высечено: «Плакальщик Катастрофы, хранитель памяти о ней». Хотя раввин Френкель репатриировался в Израиль в 5695 (1935) году, отчего ему самому не довелось испытать ужасов Катастрофы, тем не менее не проходило дня, когда бы он не оплакивал миллионы ее жертв.

После речи раввина Френкеля, повергшей души людей в трепет, мы поехали в Иерусалим. С балкона больницы «Бикур-Холим» на улице Штрауса в Иерусалиме произнесли надгробное слово по рабби Меиру Шапиро два человека из тех, кто говорил речи о нем на первых похоронах в 5694 (1934) году, в йешиве «Хакмей Люблин». Это были раввин Ицхак Меир Левин, лидер партии «Агудат Исраэль», бывший министром и депутатом Кнессета, и раввин Залман Сороцкин, произносивший речь от имени мудрецов Торы.

[Я вернулся на его могилу в день моего избрания на пост Главного раввина Израиля. Тогда я ощутил потребность и счел своим долгом посетить три могилы. Первым делом я поехал на могилу своего тестя, раввина Ицхака Йедидьи Френкеля, на кладбище Нахлат-Ицхак в Тель-Авиве. По дороге из Тель-Авива в Иерусалим заехал к склепу, возведенному над могилой рабби Меира Шапиро, на кладбище Ġar ġa-Менухот в Иерусалиме. Посетил и могилу гурского ребе во дворе йешивы «Сфат Эмет».]

Вторые похороны рабби Меира Шапиро закончились ночью, и я вернулся в Тель-Авив на такси вместе с двоюродным братом Шмуэлем Ицхакком Лау, которого мы называли Шмиль-Иче. Его отец, брат моего папы, раввин Исраэль Йосеф Лау, был раввином в городе Коломия, и, как мы помним, ему пришлось по приказу гестапо разбивать надгробья на кладбище в своем городе. Шмиль-Иче приехал в Израиль до Катастрофы и с трудом зарабатывал себе на жизнь в Тель-Авиве изготовлением кожаных чемоданов и сумок. Он был старше меня на много лет. Сейчас, в такси, он рассказывал меня о моей жизни, и мы проговорили все время поездки, занявшей около часа. Услышав, что мне уже 21 год и три месяца, он заявил, что мне

пора жениться, построить дом и создать семью. «Тебе нужно кого-нибудь сосватать, кузен», – закончил он. Я рассказал ему о разных предложениях, которые получал тут и там, однако, завершил я, учеба вызывает у меня огромный интерес, а свадьба может и подождать.

«Твое место в раввинате, – сказал мой кузен, – я слышал твою речь на бар-мицве у Янкале и знаю, что твое место в раввинате». Шмуэль Ицхак имел в виду мою речь на бар-мицве его сына, Якова Лау. Я тоже помнил речь, произнесенную мною на этой бар-мицве, это была моя вторая речь в Израиле и третья в жизни. Первую речь я произнес в Ченстохове, вторая была на моей бар-мицве в Кирыят-Моцкине. На бар-мицву Янкале, которая проводилась в зале центра ремесленников в Тель-Авиве, я приехал из Йешивы «Поневеж», и меня пригласили произнести поздравительную речь от имени семьи виновника торжества. В зале присутствовал и раввин Френкель, который был раввином района Флорентин и, таким образом, раввином Шмуэля Ицхака Лау. А так как тот праздновал религиозное совершеннолетие своего единственного сына, для него было естественно попросить выступить с речью районного раввина. Это был и первый раз, когда раввин Френкель услышал, как я выступаю. Он хорошо запомнил мою речь на той церемонии и впоследствии не единожды напоминал мне ее, несмотря на то, что, по обычаям гурских хасидов, не был склонен хвалить людей в лицо.

Первой публичной похвалы от него я удостоился, только когда родилась моя первая внучка. Я был в то время раввином Нетании, а раввин Френкель – раввином Тель-Авива. Вся семья отмечала субботу в гостинице «Вагшель» в Бней-Браке. В субботнюю ночь я чем-то отравился, и меня рвало до утра. Утром мы встали, чтобы идти на молитву, а я не мог стоять на ногах. Лицо у меня было зеленое, глаза отказывались открываться. За утренней трапезой я только выпил чаю с лимоном, будучи не в состоянии притронуться к какой-либо пище. Трапеза была для меня что ханукальные свечи, которыми мы не можем пользоваться для освещения, а можем только смотреть на них.

И тогда настало время церемонии наречения имени новорожденной. Я, в качестве свежеспеченного деда, должен был произнести речь, снабдив ее толкованием слов Торы. Раввин Френкель выступил передо мной, а когда настала моя очередь, я от слабости не мог даже рот открыть. Тело не слушалось меня, но я не позволил телесному недугу возобладать надо мной. Из последних сил я поднялся на ноги и произнес речь, проговорив двадцать минут. Когда же я сел на место, все присутствующие услышали баритон раввина Френкеля, сказавшего на идише: «Исраэлю никогда не нужны ни врачи, ни лекарства. Дайте ему кафедру, если можно, с микрофоном, и это будет лучшим лечением для него. Когда он говорит – он

забывает обо всех своих тяготах. Но великое его достоинство в том, что, когда он говорит, все слушатели тоже забывают о своих несчастьях». Это были неожиданные слова: ничего подобного я никогда от него не слышал. У меня за спиной он мог расхваливать меня, но в моем присутствии – никогда.

Первая возможность составить мнение обо мне и моих ораторских способностях представилась ему тогда, на бар-мицве Яакова Лау. Хотя он ничего мне не сказал, для себя, как видно, в своем личном грессбухе, записал имя паренька из йешивы «Поневеж», который говорил, как раввин. В такси, по дороге из Иерусалима в Тель-Авив с похорон рабби Меира Шапиро, отец тогдашнего виновника торжества, успевшего с тех пор вырасти, сказал мне: «Тебе нужно войти в раввинскую семью». И вдруг, на заднем сиденье, где темнота окружала нас со всех сторон, Шмуэль Лау хлопнул меня по колену и сказал, словно внезапно увидел проблеск света: «Идея! Дочка раввина Френкеля – самое-самое то для тебя». Я изумленно посмотрел на него и стал слушать, как он рассыпается в похвалах этой дочке как человек, входящий в дом раввина, молящийся в его синагоге и знающий, о чем он говорит. Однако Шмуэль Лау не удовлетворился выдвижением блестящей теоретической посылки, но предпринял практические шаги. Через несколько дней он зашел домой к раввину Френкелю и рассказал ему о своем двоюродном брате, который учится в йешиве «Поневеж». Раввин Френкель внимательно его выслушал и заметил, что помнит этого юношу, сына раввина из Пётркува. Несмотря на то, что его дочь был еще слишком юна, и пока что никто не говорил о ее обручении, начиная с этой беседы зерно начало прорасти.

Семья Френкель была известна и пользовалась особым уважением в еврейском обществе того времени вообще и в Тель-Авиве в частности. Раввин Френкель родился в городе Ленчице в Польше. Когда он закончил обучение у своего учителя рабби Акивы Ашера, меламед сказал его отцу, что тому следует поехать в большой город и найти мальчику учителя. «От меня он взял все, что у меня было, – сказал меламед отцу ребенка, – больше мне нечего ему дать, да теперь он и не нуждается во мне». Ицхак Йедидья Френкель был отправлен в Варшаву в *метивту* (йешиву) рабби Менахема Зембы¹, да будет благословенна память святого и праведника, считавшегося польским гением, однако зарабатывавшего себе на пропитание скобяной торговлей. Он был застрелен во время восстания в Варшавском гетто, в Холь га-Мозд праздника Песах 5703 года, и похоронен

¹ Менахем Земба (1883–1943) – раввин и преподаватель йешивы в Варшаве, выдающийся знаток Талмуда.

во дворе дома 18 по улице Мила. Впоследствии его ученик – раввин Френкель – перенес его останки на кладбище Гар га-Менухот в Иерусалиме, и его могила находится подле могилы его друга, рабби Меира Шапира из Люблина.

Количество мест в метивте в Варшаве было ограничено, и так как не было возможности устроить интернат, ученики питались на дому, каждый день у другого зажиточного горожанина. Ночевали в окрестных лавках, вход в которые каждую ночь закрывался опускающимися железными решетками. По окончании рабочего дня хозяева лавок опускали решетки и запирали их на замок снаружи. Ученик йешивы оставался внутри и учился при свете керосиновой лампы, пока не засыпал на брошенном на пол матрасе. Когда рабби из Люблина основал йешиву «Хахмей Люблин», построив для нее шестиэтажное здание, у него спрашивали, зачем ему такое большое помещение. Рабби Меир отвечал так: «До сих пор нашим знанием Торы мы были обязаны польским ворами. Благодаря им есть Тора в этой стране. Ибо не будь страха перед ворами, лавочники не позволяли бы ученикам йешив ночевать в своих лавках. Я же не готов терпеть, чтобы Тора была обязана своим существованием ворами», – объяснял он.

Когда раввин Френкель, тринадцати лет отроду, приехал в варшавскую метивту, и его привели к секретарю йешивы, он сказал, что его зовут Ицхак Йедидья Френкель, что он прибыл из Ленчицы и желает быть принятым в метивту, чтобы учить Тору у рабби Менахема Зембы. Секретарь спросил, есть ли у него рекомендации с предыдущих мест учебы, но у мальчика ничего не было. У него был характер коцкого хасида, резкого, острого, пронизательного. В Коцке же главным словом было – правда. По его мнению, бумаги были той вещью, которую можно подделать, в письменных рекомендациях все может быть прилизано, приукрашено, преувеличено. А потому они были излишни, на его взгляд. Юный Френкель даже процитировал для примера слова Акавии Бен-Магалалеля: «Поступки твои приблизят тебя, поступки же твои и отдалят тебя». Ты же, предложил он секретарю йешивы, проверь меня, и не понадобятся никакие рекомендательные бумаги. Только он произнес это, как послышался голос другого, неизвестного ему человека, который спросил его, откуда он знает Акавию Бен-Магалалеля. Ответ мальчика был: «Из Мишны». «И ты всего его знаешь?» – продолжал вопрошающий. Раввин Френкель стал приводить по памяти все высказывания Акавии в шести разделах Мишны, как, например, известные слова мудреца, приводимые в трактате «Поучения отцов»: «Акавь бен Магалалель говорил: «Помни о трех вещах – и ты избежишь преступления: знай, откуда ты произошел, и куда ты идешь, и перед кем

тебе предстоит держать ответ»¹. Когда Акавия лежал на смертном одре, сын его сказал ему: «Отец, прикажи обо мне друзьям твоим», – то есть скажи своим друзьям (а они были величайшими из танаев), чтобы они приблизили меня к себе, позаботились обо мне, пристроили меня к какому-нибудь делу», потому как имущества и достатка рабби по себе не оставил, так пусть хоть имя его сослужит свою службу. Сказал Акавия Бен-Магалалель сыну: «Поступки твои приблизят тебя, поступки же твои и отдалят тебя», – и это были его последние слова. Когда мальчик, Ицхак Йедидья Френкель, закончил цитировать речения Акавии Бен-Магалалеля во всех шести разделах Мишны, вопрошающий голос назвался ему: «Меня зовут Мендель Прагер, я из предместья Прага в Варшаве. Я живу на улице Мила, 18, и ужин у нас дома в полвосьмого вечера. Надеюсь увидеть тебя там». Так Ицхак Йедидья Френкель был принят в метивту Менделя Прагера, он же Менахем Земба.

В очень молодом возрасте Ицхак Йедидья получил звание раввина и был выбран служить раввином города Рыпина. После рождения его старшего сына Исера, когда ребецн ждала второго ребенка, он по какому-то делу поехал в большой город Данциг (Гданьск). В 5694 (1934) году раввин Френкель, 21 года отроду, шел в Данциге по улице в своем хасидском одеянии, когда к нему пристали два поляка, пошли за ним и стали поносить его, выкрикивая антисемитские ругательства. Раввин понял, что они уже сильно раззадорены и не оставят его в покое, и стал убежать от них. Они же погнались за ним. На бегу он почувствовал, как чья-то рука схватила его, дернула его за руку внутрь двери и мгновенно опустила за ним решетку. Оказалось, что это был один из местных евреев, заметивший происходящее и спасший от погони молодого еврея. По дороге домой, в Рыпин, у него созрело решение не оставаться в изгнании сверх необходимости ни одного дня, покинуть Польшу и отправиться в Землю Израиля. Жена его пыталась умерить его пыл, но он упорно стоял на своем: только Земля Израиля. Другого места для нас не существует. Жена спросила, неужели он собирается пойти на такой судьбоносный шаг, не посоветовавшись с гурским ребе, и раввин Френкель несколько дней добирался поездами до Гуры-Кальварии рядом с Варшавой, к автору книги «Имрей Эмет», отцу автора книги «Бейт Исраэль». Гурский ребе был невысокого роста, а раввин Френкель статен и строен. Только услышав вопрос по поводу Земли Израиля, ребе поднял на него глаза, пристально посмотрел и сказал на идише: «Ицхак

¹ Пиркей авот, 3:1. Продолжение этой мишны не менее известно: «Откуда ты произошел? Из вонищей слизи. А куда ты идешь? Туда, где гниль и черви. А перед кем тебе предстоит держать ответ? Перед Царем всех царей, Пресвятым, да будет благословен Он».

Йеидидья, скажи мне правду, ты пришел спросить совета или получить благословение?» Раввин Френкель потупил взор. Казалось бы, он пришел посоветоваться, но стоя перед гурским ребе не мог не сказать всю правду, и ответил: «Я пришел получить благословение». Гурский ребе велел своему габаю соединить его по телефону с зятем ребе, рабби Иче Меиром Левиным, главой «Агудат Исраэль», чтобы дать тому указание помочь в оформлении сертификатов. Время шло, и у четы Френкелей родился второй сын, которого нарекли в честь автора книги «Сфат Эмет» – Йехуда Арье-Лейб. Через какое-то время были получены сертификаты на выезд в Палестину: на имя Ицхака Йеидидьи Френкеля, Ханы Леи Френкель, Исера Френкеля, которому исполнилось к тому времени полтора года, и младенца Арье Френкеля. Семья уложила все свои пожитки в один чемодан, в еще одну сумку уложили талит, тфилин и субботние подсвечники. С двумя малолетними детьми на руках они начали свое путешествие в Землю Израиля. Прибыв на вокзал в Варшаве, ребецн стала искать укромное место, чтобы покормить ребенка. Пока они суетились в поисках такого места, у них украли чемодан, заключававший все их имущество на этой земле.

Совершенно потерянные, раввин с женой искали чемодан повсюду – напрасно. Но при виде плачущей матери двух грудных детей над ними сжался другой вокзальный вор. Он сделал раввину знак следовать за собой и привел его к какой-то влиятельной фигуре в преступном мире Варшавы. Выслушав рассказ о краже, пахан – сам еврей – успокоил молодого раввина, обещав ему, что по возвращении на вокзал он найдет там украденный чемодан. Так и случилось.

Семья Френкель прибыла в Землю Израиля на корабле в месяце шват 5695 года (январь 1935-го) с двумя малолетними детьми. Они поселились в районе Флорентин, и раввин стал меламедом в талмуд-торе «Синай». Он считался чем-то вроде доморощенного представителя отдела по приему репатриантов и стал опорой для всей своей большой семьи, приехавшей в страну по его стопам. Его собственная малая семья также выросла. Всего у него родилось четыре сына и дочь, и он сделался раввином Флорентина, а впоследствии и главным раввином Тель-Авива-Яффо, не прибегая к политическим ухищрениям, без агентов по связям с общественностью, без рекомендательных бумаг, а лишь с помощью принципа, которому он следовал всю жизнь: «Поступки твои приблизят тебя, поступки же твои и отдалят тебя». И народ всем сердцем любил его.

Раввин Френкель считался «духовным отцом» района Флорентин, района, густо заселенного бухарскими евреями, а также выходцами из Салоник, Марокко, Йемена, Польши, Румынии и Венгрии. В своих странах все они знали праздник Симхат-Тора, выпадающий на следующий день после

Шмини-Ацерет и в диаспоре являющийся вторым праздничным днем, последним днем праздника Суккот. В 5703 году (октябрь 1942-го) праздник Суккот в Тель-Авиве, как и по всей стране, заканчивался в Симхат-Тора. На исходе этого дня люди читали вечернюю молитву буднего дня, уже у себя дома совершали церемонию гавдалы (символического разделения праздника и будней), разбирали сукку и начинали возвращаться к рутине жизни. Однако раввин Френкель обратился к горстке своих прихожан с просьбой задержаться на несколько минут в синагоге «Аѓават Хесед» на улице Эмек-Изреэль в южном Тель-Авиве, сегодня – в его честь – называющейся улицей И. Френкеля. Прихожане не поняли странной его просьбы, но из уважения к своему раввину выполнили его волю. Он же достал свиток Торы из арон-кодеша и взволнованно обратился к своим слушателям: «Телефоны уже отключены, телеграф не работает, почта прекратила свое существование. Целые общины в Польше и других местах в Европе отрезаны от мира, и мы не знаем, какая судьба постигла там евреев. В этот самый час в Варшаве, Кракове и в любом другом городе в Европе должны были приступить к торжественным обходам синагог со свитками Торы; люди в самых лучших одеждах должны были приходить на празднование Симхат-Тора. Мы не знаем, открыты ли там синагоги, могут ли евреи приходить в них и обходить синагоги со свитками Торы. Связь между нами прервана полностью, и, несмотря на наши попытки получить какие-либо сведения, общины не дают о себе знать. Так как все евреи отвечают друг за друга, давайте станем их устами и совершим, хотя бы символически, обход со свитком Торы от их имени и во имя их спасения». Испытывая сильное волнение, прихожане откликнулись на его призыв и стали обходить биму, неся впереди свиток Торы. Раввин Френкель громко повторял: «О, Господь, пошли нам спасение, о, Господь, пошли нам преуспевание». Совершив обхождение бимы, пропели гимн и водворили свиток Торы в арон-кодеш. И с того дня, в течение 61 года, в дальнем конце улицы Эмек-Изреэль каждый год в праздник Суккот совершались «обхождения общин», названные так из-за того, что в них участвовали выходцы из самых разных общин. Так было положено начало традиции «вторых обхождений», которую ввел в обиход раввин Ицхак Йеидидья Френкель. Традиции, которой – в полном соответствии с заповедями и обычаями – до того времени не было в Земле Израиля.

Раввин обыкновенно облачался в бухарский халат и тубетейку, потому что в то время бухарские евреи составляли большинство жителей квартала, и шествовал во главе процессии, что превращало Флорентин, бедный район, населенный в основном новыми репатриантами, в объект паломничества для руководителей государства. За все время жизни раввина Френкеля не было ни одного премьер-министра и ни одного начальника Ген-

штаба, которые не приняли бы участия в этих шествиях. Они приезжали в этот район не только перед выборами, но и чтобы просто принять участие в торжествах со свитками Торы, и это добавляло гордости всему району. Со временем традиция «вторых обхождений» была перенесена в Гейхаль-Шломо в Иерусалиме, на площадь Царей Израилевых в Тель-Авиве, в Кфар-Хабат, на учебную базу № 4 ЦАХАЛа, а затем и во все местные религиозные советы по всей стране. Но все помнили, что у истоков этого обычая стоял один человек, остро чувствовавший свою огромную ответственность перед евреями, лишенными во время Катастрофы возможности совершать «вторые обхождения» и отмечать все остальные еврейские праздники.

* * *

В течение последнего года моего обучения в йешиве «Поневеж» раввин Френкель проявил ко мне интерес и стал спрашивать обо мне как о человеке, чье имя было названо в качестве возможного жениха для его дочери. Так как речь шла о его единственной дочери, любимой им пуще жизни, он хотел узнать все стороны моего характера и делал это с отличавшей его во всем основательностью.

Он встретился с рабби Каѓанеманом, главой йешивы «Поневеж». Я же ничего об этом не знал. Рабби Давид Поварский, реш-метивта, экзаменовавший и принявший меня в йешиву, также разговаривал с ним обо мне. Он старался поговорить тель-авивских ребят, знавших меня, и просил их рассказать о моем характере и личных качествах. Он съездил в Иерусалим, чтобы встретиться с рабби Ойербахом, который оказал большое влияние на формирование моей личности и хорошо знал, каким я был в ранней юности. Всегда немногословный рабби Ойербах ограничился единственным предложением, которое для раввинов и знатоков Торы выразит все: «Миго дизки нафше заки нами лехевре» (Всем, чего он удостоится для своей души, тем оделит и своего товарища. – арам.). Это выражение позаимствовано из Талмуда (трактат Бава Мециа, раздел «Двое держат талит»). Не было нужды говорить раввину Френкелю что-то еще. Спустя много лет он рассказал мне, как отзывался обо мне рабби Ойербах, который одним этим сжатым стихом охарактеризовал все мои свойства и качества как человека, который способен достигнуть многого, не забывая оделить ближнего своего. Который не будет жить только для себя, но станет источником света для своего окружения. Все эти смыслы были им вложены в одно-единственное предложение.

Мой двоюродный брат, Шмуэль Лау, тоже не бездействовал, стремясь продвинуть вперед дело моего обручения. Было решено, что он примет меня у себя в седьмой день праздника Песах, а после трапезы мы с ним

вместе пойдем в дом к раввину, где я стану подпевать ему, когда дойдет до пения «Песни моря»¹. Раввин Френкель ввел обычай читать «Песнь моря» в полночь на седьмой день праздника Песах на берегу моря в Тель-Авиве при большом стечении народа. Многие тысячи людей приезжали из Бней-Брака, Рамат-Гана, Гиватаима и присоединялись к тель-авивцам, шествовавшим с процессией от дома раввина в районе Флорентин вдоль улицы Алленби до площади Герберта Самуэля на берегу моря. Там кантор читал стихи из «Песни моря». Раввин Френкель обыкновенно произносил речь, стоя на деревянной трибуне. По разработанному плану мы – дочь раввина и я – должны были впервые поговорить по дороге обратно. Фактически нам не удалось разговориться, потому что толпы людей шли вместе с нами, чтобы иметь возможность задать раввину вопросы по самым разным предметам. Они, естественно, не имели представления о том, что в это самое время должен был быть сделан первый шаг к моему обручению. Позднее мы встречались и высказывали друг другу свои суждения и мнения, делились мыслями и планами на будущее. Хайита поделилась с отцом и матерью своими впечатлениями от нашей с ней первой встречи. Родители сказали ей: «Кажется, ты находишь его подходящим кандидатом». На что Хайита ответила им, что, по ее ощущениям, есть основания для продолжения отношений, но только родителям решать, действительно ли я подхожу ей. Квинт-эссенция идеи сватовства заключается в сочетании чувств детей и разума родителей. Такое сочетание опыта и разумения родителей, способных объективно анализировать отношения между двумя молодыми людьми, с чувствами и субъективными впечатлениями самой молодой пары – это то, что объединяет две разрозненные части в единое целое. Соединенное действие разума и сердца дает связи шанс оказаться прочным долговечным союзом. Дочь, таким образом, сказала родителям, что эмоциональная основа заложена и что, по ее мнению, эта основа была взаимной, однако право принять решение о том, действительно ли молодой человек подходящая ей пара, остается за родителями. Мы с Хайитой встречались несколько раз, и нам казалось, что есть основа и взаимное желание создать семью, но мы не были единственными участниками, определяющими, существует ли возможность для обручения и будущего брака.

Кажется, раввин Френкель успокоился только после встречи с рабби Ойербахом. Он спросил дочь, когда у нас назначено следующее свидание, и попросил ее – если она готова – предложить мне при встрече, чтобы

¹ Песнь, которую запел Моше после перехода евреями Черного моря при исходе из Египта – Шемот, 15:1–8. Принято исполнять эту песнь в полночь в седьмой день праздника Песах.

я зашел к нему домой, где мы могли бы поговорить с глазу на глаз. По окончании следующей субботы я пришел к ним домой. Не то чтобы я опасался получить от отца девушки отказ, но я не представлял, чего вообще можно ожидать от этой встречи. Раввин Френкель позаботился отправить Хайиту с матерью к ее брату, раввину Исэру Френкелю, жившему тогда в южном Тель-Авиве, и мы с раввином остались одни.

Мы сидели на террасе, откуда открывался вид на весь Яффо. Раввин накрыл на стол для вечерней трапезы после исхода субботы, сказав: «Думаю, несколько часов уже прошло с тех пор, как ты ел. Садись, поешь, а потом поговорим». Он разогрел бульон, подал рыбу и холодец. Спросил, вкусна ли еда. После того как мы вместе поужинали, он произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Я могу называть тебя Исраэль, ведь так? Ты обращал внимание на вторую главу в Торе? В которой рассказывается о сотворении Адама и Ѓавы? Там сказано: «Эта на сей раз кость от костей моих и плоть от плоти моей. Этой наречется имя жена (*иша*). Ибо от мужа (*иш*) взята она»¹. И тут Тора – как будто в скобках – выходит за рамки своего повествования и говорит: «Посему покинет муж отца своего и мать свою, и прильнет он к жене своей, и станут они плотью единой». В этом сокрыта основа всего института брака. Это основа для всех будущих поколений. Будет так, как было у Адама и Ѓавы. И поэтому одно из семи благословений, которые произносятся под свадебной хупой, гласит: «Великой радостью обрадуешь возлюбленных – это жених с невестой – как обрадовал тебя Творец твой в райском саду, прежде». Каждая пара являет собой продолжение Адама и Ѓавы. Я же спрашиваю тебя, – сказал раввин Френкель – действительно, зачем было подчеркивать этот отрицательный аспект: «Посему покинет муж отца своего и мать свою»? Я понимаю важность подачи положительной стороны – «и прильнет он к жене своей, и станут они плотью единой» – создание семьи и дома, но зачем был нужен глагол «покинет»? Двадцать лет родители не покладая рук растят своего ребенка, не спят ночами, когда у него жар, берут сверхурочные, чтобы всем его обеспечить, заботятся обо всех его потребностях, а по прошествии двадцати лет он покидает отца своего и мать свою? Что это – разводное письмо отцу и матери? В чем их прегрешение? Почему нужно было сказать «покинет»? Я слушал его с огромным вниманием, отметил для себя, что это действительно хороший и захватывающе интересный вопрос, но разве ради этого я пришел к раввину домой? Я хотел услышать, что он думает о моем обручении с его дочерью! Или это фактически прощальный ужин? Он меня поит и кормит, прислуживает мне за столом – и вдруг озадачи-

¹ Берешит, 2:23.

вает меня трудным местом в Торе, и вот, я оказываюсь в великом смущении и мне нечего сказать?

Чуть поразмыслив, я признался раввину, что никогда не задумывался над этим стихом. Рассказал ему, что слышал от своих товарищей много толкований всего, что связано с обручением и семью свадебными благословениями, но ни один из них не ставил вопрос так. Мои слова не удивили раввина Френкеля, и когда я высказался, он произнес отеческим тоном: «Скажу тебе, что думаю я. Иногда я стою под хупой с женихом и невестой, которых не знаю, но иногда я как раз знаю пару, потому что Тель-Авив маленький город, где все всех знают. И не раз я задавал себе вопрос, окажется ли этот брак прочным. Ведь это два разных мира, как они вообще могут прильнуть друг к другу? И тогда я спрашиваю сам себя: «Ицхак Йедида, что ты собираешься сказать в своем напутственном слове этим двум мирам?» Но тогда приходит другая мысль: ведь справа и слева от них стоят родители, которые 20–30 лет назад были точно в таком же положении: взволнованные жених и невеста под собственной хупой. И они тоже не родились слепком с одной и той же формы. Но ведь их брак выдержал испытание временем. Они уже женят следующее поколение. Это значит, что, глядя на семью отца и матери, видя, что отец уважает мать, а мать – отца, что они живут вместе в мире и любви, молодые видят личный пример родителей, следуя которому они и сами продолжают цепь поколений». Тут раввин Френкель сделал небольшую паузу и обратился ко мне: «Израэль, глагол «покинет» не обязательно следует трактовать как оставление родителей. Это может быть и унаследует, то есть последует примеру, оставленному родителями. Есть материальное наследство, которое родители оставляют детям, прожив свои 120 лет. Но есть и духовное наследие, которое передают детям в тот день, когда они оставляют отчий дом и женятся. Тора представляет это как условие: не покинет, но унаследует муж отцу своему и матери своей, воспримет от них, возьмет с них пример. Только если унаследует муж отцу своему и матери своей, то у него будет шанс прильнуть к жене своей. И они создадут семью». Минуту я обдумывал сказанное, раввин дал мне время проникнуться этой идеей, после чего добавил: «Вот уже много времени я слышу твое имя, слава о тебе идет впереди тебя. Не секрет, что моей дочери делались предложения в Израиле и от женихов из заграницы, но твое имя возникало снова и снова». Раввин Френкель перечислил мне людей, которые называли ему мое имя, и среди них были его детский друг, еще по метивте в Варшаве, раввин Давид Вайсброд-Галахми и шурина моего брата Шико – Израэль Минцер. «Я много о тебе думал и немало тобой интересовался. Слышал о твоих способностях и превосходных личных качествах, ни с чем из этого я не спорю, сомнений не испытываю. Но

одна вещь беспокоит меня. Где твое «покинет»? Ведь у тебя нет дома, нет родителей, которых бы ты покинул, по словам стиха из Торы, нет и «наследия», которое ты унаследовал бы». Я чувствовал, что слезы душат меня. Его слова прозвучали как траурный плач по мне и моему разрушенному дому. Фактически раввин Френкель сказал мне, что из-за моей биографии, из-за моей личной истории как ребенка Катастрофы и сироты – никогда не видевшего своего дома и не росшего с папой и мамой, ребенка, которому не с кого было брать пример, – мне будет очень трудно построить свой дом в Израиле, создать семью. Далее раввин Френкель сказал: «Я помню речи твоего отца, раввина Моше Хаима Лау. Но ты не рос рядом с ним, не видел жизнь семьи изнутри. Почти всю жизнь ты провел в детских учреждениях, интернатах, йешивах. Это и есть причина опасений, которые я испытываю, вверяя тебе свою дочь. И все же, после всех разысканий о тебе, бесед с твоими наставниками в Иерусалиме и Бней-Браке и с твоими товарищами, я кое-что понял в отношении твоего брата». В то время Нафтали был редактором газеты «Шеарим», принадлежавшей партии «Агудат Исраэль», в этой газете раввин Френкель вел еженедельную колонку по вопросам галахи «Гельхата ле-Шабата», печатавшуюся в пятничных номерах. Раввин Френкель продолжил: «Я вижу, как ведет себя твой брат, попав в большой город. В таком огромном городе, как Тель-Авив, он остался евреем талита и тфилин. По всему тому, что я о тебе слышал, я верю и надеюсь, что единственная эта тревога, что была у меня, не оправдывается. Меня несколько не волнует, – добавил он заинтересованно, – что у тебя нет денег, что у меня не будет кума, с которым можно было бы поделить расходы. Поверь мне, что моей дочери делали предложение люди богатые и высокопоставленные, но это меня не интересует. Я тоже приехал в страну, не имея ничего за душой, с двумя младенцами, годовалым и двухмесячным. Был меламедом в талмуд-торе, и до сих пор живу в арендованной на долгий срок квартире. Меня интересует личность человека».

Раввин Френкель прожил в Тель-Авиве 51 год, 14 лет был главным раввином города, и у него никогда не было ни своей квартиры, ни собственной машины. Материальная сторона жизни действительно не занимала его, но он боялся, что отсутствие семьи оставило у меня душевные шрамы. Вдруг я не знаю, что такое дружба, не понимаю, что значит проявить щедрость или уступить. В этом крылась причина того, что раввин Френкель не отказался от возможности поговорить с моими товарищами по учебе, делившими со мной комнату. Он стремился узнать у них, как я отношусь к окружающим, как контактирую с людьми, не сказалось ли сиротство на моей способности к нормальному человеческому общению.

После этого долгого разговора с глазу на глаз в скромной квартире в районе Флорентин в Тель-Авиве раввин Френкель заявил: «Если есть готовность с твоей стороны, то с нашей есть желание видеть тебя членом семьи. Добро пожаловать». Волнение и огромная радость охватили меня, смешавшись с щемящей грустью от того, что папы и мамы нет со мной в этот радостный миг. Тем временем ребецн с дочерью вернулись домой, и раввин рассказал им о нашем разговоре. На той же неделе, 4 сивана 5719 года (10 июня 1959), мы пригласили обоих моих братьев, Йеѓошуа и Нафтали, и двоюродного брата, Шмуэля Ицхака Лау, собственно выступившего для меня сватом, на встречу с четырьмя сыновьями раввина Френкеля, чтобы поднять вместе бокалы, устроив то, что на идише называется *ворт-ѓаскоме* (устным соглашением). 22 сивана (28 июня 1959), в мой день рождения, состоялось обручение. А спустя восемь месяцев, 25 швата 5720 года (23 февраля 1960) мы с Хайитой поженились в Тель-Авиве.

Через семь недель после нашей свадьбы начался праздник Песах, и два события, произошедшие во время него, изменили мою жизнь.

Одно из них было связано с тем грустным обстоятельством, что 69-летний раввин Аѓарон Френкель, отец раввина Френкеля и дед моей жены, был госпитализирован в 12-м корпусе больницы «Тель Ёа-Шомер», где ему ампутировали ногу. Операция была вызвана начавшейся гангреной – ступня совсем почернела; оперировал профессор Мозес.

Молитва пасхального вечера завершилась, и мы пришли домой к раввину Френкелю, где стали ждать начала пасхального седера. Раввин, навещавший отца каждый день, обещал провести укороченный седер для всех больных, лежавших в 12 корпусе, где лечился его отец. После этого он должен был вернуться пешком из больницы «Тель Ёа-Шомер» во Флорентин.

Зная, что седер начнется с запозданием, мы ждали у него дома, когда он вернется. Каждые несколько минут к нам присоединялись еще несколько евреев, так как дверь в доме семьи Френкель не запиралась никогда. Пока мы так ждали, зашли два человека – Зискинд Финкельштейн и Элияѓу Ёорончик – старосты синагоги «Ор-Тора». Это была синагога, раввином которой был Аѓарон Френкель, лежавший, как мы помним, в больнице, выздоравливая после операции. Синагога эта также находилась в районе Флорентин, но стала пустеть, как потому, что многие из прихожан переселились в северный Тель-Авив, так и из-за отсутствия раввина, который мог бы привлечь в синагогу оставшихся. Это положение весьма заботило старост синагоги, и они попросили меня прийти назавтра, утром первого дня праздника, чтобы пройти со свитком Торы перед арон-кодешем во время молитвы о даровании росы и произнести проповедь. Я дал согласие, подумав, что вместо молитвы с раввином Френкелем я буду молиться в синагоге

его отца. Вот так, в этот вечер пасхального седера, ожидая возвращения раввина Френкеля от больного отца из больницы «Тель га-Шомер», я начал свою настоящую раввинскую службу. Посвящение в раввины я, правда, получил еще летом 5719 (1959), когда был обручен, но фактически начал служить в качестве раввина, бесплатно, разумеется, в этот первый день праздника Песах в синагоге отца моего тестя. Не было человека счастливее раввина Френкеля, когда, вернувшись домой, он услышал об этом. А когда я рассказал об этом его больному отцу, тот попросил меня присмотреть за вверенным мне его имуществом. К сожалению, он вернулся в свою синагогу всего на три месяца. После ампутации одной ноги врачи были вынуждены ампутировать ему и вторую, после чего он уже не вернулся в синагогу. В этой синагоге я исполнял обязанности раввина в течение пяти с половиной лет, пока в элуле 5725 года (август-сентябрь 1965-го) не был выбран раввином синагоги «Тиферет Цви» в северной части города.

Второе событие, которое я могу рассматривать в качестве поворотного момента в своей жизни, также произошло в этот Песах, в Холь га-Моэд. Мы с супругой проводили праздники у раввина, в его трехкомнатной квартире. Две комнаты были соединены вместе и служили как столовой, так и помещением для приема посетителей. В третьей комнате была спальня родителей. Мы спали в столовой. В четыре часа утра послышались оглушительные сирены скорой помощи и пожарных. Я открыл глаза, выглянул наружу и увидел, что небо сделалось красным, как кровь. Съемная квартира раввина Френкеля располагалась напротив Центра Воловского, в котором находилось множество мелких предприятий, в основном построенных из дерева столярных мастерских. Это был не первый раз, когда в этой округе занимался огонь: жители Флорентина нередко страдали от пожаров в этих бараках, загоравшихся из-за короткого замыкания или от незатушенной сигареты. Зрелище было пугающим: языки пламени вздымались к самому небу. Это выглядело так, как будто огонь не собирается останавливаться в своем распространении, и опасность грозит всему Флорентину. Я спрашивал себя, нужно ли будить всех домочадцев и уносить ноги, когда услышал доносящиеся из коридора шорохи. Осторожно приоткрыв дверь между столовой и тем, что в те времена в Израиле называлось холлом, я увидел, что узкий коридор забит людьми. Раввин Френкель, облаченный в свой халат, стоял посередине, как регулировщик движения, и направлял поток людей, безостановочно поднимавшихся по пятидесяти ступеням, ведущим к его квартире. На лестнице также теснились люди, которым не удавалось войти в тесную и заставленную вещами квартиру. Все жители Центра Воловского, ютившиеся в деревянных бараках, в молчании стояли там, не произнося ни звука.

Выяснилось, что это обычное зрелище. Раз в несколько месяцев, когда начинался пожар, жители квартала сносили в квартиру раввина на сохранение все самое ценное из своего имущества, будучи уверены, что в доме раввина их сокровища будут в полной сохранности. Раввин указывал рукой на пол, словно показывая потоку людей, где им складывать свои пожитки. И действительно, посреди комнаты уже возвышалась груда вещей: подсвечники, грампластинки, книги, ханукальные светильники, альбомы с фотографиями, картины. Кто-то оставил раввину на сохранение ручной патефон. Один из жителей квартала пробрался сквозь толпу к раввину, передал ему маленький сверточек и сказал, что там скручены 600 долларов, которые он хранит в качестве приданого своей дочери. Тут вошла молодая женщина и положила на пол, на пуховой подушке, своего грудного ребенка.

Увидев младенца, которого мать принесла к раввину домой, чтобы спасти его от огня, я оставил комнату, вышел на террасу, за которой бушевало пламя, и заплакал. Я вспомнил, как я сам маленьким ребенком прятался вместе с мамой от гестаповцев на чердаке в Пётркуве. Вспомнил, как мама совала мне в рот медовый коржик, чтобы я не кричал, вспомнил Мотла Каминского, взявшего у меня яблоко, как он откусил от него и не осмелился жевать, чтобы хрустом не выдать себя, а потом десятки лет не мог избавиться от чувства вины. Слезы текли по моим щекам, и я сказал себе, что если я собираюсь стать раввином, то хочу быть таким, как раввин Френкель. Раввином, которому общество доверяет безоговорочно, раввином, которому мать вверяет самое дорогое, что только есть у нее, – своего ребенка, чтобы спасти его.

Эта картина стояла у меня перед глазами в день моего вступления в должность Главного раввина Израиля. Написав о событиях того утра, я добавил в заключение: «Я узнаю еще одну книгу, потом еще одну, выучу новые и новые респонсы, но главный вопрос заключается в том, каким раввином я буду». Я уже описывал моего отца и рабби Меира Шапира из Люблина, и моего дядю, раввина Коломыи, и моего дядю из Кирьят-Моцкина, но в тот Песах на террасе в районе Флорентин я воочию увидел пример того, каким должен быть раввин.

Раввин Френкель был раввином простых людей, раввином общины, отцом для всех. Он никогда не был связан ни с одной политической партией. Был далек от политики. Он был раввином людей, ощущавших себя его близкими и доверявших ему с закрытыми глазами. До такой степени, что они были готовы верить ему младенца или – да не будут поставлены рядом – патефон и 600 долларов.

По истечении четырех часов, когда пожар был погашен, все разобрали свои вещи и отправились по домам, зная, что одно надежное место есть

всегда – дом раввина Френкеля. Это знание придавало жителям квартала сил и укрепляло в них веру. Эта картина запечатлелась в моей памяти, она направляет меня по раввинской стезе с тех пор, как я узнал раввина Френкеля, и по сей день.

Наша с женой совместная жизнь начиналась в Тель-Авиве, на улице Переца, 18, между центральной автобусной станцией и площадью Мошавот, в двухкомнатной квартире, к которой вели 75 ступеней. Там родились трое наших старших детей. Было нелегко подниматься в квартиру с двумя детскими колясками или с сумками с продуктами, но мы жили и не жаловались. В первые годы нашей семейной жизни тогдашний министр по делам религий, доктор Зерах Вергафтиг, предложил мне занять должность раввина в общине «Адат-Исраэль» в лондонском районе Хендон, на срок не менее трех лет. Услышав о предложении и о том, что мы подумываем о четырехдневной поездке в Лондон для ознакомления, раввин Френкель не спал всю ночь. Утром он вызвал к себе сына Арье, да будет благословенна его память, чтобы тот попытался убедить нас отменить поездку. Я поговорил об этом с раввином Френкелем, пытаюсь понять причину его беспокойства. Он сказал твердо и недвусмысленно: «Исраэль, они не дадут тебе уехать. Ни через три года, ни через тринадцать. А я не хочу бумажных детей. Вы с моей дочерью станете писать мне, раз в несколько дней отправите открытку, потом будете присылать фотографии внуков. Это – семья из бумаги. А я хочу, чтобы вы были здесь, со мной», – таково было его желание. Я успокоил его, ответив: «Вы – мой отец. Я никогда не приму решения в отношении какого-либо предложения, пусть даже и привлекательного для меня, если вы будете против, хотя бы чуть-чуть. Я восхищаюсь вами, вашей смелостью, когда вы согласились, чтобы я стал женихом вашей дочери, такой, каков я был – сирота без гроша за душой. А посему я принимаю любое ваше пожелание». Так я отказался от заманчивого английского предложения и остался в Израиле, подле раввина Френкеля, моего тестя.

Я не один раз слышал от тещи лаконичную фразу, которую она передавала со слов мужа. Для меня в этих словах заключался весь мир: «Никогда у меня не было причины разочароваться в Исраэле. Несмотря на его не Бог весть какие исходные данные, я смотрел далеко вперед». С моей точки зрения эти слова достойны того, чтобы быть высеченными в камне.

Спустя годы моей дочери была предложена очень достойная партия, речь шла о сыне одного из самых выдающихся раввинских авторитетов. Мне было очень лестно от самого факта, что моей дочери предлагают в мужья превосходного парня из такой достойной семьи. Однако было и одно «но». В качестве части предложения перед нами были поставлены различные условия, которые нам не понравились. Эти условия весьма тяготили меня.

Я тогда был раввином Нетании, а мой тесть – раввином Тель-Авива. Мне хотелось получить его совет. Я предложил жене, чтобы она съездила в Тель-Авив и послушала, что найдется у ее отца сказать по поводу этого сватовства и выдвинутых условий. Раввин Френкель приехал домой пообедать, Хайита сидела с родителями на кухне и рассказывала обо всех деталях сватовства. Раввин Френкель внимательно ее слушал, не произнося ни слова. Он съел суп, второе, а Хайита все говорила, он же словно завернулся в полог своего долгого молчания. Хайита подумала, что предмет разговора его совсем не интересует или показался ему не слишком важным, так что он вовсе ее не слушает. Закончив рассказ, она взглянула на отца с недоумением: «Папа, ты ничего не сказал. Ты вообще меня слышал?» – спросила она. Он сосредоточенно посмотрел на нее и ответил: «Ты хочешь услышать это от меня? Как Израэль вообще готов выслушивать такое постыдное предложение, когда речь идет о вашей прекрасной дочери? Кто они вообще рядом с ним?» Сорвавшись на крик, он продолжил: «Йихес (происхождение на идише)? Это у них-то йихес? А у него что, нет йихеса? Есть еще семья с 37 поколениями раввинов? И после всего, что он пережил ребенком, он теперь главный раввин Нетании! А я говорю, что это не предел для него, он еще взлетит высоко-высоко. И вот он-то должен подчиняться условиям, которые другие ему диктуют? Они нам делают одолжение, предлагая своего сына? Пусть скажут спасибо, что он готов был встретиться с ними. Я в жизни не говорил тебе, что я думаю о твоём муже, но ты знаешь, как я его ценю. И чтоб вы мне не смели принимать это предложение!» – заключил он решительно. С этим приговором жена и вернулась из отчего дома. Она была счастлива. «Нет большей радости, чем избавиться от сомнений», – утверждали наши мудрецы. Благодаря его полным укора словам у Хайиты камень упал с сердца. У нее тоже было немало сомнений в отношении этого сватовства. Но после того, как ее отец вынес свой приговор, для сомнений и вопросов не осталось места. Мы приняли его мнение, и предложение было немедленно отвергнуто. Хайита до того никогда еще не видела у своего отца такой вспышки ярости. Он был человеком, тщательно взвешивавшим каждое свое слово, но на этот раз его настолько рассердило и обидело отношение семьи жениха к нам, что он не мог не дать воли выражению своих чувств. Это также был один из немногих случаев, когда он высказал Хайите свое отношение ко мне, и его слова порадовали нас обоих, меня и жену.

¹ Слова взяты из комментария «Мецудат Давид» («Крепость Давида») рабби Давида Альшуллера (1687–1769). Данная цитата относится к толкованию стиха «Свет очей веселит сердце, добрая весть утучняет кость» (Мишлей, 15:30).

Гармония, царившая в семье Френкель, была одной из самых чудесных вещей, какие видели мои глаза. Самым большим счастьем для ребенка было всегда быть опорой для мужа, содействовать ему в любом деле и выслушивать его мнение в любой области и по любому вопросу. Ее восхищение мужем и поддержка, которую она ему оказывала, были единственными в своем роде, а семейные отношения у этой пожилой четы – исключительными. Я храню в сердце один пример, проливающий свет на человеческий союз, называвшийся семьей Френкель. Арье, сын раввина Френкеля, считался выдающимся *талмид-хахамом* (знатоком Торы). Он был крайне скромным и деликатным человеком, во всех смыслах достигшим совершенства. Он жил в Иерусалиме и каждое утро ехал на автобусе в Петах-Тикву, где служил *даяном* (судьей) в раввинском суде. В тот день, когда ему исполнилось 50 лет, вместо того, чтобы вернуться из суда в Иерусалим, он поехал к родителям в Тель-Авив и сказал им: «Я пришел поднять с вами бокалы и сказать вам спасибо за 50 лет, которые вы мне подарили». Родители собирались в тот вечер отправиться в Иерусалим с подарком для сына, как принято на день рождения, тем более если речь идет о пятидесятилетии. Они знали, что их сын – не человек торжеств и, верно, не станет отмечать свой день рождения, но выпить с ними рюмку за свое здоровье, полагали они, он будет готов. Однако, как было сказано, он опередил их и, вопреки общепринятым обычаям, приехал к ним сам, дабы поблагодарить родителей за то, что подарили ему жизнь и воспитали его.

Спустя два дня Арье, по своему обыкновению, поехал на автобусе из Иерусалима в Петах-Тикву. Когда автобус проезжал поблизости от аэропорта в Лоде, он вдруг сказал сидевшему рядом с ним пассажиру, что ему не хватает воздуха. Автобус остановился, рабби Арье положили на пол в проходе, кто-то пытался привести его в чувство, тем временем из близлежащего аэропорта вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу «Асаф га-Рофе», где на входе в приемный покой он попросил у раввина Йосефа Сегаль из Иерусалима, с которым познакомился в ходе поездки и который вызвался сопровождать его в больницу: «Скажи вместе со мной *Шма Израэль* («Слушай, Израиль»), я чувствую, что умираю». Раввин Сегаль перепугался и стал успокаивать его, говоря, что его только забирают в приемный покой и ничего с ним не случится, но Арье один начал говорить «Шма Израэль», а также «Господь царствовал, Господь царствует, Господь будет царствовать вовеки», – и умер, произнося слова молитвы. Смерть настигла его пятидесяти лет и двух дней от роду. Раввин Сегаль, который узнал в этой поездке о семейных связях Арье, не знал, как сообщить о смерти сына отцу, раввину Ицхаку Йедидье Френкелю. Зная, что я прихожусь рабби Арье зятем, он позвони мне в Нетанию. Я сразу же поехал в «Асаф га-Рофе», но уже

ничем не мог помочь, кроме как оплакивать эту потерю. Дежурный врач в приемном покое был репатриант из Советского Союза. Когда я стал расспрашивать его о последних минутах Арье, он сказал с изумлением: «Это наверняка был святой человек. Я никогда не видел, чтобы душа отлетала так спокойно и благостно».

Тем временем братья Арье, мои шурины Исер и Шимон отправились со скорбной вестью к родителям. Услышав о смерти сына, моя теща упала без чувств, и сердце ее остановилось. Доктору Майтосу из больницы «Ихилов» понадобилось шесть часов, чтобы вернуть ее к жизни и стабилизировать состояние. Подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, без сознания, ее перевезли в карете скорой помощи в больницу, тем временем мы все готовились к похоронам моего шурина в Иерусалиме. *Шиву* (семь дней траура) сидели в Иерусалиме, но папа потребовал, прежде всего, отвезти его в больницу «Ихилов», чтобы проведать маму: в его сердце гнездились серьезное опасение, что от него скрывают двойное несчастье. Я вел машину, а он сидел рядом, с заметно надорванной справа рубашкой в знак скорби о смерти любимого сына. Когда я проезжал по улице Карлибаха, собираясь повернуть к больнице, он надломленным голосом попросил сначала заехать домой, чтобы взять пиджак и прикрыть надорванную рубашку, которую он надел на похороны, и только после этого ехать к ребецн в больницу. Преданный муж, он, с учетом состояния жены, опасался, как бы она, увидев его надорванную в знак скорби по сыну рубашку, не вспомнила о происшедшем, что могло бы усугубить ее состояние. Раввин надеялся, что она еще не до конца пришла в себя и на какое-то время забыла о страшном горе, и не хотел, чтобы что-нибудь послужило ей напоминанием. Мы приехали в «Ихилов», ребецн все еще не приходила в сознание, на лице у нее была кислородная маска. Раввин Френкель подошел к ней и шепнул сквозь задернутую занавеску: «Хана, ты нужна мне». Он не имел представления, были ли его слова услышаны, но ему хотелось поддержать ее и сказать ей, насколько она ему нужна, чтобы подвигнуть ее на борьбу с болезнью и победу над ней. Мне показалось, что она улыбнулась ему. И когда он сказал то, что сказал, что было так ему несвойственно, она показала указательным пальцем на себя, потом на него и кивнула головой, как бы говоря: «Ты тоже нужен мне». Даже во власти смерти и болезней, когда они испытывали горе и беспредельное страдание, было заметно, что они поистине неземная чета. Такую связь, какая была между ними, не часто встретишь в наших местах. Спустя несколько недель ребецн поправилась, но боль утраты и скорбь о любимом сыне Арье она носила в себе до конца своих дней.

Сам раввин Френкель не единожды говорил о себе словами праотца Яакова: «Вот сойду из-за сына моего скорбящим в могилу»¹. Адмор из Гура, автор книги «Лев Симха», пришел к нам с соболезнованиями в один из дней шивы и, несмотря на отличающую этот хасидский двор немногословность, не удержал себя от нескольких слов: «Два месяца назад, в Грозные дни, тысячи людей заполняли бейт-мидраш Гура в Иерусалиме. Но второго такого, как Арье, там не было...»

Раввин Френкель умер от рака спустя два года, 4 элуля 5746 года (8 сентября 1986), немного не дожив до 73 лет. В свой 72-й день рождения он сказал, что полагает, что ныне исполнилось для него написанное в книге Шемот: «Число твоих дней сделаю полным»², гематрия слова «амале» («сделаю полным») – 72. В палате интенсивной терапии в больнице «Ихиллов», в свой последний час он попросил меня на минуту снять с него кислородную маску, потому что он должен мне кое-что сказать. Я склонился над ним, чтобы расслышать каждое его слово, и он сказал: «Не позволяйте маме бегать с торбой³ в руке, пока она переезжает с места на место, навещая всех детей. Пусть наш дом остается, как был, и вы приезжайте к ней, как приезжали к нам». Он был большой человек, и из всех больших людей, которых я встретил в жизни, ни одна личность не оказала на меня такого влияния, как он. Это относится и к тем 25 годам, которые я прожил при нем, и ко всем последующим годам, вплоть до сего дня. Ребецн, да покоится в мире, умерла 4 швата 5757 года (12 января 1997). Все десять лет своего вдовства она делала все, что было в ее силах, чтобы сохранить семью целой, и была венцом на наших головах.

С моим вхождением в семью Френкель раввин Ицхак Йедидья Френкель стал мне как отец. Перед свадьбой я стал называть свою тещу мамой. Слово «мама» я в последний раз произнес, когда мне было семь с половиной лет, после того, как мама толкнула меня, в последнюю секунду, в руки восемнадцатилетнего брата Нафтали. Когда она поняла каким-то материнским чувством, что только так у меня появится шанс выжить. Брат закричал ей: «Мама, мама, что я буду делать с ребенком?» А я разрыдался, отчаянно крича: «Мама, мама». Мама села на поезд смерти, и больше я не видел ее вовеки. С тех пор уста мои не произносили слова «мама», пока спустя многие годы я не назвал так мою тещу, ребецн Хану Френкель.

¹ Берешит, 37:35.

² Шемот, 23:26.

³ Слово «торба» употреблено в оригинале без перевода на иврит.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рог овна

И возвел Авраѓам очи свои
и увидел: и вот овен позади,
запутался в зарослях рогами.
И пошел Авраѓам
и взял овна,
и принес его во всесожжение вместо
сына своего.¹

¹ Берешит, 22:13.

И никто не говорил ни слова, ибо слишком велика боль¹

Нафтали сообщил мне по телефону: Адольф Эйхман² пойман. Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, собирается сообщить об этом в обращении к народу. Он был пойман израильской службой безопасности, возглавлявшейся Исером Гарелем³.

Это сообщение заставило меня рассказать родным, что означает для меня фамилия Эйхман.

В месяце ияр 5720 года (май 1960-го) все, что хранилось в моей памяти за семью печатями, стало выходить наружу. Плоти́на была прорвана.

¹ Ийов, 2:13. Стих полностью гласит: «И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что слишком велика боль (его)».

² Отто Адольф Эйхман (1906–1962) – немецкий офицер, сотрудник гестапо, непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев. Единственный человек, к которому в Израиле была применена смертная казнь.

³ Исер Гарель (наст. имя Исраэль Гальперин) (1912–2003) – в период 1952–1963 гг. исполнял обязанности Уполномоченного по службе безопасности, объединявшей внутреннюю и внешнюю разведку, и был единственным израильтянином, занимавшим этот пост, так как с его отставкой службы внутренней и внешней разведки были разделены и сама должность упразднена.

В юности я почти совсем избегал говорить о пережитом мною во время Катастрофы. Эти воспоминания я запечатал в своей памяти и хранил лишь для себя. Я мало делился ими с окружающими – как потому, что это были мои личные воспоминания, так и из-за царившего вокруг великого молчания. Молчания Катастрофы.

Историю моей жизни во время Катастрофы полностью я не рассказывал никому – ни жене, ни тестю с тещей. Я рассказывал чуть-чуть здесь, немного там, в зависимости от ассоциаций и встретившегося собеседника, но ни разу не изложил эту историю детально и последовательно. Мой брат Нафтали, который лучше меня знал нашу личную историю Катастрофы, будучи первоисточником, помнившим все в мельчайших подробностях, также хранил молчание.

Затаив дыхание, я ждал суда. Мы все осознавали, что это будет суд истории над Катастрофой. В день открытия суда я увидел Нафтали стоящим под моим балконом. Нафтали был тогда членом редакции газеты «Гаарец», и его послали обозревателем на этот суд, проходивший в Народном доме в Иерусалиме. Вернувшись из Иерусалима, он, вместо того чтобы пойти домой, прямо с автобусной станции пришел ко мне. «Что случилось?» – с тревогой спросил я. Он хотел подняться и поговорить. Всю ночь Нафтали просидел у нас с моей женой Хайитой. И всю ночь предавался воспоминаниям о военных днях. Это был первый раз, когда я услышал от него связный рассказ о том проклятом времени, изложенный почти в точном хронологическом порядке. Моей жене кошмарная история нашего прошлого открывалась впервые за время нашей совместной жизни.

Процесс Эйхмана стал поворотным моментом не только для нас. Он привел к разрушению внутренних преград у многих, и люди заговорили, кто больше, кто меньше, о том, что они пережили в те мрачные дни. Процесс Эйхмана вызвал из небытия память о Катастрофе у людей, которые предпочли вытеснить ее на задворки сознания или хранить в самой строжайшей тайне. В ходе процесса ужасы Катастрофы открывались миру в подробностях, в немалой степени благодаря свидетельству Ка-Цетника, он же Йехиэль Файнер, гебраизировавший свою фамилию в Динур («файн» означает искра, «динур» – огненный) и выбравший имя Ка-Цетник в качестве литературного псевдонима.

Его свидетельство было кратким, заняв всего девять строк, и оттого произвело более мощное впечатление, чем многие другие свидетельства, прозвучавшие на процессе. Он поднялся на трибуну для дачи свидетельских показаний, увидел Адольфа Эйхмана в стеклянной будке и описал Освенцим как другую планету. В его глазах Освенцим и был другой планетой,

не имевшей ничего общего со знакомым нам миром. Он стал описывать жертвы, выходявшие из поезда и проходившие селекцию доктора Менгеле. Он не успел закончить фразу, не назвал имя Менгеле, а только повторил три раза слова «я вижу». Ка-Цетник увидел, как тени прошлого встают к жизни, унесся душой назад к дням Освенцима, сознание его помутилось от волнения, он лишился чувств и упал в обморок на свидетельской трибуне. Его забрали для оказания медицинской помощи. И на этом его свидетельство завершилось.

После процесса Эйхмана я иногда встречался с Йехиэлем Динуром. Он знал моего отца, познакомившись с ним во время учебы в йешиве «Хахмей Люблин» рабби Меира Шапиро, двоюродного брата отца. Йехиэль Динур был лучшим учеником рабби Исраэля Йосефа Пекарского, одного из крупнейших раввинов в последнем поколении и глав йешивы «Хахмей Люблин».

Динур Ка-Цетник жил неподалеку от меня, но почти не выходил из дому. Обычно я приходил к нему, и мы разговаривали. В основном я слушал его. Я поведал ему о некоторых моих воспоминаниях, и между нами возникла сильная эмоциональная связь.

Ужасы Освенцима стояли у него перед глазами не только во время дачи свидетельских показаний. Вся его жизнь, все литературное творчество прошли под влиянием этих неотступных видений.

Ка-Цетник был женат на Нине, дочери профессора Ашермана¹, заведующего отделением гинекологии в больнице «Га-Кирия» в Тель-Авиве, который в то время был одним из самых известных и уважаемых врачей в Израиле. Обряд бракосочетания они провели во дворе дома семьи Ашерман. Ка-Цетник избегал людской толпы, боясь шума и гомота, и поэтому пожелал, чтобы на его свадьбе приустроила лишь горстка людей, не больше миньяна. На наших с ним встречах он рассказал, что родители Нины без особого восторга отнеслись к роману между ним и их дочерью. Она была единственной дочерью известных и обеспеченных людей, и, с их точки зрения, ее мир не мог иметь никаких точек соприкосновения с неряшливо одетым беженцем Катастрофы со странными замашками, чудной речью и вызывающим недоумение образом жизни. Ка-Цетник являл собой полную противоположность всему, что воплощал в себе благородный дом

¹ Йосеф (Густав) Ашерман (1889–1968) – израильский гинеколог, по имени которого назван синдром Фритша-Ашермана. Больница «Га-Кирия» была собственно родильным домом с несколькими гинекологическими отделениями, существовавшим с 1951 по 1997 год и официально называвшимся Родильным домом им. Йосефа Серлина. В Израиле профессор Ашерман сначала заведовал отделением гинекологии в больнице «Хадасса» в Тель-Авиве, а затем возглавил роддом «Га-Кирия».

семьи Ашерман. Но несмотря на это, свадьба состоялась. Посреди церемонии, занявшей не больше десяти минут, Ка-Цетник задрожал всем телом и стал приговаривать: «Подвинься, дай места... воздуха... расступитесь...» Профессор Ашерман потянул его за рукав, пытаясь показать, что надо вести себя как положено и не мешать церемонии, но Ка-Цетник никак не успокаивался. По окончании обряда он, словно очнувшись от сна, дрожащим голосом рассказал своей молодой жене: «Все пришли ко мне на свадьбу. Места не было, чтобы пошевелиться. Тут стоял папа, мама улыбалась мне, брат, сестра, дяди и тети, и мой рабби – все теснились вокруг меня». И он перечислил по именам всех своих родных и гостей, вне всякого сомнения, уверенный в том, что все они были у него на свадьбе. Их тесная толпа и вызвала у него удушье.

Таким был Ка-Цетник. События Катастрофы он переживал, как если бы они не остались уделом прошлого, а происходят сейчас у него перед глазами. Часть своих книг – «Саламандра», «Дом кукол», «Зовите меня Фейфель», «Настенные часы» и другие – он писал, затворившись в сторожке на апельсиновой плантации, отключившись от настоящего и с головой вернувшись «туда». У него не было не только что пишущей машинки, но, как он мне рассказывал в одно из моих посещений, он и чернилами не писал. «Кровью моего сердца я писал», – заявил он.

Уже при первой нашей встрече – я был тогда раввином Тель-Авива-Яффо – я вступил с ним в жесткую дискуссию: «Я не согласен с вами и говорю это при первой же встрече», – начал я. «Конечно, до сих пор мы лично не встречались, но я видел вашу фотографию в газете, там вы стоите на свидетельской трибуне, и слышал ваше свидетельство по радио. И одна фраза в вашем коротком свидетельстве возмутила меня. Вы дали миру концепцию «Освенцим – это другая планета», а это неверно. Если бы Освенцим был другой планетой, было бы легче понять Катастрофу. Но в том-то и состоит двойное несчастье, что Освенцим был ровно той же планетой, на которой мы жили прежде, живем теперь и будем жить дальше. Те, кто совершал жестокие убийства ни в чем не повинных людей, были люди, которые, возвращаясь домой после рабочего дня, заполненного уничтожением других людей, спокойно поливали цветы в своем ухоженном садике. Они тревожились, как бы цветок не увял, заботливо и с любовью ухаживали за ним. После того, как разрывали на части новорожденного младенца и разбивали головы женщинам и мужчинам. Они играли в куклы со своими маленькими дочками, слушали, прикрыв глаза, классическую музыку, погружаясь в высшую духовность, которой проникнуты звуки Баха и Бетховена, – послетого как загоняли и заталкивали тысячи людей в газовые камеры. Их наслаждение от музыки ничуть не

становилось меньше, хотя они точно знали, что происходило там. И это другая планета?» – спросил я Ка-Цетника и сам же ответил: «Нет и нет. Это были такие люди, как вы и я, и в этом и состоит самая большая проблема. Отправляя весь этот кошмар на другую планету, вы преуменьшаете серьезность дела. Вы утверждаете, что подобное Катастрофе не может произойти с нами снова. И, по моему скромному мнению, – сказал я ему, – вы допускаете ошибку».

Ка-Цетник молчал. Он не спорил, просто закрылся в себе. Мне же было ясно, вне всякого сомнения, что нельзя упоминать понятие «другая планета», ибо это не было другой планетой. Говорить так – значит допускать грубейшую фальсификацию истории.

К нашему прискорбию, у нас нет гарантии, что этот воплощенный ужас не произойдет снова, где-нибудь, когда-нибудь. Один урок я выучил – что нужно верить угрозам буйно помешанных, а не отмахиваться от них. Я не верю выражениям вроде: «Да он же *мешигинер*, он на самом деле этого не хочет, этого не может быть, мир не даст этому произойти». Я содрогаюсь всякий раз, когда слышу подобные высказывания. Для меня не подлежит никакому сомнению, что следует самым серьезным образом воспринимать любого сумасшедшего, пусть даже и самого незначительного.

Никто не воспринимал всерьез маленького австрийского ефрейтора, который в мюнхенских подвальных выдумывал свою преступную расовую теорию. Эта столь лживая фраза – «мир не позволит» – раздавалась в Европе и в начале 40-х годов. И сегодня из уст разнообразных правителей раздаются совершенно неприемлемые высказывания, как, например, обращенный к миллиону шахидов призыв Арафата захватить Иерусалим.

После Катастрофы мы не можем позволить себе закрывать глаза на тех, кто делает заявления, кажущиеся нам метафорическими, и преуменьшать их значение. Каждый *мешигинер* имеет самые серьезные намерения и может воплотить их в жизнь, если мы не будем воспринимать их всерьез и не остановим его, используя всю мощь своих сил. Если это произошло там, в сердце человеческой культуры, то это может произойти снова, в любом месте.

Бухенвальд располагался в восьми минутах от театра в Веймаре, колыбели немецкой и общеевропейской культуры. Зрители 40-х годов – наряду с драматическими, балетными и музыкальными постановками в изысканно изукрашенных театрах – могли наблюдать дым, поднимавшийся из труб расположенного в непосредственной близости лагерного крематория. Этот дым невозможно было не заметить, но они предпочитали закрывать на него глаза. Майданек находился в городской черте Люблина, Аушвиц-

Биркенау был частью городка Освенцим. И никто не имеет права прикрываться лживым доводом «мы не знали, мы не слышали».

* * *

Через два года после начала процесса Эйхмана отмечалась двадцатая годовщина восстания в Варшавском гетто, и власти коммунистической Польши собирались отметить эту дату помпезной церемонией. На это мероприятие была приглашена и израильская делегация, включавшая – среди прочих – раввина Ицхака Йедидью Френкеля, Гидона Хаузнера¹ – известного тогда во всем мире в силу того, что он был главным прокурором на процессе Эйхмана, Нахума Гольдмана, президента Всемирного еврейского конгресса, а также нескольких повстанцев гетто, как, например, Стефана Граека и Аншеля Вайса – главу Союза выходцев из Польши.

Церемония широко освещалась в средствах печати и транслировалась по всей Европе. В ней приняли участие президент Польши, премьер-министр и другие министры, однако сама подача материала неизбежно создавала ощущение, будто в гетто восстали поляки, а не евреи. Ни единой еврейской буквы, ни слова на иврите или идише там не было ни показано, ни сказано, и не было предоставлено слово представителям Государства Израиль. С точки зрения коммунистических польских властей, в Варшавском гетто был зажжен факел борьбы социалистов с немецким фашизмом. На церемонии не было предоставлено слово даже Гидону Хаузнеру, известной в то время в мире личности – благодаря его звонкому голосу и брошенному им в лицо заклятого врага «Я обвиняю».

Однако величественная фигура патриарха – раввина Френкеля – выделялась среди присутствующих. Своим внешним видом раввин Френкель напоминал всем образы тех людей, которых они поминали в своих речах. За двадцать лет, прошедших после уничтожения гетто, в Варшаве не видели таких людей, как он, – в традиционном еврейском одеянии. Раввин Френкель воскресил в памяти поляков исконный образ еврея, на протяжении сотен лет бывший частью их мира и ставший – с окончанием Второй мировой войны – уделом прошлого, музейным экспонатом. Никто из присутствовавших не мог не обратить на него внимания.

Мемориальная церемония проводилась около памятника повстанцам Варшавского гетто, творения скульптора Бориса Раппопорта. Это была

¹ Гидон Хаузнер (1915–1990) – израильский юрист и политический деятель. Был депутатом Кнессета нескольких созывов, занимал должности юрисконсульта правительства, министра и председателя института «Яд ва-Шем», однако более всего известен как главный прокурор на процессе Эйхмана.

впечатляющая церемония, на которой по-польски звучали речи ораторов и произносились высокие слова во славу победы над фашизмом. Евреи и еврейство не были упомянуты даже намеком. Вся Вторая мировая война была представлена как война фашизма с коммунизмом, который преподал миру урок высшей доблести и героизма. И тогда, в момент передышки между речами, в какой-то миг абсолютной тишины, в нарушение скрупулезного плана церемонии, раввин Френкель решился на поступок. Он встал перед тысячами людей и без микрофона – потому что не был в числе утвержденных по плану ораторов – внезапно разразился воплем, исходившим из самого сердца: «Йитгаддаль ве-йиткаддаш шме раба» («Да освятится и возвеличится великое имя Его» (арам.), первые слова молитвы Кадиш). Он читал поминальную молитву по миллионам евреям, убитым на земле Европы.

В течение многих лет, когда он возвращался к описанию этого момента, глаза его наполнялись слезами, и он рассказывал, испытывая такое же волнение, какое испытал там, произнося Кадиш на польской земле: «Читая Кадиш, я не видел стоявших вокруг меня людей. Перед глазами у меня были евреи Ленчицы, Рыпина, Варшавы и всех остальных городов и местечек Польши; это по ним я читал поминальную молитву. Вокруг площади с памятником я видел людей, еще с ночи залезших на деревья, потому что они не хотели упустить действие, на которое им не удалось достать приглашения. Они расселись по всем ветвям на деревьях, и когда я закончил молитву, они ответили мне «амен». Я не мог их слышать, но видел их лица. Они были моим хором, моей общиной».

Вторым впечатлением, навсегда оставшимся в его сердце, была поездка делегаций в Треблинку. Рядом с тупиком, где заканчивались железнодорожные пути, было поле, полное человеческих костей, открытых взору каждого. Раввин Френкель всмотрелся в них и замер на месте. Рассказывая мне об этом зрелище, от которого кровь стыла в жилах, он говорил: «Я был как пророк Йехезкель. Я стою среди долины, и она полна многих костей, иссохших костей»¹. Он взял с собой туда польскую газету, в которой описывалась проводившаяся накануне церемония, и в эту газету стал собирать кости с поля. Польский фотограф запечатлел раввина из Тель-Авива, с длинной бородой и в черной бархатной шляпе с широкими полями на голове, со слезами на глазах склоняющегося над землей и собирающего с польской земли иссохшие кости убитых в Треблинке евреев.² Когда раввин

¹ См. Йехезкель, 37:1–2.

² На следующий день фотография была опубликована во всех европейских газетах и заняла первое место на конкурсе документальных фотографий того года. (Прим. автора.)

Френкель спросил польского сопровождающего, приставленного к делегации, почему не захоранивают – или, по меньшей мере, не засыпают – человеческие кости, он получил ответ, от которого мурашки побежали по коже: «Рабби Френкель, вы и представления не имеете, сколько раз засыпали, и не только землей: асфальтом с катком покрывали. Но пройдет год – и все снова вылезает наружу, как будто ничего и не делали». Евреи из Антверпена и Нью-Йорка, ежегодно приезжавшие в Треблинку в те годы, подтвердили, что это действительно так: иногда кости обнажены, а иногда – прикрыты землей.

Словно польская земля услышала слова поминальной молитвы *Изкор* по жертвам Катастрофы: «Земля! Не закрой крови их и да не будет места воплю их!»¹ – и ответила согласием.

Вернувшись в Израиль с завернутыми в польскую газету костями, раввин Френкель обратился к предприятию «Эвен ва-сид» («Камень и известь») и к руководству строительной компании «Соль Боне» («Прокладка дорог и строительство») с просьбой доставить ему большие камни для возведения памятника над могилой, которую он сам вырыл для костей, привезенных с полей смерти в Треблинке. И действительно, на кладбище Нахлат-Ицхак в Тель-Авиве стоит весьма заметный памятник, сделанный из больших камней, на котором написано только одно слово: «Треблинка». Каждый год в День памяти Катастрофы, в четыре часа дня раввин Френкель имел обыкновение приходить туда в сопровождении людей, выживших в Треблинке, для совершения обряда поминовения. Сегодня традицию отца продолжает его сын, раввин Исер Френкель, да продлятся его дни.

В ходе посещения Польши израильской делегацией евреи молились в субботу в синагоге Ножиков, единственной сохранившейся в Варшаве синагоге. В нисане 5723 года (апрель 1963-го), через 18 лет после окончания войны, евреи собрались в этом месте для утренней субботней молитвы. В неделю, на которую выпадает 27 нисана, в синагогах читают раздел *Шмини* из книги Ваикра, в котором рассказывается о смерти Надава и Авигу – сыновей первосвященника Агарона. Раввин Френкель задержался на одном стихе в этом недельном разделе Торы: «И братья ваши, весь дом Израиля, оплакивать будут сожженное, что спалил Господь»². Нельзя было найти более подходящий стих для этого времени, места и общества евреев, собравшихся там со всех концов света, после того как нога их не ступала на польскую землю со

¹ Парафраз стиха из книги Ийов, 16:18.

² Ваикра, 10:6.

времени Катастрофы. О них говорила Тора в этом стихе, и они оплакивали сожженное.

Раввин Элиягу Кац, раввин Братиславы, в то время бывшей частью коммунистической Чехословакии, также присутствовал там, в синагоге. Власти Чехословакии разрешили ему выехать в Польшу в явно пропагандистских целях: показать миру, что в их стране не преследуются меньшинства и при коммунистическом режиме продолжается еврейская жизнь. Тем не менее его не оставили без присмотра и отслеживали каждый его шаг. На протяжении всех дней пребывания гостей на польской земле он не раскрыл рта. Однако в субботу, в синагоге, евреи оказали уважение раввину из Братиславы и предоставили ему слово. Раввин Элиягу Кац поднялся на биму, согнувшись всем телом, поцеловал завесу на арон-кодеше, повернулся к собравшимся и как представитель евреев молчания – евреев стран Восточной Европы, произнес проповедь на тему недельного раздела Торы, заключающуюся всего в двух словах: «И безмолвствовал Аѓарон»^{1,2}

После этой поездки в Польшу раввин Френкель обязательно упоминал Катастрофу в каждой своей речи: при *слихот* (утренних покаянных молитвах в неделю, предшествующую Судному дню), на «вторых обходах», на бар-мицах, в День Независимости и при окончании написания свитка Торы. Он также вменил себе в обязанность, которую никогда не нарушал, прочитывать – перед произнесением молитвы *Шма* – главу из книги воспоминаний о той или иной общине, а число таких книг росло с каждым годом. Стопки этих книг были сложены в его спальне на платяном шкафу, и он неукоснительно читал перед сном главу из одной из них.

* * *

Однажды я остановил такси в Тель-Авиве. Лицо мое в городе было уже относительно узнаваемо. Таксист посмотрел на меня в зеркало заднего обзора и начал разговор: «Вы раввин Лау, так?» – спросил он и продолжил: «Вы из выживших в Катастрофе, так? Я слышал, как вы рассказывали об этом в одной из радиопередач. Я должен рассказать вам нечто личное. Подростком я тоже пережил Катастрофу. Сегодня у меня трое детей. Каждый день в обеденный перерыв я обязательно заезжаю домой, чтобы пообедать вместе с женой и сыновьями. На станции такси знают об этом моем пунктике. Мне важно побыть со своими детьми днем, когда они возвращаются из школы, посидеть, пообедать, поговорить с ними. Это

¹ Там, 10:3.

² Впоследствии раввин Элиягу Кац стал главным раввином Беэр-Шевы. (Прим. автора.)

единственный час в день, когда я их вижу. Вечером, когда я возвращаюсь с работы, они уже спят».

«На этой неделе, – продолжал он, – посреди обеда мой восьмилетний сын спрашивает меня: «Скажи, пап, это правда, что ты мамзер (незаконнорожденный)?» Я почувствовал, будто кровь выпускают у меня из тела, кусок застрял в горле, я думал, что задохнусь. Я отругал его: «Как ты разговариваешь с отцом? С чего это вдруг мамзер? У нас дома так не говорят!» Мальчик немного испугался. Защищаясь, сказал, что дома уже произносилось слово мамзер. Дети спросили учительницу о значении этого слова, и она нашла способ объяснить, сказав, что мамзер – это человек, про которого не знают, кто его отец и мать. «Ведь со стороны мамы у нас есть дедушка и бабушка, – объяснил сын, – мама знает, кто ее папа и мама. А ты? С твоей стороны у нас нет дедушки и бабушки, это значит, что у тебя нет родителей, и ты не знаешь, кто они. Получается, что ты мамзер, верно?» Даже теперь, когда таксист рассказывал мне об этом, на лице его отразились волнение и гнев. «Я вскочил со стула, слезы душили меня, кинулся в ванную и плакал, как не плакал с тех пор, – сказал он и добавил: – Вы первый человек, кому я рассказал об этой страшной вещи. Я был взволнован вместе с ним, однако сказал, что его сын прав. «Вы неправильно вели себя. Если ваших родителей больше нет, если они не могут дарить вашим детям ханукальные деньги и у них нельзя украсть *афикоман* на пасхальном седере, то откуда вашему сыну знать об их существовании? Почему вы не рассказывали сыну об их судьбе? Как они жили, как умерли, кем они были. Я понимаю, что нельзя рассказывать восьмилетнему ребенку обо всех ужасах Катастрофы, и уж, конечно, о горьком конце ваших родителей. Но до этого страшного конца они жили полной жизнью, и ваши дети должны о них знать, ради преемственности поколений, ради семейных связей, ради полноты личной истории каждого из них». Таксист кивал головой, и когда я выходил, уже был в состоянии поблагодарить меня. В своем воображении я уже слышал разговор, который произойдет у него с детьми за обедом на следующий день.

Этот таксист всего лишь один пример из многих, он наглядно показывает ту атмосферу, которая царила в стране в первые годы после создания государства. Люди предпочитали не говорить об ужасах Катастрофы. Некоторым не хотелось бередить раны, другие испытывали неоправданный стыд. А кто-то считал, что не следует взваливать на детей груз своей боли, рассказывая об извращении нацизма.

Но это только часть правды. Выжившие предпочитали молчать, но в заговоре молчания участвовали и уроженцы страны: они предпочитали не слышать.

Все выжившие в Катастрофе, прибывавшие в страну после войны, оказывались в действительности, в которой превозносился дух героизма. Эцель и Лехи, Хагана и Пальмах во имя создания государства проводили дерзкие боевые операции. Еврейское население страны насчитывало около 600 тысяч человек, и большинство было так или иначе вовлечено в активную борьбу или вносило свой вклад каким-либо другим способом. И тут стали приезжать мы, беженцы Катастрофы. Наша война осталась у нас за спиной, а страна была занята своей войной, угрожавшей ее существованию.

В глазах бесстрашных *сабр* (уроженцев страны) мы были всего лишь «мылом», понаехавшим «оттуда». Много лет спустя, когда я был Главным раввином Израиля, ко мне обратился тогдашний председатель Кнессета Дов Шилианский¹, сам выживший в Катастрофе, уроженец города Шавли (Шауляй) в Литве, избежавший смерти в лагере Дахау. Он просил меня о помощи в изменении слов молитвы, объяснив мне, что я – первый Главный раввин Израиля из выживших в Катастрофе, и в качестве такового, конечно, сумею понять его боль. Он имел в виду фразу: «Памяти мучеников Катастрофы, ведомых на смерть, как скот на бойню». Шилианского возмущали слова «как скот на бойню», и он просил добиться того, чтобы они были убраны из текста. Я согласился с ним и исполнил его просьбу. Мой отец не шел на смерть, как скот на бойню. Он, как и остальные евреи, бывшие с ним, стоял, выпрямившись в полный рост, до последнего мига своей жизни. Они были проникнуты глубокой еврейской гордостью и прилагали все усилия к тому, чтобы не только сохранить образ Бога в человеке, но и дать ему практическое выражение.

В воюющем и формирующемся молодом израильском обществе образы жертв Катастрофы и выживших в ней вырисовывались искаженно и отрицательно. Поэтому многие из выживших не желали, чтобы на них навесили, в основном от невежества, ярлык бессилия и никчемности. Пере-

¹ Дов Шилианский (1921–2010) – израильский общественный деятель, адвокат. Участник Сопротивления в Шауляйском гетто. Репатриировался в Израиль на легендарном корабле «Альталена», расстрелянном и потопленном Рабином по приказу Бен-Гуриона на рейде Тель-Авива. В 1952 году был арестован в подвале МИДа Израиля с взрывчаткой в сумке. По обвинению в связях с организацией, протестовавшей против соглашения о выплате репараций Германией, был осужден на один год и девять месяцев заключения. В тюрьме написал две книги: публицистические заметки «В еврейской тюрьме. Из дневника политзаключенного» и роман о событиях Катастрофы «Музельман». Окончил юрфак Еврейского университета в Иерусалиме. Был членом комиссии по этике Союза адвокатов Израиля. Избирался депутатом Кнессета нескольких созывов. Был председателем Кнессета 12-го созыва. Почетный гражданин Тель-Авива.

жить побои, холод, голод, болезни, унижение, гибель родителей и детей и остаться в живых – есть ли доблесть выше этой?

17 швата 5765 года (27 января 2005) в лагере Аушвиц-Биркенау проводилась мемориальная церемония, посвященная шестидесятилетней годовщине освобождения лагеря Красной армией. Мировые лидеры из Израиля, Европы и США прибыли на церемонию тепло одетыми и, простояв три часа на морозе под не прекращавшим идти снегом, выразили восхищение выносливостью заключенных, в течение многих лет выживавших в этом холоде в полосатых одеждах лагерников.

Поворотные исторические моменты, как, например, процесс Кастнера и в еще большей мере процесс Эйхмана, заставили многих открыть свои сердца, и люди начали говорить. У тех же, кто по-прежнему хранил воспоминания Катастрофы за семью печатями, плотина молчания была прорвана с началом процесса Демьянюка, известного под кличкой Иван Грозный и обвиненного в том, что он был охранником в лагере уничтожения Треблинка.

Течение лет и приближение старости заставили многих понять, что они – последние головни, выхваченные из пламени, и что им нельзя больше откладывать на потом рассказ о своей жизни, ибо завтра уже может быть поздно. Некоторые опасались умереть, унеся с собой в могилу все свои воспоминания, так что мир о них никогда не узнает. Явление отрицания Катастрофы, набирающее силу в мире, также подталкивало их к тому, чтобы поделиться своими воспоминаниями о пережитом. Параллельно в школах в учебную программу было введено требование написания сочинений на тему «семейных корней», что было призвано способствовать открытию учениками их собственной семейной истории. Подростки подолгу расспрашивали своих бабушек и дедушек, которые подробно рассказывали о событиях своей жизни, открывая внукам все то, что скрывали от детей. Поколение Катастрофы открывалось третьему поколению потомков в значительно большей мере, чем второму. Одно из объяснений этого явления заключается в том, что выжившие в Катастрофе пытались уберечь своих детей от рассказов о пережитых ими в детстве ужасах в стремлении – прежде всего – вырастить их в Израиле душевно здоровыми людьми. Когда дети выросли, и родители имели возможность убедиться в том, что вырастили совершенно нормальных людей, они ощутили, что теперь уже можно рассказать о своем личном опыте внукам, уроженцам страны, родившимся и росшим в семьях здоровых, сильных и нормальных родителей. Ко всему этому прибавилась благословенная инициатива кинорежиссера Стивена Спилберга, посланники которого записали множество устных свидетельств выживших в Катастрофе людей

(эти записи хранятся ныне в институте «Яд ва-Шем»). Это важное начинание внесло большой вклад в сохранение памяти о Катастрофе. К этому следует прибавить организованные поездки юных израильтян в лагеря уничтожения в Польше и других странах, для проведения маршей жизни и в рамках мероприятий, устраиваемых школами, армией и другими организациями. Так соединенными усилиями была разрушена стена молчания, за которой скрывались воспоминания о Катастрофе.

Кнессет постановил считать дату начала последнего боя во время восстания в Варшавском гетто – 27 нисана – Днем памяти Катастрофы и героизма. Я же испытываю внутренний протест как против названия этого дня памяти, так и против выбранной для него даты.

Кнессет назвал этот день «Днем памяти Катастрофы и героизма», однако союз «и» в этом названии не соединительной, а противопоставительный. Это «и» способно навесить отрицательный ярлык на шесть миллионов погибших, как бы говоря: была Катастрофа – но наряду с ней был и героизм. Как если бы восстание в Варшавском гетто и Мордехай Анелевич¹ – это героизм, а все остальное – это Катастрофа. Горстка истинных героев, а все остальные – безымянные жертвы и «скот, влекомый на бойню». Это грубое искажение истины, оскорбление памяти погибших и, главное, удар по достоинству выживших. Люди, которые сумели сохранить в себе и образ Бога, и человеческий облик и остаться людьми, были не меньшими героями, чем те, кто держал в руке бутылку с зажигательной смесью и из окна своего дома бросал ее в немецкий танк. В формулировке названия дня памяти проясляется стремление расставить всех по ранжиру, при этом игнорируется речение из трактата Авот: «Не суди ближнего твоего, пока не окажешься в его положении»². Значительно более верным, подобающим и справедливым было бы назвать этот день «Днем памяти героизма Катастрофы» или «Днем памяти Катастрофы и ее героев».

И если бы выбор был за мной, я бы установил и другую дату для дня Катастрофы. В этом случае мы бы отмечали этот день в годовщину проведения Ванзейской конференции или в дату начала Второй мировой войны. На Ванзейской конференции, проводившейся 20 января 1942 года, была официально принята программа окончательного решения еврейского вопроса. 27 нисана было выбрано, потому что в этот день началось падение Вар-

¹ Мордехай Анелевич (1919–1943) – командир Еврейской боевой организации и руководитель восстания в Варшавском гетто. Следует отметить, что Анелевич осознавал, что у повстанцев нет шансов ни на спасение, ни тем более на победу. В последнем письме своему заместителю Ицхаку Цукерману он писал: «Моя мечта сбылась и стала явью. Я удостоился увидеть еврейскую оборону во всем ее величии и великолепии».

² Слова Гиллеля в Пиркей Авот, 2:4.

шавского гетто. Однако гетто не было окончательно уничтожено 19 апреля 1943 года – 27 нисана 5703 года. Верные солдаты фюрера хотели преподнести ему уничтожение гетто в качестве подарка на день рождения, которое он отмечал 20 апреля. Поэтому они обрушили на гетто всю свою военную мощь именно в этот горький день жестоких боев – 19 апреля, 27 нисана. Но и тогда осажденные в гетто не были покорены. По этой причине мне непонятен и неприятен выбор этой даты. Премьер-министр Израиля, покойный Менахем Бегин, предлагал объединить все дни памяти и признать 9 ава общим днем памяти и для жертв Катастрофы, и для павших в войнах Израиля во все времена. 9 ава – это традиционная дата разрушения обоих Иерусалимских Храмов. Моя реакция на это предложение была отрицательной, при всем моем огромном уважении к выдающемуся человеку, выдвинувшему его, хотя бы по той прозаической причине, что 9 ава всегда приходится на период летних каникул во всех учебных заведениях, начиная с детских садов и кончая высшими образовательными учреждениями, и даже ученики йешив распускаются на каникулы в это время. Кто научит молодых, кто объяснит, кто достучится до их сердец, кто внедрит в сознание память о Разрушении, если единственный день памяти придется на летние каникулы?

* * *

«Выжившие в Катастрофе» – это не только те, кто уцелел в лагерях. Категория выживших в Катастрофе включает в себя самых разных евреев по всему миру. В начале 80-х годов я получил приглашение из канцелярии мэра Нью-Йорка Эда Коча, с которым у меня завязались интересные отношения. Коч – еврей с горячим сердцем, чуткий и импульсивный, пламенный сторонник Государства Израиль и патриот еврейского народа. При нашей первой встрече он представился и сразу заявил, что он тоже из выживших в Катастрофе. Из вежливости я удержался от вопросов, где он собственно уцелел, от чего спасся и где был во время Второй мировой войны. Мне хотелось дать ему самому рассказать свою историю. И он поведал мне, что родился в Бронксе, всю жизнь живет в Нью-Йорке, и тем не менее настаивал, что он настоящий «выживший в Катастрофе». Я улыбнулся и спросил, как можно увязать все это вместе, и Эд Коч пустился в объяснения. Много лет назад он попал в Германию с учебно-познавательной поездкой. В одном месте группе показали глобус, стоявший на столе у Гитлера. «Это напомнило мне фильм «Великий диктатор» Чарли Чаплина. Однако в отличие от чаплинского фильма, – рассказывал Коч, – на этом большом глобусе было множество цифр, написанных черными чернилами. Когда экскурсовод повернул глобус, мы увидели, что Европа черна от цифр, тогда как на дру-

гих континентах они относительно редки. Экскурсовод не стал дожидаться наших вопросов и сам объяснил смысл этих цифр: когда-то, в 30-е годы, после прихода Гитлера к власти и незадолго до начала войны, фюрер решил проверить, сколько евреев живет в каждой отдельной стране, так как их уничтожение он сделал целью своей жизни. В Албании, например, значилась цифра 1, потому что Гитлер считал, что в этой стране был всего один еврей. Заклятый враг решил для себя, что не оставит сей мир и не сложит с себя обязанности, пока этот единственный албанский еврей – лично ему не знакомый – продолжает жить. На территории Соединенных Штатов значилось число 6 миллионов, и это число включало и меня, – сказал Эд Коч с нескрываемым гневом, – вот поэтому я тоже из числа выживших в Катастрофе. Если бы нацистское чудовище не было остановлено, то и я, вне всякого сомнения, был бы уничтожен». Я тепло пожал ему руку и сказал: «Вы преподали мне сегодня важный урок, с которым я возвращусь в Израиль. Говорят, что не все еврейские общины ощущают свою причастность к Дню Катастрофы. С сегодняшнего дня я стану рассказывать им о еврее, который родился в Нью-Йорке, прожил всю жизнь в американском городе, однако ощущает себя – и с полным основанием на это – выжившим в Катастрофе. Ибо где проходит граница? Ведь для нацистов ее не существовало. Если бы Гитлеру сопутствовала удача, а мир позволил бы ему и дальше вершить свои преступные деяния, он бы уничтожил всех евреев до последнего человека, ибо в этом заключалась провозглашенная и определенная им для себя задача, составлявшая смысл его жизни».

В одно из моих посещений Нью-Йорка я получил подарок от моего друга Аврагама Джорджа Кляйна, одного из основателей Музея еврейского наследия в Нью-Йорке: фотокопию завещания Гитлера, написанного по-немецки и заверенного подписями свидетелей: министра пропаганды Йозефа Геббельса и заместителя фюрера Мартина Бормана, а также двух его адъютантов – Вильгельма Бургдорфа и Ганса Кребса. Завещание было написано в берлинском бункере. Получила и перевод завещания на английский язык. Самым важным для обучения будущих поколений и для сохранения памяти предложением, от которого поистине содрогается душа, является заключительная фраза в завещании: «Превыше же всего я призываю лидеров нации и всех подчиненных им неукоснительно соблюдать расовые законы и безжалостно противостоять общему отравителю всех народов – международному еврейству».

Спустя короткое время после того, как я получил фотокопию завещания, мне выпала честь принимать в своем доме досточтимого адмора из Вижница, да продлятся его дни в добром здравии, приехавшего поздравить моего сына Цвики с бар-мицвой. Наш разговор продлился около полу-

тора часов. Мы говорили о моем отце, который приходился адмору дядей и которого он хорошо знал, говорили и вообще о Катастрофе. Я показал ему фотокопию завещания Гитлера, попавшую в мои руки. Адмор из Вижница отказался прикасаться к документу, он только рассмотрел и прочитал написанное в нем, дрожа всем телом.

Это завещание и определение в нем евреев как отравителя всех народов суть вызывающее дрожь напоминание о том, куда может завести человека его разум, и о нашей общей обязанности не дать миру – и самим себе – забыть уроки прошлого.

Препоясывающий Израиль могуществом¹

«При команде «движение» вы, танкисты, должны понимать, что движение для нас, Армии обороны Израиля, возможно только в одном направлении: вперед, всегда вперед, вперед и только вперед. Потому что нам, еврейскому народу, возвращаться некуда». То были слова уроженца страны, сурового воина, полковника Шмуэля Гонена (Городиша), командовавшего 7-й танковой бригадой, слова, сказанные им своим солдатам во время Шестидневной войны, и так они были процитированы Шабтаем Шеветом в его книге «В башне танка – открытые огню». Сильные слова, веские и точные. Хаим Гойзман, продюсер религиозных программ на телевидении, не раз рассказывал мне, что в детстве он учился в хедере «Эц Хаим» в Иерусалиме, вместе со Шмуликом Городишем. При встрече с Городишем я спросил его, как такой сабра, как он, пусть и учившийся в иерусалимском «хедере», однако сам не переживший Катастрофу, мог сказать такую фразу. Городиш пытался уйти от ответа, говоря обычные слова, вроде: «Оставьте, я и сам не знаю, как это у меня вырвалось. Никакого особого смысла в эти слова не вкладывалось», – и так далее. Но по этим его попыткам я понял, насколько глубоко укоренена в каждом израильянине память о Катастрофе, даже если его семья никак не пострадала в ней. Городиш олицетворял собой такого израильянина; военный, не гуманитарий, не Ка-Цетник, не бывший «музельман», и тем не менее он нес в себе Катастрофу как направляющее и формирующее личностное национальное переживание.

¹ Слова из одного из утренних благословений.

* * *

Шестидневная война памятна блистательной победой ЦАХАЛа и общей атмосферой героики, в которой эта война закончилась. Однако на трех неделях, предшествовавших войне и проведенных в напряженной готовности, и на самих днях боевых действий лежала густая тень Катастрофы. Каждый год я выступаю с лекцией о Катастрофе перед начальником Общей службы безопасности и старшими офицерами Генштаба, и всякий раз с тех пор я привожу в этой лекции слова Шмуэля Городиша, обращенные к его солдатам. Этот пример я использую и в моих лекциях на армейских базах. Обычно я начинаю с описания недель, предшествовавших войне.

Я переносу своих слушателей на стадион кампуса Еврейского университета в Гиват-Рае, где проводился парад, посвященный 19-летию независимости Государства Израиль. Это был довольно урезанный парад. Согласно соглашению о прекращении огня с Иорданией, израильским самолетам запрещалось летать над Иерусалимом – разделенным тогда между Израилем и Иорданией, – отчего самолеты ВВС не участвовали в параде. На трибуне стоял начальник Генштаба Ицхак Рабин, справа от него президент страны Залман Шазар¹, слева – премьер-министр и министр обороны Леви Эшколь. В какой-то момент прибыл офицер разведки и передал начальнику Генштаба записку. Эта записка и стала началом Шестидневной войны. В ней сообщалось, что президент Египта Насер перебросил тысячу танков из Северного Йемена на Синайский полуостров, выдвинув туда дополнительно около ста тысяч готовых к бою египетских солдат.

Сразу после Дня Независимости, в середине мая 1967 года – снова напоминая я моим слушателям – была объявлена всеобщая мобилизация резервистов, и начались трехнедельные приготовления, продолжавшиеся вплоть до начала войны. Страна была полностью парализована, на улицах городов не было видно молодых мужчин, было введено строжайшее затемнение, приведены в порядок бомбоубежища. Люди запасались провизией. 30 мая король Иордании Хусейн прилетел в Каир и присоединился к Объединенной Арабской республике. Нападение грозило Израилю со всех сторон: сирийское с севера, иорданское с востока и египетское с юга. Атмосфера в стране накалялась все больше и больше: проводились демонстрации с требованием назначить Моше Даяна министром обороны, раз-

¹ Шнеур Залман Шазар (наст. фамилия Рубашов) (1889–1974) – израильский общественный деятель, писатель и поэт. Третий президент Государства Израиль (1963–1973).

давались нелицеприятные вопросы о готовности ЦАХАЛа к войне. Вышние офицеры подвергали критике Леви Эшколя за то, что он не отдает приказ о нападении на арабские страны, словно удавкой душащие Израиль со стороны всех трех границ, снова и снова напоминали, что ЦАХАЛ не приспособлен к обороне, но предназначен только для нападения. Эшколь по радио выступил с обращением к нации, читая речь, он перепутал порядок страниц. Никто не знал, что там произошло – то была эпоха до начала телевидения, а вывод был таков, что Эшколь что-то лепечет, вместо того чтобы проявить твердость и решительность. За пять дней до начала войны Моше Даян получил портфель министра обороны, но атмосфера на израильской улице отнюдь не была проникнута уверенностью в завтрашнем дне. Многим она напомнила разговоры, которые велись в Европе в конце 30-х годов. Большинство репатриировавшихся в страну людей, выживших в Катастрофе, были еще живы, и разговоры об Израиле, со всех сторон окруженном врагами – арабскими странами, стремящимися уничтожить государство и скинуть евреев в море, – звучали отголоском знакомых давних разговоров и пробуждали воспоминания о кошмарном прошлом. Параллельно было сильно ощущение изоляции страны на международной арене, в точности напомилавшее положение евреев за 35 лет до этого. Из-за затемнения на улицах было темно, а на сердцах у людей – тревожно, хотя большинство народа и полагалось на силу ЦАХАЛа. В то время я был синагогальным раввином и преподавал в школе «Цейтлин» в Тель-Авиве. Поскольку в моем распоряжении была машина и телефон, в дополнение к моим обычным обязанностям лектора Военного раввината в южном и центральном военных округах меня назначили заниматься призывом резервистов. В школе вместе с учениками мы участвовали в строительстве защитных укреплений в тех местах, где требовалась помощь. Вместе мы укрепляли больницы и дома престарелых. Лик Катастрофы проглядывал в заголовках газет и во всех выпусках новостей, невозможно было укрыться от напоминаний о ней. Конечно, люди прямо не говорили о ней, не было никакой словесной девальвации Катастрофы, но все почти физически ощущали ее рядом с собой. Она сдавливала своими пальцами горло каждого израильянина, и у всех было такое чувство, будто мы все идем по темному тоннелю, в конце которого не видно проблесков света.

Прочтя слова Городиша, обращенные к его солдатам, я понял, что ощущение присутствия Катастрофы не является уделом одних только выживших в ней, напротив, это ощущение сопровождает всех евреев, даже если они редко выказывают это.

* * *

Из года в год в своих лекциях я упоминаю еще одно высказывание о Катастрофе. Оно выражает понимание проблемы человеком, который был министром обороны в начале 70-х годов, – Моше Даяном. 15 мая 1974 года трое террористов взяли в заложники около ста учеников 11 класса религиозной средней школы в Цфате. Дети отправились в поход, организованный в рамках движения «Гадна»¹, и остановились на ночь в школе в поселке Маалот. Вооруженные террористы ворвались в здание школы, заперли в классах учеников, учителей и инструкторов «Гадны», удерживая их в качестве заложников, и предъявили требования по освобождению других террористов, содержащихся в израильских тюрьмах. 110 человек, детей и взрослых, удерживались тремя террористами. В ходе изнурительных многочасовых переговоров террористы потребовали освободить их товарищей, заключенных в Израиле, и переправить их воздушным путем в Дамаск. Правительство ответило отказом, и было принято решение о проведении военной операции по освобождению детей и их сопровождающих. Министр обороны Моше Даян лежал в окопе, вырытом позади ограды школы, а рядом с ним – в том же окопе – лежал его политический консультант и ближайший помощник Нафтали Лау-Лави – мой брат. Даян никогда не разговаривал с Нафтали о его прошлом и о тяжелом бремени воспоминаний, которое тот нес со времени Катастрофы. Нафтали скрывал свои воспоминания глубоко внутри себя и редко давал им какое-либо эмоциональное выражение. Перед рассветом, все еще находясь в окопе, Даян повернулся к Нафтали единственным глазом, бросил на него долгий взгляд и сказал: «Вся эта долгая ночь и день перед ней, здесь – против школы в Маалоте, научила меня одному: лучше понимать Катастрофу. Я беспрестанно думаю об этих 110 людях, большинство их них – сабры, члены «Гадны», уже успевшие подержать в руках оружие, особенно учителя и инструкторы, прошедшие армию. Как же эти разгильдяи оставили свое личное оружие в кабинках грузовиков и не взяли его с собой, заходя в школу? Снова сработала система «положись на меня» и «со мной этого не случится». Я же задаюсь вопросом, как получается, что 110 человек стоят против трех террористов, и ни один из них не встал, не решился на поступок, на какое-либо действие. Я так понимаю, что против дула «калашникова» психология, по-видимому, работает иначе. Человеческое поведение в таких ситуациях совершенно меняется. Любое действие, какое только можно представить:

¹ Гадна – аббревиатура слов «Глудей ноар» («молодежные батальоны») – израильская военнизированная юношеская организация, в задачу которой входит подготовка молодежи к призыву в армию.

отвлечь внимание террористов, наброситься на них, выпрыгнуть в окно – ничего из этого никому и в голову не приходит. Этой ночью я понял Катастрофу. Вы были замучены голодом и холодом, я видел фотографии. Видел, до какого состояния доходили люди. Видел людей в последней степени физического изнурения, бывших на грани бездны – психологически. И еще вы знали: даже если вам ногтями удастся прикончить гестаповца – куда вам идти после этого? Даже если переберетесь через ограду с пропущенным по ней электрическим током – куда вам бежать в полосатых робах и с вашими еврейскими физиономиями? Без документов? Все это я понял внезапно этой ночью, здесь, в Маалоте. Всегда говорили, что люди шли, как «скот на бойню». Здесь удерживаются тремя террористами 110 молодых израильтян, которые знают, что с ними все Государство Израиль, и они не на вражеской территории, не в чужих и враждебных местах. Они у себя дома. Они знают, что под окнами школы их ждут наши люди с растянутым брезентом, они могут выпрыгнуть, и, тем не менее, – ни один из них ничего не сделал. Здесь, в Маалоте, я понял, что в подобных ситуациях человеческая психология действует совершенно иначе».

В своей книге Нафтали рассказывает, как он вбежал вместе с Даяном в здание школы. Десятки юношей и девушек и несколько взрослых лежали на полу, раненые или убитые. Некоторые сидели и кричали, взывая о помощи. «Это страшное зрелище вернуло меня на тридцать лет назад, к ужасным картинам, от воспоминаний о которых я не мог освободиться со времен Освенцима и Бухенвальда. Я стоял там без сил и чувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Я поспешил выйти на улицу и сел на камень около спортивной площадки. Солдат прошел мимо меня и протянул мне флягу. Сделав несколько глотков, я почувствовал, что могу встать на ноги».

Озарение, посетившее министра обороны Моше Даяна в Маалоте, и фраза, сказанная командиром 7-й танковой бригады Шмуэлем Городишем в обращении к своим танкистам в Ницане накануне Шестидневной войны, представляют, с моей точки зрения, нить, самым зримым образом связующую «здесь» и «там», «тогда» и «сейчас». Нить, связующую сабр, родившихся в Израиле, с людьми, пришедшими из европейского ада. В моменты, когда Израиль оказывается в состоянии войны, меня зачастую спрашивают о моих чувствах в качестве выжившего в Катастрофе. «Разве нужно быть выжившим в Катастрофе, чтобы понимать наше положение?» – обычно отвечаю я. Ведь мы осажены, нам угрожают, не минула опасность нашего полного уничтожения. Мы все еще пребываем в борьбе за выживание. Мы все, в известном смысле, выжившие в Катастрофе. Разве что у выживших в той Катастрофе эти чувства обостряются, приобретая иные масштабы, когда кольцо вокруг нас сжимается.

* * *

В 5733 (1973) году я был районным раввином в Тель-Авиве, в синагоге «Тиферет Цви». В синагоге было 930 сидячих мест, и каждый год в Судный день она полностью заполнялась людьми так, что яблоку некуда было упасть. Уже утром в Судный день 5734 года, пришедшийся на субботу, я заметил несколько мест, оставшихся незанятыми. Это показалось мне странным, но я не стал вдаваться в причины этого явления. Вторым знаком стал гул моторов машин, донесшийся к нам – молящимся – перед полуднем. В Тель-Авиве в Судный день царит тишина, кроме карет скорой помощи и патрульных полицейских машин на улицах города нет движения.

В середине Судного дня 5734 года тишина, столь характерная для этого святого дня, была окончательно нарушена. В синагогу стало входить все больше мужчин в военной форме, со списками в руках. Каждый раз они подходили к одному из молящихся, хлопали его по плечу и что-то шептали на ухо. Словосочетание «повестка по 8-й форме»¹ витало в воздухе, смешиваясь со словами молитв. Было ясно, что происходит нечто из ряда вон выходящее. После полудня в синагоге почти не осталось молодых людей.

В воздухе повеяло запахом войны, разразившейся так неожиданно. В отличие от Шестидневной войны, заголовки газет не предвещали близкой войны, в выпусках последних известий не обсуждалась эскалация напряженности. Консультации проводились в армейских штабах, однако эта информация не была доведена до сведения общества. И поэтому призыв солдат-резервистов прямо из синагог грянул как гром среди ясного неба. Никто не был готов к такому развитию событий.

Днем, без десяти минут два, тишину потрясла оглушительно завывающая сирена, нарушившая покой молящихся в синагогах. Кто-то сообщил, что радио заработало и передает кодовые обозначения для призыва различных подразделений. В один миг вся атмосфера изменилась до неузнаваемости. Первыми были призваны люди, относившиеся к службам обеспечения армии: водители, повара, связисты и санитары. Многие из настоящих бойцов, приписанных к боевым частям, оставались на своих местах в синагоге и продолжали молиться. На исходе Судного дня уже было введено полное затемнение, и Тель-Авив – как и весь Израиль – погрузился в темноту.

Как резервист я был приписан к Южному военному округу в качестве лектора главного раввината, но в Судный день меня не призвали. Никому не были нужны лекторы в первый день этой страшной войны, но мне было трудно оставаться дома в бездействии и не внести хоть какого-то вклада

¹ Форма повестки для призыва резервистов, вручаемая при внеочередном призыве в случае войны или чрезвычайной ситуации.

в общие усилия. Я узнал, что больница «Ихиллов» преобразована в военный госпиталь. Все гражданские пациенты, состояние которых было приемлемым, были выписаны домой, остальные – переведены в другие больницы. Я посчитал, что смогу оказаться полезным в больнице и внести там свой вклад в общее дело.

Я позвонил Пинхасу Шейнману, да будет благословенна его память, возглавлявшему религиозный совет Тель-Авива и ответственному за административный отдел районных раввинов в городе, и попросил его оказать помощь раненым, а главное, их семьям. Речь шла о духовной поддержке, совместных молитвах, в общем, о том, чтобы подставить плечо. Шейнман принял эту идею с радостью и тотчас сообщил в больницу о том, что раввин Лау получает официальное назначение главного раввина Тель-Авива быть уполномоченным по всем духовным и религиозным вопросам, возникающим в больнице. Мне выдали белый халат, к которому пристегнули пластиковый бейджик с определением моей должности: больничный раввин. Я проводил в больнице дни и ночи на протяжении трех месяцев. Хотя скрупулезно проводил уроки, которые давал в синагоге «Тиферет Цви», исходя из четкого понимания того, что и во время войны жизнь должна продолжаться и что нельзя прерывать повседневную рутину.

В ходе войны в больницу «Ихиллов» были доставлены 475 тяжелораненых, поступивших с Южного фронта. Легкораненые и раненые средней степени тяжести доставлялись в больницы «Сорока» в Беэр-Шеве и «Барзилай» в Ашкелоне. Тяжелораненых доставляли в «Ихиллов» вертолетами. Большинство страдало от тяжелейших ожогов, поражения головного мозга и позвоночника, повреждения глаз. В хирургическом отделении бригады работали круглые сутки с самоотверженностью, подобной которой я не видел. Я провел в больнице несчетное количество часов, в основном в хирургическом отделении профессора Вижницера, где госпитализировались танкисты, выжившие в сгоревших танках. Там я узнал, насколько глупо и лживо выражение, так часто встречающееся в описаниях войны: «Раненые не кричали». Они кричали, и еще как – как кричат люди, страдая от адской боли. Невозможно описать их душераздирающие крики, когда они в первый раз шли в душ, после того как покойный ныне профессор Плешкес делал им пересадку кожи. Таких жутких воплей я не слышал отроду.

В одной из палат хирургического отделения лежало четверо танкистов, почти полностью сгоревших в своих танках. Один из них кричал так, что я до сих пор не знаю, откуда он черпал силы, чтобы издавать эти крики, несмотря на большие дозы морфия, которые ему кололи. Мы умоляли его хоть немного умерить свои крики, чтобы не мешать засыпать трем своим товарищам, – бесполезно. Объяснения, что так он не сможет поправиться,

также не имели успеха. Вдруг, в один миг, парень перестал даже поскуливать. Надломленные вопли его замолкли. Я испугался внезапной тишины, воцарившейся в комнате. Мне стало страшно, вдруг произошло самое ужасное. Я боялся даже просто бросить взгляд в сторону его койки, дабы не подтвердить свои худшие опасения.

Но нет. Раненый заснул и спал сном праведника. Странный покой снизошел на его обожженное лицо, не оставив и намека на жуткие крики, свидетельствовавшие о его страшных мучениях. Выяснилось, что его мать, не отходящая от постели сына, нашла на его руках маленький, всего в несколько сантиметров, участок необожженной и не пересаженной кожи – целиком и полностью его собственной. Мать стала гладить это место, снова и снова называя его по имени. «Мама здесь. Успокойся, сынок, успокойся», – без устали повторяла она, не прекращая поглаживать здоровый участок кожи и с трудом подавляя рыдания. И только ее слова, их материнский распев, любимый и родной, принесли покой его измученной душе. Только тогда он, наконец, сомкнул глаза и дал себе отдых. Под утро, вернувшись домой, я сказал жене, что в ту ночь в «Ихилове», у постели обожженного солдата, я понял значение стиха в последней главе в книге пророка Йешаяѓу. Пророк, начавший с предвещения бед и несчастий – «сыновеи возрастил Я и возвеличил, а они восстали против Меня»¹, начиная с 40-й главы уже произносит: «Утешайте, утешайте народ Мой»², а далее, в последней, 66-й главе говорит: «Как утешает человека мать его, так Я утешу вас, и в Иерусалиме утешены будете»³. Из всех уподоблений в мире пророк выбрал именно это сравнение: человека, которого утешает мать его. Мать – а не отец. «Сегодня ночью, – сказал я жене, – мне было дано понять это самым глубоким образом. Ничего не помогало раненому парню и не могло его успокоить: ни многие дозы морфия, ни увещевания, ни даже выговоры. Только когда мать пришла к нему, приласкала его, прошептала ему слова материнской любви, он успокоился и спокойно заснул».

Одного из танкистов, госпитализированных тогда с ожогами в «Ихилове», я встретил по прошествии тридцати лет после войны на встрече раненых пациентов «Ихилова», организованной в одном из тель-авивских отелей. Взволнованный, он подошел ко мне и представился Моше Шемешем из Ѓод га-Шарона. Я не узнал его, а он сказал, что не проходит дня, чтобы он не помянул мое имя. «У меня было обожжено почти все тело, только часть носа осталась целой, – поведал он. – Никто не стоял возле

¹ Йешайя, 1:2.

² Там, 40:1.

³ Там, 66:13.

моей койки, кроме вас, ну и конечно, кроме медперсонала, заботившегося обо мне с бесконечным терпением. Все думали, что я – солдат-одиночка, но вы были там и видели табличку с моим именем на спинке койки и не переставали говорить со мной. Я точно помню слова, которые вы сказали мне. «Моше, – спросили вы, – можно позвонить твоим родителям? Можно вызвать кого-нибудь из родственников, чтобы он оставался с тобой? Я не могу быть тут с тобой все время, в больнице сотни раненых, и у сестер полно работы. Тебе нужен кто-нибудь, кто будет с тобой все время». А я, – рассказывал мне Шемеш спустя тридцать лет, – не соглашался дать вам ни номер телефона моих родителей, ни мой адрес. Я видел трех других раненых, бывших в моей палате. Глаза у меня работали все время. Я с трудом мог говорить, не двигал ни единым членом, но глаза у меня видели. Я полагал, что я выгляжу в точности, как они, а это было страшное зрелище. Я-то знаю своих родителей. Я знал, что мать хватил бы удар, если бы она увидела меня в таком состоянии».

Рядом со мной в госпитале стояла Геула Рабинович, супруга тогдашнего мэра города, Йеѓошуа Рабиновича, да будет благословенна его память, она-то и вынудила меня убедить парня, чтобы он позвонил своей семье. Это мне удалось с помощью одного довода, который я там же и придумал. «У тебя ведь есть отец и мать, не так ли?» «Да», – ответил он. «А знаешь ли ты, что с начала войны они носятся по всем больницам страны и требуют от армии дать им списки погибших, потому что ты ни звуком не дал о себе знать, и они не ведают, жив ли ты и где ты находишься? Тебя не беспокоит, что они чувствуют? А они ночей не спят!» И тогда он сказал: «Ладно, убедили. Но я не могу набрать номер». Я принес к его койке передвижной общественный телефон, опустил в прорезь жетон и набрал номер, который он мне дал. Не спеша, мало-помалу, я подготовил мать на другом конце линии и сказал ей, что ее сын жив и находится здесь, рядом со мной. У меня не хватит слов, чтобы описать его встречу с семьей. А благодарность я получил через тридцать лет.

На пятом этаже больницы, в офтальмологическом отделении профессора Лазара, мой взгляд выхватил парня, сидевшего на койке по-турецки и в одиночку певшего песни на иврите. Я вошел к нему в палату. Выяснилось, что он из Маалота. В ходе боев он лишился обоих глаз. Чтобы время шло быстрее и чтобы облегчить мучившие его боли, он надтреснутым голосом напевал, снова и снова, слова песни: «Обещаю тебе, моя девочка, что это будет последняя война». Когда эти слова исходили из уст слепого солдата, так сильно страдавшего от боли, они обретали такую силу и мощь, что появлялась надежда на то, что обещанное в песне действительно сбудется. Я остановился возле его койки, чтобы поговорить с ним. Чтобы он мог хотя

бы перекинуться с кем-нибудь словами, если уж не может – взглядами. Он сказал, что его родным трудно приезжать из Маалота в Тель-Авив, но, несмотря на это, у него бывают посетители, просто меньше, чем у других. Глубокое впечатление произвел на меня оптимизм слепого солдата, который, невзирая на свое тяжелое состояние, пел песни и получал удовольствие от редких посещений людей, потрудившихся прийти к нему.

Пока я с ним разговаривал, ко мне подошла незнакомая пожилая женщина и спросила, не раввин ли я. Я ответил утвердительно и спросил, чем я могу ей помочь. «Лично мне ничем, – сказала она, – но вы нужны моему сыну. Вы можете подойти к нему?» Я извинился перед слепым солдатом и пошел вслед за матерью. Она привела меня в палату в отделении нейрохирургии и сказала: «Вот он, Йегуда, мой сын». На постели лежал парень с полностью забинтованной головой. Из-под повязки еле виднелись нос, рот и малая часть глаз. Он выглядел как человек, которого только что прооперировали. Все его тело от подбородка было прикрыто простыней, и я не мог составить себе представление о его состоянии. Сам он еще пребывал в полусне, отходя от наркоза после операции. Спустя какое-то время, когда он сумел сосредоточить взгляд на происходящем вокруг, он заметил меня рядом со своей матерью и спросил, раввин ли я. Я ответил «да». «Если так, то который час?» – спросил он. Услышав странный вопрос, я подумал, что парень еще не до конца пришел в себя, но совершенно серьезно взглянул на часы и сказал, что сейчас двенадцать. Парень не удовлетворился моим ответом и стал допытываться, двенадцать дня или ночи. Я ответил, что двенадцать дня. «Если так, – спросил он, – может ли человек, не положивший тфилин до двенадцати часов, положить их теперь?» Я заметил, что парень выражается немного странно, и вместо того, чтобы сказать «наложить тфилин», как принято, пользуется глаголом «положить». Религиозные евреи произносят благословение: «Благословен Господь, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам накладывать тфилин». Но, отметил я для себя, вопросы о времени тоже были несколько чудными. Я ответил ему, что можно накладывать тфилин в течение всего дня, однако он по-прежнему не был удовлетворен и продолжал свои расспросы: «Тогда скажите, если нельзя положить тфилин на голову из-за повязки, а можно только на руку, то можно положить?» Это был отличный вопрос для талмудической дискуссии: препятствует ли «неналожение» ручных тфилин наложению головных, и наоборот? Этот вопрос напомнил мне Бухенвальд. Одному еврею в лагере удалось спрятать под доской в полу ручные тфилин, и он обычно накладывал только их. Восстановив в памяти эту картину, я ответил лежащему в постели раненому, что можно наложить ручные тфилин, даже если не накладываешь головные. Услышав мой ответ, он выпростал

из-под простыни левую руку и попросил: «Тогда положите мне». Я согласился, конечно, и наложил ему ручные тфилин. Я стал читать вместе с ним «Шма Израэль», но посредине молитвы он заснул. Я осторожно снял с его руки тфилин и вышел из палаты. Со временем мы подружились, и когда он стал поправляться, я услышал его историю, пробудившую мое любопытство еще при нашей первой встрече.

Вечером перед наступлением праздника Симхат-Тора лейтенант Йеѓуда сидел с пятью другими офицерами – старше его по званию и возрасту – в командирском джипе на берегу Суэцкого канала в ожидании инструкций. Пока они там сидели, рядом с ними остановился грузовик с построенной в кузове суккой и два хабадника пригласили молодых офицеров выпить рюмку, съесть кусок пирога в сукке и произнести благословение на лулав (пальмовую ветвь). Офицеры попытались уклониться, объясняя, что даже на гражданке не придерживаются соблюдения заповедей сукки, а здесь и подавно, тем более когда идет такая война. Однако хабадник на грузовике не уступал и пытался убедить их доводами вроде: «Какая вам разница, вы тут все равно сидите и бьете баклуши. Забирайтесь, больше десяти минут это у вас не отнимет», – понукал он их. Офицеры посмотрели друг на друга и решили принять приглашение и забраться в кузов. Они угостились ломтем пирога и рюмкой сладкого вина и только собрались произнести благословение на лулав, как раздался оглушительный взрыв. Все попадали на дно кузова, ощупывая себя и проверяя, все ли при них и не получил ли кто царапины. Выглянув наружу, они обнаружили, что их автомобиль, в котором они сидели за минуту до того, уничтожен прямым попаданием, так что от него и следа не осталось. Когда вокруг снова стало тихо, лейтенант Йеѓуда спросил одного из хабадников: «Вы, верно, назовете то, что здесь произошло, чудом?» Хабадник ответил вопросом на вопрос: «А вы как бы это назвали?» Йеѓуда, чувствующий, что получил жизнь в подарок благодаря лулаву и сукке, долго и сосредоточенно смотрел на хабадника и сказал: «Я чувствую, что должен Ему что-нибудь в обмен на мою жизнь, – и показал пальцем вверх. – Моя жизнь оказалась спасена, потому что вы настояли, чтобы мы забрались в кузов и произнесли благословение на сукку и лулав». Хабадник не растерялся и предложил офицеру взять на себя обязательство ежедневно накладывать тфилин. Йеѓуда хотел приступить к исполнению своего обещания немедленно и попросил, чтобы хабадник наложил ему тфилин, но это было невозможно: это был день *Ошана-раба*, седьмой день праздника Суккот. В праздники, в будни праздников и по субботам тфилин не накладывают. Хабадник объяснил Йеѓуде, что только через день, по окончании праздника, он сможет наложить тфилин. «Но я не знаю, где я буду послезавтра», – сказал Йеѓуда и добавил, что у него вообще нет тфи-

лин. «Я, конечно, получил тфилин на бар-мицву, но они где-то в шкафу, у родителей». Хабадник спросил его имя и номер части и пообещал, что через два дня, когда закончится праздник, у него будут тфилин. Так и было. Лейтенант Йегуда уже был в Файиде, по ту сторону канала, но тфилин – с маркировкой «цади», армейские – нашли его там. И он взял на себя обязательство накладывать их каждый день. В Файиде, на земле Египта – а это страна Гошен – Йегуда был ранен и с повреждением позвоночника доставлен вертолетом в больницу, где его прооперировали в отделении нейрохирургии. Едва открыв глаза после операции, он понял, что единственное, что его беспокоит, – тот факт, что он не исполнял своего обета с момента ранения. Тогда он попросил свою мать найти раввина, чтобы тот ответил на два вопроса, не дававшие ему покоя: можно ли «положить» тфилин в такой поздний час и можно ли «положить» ручные тфилин, не накладывая головные.

Война Судного дня заставила меня встретиться со смертью. Это была болезненная для меня встреча, когда один из моих учеников – Яри Штерн, Господь да отмстит за его кровь, из средней школы «Цейтлин» в Тель-Авиве – погиб за день до своей свадьбы. Он успел еще купить обручальное кольцо, получив увольнительную на один день для приготовлений к свадьбе. Долгое время его невеста, Ора Френкель, носила это кольцо на шею на цепочке.

* * *

С другой историей смерти на войне, произведшей на меня весьма болезненное впечатление, я познакомился по собственной инициативе – благодаря телепередаче. В преддверии первой годовщины начала войны мне позвонил Хаим Гойзман, работавший продюсером в отделе религиозных программ израильского телевидения. Он предложил мне провести получасовую передачу по окончании Судного дня 5735 года (октябрь 1974-го), которая будет посвящена теме Судного дня, поста и молитв: но просил, чтобы в передаче нашел отражение и тот факт, что прошел год с момента начала войны. Я не представлял, как я сумею соединить в передаче две эти большие темы. Однако продюсер успокоил меня, сказав, что сотрудники студии подготовили материал, собрав его у бойцов и членов их семей. Материал включал письма и открытки, посланные в ходе войны с фронта в тыл, и все, что мне надо сделать, – это прийти в студию за несколько часов до записи и покопаться в ящиках, чтобы вооружиться какими-то идеями для вступительных слов в передаче.

Идея показалась мне интересной, и я так и поступил. Я нашел целую груду открыток, но внимание мое привлекла грубая коричневая бумага,

какую используют для изготовления больших упаковок с мукой и развесным рисом, продающихся в маленьких продуктовых лавках. Я увидел, что эта грубая бумага также была использована для написания письма. Выдернув ее из груды открыток и прочтя написанное на ней письмо, я дрожащим голосом заявил работникам телевидения, что должен встретиться с писавшим или – не дай Бог – с адресатом. Слова этой записки я помню наизусть до сего дня, настолько они меня растрогали. Записку написал сын пожилой пары, людей, выживших в Катастрофе, которым перевалило за шестьдесят. Отец потерял в Катастрофе жену и детей, мать – мужа. Два вдовца познакомились и привязались друг к другу, отплыли в Израиль, были высланы на Кипр и поженились там, пока долгие месяцы ждали разрешения на въезд. Получив разрешение и приехав в страну, они поселились в Бней-Браке. Их единственный сын учился в государственной религиозной школе в Бней-Браке, потом в средней йешиве, посещал отделение движения «Бней Акива» в своем городе, записался в инициативную группу НАХАЛа, откуда был послан на офицерские курсы в десантных частях. На военной базе, где он служил, проходила службу юная солдатка, уроженка кибуца в Западной Галилее, относящегося к движению «Га-шомер Га-цаир». Противоречия между взглядами парня в вязаной кипе под красным беретом и девушки из движения «Га-шомер Га-цаир» неизбежно порождали интеллектуальное противостояние между ними, которое выливалось в бесконечные споры, ни разу не закончившиеся достижением взаимного согласия. Спорили по разным вопросам: Катастрофа, высшее провидение, религия и нация, религия и государство, ценности иудаизма, социализм и т. п. Однажды солдатка вошла в его офис на базе с армейским рюкзаком за плечами и сказала, что пришла попрощаться, потому что она увольняется в запас и возвращается в свой кибуц, к родителям. После нескольких вежливых слов прощания, сказанных ей офицером, уже направляясь к двери, она вдруг развернулась и призналась ему, что, хотя она не знает, какие чувства он к ней испытывает, ее отношение к нему далеко выходит за рамки споров по вопросам религии. «У меня к тебе только одна просьба, – сказала она, – если мне придет в голову написать тебе, ответь мне. А покамест будь здоров и прощай». Она повернулась и пошла прочь. На этот раз уже он крикнул ей, чтобы она вернулась. Он объяснил, что, по его мнению, им будет лучше прервать свои отношения прямо сейчас, именно потому, что он испытывает к ней глубокое чувство, которое словами не выразить. Молодой офицер опасался регулярной переписки, страшась, что она может привести к упрочению связи между ними. Он объяснил, что они не смогут вести совместную жизнь из-за расстояния, разделяющего столь разные миры, откуда каждый из них пришел. «Твое меню не похоже на мое, твоя суббота нисколько не напоминает

мою, твоих родителей-кибуцников и моих – пожилых людей из Бней-Брака, выживших в Катастрофе, – разделяет глубокая пропасть, которую никому не перейти. Мы доставим им большое горе, если между нами возникнут серьезные отношения. Я единственный сын и не могу причинить им это. Потом у нас родится ребенок, и начнутся споры, в какой детский сад его отдать и в какую школу. Так что давай расстанемся сейчас с миром», – сказал он, и они действительно расстались.

Через три недели только что уволенная в запас девушка постучалась в дверь его комнаты на военной базе, в гражданской одежде, с рюкзаком за спиной, и сказала: «Я начинаю идти дорогами праотца Авраама. В Танахе написано, что Бог сказал Аврааму: «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего»¹. Я, правда, пока ушла только из дома отца моего».

«С тех пор, как я вернулась в кибуц, я стала не такой, как прежде. И родители, и друзья чувствовали, что я не нахожу себе места в кибуце. Я рассказала родителям о тебе. За эти недели они узнали тебя – не познакомившись с тобой. Я получила немного денег от кибуца, вдобавок к пособию, которое мне выплатили при увольнении в запас. Я прошу, чтобы ты нашел для меня комнату на съем в Бней-Браке. И, если можно, какую-нибудь работу. Не важно, какую: официантка, посудомойка, уборщица. А самое главное, найди мне учителя иудаизма, чтобы обучил меня молитвам, заповедям соблюдения субботы, законам *кашрута*. Если мне это понравится, а я понравлюсь тебе, возможно, мы сможем построить совместное будущее. А нет – не страшно: подучу иудаизм и вернусь домой». Офицер-десантник выполнил ее просьбу. С помощью своей матери он нашел для девушки комнату у одинокой старушки, выжившей в Катастрофе, которая жила одна в трехкомнатной квартире и искала девушку, которую могла бы поселить у себя, чтобы не быть все время одной. Девушка обязалась каждый вечер возвращаться домой к определенному часу, а за это получала бесплатно комнату с питанием. Кроме этого, она нашла какую-то женщину, которая согласилась давать ей уроки по иудаизму. Дружба между уроженкой кибуца и офицером тем временем упрочилась. Примерно через год они поженились и поселились в Бней-Браке, неподалеку от его родителей. У них родились двое сыновей.

Война Судного дня разразилась, когда младшему их сыну исполнилось две недели. Офицер молился в миньяне выпускников отделения движения «Бней-Акива» в Бней-Браке. В течение субботы были призваны многие из его товарищей, однако его самого пока не вызывали в часть. С окончанием поста он вернулся домой, провел обряд *гавдалы*, отделяющий празд-

¹ Берешит, 12:1.

ник от будней, и позвонил в свою часть. Там сказали, чтобы он оставался дома и ждал, пока его вызовут. Из-за напряжения и общей нетерпеливости он заранее облачился в форму, надел военные ботинки, жена приготовила ему узелок, в котором – среди прочего – был и коричневый бумажный кулек с бисквитами. После полуночи у подъезда остановился военный джип. Он поцеловал обоих сыновей, сел в джип и никогда уже не вернулся домой. Среди его личных вещей, переданных вдове после его смерти, была и бумага из-под кулька, на которой он быстрым почерком написал: «Дорогая, или я, или эта записка – только один из нас придет к тебе. Если я вернусь домой, вопреки моим нынешним ощущениям, ты никогда не увидишь эту записку. Но если придет записка, это значит, что я уже не вернусь. Чувствуй себя свободной, чтобы начать новую главу в твоей жизни. Самое время сейчас поблагодарить тебя за тот путь, который ты проделала ради меня. Я знаю, каких сомнений это стоило, и знаю, сколь труден был путь. Я ни разу не выразил тебе признательности, которой ты достойна. Как уже сказано, ты ничем мне больше не обязана, и все-таки у меня есть к тебе одна-единственная просьба: двух наших сыновей, которых дал нам Бог, воспитай так, как воспитали меня мои родители. Твой...» Вдова офицера-десантника осталась религиозной женщиной. Услышав о телепередаче и просьбе присылать на телевидение письма бойцов, она отозвалась и послала записку погибшего мужа. Когда я разговаривал с ней об обстоятельствах появления этой бурой бумаги, она спросила меня: «Скажите, уважаемый раввин, разве это не книга о нравственности?» И это действительно книга о нравственности в полном смысле этого слова. Книга о нравственности, основанная на личном примере, примере обычного парня, который всю свою жизнь следовал указаниям только совести. Особая ценность этой записки в том, что она показывает, что занимало мысли бойца в последние мгновения его жизни: религиозное воспитание его детей. Продолжение цепи поколений. Он – только связующее звено между поколениями. Вначале он действовал, думая о родителях, затем – беспокоился о будущем детей. Этому офицеру-десантнику не поставили и не поставят красивого памятника на площади в центре города, не будет улицы, которая носила бы его имя, в память о нем не выпустят марку с его портретом. Он всего лишь один из 2659 солдат, павших в Войне Судного дня.

* * *

Во время Войны в Персидском заливе 5751 (1991) года связь с ужасами Катастрофы оказалась особенно заметна, то была непосредственная и зримая связь, без намеков и обвиняков. Бездействие с нашей стороны – мы сидели, сложа руки, в бессилии, не зная, чем занять себя, в «герметизиро-

ванных» полиэтиленом и намоченными в растворе питьевой соды тряпками комнатах, снабженные противогАЗами производства Германии, – все это столь явно напоминало Катастрофу, что трудно было удержаться от сравнений. В этот период я был главным раввином Тель-Авива. Я не покинул города и оставался в нем всю войну, несмотря на то что он превратился в город-призрак, покинутый большинством опасавшихся за свою жизнь жителей. В отличие от моего друга, мэра города Шломо (Чича) Лаѓата, назвавшего «дезертирами» тель-авивцев, которые предпочли перебраться на время в другие города, я воздерживался от их осуждения. В жизни я придерживаюсь железного правила, которое вполне применимо и в данном случае: «Не суди ближнего твоего, пока не окажешься в его положении» (Пиркей авот, 2:4). У каждого человека своя психическая организация, свои комплексы, давление, которое оказывают на него родители, дети, муж или жена. Поэтому я чувствовал, что не могу проникнуть в глубину души людей, которые в это время предпочли Иерусалим или Эйлат Тель-Авиву, над которым нависла угроза ракетных обстрелов из Ирака. Я не осуждал переживших Катастрофу пожилых людей, чья стойкость немного ослабела. Моя теща, ребецн Френкель, жила у нас, когда началась война, и мы очень обрадовались, когда спустя три дня моя невестка пригласила ее пожить у них в Иерусалиме, пока не минет угроза. Опасность была реальной, и я тоже побаивался. Но мне было понятно, что как главный раввин города я не могу оставить его, ибо это нанесло бы сильный удар по морали жителей, которые предпочли остаться в своем городе или не имели возможности уехать из него. Когда я видел массовое бегство горожан, чувство восхищения их моральной стойкостью, конечно, не переполняло меня. Это время явно не было их звездным часом. Я опасался извращенного толкования, которое наши враги могли дать этому явлению, что могло подвигнуть их на новые удары. Но, как было сказано, принцип «И берегите себя очень ради душ ваших»¹ обяывает гражданское население принимать возможные меры безопасности.

Во время этой странной войны, Войны в заливе, произошло и несколько явных чудес. В одну из суббот было прямое попадание ракеты в синагогу в районе Рамат-Таясим в Тель-Авиве, и здание синагоги было полностью разрушено. Ракета упала через шесть минут после того, как последний из молящихся покинул синагогу после встречи субботы и вечерней молитвы. Пострадавшая синагога называлась «Гейхаль га-нес» («Чертог чуда»)… Несомненно, что все от Господа. Мне понятно, что эта война поставила еврейский народ перед испытанием, но смертный приговор ему вынесен

¹ Дварим, 4:15.

не был. 39 ракет было выпущено по стране, которая не слишком велика, жилые дома были разрушены, но тот факт, что почти никто из их жильцов не пострадал, не случаен. Таким образом, Война в заливе также изменила к лучшему отношение людей к выжившим в Катастрофе, их поведение стало более понятным, все больше росла солидарность с ними, с учетом того, что они испытали в самую темную эпоху.

Кто в огне... кто от меча...

КТО ИЗМУЧИТСЯ... КТО ВОЗВЕЛИЧИТСЯ...¹

В месяце шват 5756 года – в феврале 1996-го, в воскресенье, в восемь часов утра, когда в автобусах в столице больше всего пассажиров, террорист-самоубийца взорвал себя в 18-м автобусе в Иерусалиме, убив 26 человек. Начальница моей канцелярии в Главном раввинате знала, что как только становится известно о теракте, ее обязанность со всей возможной быстротой собрать как можно больше данных о погибших, чтобы я мог успеть на похороны или, по меньшей мере, посетить семьи погибших во время *шивы*. Через несколько часов после теракта я нашел на своем столе аккуратный список с именами 24 погибших, однако по радио я слышал репортаж, где говорилось о 26-ти убитых. Двоих в списке не хватало. Секретарша объяснила, что список был получен из отдела соцобеспечения муниципалитета Иерусалима, который несет ответственность за сбор информации о каждом из пострадавших. Я не уступил и велел ей позвонить туда и запросить информацию о двух недостающих именах. После долгих выяснений в муниципалитете подтвердили, что в теракте погибли еще два человека, чета новых репатриантов из СНГ, муж и жена Кушнировы, у которых остались дети: сын восьми с половиной лет и трехмесячный младенец. Представляется, что по ним не будут сидеть шиву, и поэтому нет необходимости в сообщении мне адреса. Я настоял на том, чтобы мне сообщили адрес – улица Маагалей Явне, 4, район Катамон – и свой визит туда я никогда не забуду.

После полудня я прибыл в малюсенькую квартиру и нашел в ней трех взрослых, пребывавших в шоке: относительно молодую женщину и двух соседей в возрасте, проживавших в том же здании. Владик, мальчик 8-ми лет, сидел на полу, а трехмесячный грудничок Томер лежал в манеже. Когда

¹ Слова из песнопения «У-нетане токеф» («Придадим силу святости этого дня»), части молитвы Мусаф, читаемой в Судный день.

я вошел, Владик изумленно поднял на меня глаза: незнакомый человек входит в квартиру, одетый в длинное черное одеяние и высокую шляпу, – редкое и совершенно непривычное для мальчика зрелище. Я хотел поговорить с ним, в первую очередь, чтобы отвлечь его мысли от постигшей его беды. Меня посадили на одну из коек, предоставлявшихся Еврейским агентством, а против меня, на такой же койке, сели двое соседей и молодая женщина. Они уставились на меня, я – на них. После минутного молчания молодая женщина представилась на иврите с сильным русским акцентом. Ее звали Лариса, она доводилась сестрой погибшей матери детей. Она сказала, что вышла замуж за три недели до теракта. И хотя я еще не представился, обратилась к мальчику со словами: «Владик, знаешь, кто это? Главный раввин Израиля, раввин Лау». Мальчик снова поднял глаза и вперил в меня недоуменный взгляд, словно спрашивая, что здесь делает раввин. Его тетя продолжала: «Знаешь, Владик, когда раввину Лау было восемь лет, у него тоже не было папы и мамы. Он приехал в Израиль без родителей, и смотри: сегодня он Главный раввин Израиля. Это тебе урок, Владик. Все в твоих руках». Когда Лариса закончила свою речь, мальчик встал с пола, уселся рядом со мной на койку и прижался головой к моей груди. Так он сидел долго, не говоря ни слова.

Я же сказал ему только одно: «Это верно, что наши судьбы похожи, но есть между нами одно различие. Я приехал в Израиль со старшим братом, который заботился обо мне. Когда я был в твоём возрасте, на мне ни за кого не лежала ответственность, только за свое будущее. На твоих же плечах, хотя ты еще так юн, напротив, лежит двойная ответственность: ты должен заботиться и о себе самом, и о Томере, который спит сейчас в манеже и вовсе не знает, что произошло. В этом огромная разница между нами, и это тебя ко многому обязывает». Когда мы расставались со скорбящей семьей, я сказал им, что если у них будет желание и возможность, то они могут прийти ко мне в канцелярию, когда закончится траур. Так и было: Владик в сопровождении Ларисы прибыли ко мне. Выяснилось, к моей радости, что по окончании «шивы» Лариса и ее муж, поженившиеся всего за три недели до этого, официально усыновили детей ее покойной сестры, по всей букве закона. Я подумал о ее муже-молодожене, получившем в приданое двух малолетних детей.

Снова я встретил Владика через четыре с половиной года после теракта в 18-м автобусе в Иерусалиме. Каждый год, накануне праздника Песах, представители Хабада организуют на площади перед Западной стеной торжественную церемонию бар-мицвы для тысячи мальчиков и девочек, репатриантов из стран СНГ. Как правило, на церемонии присутствуют министры, мэр Иерусалима и оба Главных раввина Израиля. За десять

лет моего пребывания в должности Главного раввина я не пропустил эту церемонию ни разу. Так было и в тот год: я выступил с речью и стал раздавать тфилин и субботний подсвечник каждому ребенку. Поднимаясь на трибуну за подарком, дети проходили мимо меня, как на конвейере. Неожиданно кто-то обнял меня сзади. У меня из рук выпал футляр с тфилин, который я держал. Я повернулся. Передо мной стоял высокий и крепкий мальчик, этаким здоровяк. Я не знал, кто это. Он заметил мое смущение и назвал себя: «Я Владик, сегодня у меня бар-мицва. А вы приходили к нам в Катамоне, когда родители погибли в теракте в 18-м автобусе. Вы помните? Я был с братом Томером. Помните? Тетя Лариса еще сказала, что вы тоже в восемь лет остались без родителей...» Я ответил, что все отлично помню, но главное, чтобы он помнил, что сказала ему тогда тетя Лариса: «Все в твоих руках», – слово в слово повторил я ее слова. «Она сказала, что если ты захочешь и постарайся, то сможешь многого добиться. Я присоединяюсь к ее благословию и желаю тебе, чтобы Владыка мира освещал все пути твоей жизни», – и мы расстались, крепко пожав друг другу руки.

Встреч, подобных посещению семьи Владика, за время моего пребывания в должности Главного раввина Государства Израиль у меня, к сожалению, было очень много.

* * *

Когда в 5753 (1993) году проводились выборы Главного раввина Израиля, Рабочая партия, у которой было 26 представителей среди 150 членов избирательного комитета, назначила комиссию, состоявшую из семи человек. В задачу комиссии входило тщательно изучить все шесть кандидатур: три на должность Главного ашкеназского раввина и три на должность Главного сефардского. По завершении встреч с кандидатами комиссия должна была представить на заседание центрального комитета Рабочей партии отчет с рекомендациями: кого, по их мнению, партии следует поддержать. Я занимал тогда должность главного раввина Тель-Авива-Яффо и был кандидатом наряду с раввинами Хайфы и Реховота. Мэр Хайфы, господин Арье Гурель, высказался в пользу хайфского раввина; мэр Реховота, господин Моше Лапидот – в поддержку своего кандидата, раввина Реховота. За меня, на первый взгляд, высказываться было некому, потому что главой города, в котором я занимал пост раввина, был Шломо Лаѓат – член партии Ликуд. Тем не менее три человека выступили в мою поддержку. Бригадный генерал Эфраим Хирам, по прозвищу Пехотка, рассказал о наших с ним встречах в армии, на Голанских высотах, и о том, как я поднимал моральный дух солдат в ходе бесед

с ними. «Я человек абсолютно светский, армейская косточка, в раввинах не понимаю, – сказал этот человек, в то время бывший председателем муниципального совета Год га-Шарона. – Но живу-то среди своего народа и знаю – он и есть человек, которого следует избрать». Так сказал Пехотка. После него встал глава муниципалитета Йегуда, покойный ныне Мордехай Линник, который рассказал, что пережил Катастрофу, а потом сидел в лагерях в России. Свой путь в Израиле он начал в бараке для новых репатриантов и поднялся до поста мэра города. «Я знаком со всеми кандидатами, однако среди них есть человек, вышедший из груды пепла. Он олицетворение нашего возрождения как нации, а потому достоин нашей поддержки. Это раввин Лау». Третьим, кто попросил слово, был Юваль Френкель, сказавший: «Я представляю молодое поколение и говорю от его имени: если есть раввин, который понятен нам и который воспринимает и чувствует нас, то это – раввин Лау».

Я никогда не был связан с какой-либо партией, хотя предложения такого рода делались мне все время. Я всегда благодарил обращавшихся ко мне с этими предложениями, но говорил, что мне следует думать не о дне выборов, а о дне после выборов. Объяснял, что предпочитаю, чтобы на мне не висел ярлык той или иной партии. Этот девиз я взял себе по примеру моего тестя, раввина Френкеля, который пятьдесят лет был раввином в Тель-Авиве, из которых 14 – главным раввином города. Он получил эту должность без всякой политической поддержки. Он был раввином всех евреев и знал, что только так он может преуспеть в исполнении своей должности. Я же сказал себе, что если меня не выберут, не произойдет никакого несчастья, но если выберут, то я должен быть уверен, что доверие общества оказано мне, а не какой-либо партии. Я прошел семь предвыборных кампаний, баллотировавшись на разные должности, и ни разу не проиграл. И на этот раз, после пяти лет в должности главного раввина Тель-Авива, я был – с помощью Небес – избран на пост Главного раввина Израиля благодаря поддержке, не знавшей общинных, партийных и мировоззренческих границ.

* * *

В силу своей должности Главный раввин Израиля обязан выполнять две функции. В первые пять лет каденции он должен быть председателем раввинского суда в Большом раввинском суде и президентом Совета главного раввината. В качестве президента Совета главного раввината он отвечает за все религиозные службы в стране: кашрут, суббота, религиозные советы, погребение и проведение экзаменов для кандидатов на раввинское звание. Во вторые пять лет каденции он выполняет обязанности

Президента Большого раввинского суда, отвечая за всю систему раввинского судопроизводства.

Закон не устанавливал и не определял детально, как раввину проводить свободные от отправления указанных обязанностей часы, на каких мероприятиях ему присутствовать, перед какими людьми выступать. Каждый занимающий эту должность может наполнить ее важным для него содержанием, исполнив свои обязанности по распространению Торы и вынесению галахических постановлений.

Я положил себе сосредоточиться на наиболее важной, на мой взгляд, сфере, в которой я видел исполнение заповеди и миссию одновременно: посещение раненых, утешение скорбящих и социальные вопросы, связанные с болезнями и человеческим страданием. Моя чувствительность к этим вопросам и особое место, которое они занимали в моем мире, как человека и как Главного раввина Израиля, уходили корнями, как я полагаю, в пережитое в годы Катастрофы, наложившей отпечаток на всю мою жизнь и сопровождающей меня в любом деле, к которому я обращаюсь. Не раз перед глазами у меня возникала картина того, как я, маленький мальчик, заболев корью, лежу совсем один, потому что мой брат Нафтали тоже болеет тифом и находится в изоляторе лазарета в Бухенвальде. Ни одна живая душа не заходила проведать меня, ободрить, поддержать меня за руку. Это детское воспоминание оставило глубокий след в моей душе, оно-то и понуждает меня приезжать в больницы по всей стране, говорить слова ободрения людям, страдающим от боли, приходить в семьи, пребывающие в трауре, и утешать людей теми немногими словами, которые можно найти в такие тяжелые моменты. Я видел свой долг в том, чтобы присутствовать на открытии любого нового отделения в разных больницах и произносить несколько слов поддержки и ободрения людям, занимающимся этим нелегким делом. Как религиозный судья я также взял себе за правило навещать женщин, пострадавших от насилия в семье, и семьи женщин, погибших от рук своих мужей, прежде всего, стремясь понять, как супруги скатываются в эту бездну, и извлечь необходимые уроки.

* * *

Свое утро, как всякий верующий и соблюдающий заповеди человек, я начинаю с *Бирхот га-шахар* – утренних благословений, включающих речения из *Барайты* – не включенной в Мишну традиции. В ней указаны заповеди, соблюдение которых удостаивает человека вкусить от их плодов в этом мире, в то время как «награда за их исполнение сохраняется для него

в мире грядущем¹. Заповеди эти следующие: почитание отца и матери – каковая возможность, к моему глубочайшему сожалению, мне не представилась, помощь ближнему, ранний приход в дом учения, утренняя и вечерняя молитвы, гостеприимство, помощь в выдаче девушки замуж, посещение больных, погребение мертвых, внимательное чтение молитвы, примирение друзей, установление согласия между мужем и женой и изучение Торы, равноценное всем остальным заповедям, вместе взятым. Когда человек повторяет эти благословения в течение шестидесяти лет, он не может не чувствовать глубокого долга исполнять все в них названное. Из-за этого-то, по моему скромному мнению, так сильна приверженность религиозных евреев к благотворительности во всех ее проявлениях, к помощи ближнему вообще и к посещению больных в частности.

В период моего пребывания в должности началась интифада, сопровождавшаяся чудовищными терактами, жертвами которых пали многие прекрасные люди. Тысячам раненых потребовалась госпитализация, а шрамы остались с ними на всю жизнь. С большинством из них я познакомился вследствие этих печальных событий, для некоторых мне выпала часть впоследствии проводить церемонии бракосочетания или участвовать в их бармицах. Я посещал раненых во всех больницах Израиля, от «Сороки» на юге до «Га-эмека» на севере, однако большинство раненых было в Иерусалиме и в центре страны.

* * *

Из многих историй жизней, оборванных интифадой, одна произвела на меня неизгладимое впечатление. Она была связана с семьей, с которой у меня установились прекрасные отношения. Корни моей связи с этой семьей уходят в тот период, когда я был главным раввином Нетании. В то время я познакомился с жителем города Йосефом Фридманом. Он был выходцем из Венгрии, знатоком Торы и интеллигентом, своими руками создавшим предприятие по производству уксуса в старой промзоне Нетании. И он, и его жена пережили Катастрофу, и созданная ими семья была не особенно разветвленной. Йосеф Фридман приходил на все уроки Гемары, которые я обычно проводил в синагоге «Бейт Меир», и давал пожертвования на религиозную общину города. После моего избрания на должность раввина города он позвонил мне и рассказал, что его старшая дочь, Цира, собирается выходить замуж. Он упросил меня провести церемонию бракосочетания, хотя наше знакомство с ним было еще очень коротким. Я спросил о семье жениха, и он сказал, что жених, Мордехай Схивесхордер, проис-

¹ Мишна, Пеа, 1:1.

ходит из семьи, живущей в Голландии, и репатриировался в Израиль один. Трудная для произношения голландская фамилия запомнилась мне.

Однажды, спустя примерно двадцать лет, моя секретарша в канцелярии Главного раввина Израиля сообщила мне, что звонил мужчина с труднопроизносимой фамилией и просил о встрече, чтобы поговорить о каком-то педагогическом вопросе. Она переключила разговор на мой аппарат, и на проводе оказался тот самый Моти Схивесхордер, которому много лет назад я ставил хупу. Я пригласил его к себе в офис, спросил о семье, и он рассказал, что за прошедшие годы у него с женой родились сыновья и дочери, и что они живут в поселении Нерия (Тальмон) в наделе Беньямина; что он занимался импортом химикалий из Голландии, а его жена каждый день ездит в Иерусалим, где преподает в ортодоксальной школе «Шма колену» для слабослышащих детей. Убедившись, что в Израиле есть проблемы с религиозным воспитанием, он оставил занятия импортом и создал в поселении, где они жили, окружную талмуд-тору. Он назвал ее в память о своем отце, Йосефе Схивесхордере, бывшем одним из лидеров движения «Агудат Исраэль» в Голландии. Название талмуд-торы было взято из Теѓилим: «Ведущий Йосефа, как овец»¹. Сын просил меня приехать и прочитать лекцию в основанной им талмуд-торе, чтобы тем самым поддержать детей и их родителей и подать пример остальным жителям, еще не отдавшим детей в его заведение. «Если Главный раввин доберется до Нерии и прочитает лекцию ученикам, – сказал он, – то появится шанс, что и другие родители согласятся послать своих детей учиться у нас». Он добавил, что ему нужна поддержка, поскольку ему трудно выплачивать зарплату меламедам. Понятно, что я ответил на его просьбу согласием.

В месяце ав 5761 года (июль 2001-го), спустя почти год после начала интифады, в два часа пополудни, террорист-самоубийца привел в действие заряд взрывчатки в людном кафе «Сбарро» в самом сердце Иерусалима. 15 человек погибли, около ста были ранены. В девять вечера в моей квартире в Тель-Авиве раздался телефонный звонок, и в трубке прозвучал голос молодой женщины, которую душили слезы: «Я звоню вам из больницы «Бикур-Холим» в Иерусалиме. Вы помните Циру Схивесхордер? Говорит ее сестра. Цира погибла сегодня в кафе «Сбарро». Ее муж, Моти, тоже погиб. По случаю школьных каникул они взяли отгул, поехали с детьми в Иерусалим и зашли в кафе «Сбарро» поесть пиццы. Трое детей из пяти, что были с ними, погибли. Рая, Авраѓам-Ицхак и Хемда. Самой маленькой было два года, самой большой – 15. Трое старших сыновей целы. Двое были в армии,

¹ Теѓилим, 80:2.

а третий не поехал с родителями. Две младшие дочери, Лезле и Хаяле, ранены и лежат в больнице». Когда прошел первый шок, я спросил, знают ли родители о страшном несчастье, и если да, то в каком они состоянии. Она сказала, что родители в Нетании и что им потребовалась медицинская помощь после того, как они получили страшное известие. Они вспомнили, что я проводил бракосочетание Моти и Циры, и спрашивали, смогу ли произнести надгробное слово на их похоронах, которые были назначены на следующий день на кладбище Га́р га-Менухот в Иерусалиме. Конечно, я согласился.

Трудно подобрать слова для описания похорон отца, матери и трех маленьких детей. Тяжело смотреть на пять стоящих в ряд носилок с телами, два из которых покрыты талитами и три – национальным флагом. Тяжело смотреть в глаза Лезле, десятилетней девочки, всматривающейся в погребальные носилки своих родных. Сама она забинтована с головы до ног и лежит на больничной койке, с одной стороны которой стоит врач, с другой – медсестра. Лезле настояла на том, чтобы присутствовать на похоронах своих родителей, сестер и брата. В больнице согласилась на этот исключительный шаг, понимая, что если ее не будет на похоронах, она всю жизнь не сможет себе этого простить. С тяжелым сердцем ей разрешили, страхась за нее, поехать из больницы на похороны, вместе с больничной койкой, капельницей и страшной болью – физической и душевной.

Я стоял напротив нее, встречал глазами ее взгляд, и траурные слова застыли у меня на устах. Я смог только воскликнуть: «Доколе? Доколе злодеям, Господи, доколе злодеям ликовать? Доколе?»¹ – и умолкнул.

Спустя минуту безмолвия я вспомнил *агаду* (притчу) мудрецов Талмуда: «Когда стояли мы на берегу Черного моря, между молотом и наковальней, после четырех поколений рабства, изнурительных работ и притеснений, сказал Уза-ангел, предстатель Египта в Высшей свите: «Владыка мира, не заслуживает Израиль, чтобы свершилось для него чудо, и не заслуживают сыны мои, народ египетский, утопления в море. Чем отличаются эти от этих? Эти предаются чужому служению (поклоняются идолам) и эти предаются чужому служению». В этот час кивнул Михаэль – предстатель Израиля и заступник его – архангелу Гавриэлю. И Гавриэль полетел и мигом долетел до Египта, извлек из стены Питома и Раамсеса кирпичи из глины и ила, которыми был придавлен еврейский младенец. Когда еврейские рабы не выполняли урока (по деланию кирпичей), поставленного им, египтяне-притеснители брали младенцев, которых собирали по домам, и добавляли

¹ Теѓилим, 94:3.

их в стены, чтобы урок был выполнен. Положил Гавриэль младенца на колени Михаэлю, а Михаэль положил его на чашу весов, и перевесила она. Тельце жестоко умерщвленного младенца перевесило чашу в пользу целого народа». А что же творится сейчас в Высшей свите? Когда Авремел, Хемдале и Рая возносятся в небеса? Пять членов одной семьи – пять младенцев. Сколько лет было Моти? Сколько лет было Цире? Они были в самом начале жизни. Он заботился о воспитании детей, она преподавала детям с плохим слухом, и оба они растили своих восьмерых детей, и вот, большая часть этой семьи истреблена».

Через два дня после похорон, которые были в пятницу, я поехал навеситить раненых в теракте в кафе «Сбарро», лежавших в больнице «Шаарей Цедек». Я попытался разговаривать там тяжело раненую 16-летнюю девушку. «Я сидела в кафе с двумя подругами, – наконец стала она рассказывать, – мы ели пищу. Рядом с нами стояли два сдвинутых стола. За ними сидела большая семья – мама, папа и дети. Вдруг раздался страшный бум, везде были ужасные языки пламени. В тот миг, когда я поняла, что горю, я услышала голос человека, сидевшего с семьей рядом с нами: «Дети, повторяйте громко вместе со мной «Шма Исраэль», и они повторяли, а потом вдруг стало совсем тихо... и я очнулась уже в больнице». Это жуткое зрелище не покидало меня: Моти Схивескордер знал, что его семья умирает, и позаботился о том, чтобы последними словами его малолетних детей было «Шма Исраэль». Я не мог не вспомнить дни Катастрофы, не мог не вспомнить своего отца, идущего вместе с евреями из общин Пётркува и Прешова со словами «Шма Исраэль» на устах.

На следующий день после посещения больницы «Шаарей Цедек» я поехал проведать оставшихся в живых членов семьи. Дети решили сидеть *шиву* в Тальмоне, в доме, построенном их родителями. Посреди дневной молитвы у входа в дом остановилась машина скорой помощи, и в дверях отчего дома появилась Лезле, поддерживаемая двумя парамедиками. Она настояла, чтобы ее выписали из больницы, чтобы она могла несколько из дней «шивы» провести вместе с братьями. Несколько часов спустя, с трудом поднявшись и направившись к выходу, я остановился возле нее. Спросил о состоянии ее сестры, госпитализированной в той же больнице, и Лезле сказала, что по дороге зашла к сестре в отделение интенсивной терапии, чтобы сказать Хаяле, что она едет домой. «Она знает, что вы говорили на похоронах мамы и папы. И знает, как и я, что вы поженили их. Мы всегда вас видели на фотографиях в их свадебном альбоме, а дедушка Фридман о вас много рассказывал. Она просила передавать привет всем, кто придет с соболезнованиями, и добавила, что, наверно, и раввин Лау придет. Она просила, чтобы вы навестили ее. «Напомни ему, что как есть заповедь уте-

шения скорбящих, так есть и заповедь посещения больных. Попроси его прийти ко мне», – сказала».

Первое, что я сделал на следующее утро, это навестил Хаяле в ее палате. У нее было обожжено лицо, сломаны руки и ноги, и, несмотря на огромные дозы морфия, которые ей давали, невозможно было заметить, какие сильные боли она испытывает. Стоя перед ней, я чувствовал страшное бессилие. Я колебался, что сказать ей в этих обстоятельствах. И спонтанно, без всякой подготовки, стал рассказывать ей историю, не называя ее героя по имени. «Я знаю одного мальчика восьми лет, у которого нет ни папы, ни мамы. В отличие от тебя, – а тебе повезло, ведь у тебя есть дедушка и две бабушки, – у него был только один брат, пока он не приехал в Израиль и не обнаружил здесь еще одного брата. А у тебя есть еще три брата и сестра.

Восьмилетний ребенок приехал в страну, не зная иврита и не будучи знаком ни с одним человеком, кроме своего старшего брата. А тебя все знают и все любят. Вся страна слышала о страшном несчастье, постигшем твою семью, и тебе шлют свою любовь люди со всех концов страны. Все ждут, когда ты сможешь встать на ноги и, выздоровев, выйдешь из больницы. Я слышал, что тебя навестил премьер-министр, а министр образования принесла тебе плюшевого мишку. Вчера у вас дома, когда я приехал принести свои соболезнования, я встретил Моше Кацава, президента страны. Это все проявления любви. В отличие от тебя, того восьмилетнего мальчика почти никто не ждал, почти никто не знал о его существовании. О нем не знали в учреждениях будущего государства, и уж, конечно, его не любили так сильно. И, тем не менее, он справился, не отчаялся, не оплакивал свою горькую судьбу и не исходил жалостью к себе. Он хотел наилучшим из доступных ему способов начать строить свое будущее в новой стране». В этот момент девочка сказала – совершенно неожиданно для меня: «Я знаю. Этот мальчик – вы». «Если так, – ответил я, – бери пример с меня». Это был короткий разговор. В тех обстоятельствах, когда свита врачей сопровождала меня, было непросто продлить разговор, да и ей было тяжело. Речь давалась ей с огромными усилиями. В это время в комнате не было человека, глаза которого остались бы сухими.

Через несколько месяцев меня пригласили провести свадьбу ее старшего брата. Это была нелегкая и волнующая церемония. Отец и мать не вели жениха к хупе, вместо них были его бабушка и дед Фридманы и бабушка Схивесхордер из Голландии, дяди и тети, – все со слезами на глазах: слезами печали и счастья одновременно. Маленькая Хаяле и ее сестра Леэле подошли ко мне. И если бы они тоже не плакали, я бы не поверил, что это те две девочки, что недавно осиротели, потеряв мать, отца и трех братьев,

и испытали огромные физические страдания. Я увидел очаровательных девочек, которые умели радоваться. И я знал, что они справятся, как справился тот мальчик, о котором я рассказал Хаяле, когда она, тяжело раненная, боролась за свою жизнь в больнице.

* * *

Но не только сынов завета я утешал в их болезнях и страданиях.

Мое близкое знакомство с королем Хусейном началось с посещения семей семи девочек из Бейт-Шемеша, которые были убиты иорданским солдатом во время экскурсии в Нагараим. Король Хусейн специально приехал в Израиль, чтобы принести свои соболезнования скорбящим семьям девочек. Он вставал на колени перед родителями каждой из них и просил прощения за преступное деяние солдата армии его страны, который расстрелял девочек, ни причинивших ему никакого зла. Жест короля был необычен и глубоко поразил семьи погибших девочек, а с ними и весь народ Израиля, сумевший оценить глубоко тронувшую наши сердца человеческую инициативу короля Иордании.

Когда на следующий день я приехал в город Бейт-Шемеш, чтобы выразить – по своему обыкновению во время несчастья – соболезнования скорбящим, визит короля Хусейна был темой дня. Все только о нем и говорили. Он заставил наши сердца забиться. Поступок короля, лишенный политического расчета, произвел большое впечатление и на меня. Король показал себя человеком, чутким к горю своего ближнего. Я много слышал о нем и следил – как каждый израильтянин – за предпринимавшимися им в целях достижения мира шагами. Я видел его вблизи, когда с покойным Ицхаком Рабином он подписал в долине Арава мирный договор между Израилем и Иорданией, в присутствии президентов Билла Клинтона и Эзера Вейцмана. Позднее мы обменялись рукопожатием и несколькими словами во время его государственного визита в Тель-Авив, и на аэродроме Сде-Дов, и в Медицинском центре им. Сураски на мемориальной церемонии поминовения Ицхака Рабина, да будет благословенна его память, однако до настоящего разговора дело у нас не дошло.

Когда у короля обнаружили рак, он был госпитализирован в США, в клинике Майо в городе Рочестер. В это время я должен был оказаться в Чикаго, всего на один день. У меня появилась мысль навестить короля на одре болезни и передать ему – после его широкого жеста в Бейт-Шемеше – пожелания от народа в Израиле, который молится о его полном выздоровлении. Я сообщил об этом в МИД, и Эфраим Галеви, бывший нашим послом в Иордании, передал мою просьбу королевской семье. Родные короли были тронуты самым фактом моего предложения, однако известили меня – через

посла, – что в этот день у короля начинается очередной курс химиотерапии. И так как у него выпали все волосы, он предпочитает не показываться никому, кроме самых близких родственников. Конечно, я принял их объяснения и с уважением отнесся к их решению.

Я уже был в Чикаго, когда зазвонил мой мобильный телефон. На линии был Айман аль-Маджали, директор королевской канцелярии. Аль-Маджали был доверенным лицом короля Хусейна, он отвечал за распорядок дня короля и присутствовал на его встречах. Он обратился ко мне «хаким акбар Лау» и сказал, что королю стало известно о моем пребывании в Америке и желаним уделить время, чтобы навестить его в больнице. «Король человек верующий и придает большое значение вашим молитвам и благословениям. Он рассердился на тех, кто сказал, что он никого не принимает. Понятно, он принимает не всех, и уж конечно не готов фотографироваться. Ему бы хотелось остаться в памяти своего народа во всем своем величии, а не в нынешнем его состоянии, но он ни в коем случае не готов отказаться от вашего визита и ваших молитв», – пояснил аль-Маджали и спросил, когда я – несмотря ни на что – буду готов посетить короля. Без колебаний я ответил, что смогу приехать уже на следующий день, и аль-Маджали закончил телефонный разговор, подчеркнув, что король и он будут меня ждать. Никак не смогу объяснить это, но, повинувшись какому-то бывшему у меня внутреннему чувству, подсказывавшему мне, что, возможно, мне удастся навестить короля Хусейна, я, улетаю из Израиля, взял с собой большое, переплетенное в белую кожу издание Танаха на иврите и английском, дабы вручить его королю в качестве личного подарка от меня.

Назавтра, в новолуние месяца эзуль 5758 года (23 августа 1998) я, взяв Танах, поехал в клинику Майо. Меня привели в комнату, смежную с палатой короля Хусейна, и я стал ждать. Внезапно вошел король, с тянувшимися от него к капельнице трубками, на больничную пижаму он надел пиджак. Войдя, он тепло пожал мне руку и с легкой улыбкой извинился за свою одежду и отсутствие галстука. Объяснил, что ему трудно повязывать галстук поверх больничной одежды, но так как он знает, что так не принимают главного раввина, он и надел этот пиджак. Мы оба улыбнулись и, сев, проговорили сорок минут. Когда встреча подошла к концу, я преподнес ему Танах, на переднем развороте которого написал стих из книги пророка Йирмиягу: «Исцели меня, Господи, и буду я исцелен; спаси меня, и я буду спасен, ибо Ты – хвала моя»¹. «От имени всего народа Израиля, – приписал я в продолжение, – который ценит ваши усилия, направленные на достижение мира, и питает глубокое уважение к вашей личности,

¹ Йирмия, 17:14.

я молюсь о вашем здоровье и желаю вам быстрого и полного выздоровления». Король Хусейн взял Танах в руки и, прочитав посвящение, поднес верхний край книги к губам и поцеловал ее. Он закрыл глаза с выражением страдания на лице, поднял Танах и положил его себе на голову. Я видел, как из его сомкнутых глаз текли слезы. Затем он опустил книгу, снова поцеловав ее, и спросил: «Хаким акбар, у вас есть дети?» Я ответил утвердительно. «И внуки?» – поинтересовался он. Я снова кивнул. «И все в Израиле?» – спросил он. «Все в Израиле», – ответил я. «И я обещаю вам, Аллах свидетель, что если Он дарует мне жизнь, то все свои силы, до скончания моих дней, я посвящу высшей цели, чтобы ваши внуки и мои внуки могли жить в дружбе, как хорошие соседи. Я обещал это человеку, которого любил и которым восхищался, великому воину и герою, Ицхаку Рабину», – слабым голосом, но твердо произнес король Хусейн. Я поблагодарил его и рассказал, что сидел напротив него, когда он произносил надгробное слово на похоронах Ицхака Рабина на Горе Герцля. «Я чувствовал, что ваши слова о Рабине идут от самого сердца», – заметил я. Король кивнул: «Я любил его честность, любил его храбрость». Затем король стал говорить обо мне, и его слова застали меня врасплох: «Мне известно ваше прошлое и все, что вы пережили в детстве. Я знаю, что святость жизни – высшая ценность для вас. Может быть, именно это привело вас в клинику Майо, чтобы посетить меня. Я обещаю вам, что еще вернусь в Иорданию и сделаю все для достижения мира между нами». Я захотел приободрить его и сказал, что сейчас клиника Майо – это его поле боя. «Вы всегда были очень смелым, решительным и мужественным человеком, так мобилизуйте все ваши силы и способности, чтобы одержать победу в этом бою», – сказал я с глубоким чувством, и король заплакал.

Через сорок минут, когда наша беседа подошла к концу, король Хусейн настоял на том, чтобы проводить меня до лифта, медленным напряженным шагом пройдя через комнаты врачей, медсестер и своих телохранителей. «Вы хаким акбар, я обязан оказывать вам уважение, я человек верующий», – объяснил он свой жест и тяжело зашагал в сторону лифта, с трубками капельницы, тянущимися к руке и элегантным пиджаком, надетым поверх больничной пижамы. Король Хусейн даже в трудные минуты стремился выглядеть по-королевски величественно, следя за своей внешностью и атрибутами королевской власти. Он был начисто лишен чувства жалости к самому себе из-за ужасной болезни, терзавшей его тело. Спустя полгода после моего посещения король умер. Сообщение об этом я получил от начальника королевской канцелярии Аймана аль-Маджали, который просил – через нашего посла, – чтобы я приехал на похороны в составе израильской делегации. Аль-Маджали объяснил, что король никогда не забы-

вал моего визита к нему в клинику Майо и не переставал говорить о нем. «Танах в кожаном переплете, который вы вручили ему в подарок, – добавил аль-Маджали, – оставался с ним до последних мгновений его жизни».

После того как могила была засыпана, сын короля, Абдалла, встал, чтобы принять поздравления с вступлением его на престол. Случайно я оказался третьим в очереди поздравлявших, после президента Сирии Хафеза Асада и президента Франции Жака Ширака. Я сказал ему, что надеюсь, что он пойдет по стопам отца, путями мира. Он подтвердил мне истинность слов стоявшего рядом Аймана аль-Маджали, что его отец не переставал говорить о моем визите, и что он, Абдалла, несомненно, продолжит дело отца и упрочит подлинный мир между нами. Я воспользовался случаем в день коронации и послал ему письмо с поздравлениями, основная часть которого заключалась в убедительнейшей просьбе использовать его связи с иранскими властями, дабы поспособствовать освобождению евреев, без всякой вины посаженных в тюрьму в Ширазе.

Осенью 5758 (1997) года, посередине дня, когда я ехал из своей канцелярии в Иерусалиме домой в Тель-Авив, по радио сообщили о госпитализации египетского посла в Израиле Мухаммада Басьюни в больницу «Ихилув». Согласно сообщению, у посла стало плохо с сердцем, и его доставили на машине скорой помощи в больницу, где провели аортокоронарное шунтирование. Я попросил у Руби, моего преданного водителя, проехать по дороге домой через больницу «Ихилув», чтобы я мог справиться о состоянии Басьюни, которого знал по многим государственным мероприятиям, в которых мы принимали участие. Когда я подошел к его палате, мне сказали, что он только что вышел из послеоперационной и все еще спит. Я попросил передать ему привет, когда он проснется, и сказать, что я зайду проведать его на следующий день. Идя назад, я услышал женский голос, окликавший меня: “Chief Rabbi, Chief Rabbi”. Это была Нагуа Басьюни, жена посла, которая узнала меня из-за стены телохранителей, обступивших его палату, и попросила провести меня внутрь. Я объяснил, что, так как посол спит, я уйду, но она настояла на своем. Сильна вера ее мужа в Аллаха, объяснила она, и, будучи человеком верующим, он нуждается в моих молитвах. Она была очень взволнована и, легонько расталкивая телохранителей, прокладывая себе путь ко мне, не переставая упрашивать меня зайти в палату и постоять рядом с его кроватью. Я не мог ей отказать, хотя в голове у меня промелькнула мысль, что это не самый правильный поступок. Когда больной откроет глаза, подумал я, первое что откроется его затуманенному после наркоза зрению, посреди трубок, к которым он подсоединен, будет высокая, облаченная в черное фигура – в черной капоте и с черной шляпой на голове – тут-то, от испуга, с ним и может случиться

новый сердечный приступ. А этого, понятно, я хотел меньше всего. Но пока я стоял с одной стороны кровати, а жена послала и телохранитель – с другой, Басьюни открыл глаза, посмотрел на меня, и широкая улыбка расплылась у него на лице, как если бы он хотел сказать: «Хаким акбар, благословите меня». Естественно, я отозвался на его просьбу и пожелал ему скорейшего выздоровления. Спустя месяц в моей иерусалимской канцелярии зазвонил телефон: на проводе был Мухаммад Басьюни. Он поинтересовался, может ли он заехать повидать меня. Через час он прибыл в канцелярию Главного раввина Израиля в Иерусалиме, чтобы передать мне личное послание президента Египта Хосни Мубарака, приглашавшего меня посетить его в президентском дворце на следующий день, 18 кислева 5758 года, 17 декабря 1997-го. Немного удивленный, я поинтересовался, как родилась идея этого приглашения, ведь я не политик и не государственный деятель. «Мне бы хотелось знать, – сказал я, – что нужно от меня уважаемому президенту». Мухаммад Басьюни улыбнулся и сказал: «Вы ведь знаете, что многие в Египте считают, что я засиделся в Израиле. За 18 лет моего пребывания здесь многие сменявшие друг друга министры иностранных дел не один раз хотели заменить меня, грозит этим и нынешний министр. Но у меня есть надежный сторонник в штате президента, мой друг Усама аль-Баз. Пока я поправлялся после операции на сердце, я рассказал ему, что вы были первым человеком, которого я увидел, вернувшись к жизни. Когда снова встал вопрос о моей замене, Усама аль-Баз рассказал об этом Хосни Мубараку, чтобы показать ему, насколько я популярен в Израиле, так что даже Главный раввин страны приехал из Иерусалима в Тель-Авив и был первым, кто посетил меня, пожал мне руку и вознес молитву о моем скорейшем выздоровлении после операции. Мубарак раскрыл рот от удивления и сказал: «Хотел бы я увидеть этого человека». И аль-Баз ответил: «Так пригласите его».

Незадолго до моего выезда у меня дома раздался телефонный звонок. На проводе был министр иностранных дел Ариэль Шарон. «Я слышал, – сказал он, – что вы собираетесь на встречу с президентом Мубараком. У меня к вам просьба. У нас там израильский гражданин Азам Азам, без всякой вины сидящий в каирской тюрьме. Пожалуйста, попросите президента его освободить. Может быть, к религиозному деятелю он окажется более расположен».

На следующий день я отправился в Каир. К сожалению, посол Басьюни не мог меня сопровождать по состоянию здоровья. Каир подготовился к моему приезду, и это бросалось в глаза по всему маршруту моей поездки. На улицах, по которым пролегал мой путь, было остановлено движение транспорта и автобусов. Люди стояли по сторонам дороги и с любопытством взирали на колонну автомашин. На встрече со мной Мубарак сказал,

что в этот день на улицы столицы было послано около 10 тысяч полицейских для обеспечения безопасности моего передвижения. Я был изумлен этим невообразимым числом. «Если бы всем моим противникам и противникам мира с Израилем позволили выйти на улицы и действовать беспрепятственно, – объяснил Мубарак, – если бы, не дай Бог, что-нибудь случилось с таким гостем, как вы, то куда бы я пришел? Я не могу себе позволить, чтобы с вами произошла хоть малейшая неприятность во время вашего пребывания у нас».

На нашей встрече присутствовало около двадцати человек. С нами был посол Израиля в Египте Цви Мазаль, генеральный консул Коби Брош, трое сопровождающих из Главного раввина, приехавших вместе со мной, а остальные – египтяне. Беседа продолжалась около полутора часов и велась по-английски. Мубарак начал с того, что в Израиле есть новый премьер-министр, Биньямин Нетаниягу. Я разъяснил президенту, что не являюсь политиком и не принадлежу ни к одной партии, и объяснил, что вне всякой связи с политическими взглядами премьер-министра, народ в Израиле по горло сыт войнами и заинтересован в мире с соседями более, чем в чем-либо другом. В доказательство я привел ему в пример тот факт, что именно Нетаниягу, премьер-министр от партии Ликуд, вернул палестинцам Хеврон. Шимон Перес подписал соглашения в Осло, но тем, кто претворил их в жизнь, был Биньямин Нетаниягу. Минутная тишина воцарилась в зале. Я не знал, рассердили ли мои слова президента и какова будет его реакция, но слова мои были исключительно ясны и понятны, когда я говорил о нашем стремлении положить конец войнам. «Вы правы», – прорезал тишину мощный голос Мубарака.

Я поведал ему о новых правилах, разработанных во время правления Рабина нами, Главными раввинами Израиля, после бойни в Пещере Праотцев, дабы позволить евреям и мусульманам молиться в ней: десять дней в году в пещере молятся только мусульмане, десять дней – только евреи, а в остальные 345 дней года для адептов этих двух конфессий устроены отдельные входы и залы. После бойни, учиненной на праздник Пурим 5754 года (март 1994-го) и до момента нашей встречи в декабре 1997-го, ни одна рука не была поднята человеком на человека в Пещере Праотцев, и уж подавно не пролилось ни единой капли крови. Это, с моей точки зрения, разительный пример того, что если есть стремление жить во взаимопонимании при разумном и приемлемом для обеих сторон порядке, то это, безусловно, возможно.

В ходе нашей беседы с Хосни Мубараком я поднял еще один важный для меня вопрос – о свитке Торы, захваченном египтянами в опорном пункте «на пристани» и выставленном теперь на всеобщее обозрение в качестве

экспоната в египетском музее Войны Судного дня. Я объяснил президенту, что есть свиток Торы, каково его значение для каждого еврея и почему он не может служить орудием ведения войны. Поэтому, сказал я, не подобает выставлять его в военном музее как символ победы. Президент пообещал разобраться с этим вопросом. С данным конкретным свитком, захваченным в опорном пункте «на пристани», я был связан лично. В свое время он был привезен из Румынии, где пережил Катастрофу, затем передан в Министерство религий, оттуда – в Главный Военный раввинат, который доставил его солдатам, занимавшим этот опорный пункт, для молитв в Судный день 5734 (1973) года.

Годы спустя я испытал непередаваемые переживания при вызволении свитков Торы, захваченных во время Катастрофы. Я был среди людей, причастных к вызволению более трехсот других написанных на пергаменте свитков Торы, сохранившихся полностью или частично, и к их вывозу в Иерусалим после 60-летнего заточения в Вильнюсе. Первый свиток из этой партии я привез из Вильнюса в Иерусалим лично.

В беседе с Мубараком я затронул и дело Азама Азама. Президент предложил модус операнди, распространяться о котором не пристало на этих страницах. Однако все данные были законспектированы консулом Коби Брошем, а свой отчет об итогах встречи я представил министру иностранных дел Шарону и семье Азама Азама.

Ближе к концу встречи Мубарак обратился ко мне с просьбой, которую предварил заявлением, что сам он – человек не религиозный. Однако в Каире живет человек, бывший главным муфтием Египта, – самый высокопоставленный служитель религии в стране. Это доктор Мухаммад Тантауи, президент университета Аль-Азхар в Каире. Мубарак настоятельно просил, чтобы я уделил время для встречи с ним. Я не удивился этой просьбе, потому что изъявил свое желание увидеть этого человека Мухаммаду Басьюни, передавшему мне послание с приглашением президента.

Мы поехали к шейху аль-Азхару. Встреча проходила в канцелярии президента университета, старинной и темной постройке в кампусе, в котором почти не было студентов. В комнате нас было пятеро: сам шейх – доктор Тантауи, его заместитель – шейх Зафаф, с которым я несколько раз встречался на разных конференциях в Европе и США, посол Израиля Цви Мазаль, служивший нам с шейхом переводчиком, и Коби Брош, стенографировавший беседу для МИДа. Беседа в университете Аль-Азхар, в котором обучаются имамы, муфтии и кади суннитской общины, продолжалась около полутора часов. Увидев через окно, что наступает час заката, я вспомнил, что обещал прочитать молитвы *Минха* и *Маарив* в синагоге «Шаарей Шамаим» в Каире, единственной синагоге в Египте, где собирается «почти-миньян». Я знал,

что евреи с нетерпением ждут там меня. Рассказав об этом обстоятельстве шейху аль-Азхару, я поблагодарил его за сердечную беседу и извинился за то, что вынужден оставить его и отправиться в синагогу. Тогда же я, отдавая долг вежливости, спросил его, будет ли он готов нанести мне ответный визит в Иерусалиме. Я обещал принимать его с тем же почетом, какой был оказан мне, однако ответ его был краток и недвусмыслен: «Только если в моем паспорте появится печать Палестинского государства. Я не готов, чтобы в нем была поставлена печать Государства Израиль». Я не мог смолчать, услышав столь крайнюю позицию, и продолжал упорствовать: «Если речь идет о дружеских и добрососедских отношениях, то чем вам мешает печать? В моем паспорте теперь есть египетская печать, и я горд тем, что посетил президента Хосни Мубарака. Ведь всякая попытка упрочить мир и взаимопонимание между нами должна только приветствоваться». Но шейх аль-Азхар не изменил своей позиции. Он считал Иерусалим городом, который израильтяне незаконно отняли у мусульман. Я не мог позволить себе промолчать в ответ на выражение столь крайних взглядов: «Я немного подготовился к нашей встрече, «выполнив домашнее задание» и разузнав о вас, – поведал я ему, – когда мне сказали, что вы имеете ученую степень доктора, мне стало любопытно, какова была тема вашего доктората. Мне сказали, что вы подали тезу о евреях и еврействе в Коране. Из этого я делаю вывод, что вы разбираетесь не только в исламе, но и в иудаизме. Я тоже понимаю кое-что в иудаизме, но не в исламе. А поэтому позвольте мне задать вам вопрос: сколько раз в Коране упоминается Иерусалим? Ведь речь идет о святом городе, Аль-Кудсе! В основополагающей книге ислама наверняка уделено достойное место столь святому городу?» – невинно поинтересовался я. Шейх посмотрел на меня долгим взглядом и промолчал. У нас, в Танахе, слово Иерусалим и синонимичное ему слово Сион встречаются не раз и не два, а 821 раз, что доказывает центральное место, которое занимает Иерусалим в еврейской вере и мировоззрении. Нет книги в Танахе и почти нет тем, в которых не присутствовал бы Иерусалим. Танах неоднократно подчеркивает, что должно соблюдать право доступа ко всем святым местам для всех конфессий и всех народов, как сказано в книге пророка Йешаягу в главе 56: «И их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их в доме молитвы Моем; всеожожения их и жертвы их в благоволение (будут) на жертвеннике Моем, ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов»¹. Что касается суверенитета и исторической связи с городом, то 821 упоминание что-нибудь да значит. «Итак, – вернулся я к своему вопросу, – сколько раз упоминается Иерусалим в Коране?» Шейх по-прежнему молчал, словно воды

¹ Йешаяя, 56:7.

в рот набрал. «Я попробую догадаться, – сказал я, и шейх все так же молча посмотрел на меня, – вероятно, правильный ответ: ни одного раза?» Заместитель Зафаф утвердительно кивнул головой. После этого незабываемого кивка я отправился в синагогу, чтобы вместе со считанными каирскими евреями прочитать молитвы Минха и Маарив. У меня сложилось ощущение, что, несмотря на мирный договор между Израилем и Египтом, нам предстоит еще долгий путь к установлению прочного и нерушимого мира, потому что есть люди, партии и движения, до сих пор не готовые принять существование Государства Израиль в качестве свершившегося факта.

Ариэль Шарон рассказывал мне, что в оманской газете была напечатана карикатура: встречаются две свиньи. На одной был нарисован полумесяц, на другой – маген-давид. Под карикатурой красовалась подпись: «Встреча шейха аль-Азхара и хакима акбара Лау». Это стало известно президенту Мубараку, и тот – оскорбившись из-за урона, нанесенного чести шейха, – ввел въездные визы для всех граждан Омана, желающих посетить Египет.

Ицхак Рабин – распавшееся звено

Ицхак Рабин был убит на исходе субботы, 11 мархешвана 5756, 4 ноября 1995 года. 11 мархешвана – это дата смерти праматери Рахели, а также день уничтожения в Треблинке еврейской общины Пётркува. Среди погибших 28 тысяч евреев города и окрестностей были мой отец и брат Шмуэль Ицхак. По своему обыкновению, я пошел в Дом писателя в Тель-Авиве на церемонию поминовения общины Пётркува, на которую приходят представители второго и третьего поколения выживших. Домой я вернулся после десяти часов вечера. Мой кум, раввин Ицхак Ральбаг из Иерусалима, позвонил и спросил, слушал ли я последние известия. Он сказал, что стреляли в Ицхака Рабина, и что его доставили в больницу «Ихилов». Я был в шоке. Я не знал, в каком состоянии Рабин, кто в него стрелял и почему преступник пошел на это деяние, но помчался в больницу. В голове у меня вертелись разные мысли, однако я был уверен, что речь идет о террористическом покушении. Добраться до уровня –2 больницы, где врачи пытались вернуть премьер-министра к жизни, заняло у меня около семи минут. Леа Рабин и дочь Далия заперлись в комнате медсестер, я присоединился к ожидавшим в коридоре людям. Там были Шимон Перес, начальник Генштаба Амнон Липкин-Шахак, Нисим Звили – в то время генеральный секретарь Рабочей партии, посол США в Израиле Мартин Индик, секретарь правительства Шмуэль Голландер, Ави Бняегу – пресс-секретарь Рабина в мини-

стерстве обороны, и двое водителей премьер-министра – Дамти и Шараби. Все с нетерпением ожидали известий о состоянии премьер-министра. Был момент, когда у нас появилась надежда на лучшее: директор больницы вышел к нам и сообщил, что линия на экране монитора дала скачок – явное указание на наличие признаков жизни. Однако спустя несколько минут из операционной вышли три профессора в белых халатах, ни один из них не проронил ни слова, но, словно сговорившись, они покачали головами из стороны в сторону, как бы говоря: «Все, здесь уже ничего нельзя сделать. Ицхак Рабин скончался». Тем временем стали поступать сообщения о личности покушавшегося. Говорилось о молодом израильянине, однако между собой мы еще надеялись, что это окажется нееврей. Даже когда пришло сообщение о том, что убийца – студент университета Бар-Илан, мы все еще надеялись, что речь идет не о еврее, настолько тяжело нам было поверить в то, что еврей может убить еврейского премьер-министра в Государстве Израиль. Когда были сняты последние сомнения и пришло подтверждение тому, что три пули были выпущены из пистолета студента юрфака университета Бар-Илан по имени Игаль Амир, я сказал стоявшему подле меня человеку, что очень опасаясь, что у нас убили не только друга и руководителя, но и разрушили последнее звено, связывавшее различные части израильского общества. Рабин служил сплочению правых и левых, религиозных и светских, и его убийство нанесло удар по усилиям, прикладывавшимся к достижению национального согласия.

Пока мы были в больнице, Шимон Перес, который, как обычно, не утратил самообладания, спросил меня, каков самый поздний возможный срок для похорон Рабина на следующий день. Я ответил, что если речь идет о похоронах премьер-министра, с которыми связана честь всего государства, то их можно отложить еще на 24 часа, пока не приедут все мировые лидеры, которые пожелают проводить его в последний путь. Шимон Перес попросил меня о личном одолжении: чтобы я вместе с ним пошел к Лее Рабин и все ей объяснил. Леа была не в состоянии остановить свои рыдания. Перес сказал ей: «Уважаемый раввин говорит, что можно будет похоронить Ицхака в понедельник, чтобы сделать возможным прибытие мировых лидеров...» Она не дала ему закончить, сказав, что ей все равно, что мы будем делать. «Делайте что хотите, для меня это уже ничего не изменит. Ицхака больше нет. Мой мир рухнул». Перес схватил меня за руку, и мы, выйдя из палаты, подошли к Мартину Индику, как раз говорившему в этот момент по телефону. Мы поставили его в известность относительно дня похорон, и он продолжил разговор. Закончив его, он повернулся к нам и сказал, что президент Клинтон прибудет на похороны. Публикация известия о смерти Рабина заставила многих мировых

лидеров – в том числе президента Мубарака и короля Хусейна – также сообщить о своем прибытии на похороны.

Перед тем как я покинул стены больницы, корреспонденты спросили меня, что я думаю об убийстве. Я ответил, что время для произнесения надгробных слов еще не пришло, но отнюдь не рано будет предостеречь общество от опасности гражданской войны, запах которой я слышу повсюду в атмосфере последних часов, и дай Бог, чтобы я ошибался.

Перед началом церемонии похорон телеведущая Илана Даян попросила меня об интервью для 2-го канала израильского телевидения. В нем я должен был рассказать о своих встречах с Ицхаком Рабином. Это был один из немногих случаев, когда мне было очень тяжело говорить из-за душивших меня слез.

Мое предварительное знакомство с Ицхаком Рабином было таким же, как у всякого другого гражданина: я знал, что он был военным, взобравшимся по ступеням армейской иерархии, достигнув самой высшей из них. Он покорило мое сердце, когда я увидел фотографию, на которой он стоял у Львиных ворот Старого города Иерусалима во время Шестидневной войны. Ицхак Рабин стоял там рядом с Моше Даяном и Узи Наркисом, позади них был Рехавам Зеэви. Он стоял, как человек, который просит прощения за то, что занимает это место. Меня заинтересовал этот офицер, в движениях тела которого сквозило какое-то смущение. После войны Рабин выступил с речью в университетском кампусе на горе Скопус по случаю присуждения ему Еврейским университетом в Иерусалиме степени доктора гонорис кауза. Его речь являла собой квинтэссенцию речения наших мудрецов о воинской доблести и книжных знаниях, сошедших с небес соединенными в одном человеке. В начале своей речи Рабин сказал, что на месте, где он стоит, он стоит не один и почетное звание получает не один, но представляя всех командиров ЦАХАЛа. Эти слова мне очень понравились, напомнив молитву кантора в Судный день: «Вот я, убогий в деяниях своих... предстал пред Тобою и возношу мольбу за народ Твой, Израиль, пославший меня».

В первый раз я встретился с Рабином, когда мы вместе выступили на вечере в Тель-Авиве, посвященном признанию заслуг военной йешивы на Голанских высотах. Его речь представляла людей, держащих в руке меч, моя – людей Книги. Его речь произвела на меня впечатление, но сам он как человек остался в моих глазах покрытой завесой тайны и замкнутой в себе личностью. Следующая наша встреча произошла в начале 90-х годов в Нетании, на похоронах заместителя мэра города Давида Анзелевича, выжившего узника Бухенвальда, бойца Пальмаха и члена Рабочей партии. Я был тогда главным раввином Тель-Авива, однако меня пригласили произнести

надгробное слово благодаря многим годам, в течение которых я исполнял должность главного раввина Нетании, и общему прошлому в Бухенвальде. Как мы помним, Давид Анзелевич прикрыл меня своим телом в день освобождения Бухенвальда.

Я произнес надгробное слово над могилой Анзелевича, совершившего в жизни бесчисленное множество добрых дел: «Душа твоя, – говорил я, – возносится сейчас на небеса. Но она попадет туда не одна: тысячи подписанных тобой записок, помогавших людям получить жильё, оплату учебы или лечения, как хлопья снега опускаются сейчас с небес навстречу твоей возносящейся ввысь душе». Рабина, бывшего в то время кандидатом на должность премьер-министра, растрогали мои слова. Я видел, как он шептался с Ювалем Френкелем, координатором его предвыборного штаба. Позднее Юваль рассказал мне, что по окончании моего надгробного слова Рабин сказал ему, что такой человек, как я, не должен ограничиться должностью главного раввина Тель-Авива и что мне подобает стать Главным раввином Израиля.

Так мы шли в похоронной процессии Анзелевича, и за время шествия договорились встретиться, решив, что нам есть о чем поговорить. Встреча состоялась в месяце сиван 5752 года (июнь 1992-го), за десять дней до того, как Рабин выиграл выборы и стал премьер-министром. Я пригласил к себе домой Ицхака Рабина с супругой, Шломо Лагата с супругой и моего соседа Моше Бурштейна. Встреча затянулась больше чем на четыре часа, что поразило Ицхака. Он спросил с изумлением: «Прошло четыре часа, и мы не выкурили ни одной сигареты?»

В этот вечер мы беседовали на разные темы. О том, чем он отличается от предыдущих премьер-министров, о глубоком уважении, которое он питал к Леви Эшколю, о Менахеме Бегине и Бен-Гурионе. Когда я прочитал им выдержки из речей Бегина, подражая его драматическому голосу, Рабин улыбнулся и сказал, что это не его стиль. Что он не создан для подобной драматичности. Но более всего запечатлелся в моей памяти вопрос Рабина о моем пути в жизни: «Я знаю о вашем прошлом во время Второй мировой войны, – сказал он. – Я слышал о нем от вашего брата Нафтали, когда тот был пресс-секретарем министерства обороны. Я знаю, что он спас вам жизнь, пряча вас в заплечном мешке. Знаю, что вы приехали в Израиль, будучи круглыми сиротами. И вот тут возникает великая загадка, которую я не могу разгадать: каким образом сирота, без всякой опоры и крепкого тыла, дорастает до главного раввина Тель-Авива? И ведь это, верно, еще не последнее ваше слово. Кто вас воспитывал? Кто растил?» Меня очень удивил этот его вопрос. Спустя полтора года точно такой же вопрос задал мне лидер Кубы – Фидель Кастро. Я рассказал Ицхаку Рабину о раввине Фогель-

мане и мире йешив, утвердивших меня в понимании того, что я обязан продолжить семейную традицию, дабы не дать немцам одержать победу. Рабин выслушал меня с огромным вниманием.

В день новомесечия месяца адара 5753 года (22 февраля 1993), спустя девять месяцев после избрания Рабина на должность премьер-министра, я был избран Главным раввином Израиля, и в первый день нашей – с моим коллегой раввином Элиягу Бакши-Дороном – каденции мы встретились с Ицхаком Рабином. Помимо поста премьер-министра, Рабин выполнял обязанности министра обороны и министра религий. Он хорошо понимал место Главного раввина в обществе. Когда Рабин в первые же минуты нашей встречи спросил, чем он может быть полезен нам в качестве министра религий, я объяснил ему, что одна из основных проблем Главного раввина заключается в том, что он представляет собой отдел в департаменте раввинов – одном из департаментов министерства религий.

Управление радио- и телевидения не является отделом министерства главы правительства, напомнил я ему, гражданская авиация располагает собственным управлением, так разве не полагается и нам статус, по меньшей мере, равный таковому у Управления природных заповедников? Я рассказал ему, что для того, чтобы заказать в свою канцелярию портрет рабби Кука, основателя главного раввина Земли Израиля, мне приходится обращаться более чем к десяти чиновникам министерства религий, чтобы они разрешили мне превышение бюджетных расходов на сумму в 40 шекелей (!). Ицхак Рабин выслушал и покраснел. Он спросил заместителя министра религий, депутата Кнессета Рефаэля Пинхаси, так ли обстоят дела, и добавил: «Я понимаю, что раввинат должен расправить крылья, должен обрести духовный авторитет и избавиться от этих пут. Вы нуждаетесь в максимальной независимости, ради нашего общего блага». Я предложил ему, чтобы на первом этапе нам был придан статус подотчетного министерству самостоятельного департамента, и если этот порядок оправдает себя, то через год – на втором этапе – раввинат получил бы полномочия независимого управления. Рабин дал указание Шмуэлю Голландеру, секретарю правительства, а впоследствии главе департамента государственных служб, заняться вопросом придания Главному раввинату статуса самостоятельного департамента. Практический подход Рабина и его способность к проникновению в суть любого вопроса произвели на меня глубокое впечатление. Рабин, который был на голову выше своего окружения, сразу понял, что Главный раввинат должен быть деполитизирован и выведен из подчинения тому или иному министру религий.

Когда официальная часть встречи подошла к концу, Рабин пожелал сказать мне несколько личных слов: «Уважаемый раввин, – сказал он, – суб-

боты я стараюсь проводить в своем доме на улице Рава Аши в Неве-Авивим, там у меня есть телефон, не известный широкой публике. Номер 6424455. Запишите его себе. В течение недели я что-то делаю и что-то говорю, или наоборот: воздерживаюсь от того, чтобы что-то сделать или сказать, о чем у вас может складываться свое собственное мнение. Если у вас возникнут критические замечания или вы захотите посоветовать мне что-либо по какому-нибудь вопросу, то лучшее время для этого – час перед наступлением субботы и полчаса после ее исхода. В это время я обычно дома. Я буду очень вам признателен, если вы используете этот номер. Будьте на связи». Этот номер до сего дня записан в моей телефонной книжке, которую я храню у себя дома.

Один из случаев, когда разговор между мной и Ицхаком Рабином происходил по моей инициативе, был связан с соглашениями в Осло, устанавливавшими, что израильские силы будут отведены из Газы и Иерихона и эти города будут переданы под палестинское управление. Ко мне обратились люди, рассказавшие о древней синагоге в Иерихоне, на мозаичном полу которой выложены слова «Мир Израилю». Люди, близко к сердцу принимавшие судьбу этого места и знавшие о моих близких отношениях с Рабином, поведали мне, что при синагоге действует йешива, без помещений для проживания студентов. Вставал вопрос, что станет с этой йешивой после ратификации соглашений в Осло. По их просьбе я позвонил премьер-министру и высказал свое пожелание, чтобы он обдумал этот вопрос. Его мнение по данной проблеме я услышал после моего возвращения с Кубы. С собой я привез ящик сигар – подарок Фиделя Кастро Ицхаку Рабину. Я позвонил Рабину, рассказал о сигарах и спросил, куда их послать. «Уважаемый раввин, – сказал Рабин, – Леа сейчас за границей, я один дома. Если у вас найдется для меня час, я буду ждать вас сегодня в девять вечера в своем доме в Тель-Авиве. Сигары меня не интересуют, я курю сигареты, но, может быть, мы сможем посидеть и поговорить. Кроме того, у меня кое-что есть, что мне бы хотелось показать вам». Понятно, что в назначенный час я был у его дома, а мой ассистент Руби нес ящик с сигарами. Ицхак – в домашних тапочках – открыл мне дверь, извинился, что ничем не угощает меня по понятным соображениям, но предложил мне стакан воды. После этого он прошел вглубь комнаты, достал из своего портфеля в стиле «Джеймс Бонд» какой-то документ и сказал: «Шимон [Перес, бывший министром иностранных дел в его правительстве] вернулся сегодня вечером из Каира. И на встрече с Арафатом, проходившей под эгидой президента Мубарака, в протокол был добавлен пункт, о котором вы просили: «Синагога «Шалом аль Исраэль» («Мир Израилю») в Иерихоне останется в еврейских руках и в дневные часы будет служить для изучения Торы израильянами, безо-



С Эли Визелем в концлагере Освенцим в 1988 году во время «Марша живых», ежегодной образовательной программы, которая собирает в Польше студентов со всего мира



Мой учитель и наставник рав Шломо Залман Ойербах на торжественном завершении написания свитка Торы во время открытия йешивы «Хая Моше» в Иерусалиме в память о моем отце раве Моше Хаиме Лау



С Любавичским ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном



С моими братьями – Йехошуа Йосефом «Шико» Лау-Хагером (слева) и Нафтали Лау-Лави (в центре)



На учредительной конференции «Форума-2000» в Праге с шейхом Фаузи аз-Зафзафом, заместителем директора каирского университета Аль-Азхар, 1998 год



С Михаилом Горбачевым на заседании Центра стратегического диалога им. С. Дэнзила Абрахама в Академическом колледже Нетании, июнь 2003 года

С премьер-министром Ариэлем Шароном и мэром Иерусалима Эхудом Ольмертом в 2002 году на церемонии посвящения смотровой площадки на вершине Масличной горы памяти Рехавама Зеэви – министра туризма, убитого террористами в 2001 году



Госсекретарь США Хиллари Клинтон делает запись в гостевой книге в «Яд ва-Шем», 3 марта 2009 года



С главным сефардским раввином Израиля Шломо Амаром и президентом Шимоном Пересом



Федор Михайличенко, которому я обязан жизнью



Юлия Селютина и Елена Беляева получают медаль Праведника народов мира и почетный сертификат вместо их умершего отца Федора Михайличенко. Синагога «Яд ва-Шем», 4 августа 2009 года





С ребенком, который был тяжело ранен при террористической атаке в Хадере, 2002 год



С премьер-министром Ицхаком Шамиром (в центре) и моим братом Нафтали у меня дома, на вечеринке по поводу выхода книги Нафтали «Пророчество Валаама», 1993 год



С премьер-министром Ицхаком Рабином на свадьбе моей дочери Ширы, 1994 год



С Нельсоном Манделой, будущим президентом ЮАР, Претория, 1993 год



В Министерстве обороны в Тель-Авиве с премьер-министром Ариэлем Шароном и президентом Шимоном Пересом



С папой Иоанном Павлом II на межконфессиональной конференции в Папском центре «Нотр-Дам» в Иерусалиме, 23 марта 2000 года



С президентом США Биллом Клинтонем в Иерусалиме, 1996 год



Далай-лама дарит мне талит в Иерусалиме, 14 июня 1999 года

На выставке в «Яд ва-Шем», в 1995 году. Глава совета директоров мемориала Авнер Шалев указывает вице-президенту США Альберту Гору и его жене на фотографию, где Пол Голдман запечатлел меня с винтовкой и в форме гитлерюгенда (единственная доступная тогда одежда, которая была мне по размеру), после того как я оказался в Хайфе летом 1945 года





Слева направо: сефардский раввин Элияху Бакши-Дорон, президент Эзер Вейцман, премьер-министр Ицхак Рабин и я на церемонии в феврале 1993 года, когда рав Бакши-Дорон и я были назначены главными раввинами Израиля



Дарю своему учителю и наставнику раввину Элиэзеру-Менахему Ману Шаху свою книгу по галахе – «Взяхель Исраэль»; справа от меня – Ицхак Ральбаг, тесть моего сына Давида и глава Религиозного совета Иерусалима, 1993 год

С Фиделем Кастро в Гаване, 1994 год



Когда я был раввином Тель-Авива, мне представилась возможность поговорить с двумя величайшими галахическими авторитетами нашего времени – раввином ОвадьеЙ Йосефом (слева) и раввином Йосефом Шаломом Эльяшивом (в центре)





Выступаю в Иерусалиме на мероприятии рава Менаше Кляйна, 1987 год. Справа налево: госинспектор Ицхак Туник, главный раввин Мордехай Элияху, я и бывший узник Освенцима и Бухенвальда Эли Визель



С бимой из разрушенной московской синагоги на церемонии закладки первого камня, 1989 год. Справа налево: рав Йосеф Ааронов, я, рав Левин и мой дорогой друг Шалом-Дов-Берка Вольф

В Большой синагоге в польском городе Пётркув-Трибунальский, в здании, которое сейчас служит общественной библиотекой, 1994 год. В одном из шкафов мы нашли это изображение Скрижалей Завета, расположенное на восточной стене. Оно испещрено отметинами от пуль (вероятно, еще того времени, когда мы были заключены здесь с нашей матерью и остальными евреями города в 1942 году). Справа – кантор Биньямин Мюллер из Антверпена



Приветствую папу Бенедикта XVI
в «Яд ва-Шем», май 2009 года



С председателем совета директоров «Яд ва-Шем» Авнером Шалевом (слева) и премьер-министром Биньямином Нетаньяху (справа) рассматриваем чертежи лагеря Освенцим на открытии выставки «Архитектура убийства» в «Яд ва-Шем», 25 января 2010 года



Выступаю перед делегатами во время встречи в Освенциме 1 февраля 2011 года. На встрече обсуждались пути борьбы с антисемитизмом и преодоления культурных разногласий. Отдать дань уважения прибыли высокопоставленные представители мусульманской и христианской конфессий

пасность которых по дороге в синагогу и обратно будет обеспечиваться палестинскими полицейскими». Теперь мы могли посвятить оставшийся час разговорам на повседневные темы.

После Газы и Иерихона настал черед Вифлеема. Ко мне снова обратились заинтересованные лица, сказавшие, что каждую ночь многие верующие приезжают к расположенной на въезде в город гробнице прааматери Рахели для совершения полуночного *тиккуна*. И если и там будет введен порядок, подобный тому, что был установлен для синагоги в Иерихоне, то есть если безопасность на дороге будет обеспечиваться полицейскими Палестинской автономии, то евреи и днем-то побоятся туда ездить, не говоря уже о ночи. В ту же неделю было проведено внеочередное заседание правительства, на котором Шимон Перес утверждал, что пока что сохраняется возможность добиться на переговорах с Арафатом смягчения его позиций. Поскольку нашлись люди, которые измерили расстояние, отделяющее иерусалимский район Гило от гробницы Рахели, и нашли, что оно составляет всего 500 метров, причем на этом участке нет арабских домов, многие просили, чтобы безопасность передвижения по дороге в этом месте обеспечивалась бы и впредь солдатами ЦАХАЛа. Министр иностранных дел поддержал это требование. Рабин возражал на том основании, что мы подписали договор и обязались возвратить палестинцам территорию к югу от Гило. Конечно, он не собирался отказываться от гробницы прааматери Рахели, но дорога к ней, с его точки зрения, должна была быть в их ведении. Или мы полагаемся на них и даем им ружья, сказал он, или нет. На этом внеочередном заседании правительства, проведенном в среду, было только решено снова поставить этот вопрос на обсуждение на регулярном заседании правительства в воскресенье. Со среды до понедельника ко мне поступили десятки обращений с просьбой попытаться повлиять на Рабина, чтобы он изменил свое решение. Давление было мощным. В пятницу я впервые воспользовался приглашением Рабина звонить ему перед наступлением субботы. Я позвонил Ицхаку в Неве-Авивим и попросил его присоединиться к мнению всех тех, кто отстаивает наше право на гробницу прааматери Рахели, той самой Рахели, на плаче которой зиждется краеугольный камень сионизма: «... удержи голос твой от рыдания... возвратятся сыны в пределы свои»¹. Рабин выслушал меня и спросил, когда я закончил: «Что такого осо-

¹ Йирмийя, 31:15–16. В полном виде эти стихи вместе с предыдущим гласят: «Так сказал Господь: слышится голос в Раме, вопль и горькое рыдание: Рахель оплакивает сыновей своих; не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. Так сказал Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, – сказал Господь, – возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда будущности твоей, – сказал Господь, – возвратятся сыны в пределы свои».

бенного в этой гробнице?» Я объяснил ему, что евреи из диаспоры, у которых проблемы с поиском пары для себя, или кто не может завести ребенка, или кому предстоит операция, ничего не станут предпринимать, пока не побывают у Западной стены, в Пещере праотцев и на гробнице Рахели. «Вы не можете лишить их этого». Рабин заупрямился и сказал, что он не собирается лишать их этого, но порядок будет точно таким, какой предусмотрен для иерихонской синагоги. Гробница Рахели останется под нашим суверенитетом, однако безопасность на дороге будут обеспечивать они. «В чем различие?» – искренне недоумевал он. «Там, – отвечал я, – речь идет об исторической синагоге, тут же – о маме, а с мамой не расстаются». На этой фразе, смысл которой был неотъемлемой частью моей личности, наша беседа завершилась. Ицхак сказал, чтобы я дал ему проникнуться сказанным, пока он будет спать.

В воскресенье, сразу после заседания правительства, Ицхак позвонил мне в Главный раввинат и сказал своим баритоном: «Рабби, вы растрогали меня своим «с мамой не расстаются». На заседании правительства, которое только что закончилось, я присоединился к позиции Шимона, и было принято единогласное решение. Мы будем настаивать на том, чтобы гробница Рахели и пути подъезда к ней остались под полным контролем правительства Израиля и ЦАХАЛа». Слезы душили меня, так что я даже не смог сказать ему спасибо.

В 5754 (1994) году я снова ходатайствовал перед Рабином в отношении принципиально важного для народа Израиля вопроса. Компания «Митраль», специализирующаяся на импорте мяса, обратилась в Высший Суд справедливости с просьбой разрешить ей импорт из-за границы некошерного мяса, что было запрещено со времени провозглашения государства. Высший Суд справедливости удовлетворил эту просьбу на основании Основного закона о свободе предпринимательства и разрешил любому желающему заниматься импортом некошерного мяса. Я обратился к премьер-министру в силу исполнения им обязанностей министра религий и объяснил ему, что помимо удара по имиджу Израиля как еврейского государства, наносимого этим решением, в качестве министра религий он обязан принять к сведению тот факт, что вследствие этого решения нам придется защищать всю систему кашрута в общественных учреждениях, армии, залах торжеств и т. п., посредством принятия бесчисленного множества подзаконных актов. Обрушится вся система надзора за кашрутом, существовавшая до вынесения этого постановления суда, а вместо нее будет создана новая система, которая окажется настолько раздутой, что министерство религий не справится с управлением ею. Рабин, выслушавший меня с большим вниманием, сказал, что мое описание сложившегося поло-

жения, с его точки зрения, совершенно неприемлемо, и попросил, чтобы я предоставил ему разобраться с этим. Чтобы соответствующим образом изменить законодательство в отношении этого вопроса, было недостаточно простого большинства голосов в Кнессете: требовалось абсолютное большинство в 61 голос, которое проголосует против импорта некошерного мяса, поскольку право на это было закреплено в Основном законе. Рабин предложил мне встретиться с председателем экономической комиссии Кнессета и объяснить ему всю важность этой проблемы. Таким образом, как он сказал, я смогу помочь ему заручиться большинством голосов, необходимым для отмены этого постановления. Председатель экономической комиссии, представлявший парламентскую оппозицию, посоветовал мне самоустраниться от решения этого вопроса, так как нет ни малейшего шанса заручиться абсолютным большинством голосов, необходимым для запрета импорта некошерного мяса. Он уподобил создавшуюся ситуацию тому положению, которое Менахем Бегин описывал, говоря, что почти любое голосование по выдвинутому вотуму недоверия правительству превращает его в вотум доверия. «Уважаемый раввин, – сказал председатель комиссии, – поставив этот вопрос на голосование, вы добьетесь того, что впервые в истории Кнессет Израиля большинством голосов проголосует за импорт некошерного мяса в Израиль. И как человек, соблюдающий дома кашрут, я лично только пожалею об этом», – закончил он. Я поблагодарил его, позвонил Ицхаку Рабину и рассказал ему о нашем разговоре. Рабин отозвался о его сути коротким и энергичным предложением: «Вздор. Я сам займусь этим». 26 тевета 5955 года, в рамках голосования по бюджету государства, проводившемуся 29 декабря 1994 года, Кнессет проголосовал и по предлагаемому законопроекту. 74 депутата поддержали запрет импорта мороженого некошерного мяса, 14 депутатов проголосовало против, и один воздержался. Однако тут выяснилось, что вследствие недостатка времени при разработке законопроекта закон говорил лишь о мороженом мясе, оставляя без внимания охлажденное и копченое мясо и колбасы, импортируемые в Израиль воздушным путем. Доработанный законопроект снова был передан в Кнессет для голосования. В 1995-м году из него было вычеркнуто слово «мороженое», а вместо этого говорилось о «мясе и мясных продуктах». Обо всех пригодных в пищу видах мяса и мясных продуктов. Результаты голосования не оставляли сомнений в победе: 66 голосов за запрет, 11 – против. Ицхак Рабин провел поистине превосходную работу по убеждению депутатов, лично поговорив с каждым из них. После голосования я позвонил ему и поблагодарил за его усилия, направленные на принятие этого закона. «У вас ведь не было никаких коалиционных обязательств, а в вашем правительстве нет ни одного человека с кипой на голове, не счи-

тая секретаря правительства Голланлера. Так почему же вы приложили к этому такие усилия?» – спросил я Рабина. Если бы не близость отношений между нами, я не осмелился бы задать ему этот вопрос. «Я сделал это по двум причинам, – был ответ. – Во-первых, у нас в стране столько всякой дряни и пакости отечественного производства, что нет надобности завозить еще из-за границы». Мы рассмеялись, и спустя мгновение он добавил: «А теперь всерьез: мы все-таки еврейское государство или нет? И в чем это выражается?» Рабин, не отличавшийся красноречием, не сказал ничего больше, кроме этих кратких фраз, но их я не забуду никогда. Эти его слова отдавались эхом у меня в голове в день убийства, когда я стоял рядом с отделением интенсивной терапии в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве и говорил себе, что он был последним связующим звеном между религиозными и светскими и что с его смертью связь между ними грозит распасться. По сей день я не отошел до конца от того вечера на исходе субботы. И мне представляется, что раскол в народе – частично – есть следствие того убийства на площади.

Вместе с тем в траурные семь дней, приехав принести семье свои соболезнования, я вызвал раздражение Леи Рабин. Я попросил ее выступить со словами примирения и прощения. Не убийцы, а чтобы развеять сгустившуюся атмосферу ненависти и напряжения. Я знал, что весь мир прислушается к ее словам. Она не стала со мной спорить, просто отказалась со всей решительностью. Кажется, я слишком рано к ней обратился, а нельзя ловить человека в горе его. Рана была свежа, боль – слишком остра, чтобы думать о преодолении раскола.

Много раз я выступал со словами об Ицхаке Рабине, да будет благословенна его память, перед представителями самых разных частей общества в Израиле и в мире. Тысячи людей пришли в синагогу «Бейт-Яаков» в Сан-Паулу в Бразилии, чтобы послушать мою речь о Рабине на тридцать дней после его убийства. Правительство Бразилии послало своих представителей, пришли и евреи и неевреи, объединенные болью и шоком от утраты. В ту же ночь я вылетел в Нью-Йорк для выступления на массовом митинге, проводившемся на арене Мэдисон-сквер-гарден. На митинге, помимо меня, выступили вице-президент США Эл Гор, Шимон Перес и Леа Рабин. Десятки тысяч людей не могли сдержать слез, когда, завершая митинг, мой друг Дуду Фишер исполнил зауспокойную молитву «Эль мале рахамим» («Всемиловитый Бог»).

Каждый год в годовщину убийства я выступаю перед учениками гимназии в Рехавии в Иерусалиме и рассказываю им о Рабине-человеке, о братоубийственной войне и беспричинной ненависти. Оттуда я обязательно еду к Шатру Памяти, воздвигаемому на Горе Герцля, чтобы принять участие во

встрече светских и религиозных людей, организуемой Союзом студентов. С ними я говорю на те же темы. В 5765 году (2004), в девятую годовщину убийства, меня пригласили выступить с речью памяти Рабина на главном мемориальном митинге в Тель-Авиве, на площади, бывшей некогда площадью Царей Израилевых, а теперь носящей имя Ицхака Рабина.

Это то небольшое, что я могу сделать в память об Ицхаке Рабине, моем личном друге и незабываемом главе государства.

Встреча в Кастель-Гандольфо

Римский Папа посмотрел в потолок и сказал фразу, которую я никогда не забуду: «Куда бы я ни пришел, с кем бы ни говорил, я всегда подчеркиваю, что наш долг, долг всего человечества – заботиться о продолжении существования и о будущем нашего старшего брата, еврейского народа». В моих ушах все еще отдаются его слова, как они прозвучали по-английски: “We are obliged and committed for the continuity and the future of our senior brother, the Jewish People”. После этих точных, искренних и полных смысла слов я мог говорить с ним о будущем еврейского народа.

* * *

Моей встрече с Папой в его летней резиденции в Кастель-Гандольфо предшествовали значительные усилия двух моих соратников по духу из общины Сант-Эджидио и большие колебания с моей стороны.

Особенные отношения сложились у меня с представителями католической общины Сант-Эджидио в Италии. Они рассматривают себя в качестве искренних друзей Израиля и время от времени организуют межрелигиозные форумы, на которых обсуждаются, в основном, вопросы установления мира между народами. В первый раз я был приглашен принять участие в одном из таких форумов, будучи главным раввином Тель-Авива, однако не мог принять приглашение, так как форум постоянно проводится в октябре, то есть в месяце тишрей, на который выпадают Грозные дни. Однако в 5753 (1993) году время проведения форума было передвинуто на сентябрь, и, таким образом, стало возможным мое в нем участие. Это был первый год моей каденции в должности Главного раввина Израиля.

Во второй половине дня участники собрались в зале театра «Ла-Скала» в Милане. На сцене сидели четыре оратора, каждый из которых описывал мир со своей точки зрения. Христианство представлял кардинал Милана Карло Мария Мартини, имя которого упоминалось в качестве возмож-

ного преемника правящего Папы. Ислам должен был представлять принц Хасан из Иордании, однако в последний момент его заменил профессор исламской теологии из Орана в Алжире. Иудаизм представлял я. Четвертым участником был экс-президент СССР Михаил Горбачев, представлявший атеизм, то есть секулярность.

Перед форумом мне сообщили, что Папа желает назначить встречу со мной. Я знал историю наших отношений с Ватиканом. Я хорошо помнил, что раввин Герцог по меньшей мере три раза искал встречи с папой Пием XII – в попытке заручиться поддержкой церкви в деле спасения евреев Европы, массовое уничтожение которых осуществлялось нацистами. Его усилия были тщетны. Только на третий раз, в 1946 году – после Катастрофы – Папа соизволил встретиться с ним. Знал о готовности раввина Нисима, когда он был Главным раввином Израиля, встретиться с папой Павлом VI во время посещения последним Святой Земли. Раввин Нисим предлагал ожидать Папу в подвале Катастрофы на горе Сион, где Папа должен был оказаться при посещении находящейся рядом церкви Дормицион, и там с ним встретиться. Однако Папа сообщил, что плотный график визита не оставляет ему возможности провести встречу с раввином Нисимом, пусть даже самую короткую. В ответ раввин Нисим отказался быть среди встречавших Папу лиц и отсутствовал – демонстративно – на встрече Папы возле Мегиддо, когда тот прибыл из Трансиордании. В Мегиддо Павла VI ожидали все высокопоставленные лица страны: президент Залман Шазар, премьер-министр Леви Эшколь и министр иностранных дел Абба Эвен. «Если он не готов посетить меня в Иерусалиме, ни в моем доме на улице Бальфура, ни в канцелярии Главного раввина на улице короля Георга, и даже отказывается встретиться со мной у входа в Подвал Катастрофы на горе Сион, то и я не стану его ждать на дороге в Мегиддо», – часто цитировал раввина его сын, министр финансов и юстиции Моше Нисим.

В противовес своим предшественникам, папа Иоанн Павел II относился к евреям вообще и к Катастрофе в частности совершенно иначе. Он был уроженцем Польши и немало знал о нескольких главах в истории Катастрофы. На основании этого я сделал вывод, что в его просьбе о встрече со мной был и личный мотив, но все еще колебался, следует ли мне принимать приглашение. Глубоко обдумав эту проблему, я передал Папе через людей Сант-Эджидио свой отрицательный ответ. Объяснил, что не могу зайти в Ватикан из-за статуй и распятий. Я знал, что мое посещение Ватикана не обусловлено необходимостью спасения человеческих жизней, как это было, когда раввин Герцог искал встречи с Папой во время Второй мировой войны. Раввин Герцог надеялся, что его такая встреча приведет к спасению евреев Европы, подвергавшихся массовому уничтожению. Позднее, в июне

1944-го, он надеялся хотя бы спасти еще не затронутых Катастрофой евреев Венгрии. А когда встретился с Папой по окончании войны, стремился вызволить еврейских детей из монастырей и католических семей, где их укрывали от нацистов, и вернуть их в лоно еврейства. Это была встреча, на которую распространялись правила, вытекающие из необходимости спасения человеческой жизни. Но во встрече с Папой в 5753 (1993) году не было ничего от необходимости спасения человеческой жизни – просто визит вежливости. Я решил, что ничто не оправдывает появления Главного раввина еврейского государства в месте, полном статуй и распятий, противоречащих самим основам нашего мировоззрения. Более того: так как мы живем в поколение смешанных браков и сильной ассимиляции, я опасался того, что проведение встречи между раввином и Папой как встречи двух друзей может быть истолковано превратно и стать камнем преткновения на пути юношей и девушек, чья еврейская самоидентификация еще не сформировалась. Я спросил самого себя, следует ли мне стать разрушителем стен, существовавших так много лет, и ответ был отрицательным. Все это усугублялось тем обстоятельством, что члены группы Сант-Эджидио без устали упрасивали меня. Уже сама рьяность их усилий воспринималась мной как стоп-сигнал. Я пытался понять, чего они хотят достичь посредством такой встречи и каковы интересы церкви в этом деле. Я был избран на пост Главного раввина Израиля за полгода до этого, и теперь хотел понять, существует ли под всем этим какое-нибудь подспудное течение и в чем оно заключается. Я задавался вопросом, как эта встреча может быть использована СМИ. Как она будет подана? Кому она будет на руку? Не служу ли я инструментом в достижении некоей цели, суть которой мне не ясна?

Дав отрицательный ответ, я счел, что вопрос снят с повестки дня Ватикана. Но спустя несколько месяцев члены группы Сант-Эджидио опять начали обращаться ко мне, в письмах и по телефону, – с новым предложением. У Папы есть летняя резиденция в Кастель-Гандольфо, в сорока минутах езды от Рима. Там Папа проводит июль и август, а так как форум в Милане планируется на середину сентября, Папа готов задержаться в Кастель-Гандольфо, чтобы встретиться со мной. Поразмыслив над этим предложением, я пришел к выводу, что не будет ничего предосудительного во встрече с Папой в частном доме. Однако чтобы оправдать свой визит и подготовиться к встрече как следует, я решил заранее выделить несколько объединяющих наши религии моментов и узнать мнение Папы в их отношении. Свои вопросы я передал Папе через людей Сант-Эджидио. Первый вопрос касался судьбы пропавших без вести солдат ЦАХАЛа: Йегуды Каца, Цви Фельдмана, Зехарии Баумеля и Рона Арада. У Папы есть связи с такими странами, с которыми Израиль не имеет никаких контактов, и мне хоте-

лось проверить готовность Папы обсудить возможность его содействия в обнаружении местонахождения пропавших без вести солдат. Мой второй вопрос состоял в том, готов ли Папа сформулировать манифест лидеров всех конфессий в мире, в котором бы осуждался террор во имя веры. Третьим вопросом, очень меня угнетавшим, была миссионерская деятельность. Я считал недопустимым использование финансовых и социальных трудностей людей для того, чтобы подталкивать их к переходу в другую веру. Будет ли Папа готов обсудить со мной пути прекращения подобной деятельности, чтобы дать вере возможность свободного выбора, а не покупать ее в обмен на материальные ценности? Небольшой дополнительный вопрос, который я хотел вынести на обсуждение с Папой, заключался в его готовности разрешить всем желающим просмотр еврейских книг и рукописей в библиотеке Ватикана. Через несколько недель из Ватикана пришел положительный ответ в отношении всех поднятых мною вопросов. В предвкушении интересной встречи на этот раз я согласился с легким сердцем: я знал, что ступаю по твердой земле, что эта встреча оправдана со всех точек зрения: галахической, воспитательной и национальной.

Перед поездкой в Италию мы задумались о достойном подарке для Папы. Моя супруга считала, что поскольку я собираюсь говорить с Папой о Роне Араде и пропавших без вести в бою в Султан-Якубе солдатах, и так как мы находимся в преддверии праздника Рош га-Шана, – самым правильным будет преподнести Папе *шофар* (бараний рог) с выгравированной на нем надписью: «Труби в большой рог о свободе нашей»¹. Это была прекрасная мысль, и мы действительно получили шофар от одного друга в Милане, но не успели выгравировать надпись. Тогда мы решили, что гравировку сделаем в Риме. Через израильское посольство в Риме мы нашли каллиграфа, согласившегося выгравировать стих на пластиковом основании, на котором будет закреплен шофар. Обратное мы получили шофар завернутым в изысканную дорогую бумагу, но что-то подтолкнуло меня развернуть упаковку и бросить взгляд на надпись. Когда я увидел слова, выгравированные на основании, у меня потемнело в глазах: «Труби в украденный рог о свободе нашей»², – гласила надпись. Гравировщик, не будучи евреем, перепутал буквы «далет» и «заин». На исправление ошибки оставалась только одна ночь, так как назавтра, в девять утра, была назначена встреча. Мы поехали обратно к ювелиру, который, на наше счастье, все еще был в лавке, и показали ему, что именно следует поправить. Камень упал

¹ Благословение Богу, собирающему изгнанников.

² По незнанию иврита гравировщик ошибся, однако, только в одной букве.

у меня с сердца. Я не мог прекратить думать о том, что бы вышло, если бы я устоял перед искушением развернуть упаковку.

Но еще перед встречей с Папой, назначенной на вторник 19 сентября, состоялся ежегодный форум Сант-Эджидио. Главная тема, поднятая мной на форуме – а впоследствии я неоднократно поднимал ее на подобного рода конференциях – была навеяна видением последних дней света пророка Йешаягу: «И волк будет жить с агнцем, и леопард будет лежать с козленком»¹. «Все мы склонны рассматривать это пророчество как явное преувеличение, мечту, осуществление которой невозможно», – обратился я к своим слушателям в Милане. Я говорил без написанного текста речи, потому что хотел видеть их глаза и выражение лиц. «Но мне бы хотелось поведать вам, что говорил об этом стихе мой родственник, раввин из города Люблин в Польше – рабби Меир Шапиро, чье имя я ношу. «Отчего мы считаем, – задавал он трудный вопрос, – что подобная ситуация непредставима? Ведь подобное уже случалось в мире, и видение Йешаягу претворялось в жизнь, например, в Ноевом ковчеге. В ковчег заходили парами все животные, и внутри было настоящее скопление всех тварей, но никакой сумятицы не было: никто никого не покусал, не ужалил, не разорвал в клочья. Когда потоп закончился, все звери вышли из ковчег и разошлись по своим местам, где и обитают поныне». А если так, – задал я вопрос от имени рабби Меира, – то что особенного в видении Йешаягу?» – я почувствовал, как на меня устремились взгляды четырех тысяч пар глаз. И, сделав короткую паузу, ответил: «Рабби Шапиро из Люблина дал на это гениальный в своей простоте ответ. Верно, в Ноевом ковчеге скучились вместе волк и ягненок, леопард и козленок, но они сделали это от отсутствия выбора. Снаружи их подстерегал общий враг – потоп. Они знали, что всякое недостойное и неприемлемое поведение с их стороны приведет к тому, что они окажутся за бортом ковчег. Обреченные на небытие. Не имея выбора, оказавшись перед лицом общего врага, они подавили свои инстинкты и стали сотрудничать. Однако пророк Йешаягу не говорит о ситуации отсутствия выбора: «Не будут делать зла и не будут губить на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами»². Другими словами, даже когда будет возможность рвать, терзать, топтать, кусать, они не будут делать зла друг другу и не будут губить. Настанет день, и это идеальное представление о вожденном мире воплотится в жизнь, и люди поймут – с полнейшим осознанием, – что надлежит дать ближнему жить, и что жить следует в полнейшем взаимном уважении. Учителя и наставники мои,

¹ Йешайя, 11:6.

² Там, 11:9.

теперь, когда вы выслушали вопрос и ответ, давайте обратим свой взгляд на наши дни. Мы все отдаем себе отчет в том, что времена, описанные в пророчестве Йешаяѓу, еще не настали, но нам следует принять основополагающую идею Ноева ковчега. Давайте будем жить, словно в Ноевом ковчеге, хотя бы за отсутствием выбора. Тогда был общий враг в виде потопа, также и сегодня у всего человечества множество общих врагов. Как человек, выживший в Катастрофе, я пережил потоп крови, огня и клубов дыма. Я на своей шкуре испытал, что такое общий враг всего человечества. Я видел зло, ненависть, подлость, жестокость, видел, как люди опускались в такие пучины низости, где никогда не бывало ни одно дикое животное. В природе лев не разрывает на части львят, и тигр не убивает детеныша другого тигра. Я же собственными глазами видел, как человек уничтожает представителей своего вида; как существо, именуемое человеком, рвет, крушит и потрошит других людей, которые оказались слабее его. У нас у всех есть общие враги: ядерные бомбы, ВИЧ, рак, сердечные заболевания, бедность, невежество, атеизм, преступность, насилие и террор. И перед лицом всех этих общих врагов нам следует объединиться, чтобы победить. Неужели мы, религиозные лидеры разных вер, не понимаем, что все мы живем в Ноевом ковчеге?» Моя посылка оказалась настолько сильной, что на пресс-конференции на следующий день в Милане журналисты сосредоточили основное внимание на мне и моей речи. Мне задавали бесчисленное множество вопросов, включавших и вопрос о Иерусалиме, его статусе и правах на него еврейского народа. Я оказался тем, кто поместил Иерусалим в центре карты мира для итальянской прессы. На встречу с Папой в Кастель-Гандольфо со мной поехал посол Израиля в Италии Ави Пезнер. Его машина была полна итальянских газет, центральный заголовок в которых был цитатой из моей речи: «Иерусалим есть вечная столица и святой город еврейского народа, и таковым останется во веки веков, по воле Господа». Подзаголовок гласил: «Первый выстрел главного раввина перед встречей с Папой».

* * *

Когда мы прибыли в двухэтажное здание, в котором должна была состояться встреча, выяснилось, что все сопровождающие останутся на первом этаже, а встреча – на втором этаже – будет происходить с глазу на глаз. Ави Пезнер провожал меня по лестнице, ведущей на второй этаж. В нескольких местах на лестнице стояли караульные из швейцарской гвардии и отдавали мне честь, когда я проходил мимо. Внезапно Ави Пезнер схватился двумя руками за голову и сказал: «Невероятно! На прошлой неделе я был здесь с дипломатическим корпусом, приехавшим на встречу Горбачева с Папой. В каждом углу на этой лестнице была статуя. А теперь от них и следа не

осталось. Из уважения к вам Папа распорядился убрать все статуи. Какой молодец!» И действительно, по дороге в зал, где должна была происходить наша встреча, я не увидел ни единой статуи. В своем письме к Папе я даже не поднимал эту тему, так как знал, что встреча перенесена из Ватикана в летнюю резиденцию Папы, и почему-то не подумал, что статуи могут стоять у него и здесь. Он же чутко отнесся к моим словам и, уделяя им повышенное внимание, позаботился о том, чтобы к моему приезду все статуи были убраны. На каком-то этапе нашего подъема по лестнице главный секретарь папы попросил Пезнера оставить меня одного. Посол, заранее знавший об этом, оставил меня с секретарем – также выходцем из Польши. «Здесь ли ваш брат, который вас спас?» – шепотом спросил секретарь. Я ответил, что он ожидает на нижнем этаже. Секретарь попросил пригласить его. Папа желает, чтобы он также присутствовал при нашем разговоре. Усилия, приложенные к выяснению моих обстоятельств, и знание деталей касательно моего брата произвели на меня впечатление. Конечно, Нафтали ответил согласием на приглашение Папы, и мы вместе поднялись вверх. Мы прошли множество комнат, больших и малых, пока Папа не вышел вдруг из одной из них и не приветствовал нас на иврите: «Шалом». Вслед за ним мы вошли в комнату, в которой стояло три кресла, и Папа настоял, чтобы я сел посредине, сам он по одну сторону от меня, а Нафтали – по другую. Прежде чем опуститься в кресло, он показал нам пруд, видневшийся сквозь окно. Только тут мы поняли, что нас принимают в замке, выстроенном на вершине горы. Указав пальцем в сторону, где находится Ватикан, Папа заметил, что воздух в Кастель-Гандольфо свежее и чище, чем в Риме. Он поблагодарил меня за то, что я попросил его о встрече здесь, а не в Ватикане. Когда мы расположились в креслах, он вежливо спросил, хорошо ли меня приняли в Италии. Я отвечал, что меня встретили очень тепло, «и, тем не менее, если мне будет позволено сказать, есть одна вещь, которая очень мешает и досаждаст мне», – заметил я. Папа немного напрягся, пытаясь скрыть впечатление, произведенное на него моими словами. Он сказал, что видел по телевидению, как меня громкими аплодисментами приветствовали в «Ла-Скала», восторженно приняв мою речь. Он думал, что мне не на что жаловаться и что меня поистине хорошо принимают. «Только одно слово – сказал я – резало мне слух. В Израиле меня называют *éa-рав éa-raши*, в англосаксонских странах я Chief Rabbi, в России – Главный раввин, во Франции – Grand Rabbin, в Швейцарии ко мне обращаются Oberrabbiner, в Южной Америке я – Gran Rabino, здесь же в Италии, сразу после посадки в аэропорту Фьюмичино, все стали называть меня Rabbino Capo. “Rabbino Capo di Israele”. Вот я и дивлюсь: капо? Неужели я – капо? Конечно, я очень быстро смекнул, что саро – по-итальянски значит главный, только вот для

меня это слово имеет один единственный смысл. Это сокращение от KZ Polizei – лагерная полиция. И слово это пришло ко мне в темные времена Катастрофы». Мне не потребовалось долго распространяться. Папа прекрасно понял, что именно мне мешает. Он улыбнулся и сказал: «Для меня вы навеки будете Naczelny Rabin» (главный раввин по-польски).

После этого безмятежного зачина началась наша беседа, которую без ложной скромности можно назвать исторической. Я попросил у Папы разрешения рассказать ему историю, вычитанную мной в книге «Катастрофа: еврейская трагедия», принадлежащей перу сэра Мартина Гилберта, получившего известность в качестве официального биографа Уинстона Черчилля, и сказал, что буду рад выслушать его мнение о ней. Папа согласно кивнул головой.

«В Кракове жила молодая пара – Давид и Элен Геллер, или Хиллер, как их фамилию транслитерировали по-английски. У них был двухлетний сын по имени Шахна. В 1942 году, когда немцы заняли Краков и стали отправлять часть евреев в Плешув, других – в Освенцим, супруги Геллер оставили своего малолетнего ребенка у своих соседей-католиков, семьи Яхович, до того времени, когда они вернутся и смогут забрать его. Однако по воле злой судьбы они не вернулись».

А ребенок рос. В четыре года он знал наизусть все воскресные молитвы, которые слышал в костеле. Когда ему исполнилось пять лет, пани Яхович обратилась к местному епископу с просьбой крестить мальчика. Епископ спросил ее, какова, по ее предположениям, будет реакция его биологических родителей, когда они узнают об этом шаге. Пани Яхович сказала, что должна быть откровенна с епископом. «Это картину я помню совершенно точно, – сказала она, – когда мальчик уже был у меня на руках, а Элен – моя добрая соседка – стояла у двери и махала ему рукой на прощанье, она попросила меня: «Пани Яхович, если мы не вернемся, постарайтесь вернуть мальчика в лоно еврейства». «Если дело обстоит таким образом, – ответил ей католический епископ, – то я ни в коем случае не стану крестить ребенка». Этого епископа завали Кароль Войтыла. И это – вы», – сказал я Папе, испытывая сильное волнение. Мне хотелось знать, помнит ли он этот конкретный случай. На мгновение в комнате воцарилось молчание, потом Папа широко улыбнулся и сказал с теплом в голосе: «Этот мальчик, Шахна Геллер, сегодня религиозный еврей в Бруклине, Нью-Йорк. И кстати, это не единственный случай, когда я поступил таким образом. Во всех подобных случаях я действовал точно так же». Его ответ поразил меня, так как я сосчитал прошедшие годы: с 1945 по 1993 прошло 38 лет, и все это время он следил за судьбой еврейского мальчика из Кракова, которого отказался крестить».

К истории Шахны Геллера мое внимание привлек Яков Бар-Ор, в прошлом прокурор тель-авивского округа, который был одним из четырех обвинителей на процессе Эйхмана. После того как было опубликовано сообщение о моей предстоящей встрече с Папой, Бар-Ор принес мне книгу Гилберта с этой историей.

В тот же день, сразу после встречи я вернулся в Израиль, в Нетанию. В этом городе, где я прослужил главным раввином девять лет, вечером этого дня должно было состояться торжественное открытие бейт-мидраша при йешиве движения «Бней Акива», и я должен был выступить на церемонии с речью. Все, включая СМИ, знали, откуда я возвращаюсь, и с нетерпением ждали моей речи. Прибыв, я сказал, что не стану ничего рассказывать, кроме одной небольшой истории. И рассказал историю спасения еврейского мальчика Шахны Геллера. Ребенок был спасен дважды, сказал я: сначала из когтей нацистов католической польской семьей, затем от католической церкви католическим священником. А теперь этот священник – Римский Папа, стоящий во главе католической церкви. Один житель Нетании, еврей по фамилии Зонненштейн, чей внук учился в йешиве «Бней Акива», которую мы открывали, услышав мой рассказ, упал, где стоял, и лишился чувств. Оказалось, что этот еврей, работавший охранником в помещении для сейфов в отделении банка «Мизрахи» в Нетании, был детским другом Давида и Элен Геллеров из Кракова. 38 лет спустя, услышав, что их маленький сын Шахна живет и здравствует в Бруклине, он не выдержал эмоционального напряжения.

В течение многих лет после этого до меня доходили отголоски истории жизни Шахны Геллера, который ходил на молитву в *штибл*¹ белзских хасидов в Бруклине, пока не перебрался в Нью-Джерси.

После волнующего разговора о еврейском мальчике Шахне Геллере преграды, разделявшие Папу и меня как католика и еврея, рухнули, и оставшаяся часть нашей встречи проходила как простая беседа обычных людей. В соответствии со своим планом, я поднял вопрос о пропавших без вести в бою в Султан-Якубе. Я начал с рассказа о Йосефе Каце, отце Йеғуды, проживающем в Рамат-Гане выжившем узнике Освенцима. «У человека, выжившего в Катастрофе, родился сын, который учился в военной йешиве», – стал рассказывать я, не преминув отметить, что Пирхия, сестра пропавшего без вести солдата, была моей ученицей в средней школе «Цейтлин» в Тель-Авиве. Папа был напряжен и внимательно слушал. «Его сын призвался в армию и во время Ливанской войны участвовал в бою в Султан-Якубе. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Его

¹ Изначально небольшая синагога, обычно совмещенная с бейт-мидрашем (идиш).

родители, Йосеф и Сара, как и родители других пропавших без вести солдат, вскакивают при каждом телефонном звонке или стуке в дверь, надеясь на добрые вести о судьбе сына». Иоанн Павел II впитывал факты с огромным вниманием. Он спросил, сколько лет они считаются пропавшими без вести, и когда я ответил, задал вопрос: «Скажите, *начельны рабин*, вы верите, что они еще живы?» Я честно ответил, что не раз задавал себе этот вопрос, и однозначного ответа у меня нет. «Перед моим визитом к вам, когда в Израиле стало известно о нашей предстоящей встрече, в мою канцелярию в Иерусалиме прибыли родители некоторых пропавших без вести солдат, чтобы укрепить меня в желании поднять в разговоре с вами вопрос о судьбе их детей. Я сказал им, что еду к вам из-за них, и что они – причина нашей с вами встречи. В конце нашей беседы один из родителей попросил уделить ему еще несколько минут для разговора наедине и сказал: «Я не уверен, что мой сын жив. Я хочу в это верить, но не убежден до конца. Но я дал себе зарок, что, пока я жив, я приложу все усилия к тому, чтобы память о моем сыне оставалась в сознании людей, чтобы его имя не изгладилось из памяти Израиля. Я бы хотел получить возможность поставить ему на кладбище памятник из камня, и чтобы на нем было высечено имя моего сына. Чтобы хоть его имя осталось в этом мире. Все наши усилия оправданны хотя бы ради этого». И с этими словами, словами отца, я и пришел к вам», – поведал я Папе, который был сильно взволнован. «Все, что хочет этот отец – это раз в году иметь возможность прийти на кладбище и прочитать поминальную молитву», – подчеркнул я, воспользовавшись английским выражением “Memorial Service”. Иоанн Павел II поправил меня, произнеся на ашкеназском иврите, который слышал в Кракове: «Кадиш, Кадиш, Кадиш он хочет сказать по своему сыну», – троекратно повторив слово Кадиш. После этого в комнате воцарилась тишина. Папа замкнулся в себе, затем обещал сделать все, что в его силах. «Это немного, но теперь, когда я более или менее представляю, о чем идет речь, я сделаю все, что могу ради них сделать». Его жест обрадовал меня, и я поспешил поддержать его: «Вы были свидетелем трагедии еврейского народа. Тут тоже речь идет о родителях, часть которых пережила Катастрофу. Сколько еще им страдать после всего, что они пережили в тот период?» – задался я вопросом вместе с Папой. Он немного помолчал и перешел к другой теме. «Я помню вашего деда по Кракову, раввина Френкеля-Геомима», – к моему изумлению вдруг сказал Папа. Встреча между нами должна была быть встречей между двумя главами религий. И столь личная интонация, проявление интереса к событиям полувековой давности немало меня поразили. «Я помню, как по субботам он шел в синагогу, окруженный множеством детей. Сколько внуков было у вашего деда?» Я был вынужден сказать правду и признался, что не

знаю. Я знал, что семья была весьма разветвленная, но у меня не было ни малейшего представления о точном числе ее членов перед началом войны, когда мне было всего два года. Я посмотрел на Нафтали, сидевшего рядом, и тот знал ответ. Он сказал, что в общей сложности нас было 47 внуков, и это только со стороны матери. Иоанн Павел II продолжал проявлять любопытство и спросил, сколько из них пережило Катастрофу. На этот вопрос я знал точный ответ – только пятеро.

Я рассказал Папе об еще одном ужасном теракте, который мы пережили в Израиле накануне моего отлета в Милан. Тогда арабский террорист ударил ножом в затылок водителя автобуса 300-го маршрута, из Тель-Авива в Ашдод, с криком «Аллах Акбар». Призывание имени Бога для оправдания убийства невинных людей было – в моих глазах – еще одним преступлением, не считая самого убийства. Я высказал это суждение Папе и спросил, как, по его мнению, мы можем остановить это. Его ответ был однозначным: «Я противник насилия и при каждой возможности высказываюсь против насилия и террора. Я также готов подписать соответствующий манифест, но для этого требуется согласие и второй стороны». От насилия и террора наша беседа перетекла к антисемитизму, и тут Папа высказался со всей решительностью: «Я посетил 120 стран, и не было ни одной, где бы я не говорил об антисемитизме. Скажите мне, уважаемый Главный раввин, вы верите в то, что сегодня существует антисемитизм на религиозной почве, как в дни зарождения христианства?» Свой ответ на этот важнейший вопрос, серьезный, как никакой другой, я попросил Папу позволить мне начать с анекдота. Он улыбнулся, будучи несколько удивлен, я же предположил объяснение, сказав, что в этой шутке есть твердое ядро правды, исполненной самого серьезного смысла. После того, как он, откровенно обрадовавшись, дал свое соизволение, я рассказал ему анекдот о Джонни, темнокожем американце громадного роста, который, стоя на площади маленького городка где-то на Среднем Западе в воскресный полдень, начинает засучивать рукава. И кричит: «Еврея! Подайте мне еврея! Мне позарез сейчас нужен еврей!» Приятель пытается успокоить его, спрашивая, зачем ему вдруг понадобился еврей, тем более что в их городке евреев нет и в помине. Но Джонни упирается, не желая подавить возникший у него порыв прямо сейчас уничтожить какого-нибудь еврея. «Я убью его, уничтожу, порву на клочки», – ревет Джонни. Пораженный приятель пытается понять, какая муха укусила Джонни: «Что с тобой происходит? Ты пьян или еще что? С чего вдруг ты решил убить еврея? Что он тебе сделал?» У Джонни готов ответ: «Мне? Да ведь он распял нашего Господа, повесил его на кресте, и за это я убью его». Приятель напоминает Джонни, что это событие произошло две тысячи лет назад, однако Джонни отказывается

внимать историческим фактам и говорит: «Какое там! Я слышал об этом от нашего священника только что, в церкви, полчаса назад!» Папа улыбнулся. Он не рассмеялся в полный голос, но посмотрел мне в глаза и сказал: «Я думаю, что фотография нас обоих вместе, когда ее напечатают во всем мире, выдернет ковер из-под ног тех примитивных людей, которые все еще обвиняют вас в преступлении, которого вы не совершали». Я не мог не восхититься его решимостью.

Затем беседа с Папой перешла к другим вопросам, ради обсуждения которых я пришел к нему. Я рассказал Папе о миссионерской деятельности в Израиле и ее приемах, например, попытках воспользоваться бедностью определенных слоев населения и недостаточной укорененностью в еврейских традициях некоторых из прибывающих в страну новых репатриантов. Я высказал ему свою позицию, сказав, что здесь не идет речь о концептуально-теологических дискуссиях, но о простой цели купить веру за чечевичную похлебку, вынудить этих людей оставить наследие отцов из-за временных материальных трудностей, – а этого разум и вера не могут вынести. Это, с моей точки зрения, коммерциализация человека и веры, и нам следует положить этому конец. В своем ответе Папа указал на то, что речь идет о маргинальных группах, чьи приемы противоречат мировоззренческим принципам церкви, во главе которой он стоит, и что их действия вызывают у него решительный протест. Папа говорил об этом явлении почти с отвращением. Он дал мне понять, что это явление существует, в основном, в слабо развитых странах, и что душа его протестует против этого.

Еще одним вопросом, о котором я желал побеседовать с Папой, был доступ к нашим рукописям, хранящимся в библиотеке Ватикана. Ответ на этот вопрос он подготовил заранее. Он сказал, что не только дал свое согласие на то, чтобы каждый желающий имел доступ к духовным сокровищам, в соответствии с принятой процедурой, но и дал указание снять со всех рукописей микрофильмы. Оригиналы останутся на специальном хранении, без возможности выноса их в читальные залы, дабы не допустить их повреждения. Микрофильмы же представляют собой отличное решение проблемы для всех, кто желает изучать старинные книги, которые призваны обогащать культуру всего человечества, а не лежать под спудом в запертых подвалах.

* * *

Наша беседа продлилась около сорока минут. По ее окончании Папа пожелал, чтобы мои сопровождающие, ожидавшие меня на первом этаже, поднялись к нам, дабы Папа мог пожать им руки. Среди приглашенных была и моя жена. Папа вышел к ней навстречу с протянутой вперед рукой.

Она же оказалась в крайне неловкой ситуации, потому что обычно не подает руки мужчинам. Секретарь Папы что-то шепнул ему по-польски, и рука Иоанна Павла тотчас взметнулась вверх, вторая рука присоединилась к первой, и он несколько раз взмахнул обеими руками, приветствуя нас на иврите: «Шалом, шалом, шалом». Так Иоанн Павел II молниеносно нашел дипломатический выход из положения, которое могло оказаться крайне неловким.

Вследствие нашей встречи в летней резиденции Папы в Кастель-Гандольфо между нами установились хорошие отношения, позволившие мне 26 швата 5763 года (29 января 2003) написать ему письмо. Я еще оставался в это время в должности Главного раввина. Я обратился к Иоанну Павлу II по вопросу Эльханана Тенненбаума, захваченного боевиками ливанской партии Хизбалла. В своем письме Римскому Папе в Ватикан я писал: «Мир и благословение Вам. В начале своего письма я выражаю надежду на то, что здоровье Ваше крепко и Вы пребываете в мире. Я позволил себе обратиться к Вам с этой срочной просьбой, поскольку она несет в себе гуманитарный, моральный и человеческий аспекты первостепенной важности. Речь идет об израильском гражданине Эльханане Тенненбауме, родившемся 12.08.1946. Я был человеком, благословившим его и его жену Эстер на церемонии их бракосочетания 02.09.1971. В октябре месяце 2000 года в моей канцелярии появились его жена, сестра и сын, просившие меня сделать все возможное для его возвращения домой. Этот человек был похищен организацией Хизбалла и удерживается в Ливане с 15.10.2000. Эльханан Тенненбаум страдает хронической астмой и другими заболеваниями и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. При нем нет лекарств, необходимых для поддержания его жизни. Помимо того, что он был лишен свободы и оторван от своих семьи, дома и народа, самая жизнь его оказалась под угрозой вследствие тяжелого состояния его здоровья. Мои усилия, направленные на его возвращение домой, вместе с другими пропавшими без вести, не принесли результата. Также и мои беседы с Генеральным секретарем Организации объединенных наций господином Кофи Аннаном, с президентом Международного комитета Красного Креста и религиозными лидерами во всем мире не увенчались успехом и не достигли своей цели. Мне стало известно, что в ближайшую пятницу, 31.01.2003, премьер-министр Ливана господин Рафик Харири собирается посетить Ватикан. Мой господин, я обращаюсь к Вам с отчаянной мольбой о том, чтобы при Вашей встрече с ливанским премьер-министром Вы потребовали от него разрешить посещение врачом похищенного Эльханана Тенненбаума в месте его пленения. Это гуманитарная просьба об элементарном шаге. Если освобождение господина Теннебаума и его возвращение домой пре-

вышают возможности господина Харири, то пусть он, по меньшей мере, обеспечит посещение похищенного врачом и предоставление ему медицинской помощи. Ваша честь, моя просьба обусловлена тем важным фактом, что 05.01.2003 генеральный секретарь Хизбаллы шейх Хасан Насралла сообщил, что Эльханан Тенненбаум жив. В свете наших прошлых встреч и учитывая тот факт, что Вы были свидетелем трагедии, обрушившейся на мой народ в период Катастрофы европейского еврейства, я уверен, что моя просьба найдет в Вас внимающий слух и отзывчивое сердце. Прошу Вас, сделайте все, что в Ваших силах, дабы спасти жизнь этого человека и вернуть его в лоно семьи живым, здоровым и невредимым. Человечество и история по заслугам оценят вашу гуманитарную деятельность, которая зиждется на принципах веры, справедливости и соблюдения прав человека. С уважением и признательностью, с молитвой об истинном мире, Исраэль Меир Лау, Главный раввин Израиля».

Как уже было сказано, я написал это письмо 26 швата 5763 года (29 января 2003) и послал его дипломатической почтой нашему послу в Ватикане Одеду Бен-Гуру, от которого требовалось лично предать его Римскому Папе. Ровно через неделю ко мне прибыл архиепископ Пьетро Самби, посол Ватикана в Израиле, с которым было адресованное лично мне письмо от Segretaria di Stato – Государственного секретариата Ватикана, и в нем говорилось, что Папа получил мое обращение в отношении дела Эльханана Тенненбаума, похищенного и удерживаемого в Ливане. К этой проблеме было привлечено внимание премьер-министра Ливана господина Рафика Харири в ходе его последнего визита в Ватикан. «Пользуясь случаем, я шлю Вам мои молитвы и наилучшие пожелания», – следовало в письме далее. И подпись: Анджело Содано, кардинал – Государственный секретарь.

Насколько мне известно, не было другого примера столь личных, теплых и полных взаимоуважения отношений между Главным раввином Израиля и Римским Папой. Особенно когда в моей памяти встает отчаянная мольба раввина Герцога о встрече с Папой с целью спасения евреев во время Второй мировой войны. Тогда речь не шла об одном Эльханане Тенненбауме, но о миллионах евреев, которых раввин пытался вырвать из когтей нацистского врага, но получил отказ, – и церковь молчала.

На исходе зимы 5754 года, в феврале 1994-го, впервые после 46 лет существования Государства Израиль в Ватикане было принято решение об установлении дипломатических отношений с Израилем. Я не связываю это историческое решение с моим визитом, однако ясно, что он никак не мог повредить этой инициативе. Через три месяца после этого, в День Независимости 5754 года, весь дипломатический корпус был приглашен на прием в резиденцию президента страны. Шимон Перес, занимав-

ший тогда пост министра иностранных дел, подошел ко мне и спросил, видел ли я «Вашингтон пост». Я ответил отрицательно, и он рассказал мне о последней публикации. Папа посетил Соединенные Штаты и дал интервью «Вашингтон пост». Когда его спросили о его мнении по вопросу статуса Иерусалима, он упомянул о том, что за несколько месяцев до этого его посетил Главный раввин Государства Израиль, беседа с которым дала Папе материал для раздумий по вопросу о статусе Иерусалима.

Я не принимал участия в консультациях в преддверии установления дипломатических отношений с Ватиканом, однако близость по времени обоих событий – моего посещения Папы в его летней резиденции и публикации в «Вашингтон пост» – привлекли мое внимание. Мне стало известно, что в том же году Иоанн Павел II назначил комиссию под председательством приближенного к нему кардинала Эдварда Кассиди из Ватикана. Этой комиссии вменялась в обязанность подготовка черновика буллы, в которой церковь в рамках примирения приносила свои извинения еврейскому народу. Я не поверил своим ушам, решив, что сплю и вижу сон. Кардинал Кассиди посетил меня в Иерусалиме дважды. В первый раз один, во второй – в сопровождении кардинала Килара из Балтимора и архиепископа Мушинского из Польши, принесших с собой различные черновые редакции буллы. В них в общем виде говорилось о преступлениях, совершавшихся во время Второй мировой войны против еврейского и других народов принадлежавшими к церкви людьми. Однако в церкви были высокопоставленные иерархи, которые в лучшем случае стояли «на крови», а в случаях похуже – участвовали в разжигании ненависти к еврейскому народу, приложив руку к распространению журналов и речей расистского содержания, призывавших к окончательному решению. В черновых редакциях, представленных достопочтенными кардиналами, не высказывалось ни единого слова осуждения этих иерархов. Не фигурировало в них и никакой критики поведения папы Пия XII, который мог предотвратить гибель множества евреев, но ничего не сделал для этого. Я заметил, что все, что говорится в черновиках, может служить прекрасным вступлением к извинению, но в дополнение должны быть сказаны и другие вещи. Когда кардиналы пожелали услышать, что я имею в виду, я объяснил, что тот Папа, в отличие от Иоанна XXIII, видел, как зарождалась Катастрофа, и был свидетелем ее зверств, однако ничего не предпринял для ее предотвращения. Я предложил представителям Ватикана поехать со мной в «Яд ва-Шем», находившийся в десяти минутах езды от моей канцелярии, и своими глазами увидеть аллею, каждое посаженное на которой дерево несет табличку с именем одного из Праведников народов мира. Если бы в 30–40-е годы Папа произнес хотя бы

одно предложение из тех, которые должны были быть произнесены, то сегодня эта аллея тянулась бы от «Яд ва-Шема» в Иерусалиме до Ватикана в Риме. Многие католики присоединились бы в этом случае к немногочисленным праведникам, также помогали бы евреям и спасали их жизни. На этих моих словах, в истинности которых я совершенно убежден, кардиналы покинули мою канцелярию. Документ был кое в чем подправлен, в нем появились различные нюансы, и, в конце концов, был опубликован текст некой редакции, призывающей к примирению, в создании которой я уже не принимал участия.

Но моя встреча с Папой имела и множество других последствий. Одним из них стало приуроченное к тысячелетию Крестовых походов прибытие в Израиль в 2001 году большой делегации, состоявшей из 500 глав различных направлений в христианстве. Члены делегации хотели попросить прощения за убийство ни в чем не повинных евреев в ходе Крестовых походов. Все они собрались в актовом зале в цокольном этаже Большой синагоги в Иерусалиме, и я был приглашен выступить перед ними. Члены делегации хотели вручить мне, как посланнику еврейского народа, свиток с просьбой о прощении, подписанной главами христианских конфессий, я же был должен принять его от имени еврейского народа во всех его поколениях. В ответ я сказал, что у меня нет мандата на то, чтобы принимать извинения, и нет сил – прощать; то есть те же самые слова, которые я произнес, когда отмечалось пятидесятилетие освобождения Бухенвальда. Но выразил им свою искреннюю признательность за то, что они приехали в Иерусалим. Сам факт написания и оглашения такого документа имеет большое воспитательное и историческое значение. Я же молюсь и хочу верить, – сказал я, – что в будущем подобные события будут предотвращены. Однако, пояснил я, передача мне послания ни в коем случае не означает забвения прошлого и прощения его отвратительных преступлений.

* * *

Прошлое не должно быть прощено, не должна быть стерта из памяти даже самая малая подробность из того, что происходило во время Катастрофы. Я рассматриваю себя как посланника памяти и делаю все, что в моих силах, дабы не забывать, но помнить. За многие годы я принял участие в бесчисленном множестве церемоний, ассамблей и дней памяти Катастрофы в самых разных странах мира. На все приглашения выступить я отвечал согласием, глубоко ощущая, что в этом заключается моя миссия.

Одна из самых важных и памятных церемоний проводилась в День Катастрофы в 5755 (1995) году, в ознаменование пятидесятилетия окончания Второй мировой войны. Многие тысячи людей собрались в комплексе

«Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Президент США Билл Клинтон прибыл из Вашингтона, рядом с ним на сцене сидели трое сенаторов из Нью-Йорка: Дэниэл Патрик Мойнихен, Альфонс Д'Амато и Фрэнк Лаутенберг, а также губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки, мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и я. Хотя я был тогда Главным раввином Израиля, на мемориальную ассамблею меня пригласили как выжившего в Катастрофе. Президент Клинтон произнес впечатляющую речь, полную человеческого тепла, в которой говорил о судьбе еврейского народа и решительно осуждал антисемитизм. Я говорил о долге памяти и об уроках Катастрофы. Один из уроков, которые преподала нам Катастрофа, сказал я, это понимание того, что Государство Израиль являет собой Ноев ковчег еврейского народа. Я предложил рассмотреть сценарий: что было бы, если бы Государство Израиль родилось здесь, в Нью-Йорке, в Лейк-Саксесе, за десять лет до решения ООН в 1947 году? А если бы такое решение было принято Лигой Наций в Женеве в 1927-м, не говоря уже о конференции в Сан-Ремо или Декларации Бальфура 1917 года? Как бы выглядело сегодня полотно истории и сколько миллионов евреев были бы с нами? Я знал, что все это вопросы, на которые нет ответов, но они давали всем присутствующим немало материала для раздумий, а это и было моей целью.

Нам не следует говорить о шести миллионах погибших вообще или о полутора миллионах убитых детей, но о конкретных Шлоймеле, Мойшеле, Леэле, Сареле. История девочки Анны Франк – наглядный тому пример. То, что происходило во время Катастрофы, легко понять, и значительно легче воспринять эту информацию, когда говорят об одном человеке, одной семье, максимум – об одной общине. Человеческий разум затрудняется – эмоционально и экзистенциально – оперировать числами в миллионы людей. На каждой такой церемонии я обращаюсь к собравшимся и прошу их не говорить только о том, как погибали жертвы Катастрофы, но постараться понять, как они жили и кто они были. И главное, важно, чтобы люди начали думать о Государстве Израиль как о национальном доме еврейского народа и о нашем долге углублять аутентичное еврейское воспитание, дабы обеспечить преемственность поколений.

Я отношусь к тем людям, которые отрицают факт гибели в Катастрофе шести миллионов евреев. Не потому, что шесть миллионов, на мой взгляд, не были убиты и не потому, что я думаю, что Катастрофы не было. Число еврейских жертв Катастрофы превосходит шесть миллионов. Да, физически было уничтожено шесть миллионов евреев, убитых с неописуемой жестокостью. Однако с духовной точки зрения, в аспекте веры и сознания – в Катастрофе погибло более шести миллионов евреев. Выжившие в Катастрофе – в той или иной мере также ее жертвы. Некоторые из них

проходят мимо нас как живые трупы. Тело их активно, они заняты разного рода деятельностью, но дыхания жизни нет в них. Раввин Френкель подчеркивал этот момент, говоря, что есть умершие в огне и есть умершие в воде. От погибшего в огне ничего не остается, ни единого члена – только пепел. Сгорает все. А у погибших в воде тело цело, ни единого волоса не упало с их головы, все ногти целы на пальцах. Физически тело полностью сохранно, но дыхания жизни в нем нет. «Отец наш, царь наш, делай для нас за заслуги пошедших в огонь и воду ради освящения имени Твоего», – произносим мы в молитве. Пошедшие в огонь – это все задушенные в газовых камерах, погибшие от голода, те, кого постигла самая разная, но одинаково жесткая смерть. Их шесть миллионов. Пошедшие в воду – это те, кто на первый взгляд пережил Катастрофу, выйдя из нее невредимым, однако потеряв радость жизни или веру, дававшую им силы выстоять.

* * *

Одна из церемоний поминовения жертв, произведших на меня самое большое впечатление, была проведена в Берлине в ознаменование шестидесятилетия Хрустальной ночи. Все ужасы Катастрофы начались в ту ночь, 9 ноября 1938 года, когда толпы немцев сожгли более тысячи синагог, разграбили множество магазинов и убили сотни евреев. В ноябре 1998-го я получил от Игнаца Бубиса, президента Союза еврейских общин Германии, приглашение выступить в Хоральной синагоге Берлина. Я согласился с одним условием: так как я не остаюсь ночевать на земле Германии, я попросил, чтобы все было организовано так, чтобы я приехал в Берлин и покинул его в один и тот же день. Игнац Бубис согласился.

Рядом со мной сидел Герхард Шрёдер, всего неделей раньше избранный на пост канцлера Германии, на голове у него была большая белая кипа. По другую сторону от меня сидел Роман Херцог, президент Германии. Местный кантор открыл церемонию молитвой «Эль мале рахамим» в сопровождении органа. Мне было неприятно это сочетание музыки и слов молитвы «Эль мале рахамим». Я подумал, что оно входит в диссонанс с характером мучеников, в память о которых читается молитва, но чувство неприятия не отразилось на моем лице, обращенном к публике в синагоге. Когда пришла моя очередь выступать, я произнес речь на английском языке, говоря об антисемитизме и о том, что единственным уроком Катастрофы является то, что мы не выучили никакого урока, – если в часе лёта от Берлина, в Косово, прямо сейчас творится геноцид. Что не выучили ничего, если в 1968 году позволили двум миллионам детей умереть от голода в Биафре. Говорил о евреях, которые в наши дни, когда поднялся занавес, отделявший Восточ-

ную Германию, перебрались с востока страны на запад, сменив одно изгнание на другое.

Я всматривался в лица сидевших в первом ряду, смотрел на лица Шредера и Херцога и не замечал в них никакой горечи. В заключение своей речи, в присутствии президента и канцлера Германии я призвал евреев оставить эту юдоль погибели и вернуться домой, в Землю Израиля. Это послание, транслировавшееся многими европейскими станциями радио- и телевидения, удостоилось широкого отклика. Я особенно хорошо почувствовал это, когда ехал из Берлина в Амстердам, чтобы вылететь самолетом «Эль-Аль» в Израиль из голландского аэропорта Скипхол. Продавцы и продавщицы в здании аэропорта, увидев меня, когда я проходил на посадку, выходили из своих магазинчиков и провожали меня аплодисментами. Они слышали речь, произнесенную мной за несколько часов до этого, и столь человеческим образом выражали обуревавшие их чувства. Благодаря им я понял, что в своем пожелании ничуть не перешел допустимую черту.

После моего выступления на сцену поднялся молодой *аврех*¹, на голове у него был черная шляпа в стиле гурских хасидов, редко росшая борода окаймляла его лицо с очень приятными и очень еврейскими чертами. На нем был надет длиннополый хасидский кафтан и черные чулки на голених с заправленными в них брюками, по обычаю гурских хасидов. Аврех, Ицхак Меир (Иче Мейер) Гелфгот, был выпускником певческого училища для канторов в Тель-Авиве, в те годы он временно служил кантором во Франкфурте. Он встал против микрофона и без музыкального сопровождения запел на мотив напева гурских хасидов «Ани маамин»: «Я верю полной верой в приход Мессии, и, несмотря на то, что он задерживается, я все же каждый день буду ждать, что он придет»². Услышав напев, Шредер, казавшийся суровым и жестким человеком, разволновался, стал перекладывать ногу на ногу, не находя себе места от переполнявших его чувств. Он потянул меня за руку и сказал по-немецки: «Такой чистый голос. Его пение исходит из самых глубин сердца». Я сказал Шредеру, что кантор из Израиля, и заметил, что он настоящий хасид, истинный представитель тех людей, в память о которых мы здесь собрались. Бубис осознал, что на церемонии в ознаменование шестидесятилетия Хрустальной ночи будет недостаточно молитвы «Эль мале рахамим» в сопровождении органа, что она не в силах передать весь дух этого мероприятия, и привез в Берлин молодого кантора из Франкфурта с тем, чтобы тот так впечатляюще исполнил «Ани маамин» своим выдающимся голосом.

¹ Традиционное название семейных студентов йешив.

² Двенадцатый из тринадцати принципов веры Маймонида.

Спустя какое-то время я шел в похоронной процессии короля Хусейна в Аммане. В одном ряду со мной шли четыре президента Соединенных Штатов: Клинтон, Картер, Форд и Джордж Буш-отец. На ходу я вдруг почувствовал, как две руки легли мне сзади на плечи. Испугавшись на миг неожиданного объятия, я повернулся и обнаружил, что это был Герхард Шредер. «Главный раввин, я повернулся и обнаружил, что это был Герхард Шредер. «Главный раввин, я повернулся той церемонии, на которой мы встретились в Берлине, я с волнением вспоминаю пение замечательного еврейского кантора. Вы не можете мне напомнить мелодию этой песни?» – к моему изумлению спросил он. Чуть опомнившись, я напел ему на ухо традиционную мелодию «Ани маамин» в исполнении гурских хасидов, мелодию, сочиненную Яковом Талмудом, композитором хасидского двора гурского ребе. «Ани маамин», вырвавшийся из самых глубин горла и сердца гурского хасида на церемонии в Берлине, задел какие-то струны в душе Герхарда Шредера, да так, что тот вышел из своего ряда на похоронной процессии, несмотря на взвод телохранителей вокруг, и добрался до меня, чтобы выразить мне свои чувства и еще раз – из моих уст – услышать этот напев. Это был, с моей точки зрения, еще один кирпичик, положенный в основание памятника Катастрофе и ее жертвам.

Бывают случаи, когда меня поражает, как, где и насколько тема Катастрофы запечатлевается в людских сердцах и памяти. И поэтому я не раз ощущал своей миссией и предназначением напоминание о Катастрофе в любом месте, где только оказывался. Я стараюсь не дать забвению победить память. Иногда Катастрофа проявляется в вопросах, как кажется, не связанных с нею напрямую, и прорывается наружу, даже не будучи темой обсуждения.

В месяце ияре 5763 года (май 2003-го) я был приглашен на конференцию по вопросам мира, проводившуюся в городе Аахен, что в Германии. Эта конференция была созвана также по инициативе членов группы Сант-Эджидио из Италии. На ней у меня произошла незапланированная встреча, высветившая для меня тему Катастрофы в совершенно непредвиденном ракурсе. После моего выступления, в котором я высказал свою точку зрения в вопросе установления мира между странами и народами и рассказал об отношении иудаизма к данной проблеме, встал палестинский религиозный деятель и, обращая ко мне и всем участникам конференции, выступил с резкими словами обвинения: «Я хочу выразить перед вами наши чувства, чувства палестинского народа, который, по сути дела, можно рассматривать как еще одну жертву вашей Катастрофы. Мы находимся здесь, на земле Германии, и я совершенно не собираюсь отрицать Катастрофу. Но один вопрос я хочу задать: почему мы должны быть ее жертвами? До Второй мировой войны вы жили в мире с нами. Нас и палестинских евреев

связывали самые дружеские отношения. Из-за событий Катастрофы вы стали искать себе дом и вторглись в наш дом. Поскольку ваш дом в Европе оказался разрушен, вы изгнали нас из нашего дома, когда мы были слабы и неорганизованны. И поэтому мы уже свыше пятидесяти лет пребываем в изгнании. Почему мы должны платить своей кровью за вашу Катастрофу?» – взывал к жалости палестинский представитель.

Когда он закончил, я поднялся, чтобы ответить ему. В начале своих слов я сказал, что мы не вторгались и не пришли в чужое нам место. Мы сами были изгнаны из Земли Израиля в 586 году до н. э. вавилонянами и в 70 году н. э. римлянами. Я выразил свою радость от того факта, что он не отрицает Катастрофу, но не мог не указать ему на его ошибку. Ибо ислам зародился в 622 году, спустя 550 лет после того, как в Иерусалиме был разрушен наш Второй Храм. Я упомянул в своей речи Танах, который говорит о «волке, который будет жить с агнцем» и обещает, что «не поднимет народ на народ меч». И в том же Танахе пророк Йирмиягу обещает еврейскому народу: «И вернутся сыны в пределы свои». Пророк Йешаягу, в своем видении последних дней света, говорит о собирании изгнанников еврейского народа, когда тот вернется в свою страну. И кстати, добавил я, обращаясь к палестинцу, по поводу дружбы, царившей между нашими народами в предшествовавший Катастрофе период, если уж мы находимся на земле Германии, то следует вспомнить, кто был единственным в мире лидером, летавшим в Берлин, чтобы пожать Гитлеру руку и поддержать его в окончательном решении еврейского вопроса. Это был не кто иной, как духовный лидер палестинцев, иерусалимский муфтий Хадж Амин аль-Хусейни. Другие лидеры молчали, что было несправедно и бесчестно, но, по крайней мере, не высказывали одобрения врагу. В то время еще не возникли ни проблема палестинских беженцев, ни проблема беженцев Катастрофы, искавших для себя национальный дом. Я сказал ему, что в то время я был в своем доме, в родном польском городе, и не собирался выбрасывать кого-либо из его дома.

Если так, то о какой дружбе идет речь? Я напомнил ему еще об одном историческом факте, имевшем место в 5689 (1929) году, за десять лет до начала Второй мировой войны. Тогда палестинцы вырезали 69 евреев в Хевроне, среди них и младенцев, которых они вырывали из рук матерей, без всякой провокации со стороны евреев. «Как люди, ведущие диалог, мы должны придерживаться точных фактов, – предложил я палестинцу, – и на этой основе искать решение проблемы. Но представлять ложную картину, в соответствии с которой вы – жертвы нашей Катастрофы, – будет грубым искажением истории». Когда я закончил говорить, председательствовавший на конференции кардинал Роже Эчегарай, правая рука Римского Папы, счел нужным сообщить присутствующим, что я был самым юным

узником, освобожденным из Бухенвальда. Палестинец замолчал и больше не сказал ни слова. После дня, заполненного тяжелыми и напряженными дискуссиями, я отправился ночевать в близлежащий голландский городок, по ту сторону от немецкой границы.

От Фиделя Кастро до Нельсона Манделы

«Ваше величество, – обратился к королеве Великобритании сидевший слева от меня иорданский принц Хасан, – я хочу пожаловаться на существующую здесь дискриминацию. Еда раввина намного вкуснее нашей!» Он только что попробовал халу, кусок которой я ему отрезал. Затем, уже с серьезным выражением лица, он добавил: «Но он достоин этого, хотя бы за свой прекрасный жест, когда он навестил в больнице моего брата, покойного короля, в Рочестере в США».

В королевском дворце отмечалось пятидесятилетие царствования английской королевы Елизаветы II. Королева отказалась от массовых торжеств, но уступила настоятельным просьбам своего мужа, принца Филиппа, предожившего, чтобы событие было отмечено званым ужином на тридцать персон, который будет проведен после обсуждения вопросов охраны окружающей среды во всем мире.

Мне выпала часть быть приглашенным на этот ужин, проходивший в Букингемском дворце, и коснуться в своем выступлении точки зрения иудаизма на вопросы загрязнения атмосферы и вод, охраны растительного и животного мира и охраны окружающей среды вообще. На ужин были приглашены, среди прочих, архиепископ Кентерберийский, принц Хасан из Иордании и президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Для меня была приготовлена абсолютно кошерная трапеза, подававшаяся на посуде, похожей на дворцовую.

* * *

За время моей службы на различных постах мне выпало познакомиться со многими мировыми лидерами: я встречался с президентами США Рональдом Рейганом, Джимми Картером и Биллом Клинтонем и с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Я навестил больного короля Хусейна, а с его сыном – королем Абдаллой – встретился на похоронах отца. Встречался я и с королем Испании Хуаном-Карлосом,

в сопровождении посла Израиля – господина Герцяля Инбара, и с президентом еврейской общины в этой стране – Ицхаком Кирувом, с которым мы имели долгий разговор об арабо-еврейских отношениях в эпоху Золотого века в Гранаде. С президентом Шираком я впервые беседовал, когда он был еще мэром Парижа, в рамках съезда европейских раввинов, для которого он предоставил свой дворец. В 5760 (2000) году президент Чехии Вацлав Гавел пригласил меня принять участие в ежегодной конференции «Форума-2000», проходившей в древней цитадели Пражского Града, и выступить по вопросу упрочения мира. Там у меня были встречи и с другими приглашенными ораторами: сенатором Хиллари Клинтон, бывшим госсекретарем США профессором Генри Киссинджером, а также с шейхом Зафзафом, заместителем шейха аль-Азхара – он же доктор Тантауи – из Каира. Вместе с венгерским президентом доктором Генцем я открыл памятник венгерскому еврейству, в ознаменование пятидесятилетия его уничтожения. Президента Румынии Иона Илиеску я встретил, когда очередная конференция Сант-Эджидио проходила в его стране. В ходе этой конференции я встретился также с дочерью иранского президента Рафсанджани. К президенту Литвы Адамкусу я обратился с просьбой о возвращении еврейскому народу свитков Торы, хранившихся в Национальной библиотеке в Вильнюсе, чтобы – после десятилетий, в течение которых они были скрыты в подвалах библиотеки, – мы смогли перевезти их в Иерусалим. С польским президентом Квасьневским мы шли на «Марше жизни». Президентов Германии Романа Херцога и Йоханнеса Рау я встретил в Берлине на мемориальной церемонии в ознаменование шестидесятилетия Хрустальной ночи. Канцлер Германии Герхард Шредер оказался рядом со мной на этой церемонии в Берлине и снова – на похоронах короля Хусейна. Жан-Поль Кретъен, премьер-министр Канады, в своей резиденции в Оттаве вел со мной долгий и ожесточенный спор о статусе Иерусалима как столицы Израиля и святого города еврейского народа. В сопровождении посла Израиля в Мексике Гаркави я встретился с президентом этой страны Салинасом. Президент Бразилии Кардозу рассказал мне, что каждый год в праздник Песах он садится за стол пасхального седера в доме своей дочери, вышедшей замуж за еврея и проводящей седера по всем правилам. Мы поговорили о происхождении его фамилии, известной в семьях *анусим* – вынужденно принявших христианство испанских евреев. В Бразилиа, новый город и столицу Бразилии, я прибыл вместе с братьями Сафра, Йосефом и Моизом и послом Израиля Ицхаком Кенаном. После терактов около израильского посольства в Аргентине и в аргентинском Еврейском культурном центре, унесших жизни более ста евреев, я встретился с аргентинским президентом Карлосом Мене-

мом. Он принимал меня вместе со своим министром внутренних дел, евреем по фамилии Корач, или – на иврите – Корах. Я прибыл к нему, чтобы спросить, почему не принимаются меры по поимке организаторов этих страшных терактов. Его преемника, адвоката Фернандо де ла Руа, человека приятного в обращении и искреннего друга Израиля, я встретил в сопровождении лидеров еврейской общины Аргентины. В столице Уругвая Монтевидео я встретился с президентом доктором Сангинетти, но обедал я в тот день с предыдущим президентом Уругвая, Лакалье, первым президентом в Латинской Америке, поставившим памятник жертвам Катастрофы. Памятник стоит в предместье Монтевидео, на берегу Атлантического океана. Я познакомился с Лакалье, когда он шел с нами на «Марше мира», вместе с жителем Уругвая Йехиэлем Райхманом, бывшим узником Трелинки, выступавшим свидетелем на процессе Демьянюка. Стоя перед памятником, Лакалье рассказал мне, что решение поставить в Уругвае памятник жертвам еврейской Катастрофы созрело у него, когда он услышал речь, произнесенную мною в Освенциме. В 5765 (2005) году я вместе с президентом Лакалье выступал на «Иерусалимском саммите», проходившем в отеле «Царь Давид» и посвященном проблеме антисемитизма в мире. В столице Грузии Тбилиси я встретился с Эдуардом Шеварднадзе, бывшим министром иностранных дел СССР при Горбачеве, а затем – президентом своей страны. Президент Австрии Клестиль, убежденный сторонник Израиля, принял меня для продолжительной беседы вместе с президентом еврейской общины Ариэлем Музыкантом и послом Израиля Аврагамом Толедо. Президенты Перу и Панамы, премьер-министр Австралии Джон Ховард, премьер-министр Японии Коидзуми, президент Европейской комиссии господин Проди и Генеральный секретарь ООН господин Кофи Аннан с большим вниманием выслушивали мое мнение по вопросам религии, нации и Государства Израиль, хотя и не всегда были полностью согласны со мной.

* * *

На всех этапах моей карьеры в раввинате, на разных должностях, которые я исполнял: районного раввина, главного раввина Нетании, главного раввина Тель-Авива-Яффо, и, конечно, в силу своих обязанностей в качестве Главного раввина Израиля, мне довелось встречаться с королями, президентами, религиозными лидерами и премьер-министрами. Многие из этих встреч проходили с глазу на глаз. То были долгие беседы, которые велись с искренним и полным любознательности стремлением обоих собеседников узнать и понять друг друга. Тема Катастрофы также всплывала во многих из этих бесед, и, к моему удивлению, почти каждый раз принимаю-

щая сторона демонстрировала глубокое знакомство с фактами моей личной биографии. Все мои собеседники, каждый в своей манере, упоминали тот или иной период моей жизни за те проклятые шесть лет во время Второй мировой войны, которые оказали такое влияние на судьбу еврейского народа и на мою собственную судьбу.

Некоторые из этих встреч заслуживают более подробного рассказа.

* * *

Будучи главным раввином Нетании, я был приглашен членами секты «Макойя» на конференцию служителей разных религий в японском городе Киото. Уже на территории аэропорта им. Бен-Гуриона я попал в автомобильную аварию, так что в конце концов оказался не в Японии, а в больнице «Асаф га-Рофэ». Дежурным хирургом в приемном покое был мой бывший ученик в школе «Ахад га-Ам» в Петах-Тикве, профессор Ариэль Галеви. Он наложил мне семь швов на лбу и позаботился о том, чтобы я вернулся домой, в Нетанию. Годы спустя, когда я уже был главным раввином Тель-Авива, члены секты «Макойя» снова пригласили меня на межрелигиозную конференцию в Киото. Члены «Макойя» – японцы, которые любят Израиль, как никто в мире. Один из самых видных их лидеров – доктор Акира Дзинато, поменявший себе имя на Акива. Его жену зовут Эстер, а дочь Хефцива. Они рьяные любители Танаха, сионисты почище многих евреев, и питают к народу Израила и Государству Израиль безграничную любовь, не знающую никаких условий. Многие из членов «Макойи» носят чисто танахические имена. Вместе с израильским консулом Амосом Радианом они сопроводили меня в Японии к месту проведения конференции.

Центр проведения конференций, в котором проводилось мероприятие, построен на вершине горы под названием Хиэй. Посреди потрясающего по своей красоте японского сада, раскинувшегося на обширной территории, возведены конференц-залы, построенные из бамбука. Здесь я почувствовал, что этот захватывающий дух пейзаж сосредотачивает в себе все чудеса мироздания.

Конференция была организована последователями буддизма и синтоизма. Две темы привлекли их внимание: отношение иудаизма к жизни «после жизни», то есть такие вопросы, как вечность души, мир грядущий, концепция воздаяния – награды и наказания, рай и ад. Второй вопрос, на котором они хотели сосредоточиться, был сформулирован так: находится ли Бог, согласно представлениям иудаизма, в некоем определенном месте, или же Его присутствие проявляется в любой точке вселенной.

Я начал свою речь по-английски, но после первого же предложения доктор Дзинато прервал меня. Со всей возможной вежливостью он попро-

сил меня перейти на иврит, ибо члены «Макояя» страстно желают слышать подлинный язык пророков, а мое пребывание в их стране предоставляет им замечательную возможность для этого. Все равно, сказал он, не все понимают по-английски, так что придется прибегнуть к услугам переводчика, а в таком случае будет лучше, если он сам станет переводить мою речь – с иврита на японский. И действительно, доктор Дзинато переводил мое выступление сотням людей, которые сидели в зале, разувшись и закрыв глаза.

Это был первый раз, когда меня пригласили выступить на нееврейском собрании, никак не связанном ни с политикой, ни с историей, а посвященном чисто религиозным вопросам – основам веры. «Сохранение души», связанное также со свободой выбора – «Избери жизнь»¹, воздаяние в будущем мире, концепция которого сформулирована в одном из 13 принципов веры Маймонида: «Я верю полной верой, что Творец, Чье имя благословенно, воздаст добром соблюдающим Его заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди». И Божественное присутствие – «Свят, свят, свят <Бог воинств>, вся земля полна славы Его!»².

После лекции меня попросили встретиться с главой шестидесяти миллионов японских буддистов, которого звали Ямада-сан, сегодня уже покойным. Ему было 94 года, крайне худой, он чем-то напоминал Махатму Ганди, духовного руководителя Индии. Ямада-сан принял меня, сидя по-турецки на полу своего дома, также построенного из бамбука. Он выглядел совершенным аскетом, казалось, он вообще не питается от даров мира сего. Я пришел к нему в сопровождении всех пригласивших меня организаторов конференции, во главе с будущим преемником Ямада-сан – Наката-сан.

Меня пригласили сесть на подушки, разбросанные по полу. Ямада-сан обратился ко мне дрожащим голосом и сказал по-японски: «Теперь, когда вы вошли меж стен моего дома и под мою кровлю и протянули мне руку, я могу спокойно вернуть мою душу Создателю. Много лет я ожидал подобного визита, и теперь, когда это случилось, я могу покинуть сей мир и отправиться в мир лучший».

«Когда я был молод, – начал рассказывать Ямада-сан, – я не знал евреев и не знал, что такое иудаизм. В 30-е и 40-е годы нас учили о евреях по «Протоколам сионских мудрецов», которые были переведены на японский и распространялись в карманных изданиях. В то время их непременно можно было найти в школьном ранце каждого мальчика и каждой девочки в Японии. Наши лидеры, как вы знаете, заключили союз с нацистской Германией в ее войне против свободного мира и, в первую очередь, против еврейского

¹ Дварим, 30:19.

² Йешайя, 6:3.

народа. Мой народ, правда, не убивал евреев, не строил концентрационные лагеря и не был связан с практическим осуществлением окончательного решения, но воевал с американцами, и тем самым связал их великую мощь, направив ее на нас, вместо того, чтобы они пришли спасти вас в европейских странах. Своей войной против США мы помогали немцам в уничтожении евреев. Я знаком с вашей личной историей и слежу за вами много лет. Я виноват в убийстве ваших родителей как сын народа, оказавшего содействие убийцам. Хотя я почти не выхожу из дома и подавно не покидаю Киото и не выезжаю из Японии, я был в Польше и возложил цветы к памятнику в Варшавском гетто. Теперь, наконец, у меня есть возможность попросить у вас, пережившего Катастрофу ребенка, у которого нацисты убили родителей, прощения, извинения и искупления грехов от имени всего моего народа. И сказав это, я смогу вернуть Создателю мою душу».

Я выслушал его слова с огромным вниманием, будучи поражен его решимостью и твердой позицией, однако желаемое – прощение – я не мог ему дать. Я объяснил Ямада-сан, что у нас вина того, кто лишь стоял рядом с преступником и смотрел на совершаемое преступление, лично не участвуя в нем, приравнивается к вине самого преступника. Довод человека, что он сам не участвовал в преступлении, не освобождает его от вины. Его участие – в его присутствии. Поэтому, объяснил я сэнсэю, я не уверен, что у меня есть мандат на прощение и извинение от имени жертв. Лично у меня есть один-единственный завет, который я непременно исполняю: напоминать и не давать забыть. Вместе с тем я сказал ему, что высоко ценю его искренность и испытываю глубокое уважение к нему за его человеческий подход и за факт его поездки в Польшу и возложения цветов к памятнику. «Ваши слова следовало бы высечь в камне; чтобы не только я один их услышал, но и все сыны вашего народа и миллионы ваших последователей», – добавил я. Еще я привел ему несколько примеров из наших источников, касающихся вины человека, который смотрит со стороны на происходящее при нем ужасное деяние, не пытается остановить его и не предпринимая ничего для его предотвращения. Я упомянул плач Давида по полководцу царя Шауля Авнеру, сыну Нера, погибшему от руки Йоава сына Цруи. «Руки твои не были связаны, и ноги твои не были в оковах; ты пал, как падают от рук злодеев»¹. А Талмуд поясняет в трактате Сангедрин: «Слова обличения произнес здесь Давид, обращаясь к Авнеру на его погребении». Давид выговаривает покойному Авнеру за то, что, обладая влиянием на царя Шауля, он не остановил того перед пролитием невинной крови. Когда Шауль узнал о том, что жители Нова,

¹ Шмуэль II, 3:34.

города кофенов, во главе с Ахимелехом, сыном Ахитува, снабдили спасавшегося бегством Давида хлебом и передали ему меч Гольята (Голиафа), он повелел вырезать их всех. «Ты смолчал и позволил свершиться резне», – сводит Давид теперь счеты с полководцем Шауля Авнером. «Никто не связывал тебе ноги и руки, так где же ты был, почему не воспротивился?» Я привел этот пример японскому буддисту Ямада-сан, чтобы показать источник, на котором зиждется моя позиция.

Другой пример, приведенный мною Ямада-сан, также взят из трактата Сангедрин. Фараон, властитель Египта, сказал, согласно книге Шмот, глава 1: «Давайте исхитримся против него (народа Израиля), чтобы он не умножился»¹ и обратился к своим советникам, дабы те предложили ему способы сделать жизнь сынов Израиля невыносимой, поработить их и сделать так, чтобы они не размножились. По сути дела, это было первое окончательное решение в истории, первая Ванзейская конференция. Согласно мудрецам Талмуда, тремя советниками были Билам, сын Беора, Йитро – до того, как он стал жрецом Мидьяна, и Йиов. Тем, кто присоветовал «окончательное решение», был Билам. Он сказал фараону, будто узнал по расположению звезд, что у евреев родится человек, который принесет фараону неисчислимыя несчастья. Совет его заключался в том, чтобы призвать еврейских повитух и превратить их в коллаборационисток, своего рода «капо». Именно им предстояло заняться первичной селекцией в стиле доктора Менгеле: «Когда вы будете повивать у евреек, смотрите на родильных камнях: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет»². Повитухи, Шифра и Пуа – которые, согласно мудрецам Талмуда, были не кем иным, как Йохевед и Мирьям, – отказались сотрудничать с супостатом: «Но боялись повитухи Бога и не делали так, как говорил им царь Египта, и сохраняли жизнь младенцам... И повелел фараон всему народу своему, говоря: Всякого сына новорожденного бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых»³. Фараон последовал совету Билама, сына Беора.

Когда Билам выдвинул свое предложение, гуманист Йитро ударил по столу кулаком и высказал свое несогласие с убийством невинных младенцев. После этого Йитро нечего было делать в Египте, и он бежал в Мидьян, где стал жрецом этой страны. И не случайно именно он открыл дверь перед другим беженцем, спасавшимся от египетской деспотии. Когда Моше убил египтянина, избивавшего человека из евреев, и бежал, дочери Йитро ска-

¹ Шемот, 1:10.

² Там, 1:16.

³ Там, 1:17, 22.

зали отцу: «Человек из египтян спас нас от рук пастухов, а также начерпал нам воды...» «И сказал: ..позовите его, и пусть поест хлеба»¹.

Ийов также не был согласен с Биламом, но, не обладая решительностью и смелостью Йитро, он не выказал своего протеста, прежде всего потому, что увидел, что фараон с радостью ухватился за предложение Билама. Ийов предпочел промолчать. Согласно Талмуду, в этом заключалась одна из причин постигших Ийова страданий. Талмудический мидраш добавляет: «Когда Ийов услышало смерти двух сыновей Агарона, Надава и Авигу, он сказал: «От этой вести содрогнулось мое сердце». Это место в мидраше вызывает удивление. Какая связь между смертью Надава и Авигу и Ийовом? Почему от известия об их смерти его сердце должно было содрогнуться? Они приносили жертвы идолам, не брали себе жен, заходили в храм нагие и пьяные, и после всего этого Ийов говорит, что у него содрогается сердце? В трактате Санфедрин, лист 52а, указывается еще одна причина смерти Надава и Авигу: «И Моше и Агарон уже были в пути, а Надав и Авигу» – второе поколение предводителей народа – «шли за ними... Надав сказал Авигу: «Когда же умрут эти два старика, а мы с тобой возглавим поколение?» Сказал им Пресвятой, да будет благословен: «Увидим еще, кто кого похоронит». Затем следует народная пословица на арамейском языке: «Я видел много старых верблюдов, приходящих на рынок с нагруженными на их горбы шкурами молодых верблюдов для продажи».

Сердце Ийова содрогнулось из-за чудовищных речей Надава. Авигу же не сказал ни слова. Отчего же он также был наказан смертью вместе с Надавом? Ведь он молчал! Ответ заключается в том, что он был наказан за то, что молчал. Другими словами, промолчав и не предотвратив нечестивое деяние, когда это было нужно, человек безоговорочно становится соучастником этого деяния. Ийов как бы говорит: «Если так ведет себя Создатель, то сердце мое содрогается». Я тоже промолчал, сидя тогда на совещании у фараона, когда Билам выдвинул свое предложение. И кто знает, что меня ожидает? Эту историю из Танаха с талмудическими комментариями я рассказал престарелому японскому монаху Ямада-сан, и все сопровождающие выслушали ее с огромным вниманием. Я вышел от него с ощущением, что слова его были сказаны искренне, и что он действительно хотел попросить у меня прощения. Он всем сердцем верил в то, что говорил. Как верующий человек он страшился перехода в мир грядущий и хотел попасть туда, очистившись от греха. Хотя я не мог предоставить ему желаемое, я высоко оценил сам факт его просьбы.

¹ Там, 2:19–20.

* * *

Одной из наиболее памятных и исключительных встреч, оказавшейся в чем-то полной противоположностью всем остальным моим встречам, стало для меня посещение правителя Кубы, коммуниста Фиделя Кастро. В течение многих лет я, никогда и ничем не выдавая этого, хранил в своем сердце очень личное желание узнать, как сложилась судьба еврейских беженцев, которые, покинув Европу вообще и Польшу в частности, добрались до берегов Кубы. Еще до того, как разразилась война, а также и в самом ее начале, когда весь мир захлопнул двери перед евреями, а в Земле Израиля действовала введенная вследствие обнародования в мае 1939 года «Белой книги» Макдональда жесткая квота на въезд, осуществлявшаяся путем нормированного предоставления въездных сертификатов, – именно Куба явилась маленьким спасательным трамплином для евреев.

В 5698 (1938) году на палубе лайнера «Сент-Луис» теснилось множество немецких евреев, все они были людьми свободных профессий и известного достатка. С чемоданами, в которые были упакованы драгоценности и прочие дорожные вещи, они отплыли к берегам Соединенных Штатов, только вот американские власти, при всех демократических веяниях нового времени, послали корабль обратно, не дав евреям из Германии сойти на берег. Лайнер вернулся в Гамбург, и большинство его пассажиров погибли в лагерях смерти.

В то время, став свидетелями одиссеи лайнера «Сент-Луис», евреи Европы искали место на карте мира, куда бы они могли уехать, спасая свои жизни. Единственной страной, не отвернувшейся от них и распахнувшей перед ними свои врата – без всяких проверок и предварительных условий, была Куба.

Сумели спастись, бежав на Кубу из города Брно в Чехословакии, моя тетя Мета, сестра отца, ее муж Бруно-Берахьёгу Шентель и двое их малолетних детей. С Кубы они перебрались в США, откуда в конце жизни, уже после провозглашения государства, приехали в Израиль. Наличие такой семейной связи пробудило мое любопытство, и мне захотелось узнать о жизни евреев на Кубе.

В 5719 (1959) году, после того как на Кубе произошла революция, которую возглавили Фидель Кастро и Че Гевара сотоварищи, раввин Меир Розенбаум, из династии адморов Надворны, вынужден был покинуть Кубу. С тех пор в Гаване не было раввина. Я знал, что на Кубе и в Северной Корее, двух последних в мире странах, по-прежнему рьяно приверженных коммунизму, нет ни еврейского воспитания, ни еврейской общинной жизни. Время от времени до меня доходили обрывки информации от людей, втайне посетивших Кубу, среди которых были и сотрудники разных секретных служб,

но полной и четкой картиной я никогда не располагал. Мне было ясно, что, несмотря ни на что, там все еще есть люди, идентифицирующие себя в качестве евреев. Я также знал, что у меня нет шанса встретиться с ними, поскольку обладатель израильского паспорта, тем более если он главный раввин города или даже всего Государства Израиль, конечно, не сможет приехать на Кубу, с которой у нас нет никаких дипломатических контактов. Более того, Фидель Кастро был известен своими тесными связями с правителем Ирака Саддамом Хусейном и правителем Сирии Хафезом Асадом. Но хотя я и отложил в дальний ящик свой план посетить Кубу, желание узнать, что там происходит, никогда не угасало во мне. Всегда у меня оставался тоненький лучик надежды, что настанет день, и я попаду на Кубу и узнаю о судьбе европейских евреев, нашедших там убежище. К моей великой радости, подходящий момент настал.

В начале 5754 года (конец 1993-го), в первый год моей каденции в должности Главного раввина Израиля, ко мне прибыла делегация из университета Бар-Илан. В ней участвовали заместитель ректора университета Давид Альтман и мой друг Ицхак Йохай, уроженец Латинской Америки, свободно говорящий по-испански и по-португальски. Они обратились ко мне с просьбой поехать с лекциями в столицу Венесуэлы Каракас. Они рассказали, что у Бар-Иланского университета в Венесуэле есть активная группа поддержки, а главный раввин Венесуэлы, Пинхас Бреннер, является членом сената университета. В благодарность за деятельность венесуэльского еврейства во благо университета руководство Бар-Илана раз в два года посылает в Каракас с лекциями какого-нибудь известного человека. Они сказали, что до меня в этом мероприятии уже были задействованы Ицхак Рабин и Шимон Перес. Идея заключалась в упрочении связей еврейской общины Венесуэлы и Государства Израиль, а поэтому лекторы, посылаемые туда, проходят тщательный отбор. Услышав все объяснения, я ответил согласием на их предложение. После согласования с посольством Израиля в Каракасе и с раввином Пинхасом Бреннером поездка была назначена на 1 февраля 1994 года. Я должен был лететь в Нью-Йорк, а оттуда – через Майами – в Венесуэлу. В течение недели, отведенной на мое пребывание в стране, я должен был несколько раз в день выступать в школах, детских садах, клубах «Бней-Брит» и тому подобных учреждениях. Когда они меня спросили о величине гонорара за мои усилия, я поделился с ними своей тайной: «У меня есть мечта, которую, быть может, вы поможете мне воплотить в жизнь. Уже многие годы я мечтаю посетить евреев, живущих на Кубе. Я не знаю, есть ли там синагога и какая-либо еврейская жизнь. Я только знаю, что там есть евреи, но мне ничего неизвестно об их численности и положении. Так как между Кубой

и близлежащей Венесуэлой имеются дипломатические отношения, возможно, удастся устроить мне поездку в Гавану. Вот моя просьба, и если все получится, это станет лучшей и самой незабываемой наградой для меня». Давид Альтман и Ицхак Йохай выслушали меня со всей серьезностью и пообещали все разузнать в отношении этого вопроса. Считанные дни спустя они перезвонили мне и рассказали, что посол Кубы в Венесуэле – личный друг раввина Бреннера, и что предварительная беседа с послом дает раввину основания надеяться на то, что власти Кубы не станут препятствовать визиту Gran Rabino de Israel¹ и предоставят ему возможность встретиться с кубинскими евреями. Вместе с тем раввин Бреннер хочет предупредить меня, чтобы я не питал слишком больших надежд. С чувством огромной радости в сердце я высказал еще одно маленькое пожелание: чтобы, если все действительно осуществится, раввин Бреннер, говорящий по-испански, был моим спутником. Меня спросили, собираюсь ли я ехать вместе с ребецн, и, услышав мой положительный ответ, сказали, что раввин Бреннер также поедет с женой. В Венесуэлу я летел с надеждой. Конечно, слабой, но живо бьющейся в сердце. Мои лекции были посвящены важности еврейского воспитания. Я встретил множество окрыленных еврейским духом людей, в основном европейского происхождения. Многие из них представляли второе поколение выживших в Катастрофе, часть из них я встречал – в разные годы – в делегациях Венесуэлы на «Маршах жизни» в Польше. Помимо этого, я произнес проповедь в сефардской общине, возглавляемой раввином Ицхаком Коґеном, в синагоге, от края до края заполненной молящимися, жаждавшими услышать слово Торы.

Во время моего пребывания в Каракасе раввин Бреннер получил от кубинских властей официальное приглашение делегации со мной во главе посетить Гавану с двухдневным визитом. Волнению моему не было предела. Узнав о радостном известии, Яков Хальфин, один из состоятельных евреев Венесуэлы, предоставил в мое распоряжение восьмиместный частный самолет, на котором мы должны были добраться до Кубы. Параллельно был организован дополнительный рейс для венесуэльских евреев – только мужчин, – пожелавших присоединиться ко мне в этой поездке. Это была инициатива молодежной группы еврейской общины. Они опасались, что у меня не найдется миньяна для молитвы в течение двух дней моего пребывания в Гаване, и предпочли, для пущей уверенности, таким способом позаботиться о миньяне заранее. Кошерная еда также была подготовлена для нас на все два дня визита на Кубу.

¹ Главный раввин Израиля (исп.).

Два небольших пассажирских самолета опустились с небес в аэропорту Гаваны, а моя душа от волнения готова была взмыть к небесам. Внутренне я подготовился к моменту, которого так желал, когда я смогу распознать тлеющий уголек еврейства в этой постепенно исчезающей общине. Я надеялся, что сумею вдохнуть в него чуть-чуть жизни и раздуть из него пламя. Спустившись с трапа самолета, я был представлен сеньору Армандо, который должен был неотлучно находиться при мне в течение всех двух дней моего визита. Армандо оказался молодым человеком с бородкой, тщательно и изысканно одетым и напоминавшим своей внешностью Кастро и Гевару, которых я знал только по фотографиям. Он владел английским, испанским, португальским и русским языками и даже мог произнести на идише словосочетание «9-го ава»: «тишебов». Он был правой рукой Кастро и, по-видимому, отвечал за секретную службу. С момента моего приземления на земле Кубы и вплоть до отлета с острова он постоянно находился при мне. Представившись сам, он представил мне министра по делам религии, сеньору Диего, которая также сопровождала нас. На все два дня пребывания на Кубе нам была предоставлена черная машина, принадлежавшая Кастро. В начале 1994-го года на улицах Гаваны почти невозможно было увидеть автомобиль из-за острой нехватки бензина – последствия эмбарго, наложенного на Кубу Соединенными Штатами. Горючее оставалось только для тракторобразных грузовиков, развозивших рабочих по предприятиям. Частных машин было не видно, и поэтому проезд черного автомобиля с телохранителями по бокам в сопровождении мотоциклистов сзади и спереди гулким эхом отдавался на улицах Гаваны. Любопытные взгляды устремились на нас, и уже через несколько минут вся Гавана терялась в догадках относительно личности важной персоны, удостоившей страну своим визитом. Машина выехала из аэропорта и направилась прямо в еврейский центр, представлявший собой что-то вроде дома культуры в одном из жилых районов города. Выяснилось, что во второй половине дня там собирается небольшое число стариков и детей. Раз в месяц из города Гвадалахары в Мексике приезжает *рабену* (наш раввин) Симон, фамилию которого – Штайнхендлер – мой провожатый не сумел выговорить. Раввин вырос и получил образование в Буэнос-Айресе, затем перебрался в Мексику и получил разрешение приезжать в Гавану один раз в месяц, чтобы обучать детей еврейским песням. В 1993 году рабби Шимон – Симон Штайнхендлер – провел в Гаване церемонию бар-мицвы, впервые за последние 35 лет. Чтобы доказать, что на Кубе есть полноценная еврейская жизнь, мои хозяева позаботились о том, чтобы к моему приезду там оказался и раввин Штайнхендлер, и он специально для этого прилетел из Мексики. Среди

приглашенных был и президент еврейской общины, доктор Хосе Йосеф Миллер, врач-хирург, уроженец Галиции.

Мы проехали по главной улице Гаваны, называющейся 5-й авенидой, подобно роскошной 5-й авеню в нью-йоркском Манхэттене, однако они отличались друг от друга, как день и ночь. Это очень узкая улица с тесной застройкой с обеих сторон. Еще было можно заметить следы былой красоты, однако краска облупилась, стены были испещрены трещинами, и во всем чувствовалось запустение. На этой улице расположены иностранные посольства, занимающие особняки и роскошные дома, по которым было видно, что когда-то они знавали лучшие дни. Черная машина команданте, проезжая по пустым улицам, привлекала к себе общее внимание. Из окон и с балконов свисали головы, желавшие собственными глазами увидеть чудо – проносящийся мимо черный автомобиль Кастро. И если этой аттракции им показалось мало, то им было приготовлено еще одно сюрреалистическое зрелище: из машины вышел человек в высокой черной шляпе и длинном полом черном кафтане – одежде, не виданной на Кубе со дня творения. Еврейские дети поджидали меня на маленькой веранде еврейского центра. Выйдя из машины, весь охваченный волнением и напряжением, накопившимся в ходе эмоциональных приготовлений к этой поездке, я заметил на тротуаре напротив человека, который – я мог бы побиться об заклад – был евреем. Его внешность, чрезвычайная худоба, черты лица и – более всего – притаившийся в глазах страх не оставляли и тени сомнения в том, что этот человек – еврей из Европы. Я не мог определить страну и город его происхождения, но в его еврействе у меня не было ни малейшего сомнения. Он стоял в трех метрах от меня, и я решился на поступок: подойти к нему и попытаться вступить с ним в разговор. Армандо с сеньорой Диего вышли с другой стороны машины и медленными шагами стали приближаться к нам, тем не менее я набрался смелости и обратился к человеку со словами «Шолом-алеихем», следя за тем, чтобы произнести их на ашкеназский манер. Он ответил мне со скоростью ракеты, сорвавшейся с пусковой установки: «Алейхем-шолом». В этот миг я почувствовал, что я дома. Мой наметанный глаз не подвел меня. «А как зовут еврея?» – спросил я. «Гецл. Эльяким Гецл Креплах», – был ответ. «А откуда еврей родом?» – продолжал я расспросы. Он сказал, что родился в Шидловце, в Польше. «Что ищет еврей из Шидловца здесь?» – удивился я, и он усмехнулся, словно я ничегошеньки не понимаю: «А что, у меня был выбор?» – ответил он вопросом на вопрос. И тут он стал говорить о себе в третьем лице, как в рассказах Шалом-Алейхема: «Гецл нюхом почувствовал, что приближается Катастрофа. Гецл был молодой парень, понял, что в Польше ему теперь не место. Если Гецл хочет выжить, то он должен бежать, не только из Польши, вообще

из Европы. Ведь это началось в Германии, перекинулось на Австрию, потом забрали Судеты в Чехословакии, и вот уже вся Европа в огне. Горит жарким пламенем». Так он сказал, простым языком, но насколько же точно. Тем временем вокруг нас собралось еще несколько человек, а Гецл продолжал взволнованно говорить – ведь наконец-то нашелся кто-то, чтобы выслушать его, да еще на идише! И он продолжал: «Америка была на запоре, Земля Израиля осталась несбыточной мечтой, и тогда кто-то в Польше сказал ему, что на Кубу еще можно попасть. Я был молодой парень. Забрал все свои сбережения. Не стану описывать, что я пережил, пока добрался сюда, потому что у вас нет времени меня слушать, но тут все двери были открыты передо мной, и с тех пор я здесь, уже больше пятидесяти лет». Когда я спросил, есть ли у него семья, дети, он снова впал в манеру Шалом-Алейхема: «Один человек приходит, один уходит. Гецл здесь один». При этих словах Гецл показался мне еще более тощим и несчастным. Но в этот момент Армандо и сеньора Диего уже стояли вплотную ко мне и показывали мне путь в еврейский центр, где меня ожидали приглашенные люди. Я был вынужден прервать разговор, и так слишком затянувшийся, по мнению моих хозяев. Шагая вместе с ними к центру, я повернулся в профиль к Гецлу и почти бесшумно прошептал: «Надеюсь увидеть вас в два дня, что я проведу здесь, чтобы мы смогли немного поговорить. Подумайте, может, есть что-нибудь, что я могу для вас сделать». В эту секунду глаза его покрылись поволокой, слезы появились в них, и его короткий ответ прозвучал искренним, правдивым и однозначным: «Нем миx аге́йм мит дир кейн Эрец-Исроэл». («Заберите меня с собой домой, в Землю Израиля»). Слова Гецла заставили меня содрогнуться и долго еще звучали в моей душе. Я не мог ответить. Мои провожатые уже подгоняли меня, направляя ко входу. Но до сих пор эта его просьба не оставляет меня и не дает мне покоя. Долгое время у меня было чувство, что одна встреча с Гецлом стоила всего моего посещения Кубы. Этого еврея я искал много лет, а нашел в первые же минуты моего пребывания на Кубе. Он, понятное дело, не отставал от меня все два дня, что я был там. Куда бы я ни приходил, я видел его в отдалении, позади остальных. Он не подходил ко мне. Даже после моего выступления в еврейском центре, когда дети стали петь «Йеварехеха га-шем миццион» («Да благословит тебя Бог из Сиона»), «Гинэ ма тов у-ма наим» («Как хорошо и приятно <сидеть братьям вместе>»), «Гэвену шалом алейхем» («Мы принесли вам мир») и даже «Йерушалаим шель загав» («Золотой Иерусалим») – со всеми словами песен, – я видел Гецла в зале в пятом ряду – но он не осмелился подойти ко мне. Его видели, сфотографировали, и он шестым чувством понял, что ему нельзя слишком долго смотреть на меня, дабы не подвергнуть себя излишней опасности. Но каждый раз делал

еле заметное движение рукой в мою сторону, чтобы я увидел его, чтобы не забыл о нем. И только стоя за плечами у кого-нибудь, осмеливался открыто помахать мне.

В еврейском центре я поинтересовался у присутствующих, есть ли в Гаване еврейская жизнь. Они рассказали, что в городе три синагоги, две закрыты, а одна действует. На вопрос, собирается ли миньян, они ответили: «Кубинский миньян», что означало восемь пожилых евреев, родом из Польши, и два свитка Торы, дополняющих их число до кворума. Это, на их взгляд, и был «кубинский миньян», понятие, с подобным которому я отроду не сталкивался на всех просторах еврейского мира.

Хоральная синагога оказалась огромным, высоким, просторным, хорошо проветриваемым зданием, с креслами, обитыми красным бархатом, по большей части изъеденным крысами. Только одно кресло еще оставалось целым, поражая своей впечатляющей обивкой. По нему я мог заключить, что в прошлом еврейская община была весьма богата и не пожалела средств для устройства своей хоральной синагоги. Но на момент моего посещения все свидетельствовало о произошедших здесь радикальных изменениях. Место, где должны были быть арон-кодеш, кафедра кантора и комната хора, выглядело так, словно человеческая рука не прикасалась к нему много лет, и являло собой вид запустения: повсюду была грязь, толстый слой пыли, засохшие экскременты. Представляется, что много лет здание служило прибежищем для бездомных жителей города, и многие отправляли в нем естественные надобности. Когда я осматривал здание, мой взгляд упал – посреди экскрементов – на блестящую белую мелованную бумагу с напечатанными на ней еврейскими буквами. Несмотря на вызывающую омерзение грязь, я не смог удержаться. Взяв лист за чистый краешек, я поднял его с пола. Это была брошюра на две страницы, с торжественными молитвами, среди которых – особая благодарственная молитва на третий День Независимости Государства Израиль, сочиненная рабби Розенбаумом, раввином общины: «Особую молитву возносим мы, евреи Кубы, вместе с евреями всего мира, за мир, безопасность и благополучие наших братьев и сестер, жителей Государства Израиль, бьющегося в муках своего возрождения». Я знал, что прикасаюсь к историческому документу. Молитва была сложена после Войны за Независимость, когда молодое государство затопили волны репатриации, когда в стране был введен режим экономии, а евреи Кубы, материальное положение которых, судя по синагоге, которую они для себя построили, было весьма хорошим, читали сочиненную ими специальную молитву за наше благополучие, выражавшую их искреннее беспокойство за судьбу Государства Израиль. Я привез эти страницы в Израиль как доказатель-

ство блистательного прошлого еврейской общины Кубы в прошлом и ее упадка во время моего посещения.

Вся община насчитывала примерно 2000 человек, большая часть из них были евреями наполовину или на четверть. Из-за смешанных браков и коммунистической идеологии в стране не было настоящего еврейского воспитания и еврейской общинной жизни. Евреи Кубы были лишены возможности поддерживать связи с еврейской общиной Майами, находящейся в полчасе лета от них и отличающейся активнейшей еврейской жизнью.

* * *

С течением лет я понял для себя, что если я хочу познакомиться с еврейской общиной и ее корнями, то мне следует посетить местное еврейское кладбище. В Гаване я также захотел поехать на кладбище. Армандо и сеньора Диего отправились вместе со мной и туда. Среди памятников я обнаружил надгробие еврейского солдата из Гаваны, на котором, между прочим, была и надпись на иврите: «Здесь покоится святой мученик Ицхак Айзик, сын Арье-Лейба сына Дова, павший в бою в священной войне в Корее 5 числа месяца сивана 5712 (1952) года. Да будет душа его увязана в узел жизни». Выяснилось, что парень был в числе кубинских добровольцев, вызвавшихся отправиться на помощь Северной Корее в ее войне с Южной Кореей и пришедшим той на помощь Западом. В американской армии в Корее погибали солдаты-евреи, граждане США, а на кладбище в Гаване я узнал, что евреи погибали и на противной стороне, воюя в коммунистической армии. Некий кубинский еврей привез тело погибшего солдата из Северной Кореи в Гавану, и на его надгробии была написана эпитафия на трех языках – иврите, испанском и русском: «Пал в священной войне в Корее». Это была еще одна открывшаяся мне сторона еврейской истории и еврейской судьбы. Вполне возможно, что он был сыном родителей, бежавших из Европы. Они спаслись от когтей нацистского зверя, обрели убежище на краю света – с противоположной стороны глобуса, только для того, чтоб их сын оказался на северной оконечности Дальнего Востока и пал там в борьбе коммунизма с империализмом. На кладбище в Гаване, у могилы еврейского солдата, у памятника с маген-давидом и эпитафией на иврите, я с глубоким волнением прочел Кадиш, полагая, что никто кроме меня не молился за упокой его души. Армандо, правая рука Фиделя Кастро, отвечал мне «Амен».

В конце этого насыщенного впечатлениями дня мы прибыли в апартаменты в роскошном доме, принадлежащем Кастро. Это было красивейшее здание, все из мрамора и красного дерева, окруженное прекрасным садом.

Однако мебели в нем почти что не было: несколько простых кроватей вроде «коек Еврейского агентства», два простых плетеных стула – и это все. Зрелище было угнетающим. Вокруг царила страшная бедность.

Еды не было, но было много культуры. Роскошно отделанные театральные залы кипели жизнью, на улицах раздавались песни уличных певцов и музыкантов.

Перед поездкой на Кубу у меня не возникало мысли встретиться с Кастро. Я полагал это невозможным и не прилагал усилий к тому, чтобы добиться такой встречи. И, тем не менее, памятуя о нашем посещении Римского Папы за пять месяцев до этого, мы с ребецн решили между собой, что стоит приготовить подарок, на всякий случай. Мы снова остановили свой выбор на шофаре и выгравировали на его основании «Труби в большой рог о свободе нашей». Мы надеялись, что если нам представится случай вручить Кастро этот подарок, то это станет для него намеком на то, что таким образом мы просим о свободе эмиграции и о предоставлении возможности репатриироваться в Израиль тем из евреев Кубы, кто этого хочет. И действительно, на второй день моего пребывания в стране мне было сказано, что команданте Фидель Кастро хочет встретиться со мной. Армандо добавил, что Кастро много обо мне слышал, следит за моим посещением страны и хочет встретиться со мной для личного разговора. Я попросил, чтобы моим сопровождающим также было позволено присутствовать на встрече. В ответ мне передано, что со мной могут поехать только мужчины. Мы условились, что будем ждать у себя на вилле, а вечером за нами заедут и отвезут во дворец. Вечером, без пяти минут десять, мы прибыли в канцелярию Кастро. Он встретил меня с широко распростертыми руками. Справа от него стояла переводчица. Несмотря на то, что Кастро, как я был уверен, будучи адвокатом по образованию и живя на расстоянии выпущенной стрелы от США, должен был хорошо знать английский, видимо, из соображений национальной гордости он говорил только по-испански.

Беседа продлилась три часа и пять минут и обернулась одной из самых захватывающих встреч в моей жизни. Меня взволновали именно личные качества, обнаруженные мною у кубинского лидера. Я ожидал увидеть жесткого, сурового человека, беззаветного коммуниста, настроенного против Израиля. В какой-то момент он действительно сказал, что наши враги – его друзья, подразумевая Саддама Хусейна и Хафеза Асада. «Они дают мне оружие и нефть», – объяснил он. «Горбачев, – возгласил Кастро, – разрушил и уничтожил коммунизм, который представляет собой такую прекрасную и справедливую идею. Он раздробил Советский Союз, превратив его в западную капиталистическую страну. Теперь ничто не в силах встать на пути у американского империализма, и за это вечный позор ляжет на имя

Горбачева в истории человечества». Я высказал свое мнение, указав на то, что весь мир поддерживает Горбачева в уничтожении железного занавеса, которое он инициировал, однако мои слова не произвели никакого впечатления на Кастро, воспользовавшегося хорошо знакомым нам сравнением: «Ну и что? – удивился он. – Я Давид. Рядом со мной находится эта огромная страна – США. Они – Голиаф. Вам, Gran Rabino, мне не нужно рассказывать, кто одержал победу в бою. Ведь ясно же, что победил Давид». Это было строго выдержанное, острое и четкое идеологическое обоснование для его слов. И вдруг, – когда его палец все еще был воздет в воздух, – тон его стал совершенно иным. Весь разговор перешел из идеологического русла в область личного, человеческого: «Есть одна вещь, которую я должен узнать, чтобы понять вас. Я должен удовлетворить свое любопытство. Я знаю о вас все. Знаю, что ваш брат прятал вас в заплечном мешке в лагере уничтожения, во время войны с немецким фашизмом. Знаю, что вы сизмальства были круглым сиротой, и что приехали в Палестину в возрасте восьми лет, еще до того, как было создано еврейское государство. Но одну вещь я не понимаю, и хотел бы услышать об этом из ваших уст. Как вы стали тем, кем стали? Если бы у нас на Кубе восьмилетний ребенок рос без отца-матери, а главное, не зная языка, он бы стал беспризорником, грозой района и всего общества, или жертвой преступников, которые использовали бы его для своих надобностей. Вы же, прибыв в Израиль без гроша за душой, сегодня вроде Римского Папы для евреев. Gran Rabino, кто вас вырастил? Кто воспитал? Кто обучил? Как уличный мальчишка, не имевший ничего, стал высшим религиозным иерархом страны?» Вопрос поразил меня, но спустя миг, собравшись с мыслями, я рассказал, что за два года до этого, в июне 1992 года, у меня дома сидел человек, которому предстояло быть избранным на пост премьер-министра Израиля, Ицхак Рабин, – до его избрания оставалось десять дней, – и задал мне точно такой же вопрос. «Ответ, данный мною Ицхаку Рабину, я повторю и для вас. Я – 38-е поколение раввинов в семье. Отец дал устный наказ моему старшему брату – сделать все, чтобы я остался жив и продолжил цепь поколений, дабы она не прервалась. Благодаря своей мудрости, пониманию вещей, здоровым инстинктам и знанию природы развития человека, мой отец понимал, что я, его младший сын, которому было два года, когда началась война, если уцелею в аду – он, конечно, не знал, что это затянется на шесть лет, – то смогу начать жизнь практически с чистого листа. Мой брат, которому в начале войны было тринадцать лет, в отличие от меня, потерял в Катастрофе шесть самых важных для формирования личности человека лет. Потерял шесть лучших своих лет и вышел в жизнь, когда ему было 19.

Я рос в доме дяди, который был важным раввином в Польше, и в Израиле продолжал служить раввином, затем я пошел учиться в йешиву, и молодой раввин, бывший учеником моего отца, взял на себя ответственность за меня. Я продолжал обучение в мире йешив, вращаясь в кругу гигантов человеческого духа. Затем я лил воду для омовения на руки моего тестя, раввина Ицхака Йедидьи Френкеля, на протяжении 27 лет. Мое раввинское служение глубоко укоренено в моей душе, зиждется на прочной основе и за все годы моей жизни не прерывалось ни разу. Всю жизнь я чувствовал, что мой долг в продолжении семейной традиции. Я был без родителей, но родители все время были со мной. Я был без отца и матери, но они никогда, ни на час, не покидали меня. Мои родственники, мой брат и еще один, самый старший брат, которого я узнал уже в Израиле, на всем протяжении пути поддерживали меня в решении пойти по стопам отца. Благодаря всему этому, я стал Главным раввином». Захваченный моим рассказом, сгорая от любопытства, Кастро слушал, взведенный, как пружина. Он продолжал расспросы, поинтересовавшись, продолжат ли, по моему мнению, эту традицию мои дети, последовав по стопам моих предков. Я ответил, что двое из них уже получили звание раввина, и они 39-е поколение раввинов в семье Лау. Он спросил, сколько у меня детей, и когда я ответил, что восемь, поинтересовался, приехала ли их мать вместе со мной. Я ответил утвердительно, напомнив ему, что нам было сказано прийти на встречу с ним без женщин, а потому она и ребенок Бреннер остались на вилле, хотя им очень хотелось познакомиться с ним. И тогда Кастро в первый раз перешел на английский, возгласив драматически, так что это прозвучало как реплика из кинофильма: «Let's bring the ladies»¹. За ними срочно послали, а пока дамы не приехали, мы продолжили нашу беседу. Кастро, который в течение всего вечера с легкостью перескакивал с темы на тему, оставил вопрос о детях и семейной династии и перешел к совершенно другой проблеме – от личного к общественному. Он отметил, что восхищается Ицхаком Рабином и высоко ценит смелый шаг, на который, следуя в русле соглашений Осло, пошел Шимон Перес в Вашингтоне в сентябре 1993 года. «Вы должны понять, насколько крутой разворот совершили эти два деятеля, – попытался я прояснить для него этот вопрос. – Хотя я и далек от политики, я хорошо с ними знаком. Оба они были министрами обороны Израиля, заботившись о заселении страны вдоль и поперек. Во время Шестидневной войны Рабин был начальником Генштаба и расширил границы государства. Для них принятие решения о передаче двадцати тысяч ружей палестинцам и возвращении – на первом этапе – Газы и Иерихона было действительно

¹ Давайте пошлем за дамами (англ.).

драматическим поворотом», – развил я свою мысль перед Кастро, который с широко раскрытыми от восхищения глазами сказал: «Честь и хвала им! Вот это и значит быть по-настоящему храбрым солдатом». Тем временем подъехали и женщины. Ребецн вручила Кастро наш подарок, приготовленный загодя. Он рассмотрел шофар, а я объяснил ему смысл стиха, который мы на нем выгравировали: «Труби в большой рог о свободе нашей». «К сожалению, с 1959 года между нашими странами нет дипломатических отношений. До сих пор я не знаю, почему вы разорвали с нами отношения», – сказал я. Кастро коротко объяснил, что причина в том, что мы угнетаем другой народ, но я решил продолжать свою линию. Перечислил восточно-европейские страны, поддерживающие сегодня дипломатические отношения с нами. «Между нами и Кубой не существует никакого конфликта. У нас нет общих границ, ничто нас не разделяет, а если имеются разногласия по тому или иному вопросу, так ведь для этого и существуют дипломаты и посольства, чтобы обмениваться соответствующими нотами и вести диалог. Зачем же запирается в гетто, ведь нам есть чему поучиться друг у друга. По крайней мере, нам есть о чем говорить, вот я разговариваю с вами уже два часа. Вы бы поверили, если бы вам сказали, что вы будете сидеть с еврейским раввином, да еще из Израиля, и найдете интерес в беседе с ним? Я благодарен вам за время, которое вы мне уделите, потому что мне всегда была интересна ваша личность, ваш характер, и было любопытно познакомиться с вами». Фидель Кастро широко улыбнулся и сказал, что и ему очень приятно и интересно беседовать со мной, и почему бы нам и не поговорить. Я воспользовался его открытостью и мгновением безмятежной атмосферы и попробовал свои силы на поприще дипломатического убеждения. «Если вы такой почитатель Рабина и Переса, возможно, вы захотите сделать для них какой-нибудь жест доброй воли, чтобы выразить уважение, которое вы к ним питаете, без всякой дипломатии и политики», – предложил я ему. Кастро поднял глаза к потолку и сказал тихим голосом: «Я беден, у меня нет средств, нет денег, нет горючего и продовольствия. Вы – империя, ● сравнению со мной. Что я могу вам послать, чего у вас нет?» – спросил он со всей искренностью. Я попытался сказать ему, что важна не материальная составляющая «жеста», а визитная карточка, переданная с ним. «Кроме того, – сказал я с таким ощущением, словно мы ведем обычную беседу между двумя товарищами, – вы ведь прославились по всему миру вашими гаванскими сигарами. Если вы пошлете Рабину или Пересу сигару с вашей визиткой, на которой написано «президенте Фидель Кастро»...» Он прервал меня, чтобы поправить: «Команданте Фидель Кастро». Я извинился и продолжил: «И это будет на письменном столе премьер-министра или министра иностранных дел, и когда их будут спрашивать, что это значит,

они ответят: «Это прислал нам Фидель Кастро». Когда они покажут интересующимся вашу визитку, всем будет ясно, что нас связывают какие-то отношения. Это станет началом диалога, даст надежду на дружбу и взаимопонимание». Кастро поинтересовался, курят ли эти двое сигары. Я поведал ему о привычке Рабина курить сигареты в невероятных количествах и о курсе лечения табачной зависимости, который Перес недавно прошел в Италии, однако сигара важна здесь как жест, как что-то, что будет выставлено напоказ на их рабочем столе с приложением визитной карточки. Всякий, кто попадет к ним в кабинет, с одного взгляда и без всяких дополнительных слов поймет, что между Израилем и Кубой возможен диалог. Что есть о чем говорить, а главное – есть с кем говорить», – повторил я, чтобы мои слова были лучше усвоены. Когда я закончил, Кастро звонко хлопнул в ладоши и попросил Армандо принести письменные принадлежности, чтобы он записал имена людей, которым предназначается посылка с сигарами. «Рабин Ицхак, Перес Шимон, – записал он и в качестве личного жеста добавил: – Тедди Коллек». «Большой градоначальник», – отозвался он о Коллеке с одобрением.

Исчерпав эту тему, Кастро попросил у меня разрешения задать еще один вопрос, давно мучивший его, и перескочил на тысячи лет назад в прошлое: «В Танахе написано о 600 тысячах евреев, вышедших из Египта, а я знаю, что в другом месте написано, что в Египет спустилось только семьдесят евреев. Как же вышло, что за 400 лет 70 человек превратились в 600 тысяч, разве такое могло произойти?» – выразил Кастро свое недоверие. Я был удивлен поднятым им вопросом, который, по его словам, занимал его уже давно. «В главе первой книги Шемот написано: «А сыны Израиля плодились и воскишели, и умножились, и окрепли очень, чрезвычайно, и наполнилась ими земля та»¹. А мудрецы Талмуда объясняют, что в то время жёщины рождали сразу шестерых», – привел я ему талмудическое толкование. Однако Кастро это не убедило: «Шесть младенцев из одного чрева?» – переспросил он и, как человек, не готовый поверить в такое явление, с сомнением махнул рукой. «Такое вообще может быть, шестерня?» – спросил он. На этом этапе разговора я уже ощущал определенную открытость по отношению к нему и позволил себе рассказать ему о моем сыне – отце тройни, сказав, что, если сегодня может родиться тройня, кто поручится, что в древние времена не могла быть шестерня. Еще я сказал, что несколько лет назад в Израиле родилась пятерня. Кастро был поражен. Кажется, он впервые в жизни услышал о тройнях и пятернях и не желал оставить эту тему. «У вас в семье есть тройня?» – переспрашивал он, словно завороченный ребенок.

¹ Шемот, 1:7.

Ребецн, тем временем уже приехавшая по его запоздалому приглашению, достала из сумочки фотографию тройни наших внуков и передала ему. Кастро, как зачарованный, долго не мог оторвать глаз от фотографии. Он держал ее, сжимая в руках, и бормотал: «Это чудо. Трое из одного чрева. И такие все красивые. Интересно, что они не идентичные». Возвратив фотографию ребецн, он вернулся к удручавшей его арифметической проблеме. Придвинув к себе блокнот, он занялся вычислениями, которые подтвердили бы ему истинность написанного в Танахе. Из 70 евреев, спустившихся в Египет, он сделал 35 пар, умножил их на шесть потомков, снова умножил, и еще раз, и спустя минуту разочарованно посмотрел на меня, сообщив, что ничего у него не выходит. В обуревавшем его раздражении он стал объяснять логику, которой руководствовался, сказав, что делает мне поблажку и принимает за срок между поколениями 20 лет, а не 30, как принято. Если в двадцать лет женятся и создают семью, то за 400 лет сменятся двадцать поколений, а умножение 20-ти на 6 даст результат, все еще очень далекий от 600 тысяч. Сдерживаясь, я с великим терпением попросил его попробовать еще раз, но он еще больше запутался в числах. На каком-то этапе я спросил, почему он не пользуется калькулятором. Кастро сердито посмотрел на меня: «Калькулятор? Эта та штука, на которую давят пальцем? Я принадлежу старому поколению, которое думает головой, а не пальцами. Как бы то ни было, *Gran Rabino*, выкладки-то не сходятся». Я почувствовал себя неловко, глядя на его усилия и на ту серьезность, с которой он подходил к решению этой математической головоломки, и от щедрот своих выдал ему еще один прозрачный намек: «Дабы развеять ваши сомнения, я хочу обратить ваше внимание на еще один стих в той же книге: «И также великое смешение¹ вышло с ними»². Кастро издал вздох облегчения, словно многолетний груз упал с его плеч. «Если так, откуда вам знать, что эфиопские евреи действительно евреи?» – каким-то образом Кастро связал это с исходом из Египта, и вопрос его прозвучал крайне неожиданно. Я объяснил ему, что после долгих бесед с представителями эфиопского еврейства выяснилось, что они придерживаются соответствующих пятисотлетних традиций, и тогда величайший из законоучителей того периода, *Гарадбаз*³, живший в Египте, издал постановление, устанавливающее факт их еврейства. Оказалось, что они испокон веков были привержены соблюдению многих заповедей, как,

¹ Т.е. разноплеменная толпа.

² Шмот, 12:38.

³ Рабби Давид Бен Шломо ибн Зимра (1479–1573) – духовный руководитель египетских евреев и председатель религиозного суда. Традиции эфиопских евреев, обусловившие их признание евреями, насчитывали 500 лет уже в период жизни *Гарадбаз*.

например, в сфере ритуальной чистоты семейных отношений, и что от века молились о возвращении в Иерусалим и шли на смертельный риск, чтобы добраться до него. Главный раввинат во время становления государства, в период каденции раввинов Герцога и Узиэля, принял точку зрения доктора Файтловича¹, ездившего в Эфиопию для проведения научных изысканий по этому вопросу. Главные раввины постановили считать факт принадлежности к еврейству эфиопских евреев доказанным, чем обеспечили возможность проведения операций «Моше» и «Шломо». Я был поражен поднятым Кастро вопросом. Поражен тем, что ему известно о репатриации эфиопских евреев, и что этот вопрос занимает его. Когда эфиопский вопрос был, на наш взгляд, закрыт, он снова перескочил на другую тему, вовсе не связанную с предыдущей. «Вы знаете, что я ненавижу церковь, и не вследствие моего коммунистического мировоззрения, а как раз из-за моей биографии. Ребенком я учился при монастыре, и монахи – мои учителя – учили меня ненавидеть евреев. Когда обучали меня английскому, – Кастро вдруг нечаянно выдал свое знание языка. – Нам говорили, что евреи – хищные птицы, перелетающие с места на место в поисках добычи. Почему? Потому что у евреев есть «бирд» (beard – борода), но «бирд» – это еще и птица (bird), из чего следует, что евреи хищные, как грифы и стервятники. С тех пор, много лет, всякий раз, когда я видел грифа, мне было ясно, что это еврей. Ребенком я никогда не думал, что еврей – это человек, ходящий на двух ногах. Я был уверен, что это пернатое существо, перелетающее с места на место в поисках падали. Поэтому в моей стране я ни при каких обстоятельствах не допускаю проявлений антисемитизма. Это у меня реакция на воспитание, полученное мною в детстве, в церкви. Я не люблю евреев больше, чем люблю всех остальных, но не питаю ненависти ни к одному еврею, и мне было важно, чтобы вы это знали».

Вся беседа с Фиделем Кастро была подобна серии скачков от одного сюжета к следующему. На этом иудео-христианском пункте он снова сумел удивить меня. Я решил воспользоваться новым поворотом в нашем разговоре и попросил у него разрешения использовать мой визит на Кубу, чтобы обратиться к нему с просьбой. «Сейчас февраль, – сказал я, – и примерно через два месяца евреи во всем мире будут отмечать праздник Песах. Если вы знаете об исходе из Египта и разговаривали со мной о происхождении боо тысяч от 70-ти, то вам, конечно, известно, что во время праздника Песах евреям запрещено есть хлеб. В течение семи дней они могут есть только мацу. Позволите ли вы еврейской общине Кубы завезти в страну мацу?»

¹ Яков Файтлович (1881–1955) – ученый-ориенталист, посвятивший свою жизнь просвещению эфиопских евреев и возвращению их в лоно еврейского народа.

Фидель Кастро почти оборвал меня и резко вскрикнул: «Но не от них!», ткнув пальцем в сторону ненавистной ему Америки. Я пообещал ему, что раввин Бреннер позаботится о доставке мацы из Каракаса и, может быть, из Мексики. Фидель Кастро тотчас изъявил согласие и поинтересовался количеством. Мы столкнулись на том, что доктор Миллер, президент еврейской общины Кубы, рассчитает, сколько потребно мацы, а раввин Бреннер позаботится, чтобы каждому еврею хватило мацы на все дни праздника Песах. В свете его столь благосклонного отношения я набрался смелости и перешел к следующей просьбе: разрешить раввину Бреннеру завозить на Кубу кошерное мясо. Опять я пообещал, что американцы не приложат руку к импорту мяса. Я объяснил правителю Кубы, что поскольку в его стране нет ни раввинов, ни резников, а в иудаизме соблюдают правила кашрута, и нам запрещено есть некошерное мясо, вполне возможно, что евреи грешат помимо своей воли или же воздерживаются от мясной пищи вообще. Перед глазами у меня возникло лицо Гецла Креплаха из Шидловца, которому такой жест поможет получить кусок курицы раз в неделю, а на пасхальном седере у него будет *зрод*¹ на ритуальном блюде. В этот момент Фидель Кастро утратил спокойствие, и разлившийся у него на лице гнев явил знакомый всему миру вид сурового повстанца. Громовым голосом, в котором звенела ярость, он произнес: «Я ведь сказал вам, что в своей стране борюсь с проявлениями антисемитизма. Вы что же, хотите превратить мой народ в антисемитов? У меня нет хлеба для моего народа. У нас введено нормирование, в соответствии с которым людям положено по 150 грамм хлеба в день на человека, и что же: у евреев на Кубе будет мясо? Вы к этому ведете? Да их возненавидят, будут завидовать им черной завистью, начнут грабить их дома. Из-за моего соседа, Голиафа, мешающего мне наладить снабжение, моему народу не хватает продовольствия. Если в этой ситуации вы позаботитесь о доставке кошерного мяса евреям, то вы сами, Gran Rabino, вызовете всплеск антисемитизма, которому я постоянно противостою». Я все-таки попытался настаивать, напомнив Кастро, что всего минуту назад он разрешил завозить на Кубу мацу, но он был тверд в своем решении и подчеркнул: «Маца это еда? Маца – не еда, а принадлежность религиозного культа. А привозить мясо для евреев я не позволю ни при каких обстоятельствах!» – решительно постановил он, и я понял, что проиграл этот раунд. Когда наша встреча подходила к концу, я рассказал Кастро, что в ходе моего визита мне стало известно об одном студенте-еврее, уроженце Кубы,

¹ Кусок куриного мяса с косточкой, который жарится до наступления Песаха и в числе прочего кладется на ритуальное пасхальное блюдо как символ пасхальной жертвы.

с отличием окончившем медицинский институт. Студент просил разрешения на выезд сроком на один год для прохождения интернатуры в больнице в Каракасе, где имеется современное западное оборудование. Кастро выслушал, усмехнулся и ответил решительным отказом. Его мотивировка выдавала чуть ли не личную заинтересованность. Он пояснил: если уж у него появляется один талантливый человек, то с какой стати он даст ему вкусить западной свободы? Кто поручится, что молодой талантливый врач вернется на Кубу?! Куба нуждается в его таланте, чтобы было кому лечить кубинский народ, вместо врачей второго сорта. Я усложнил вопрос, поинтересовавшись, будет ли он готов выдавать выездные визы евреям с целью воссоединения семей. На этот вопрос он дал положительный ответ. «Вот видите, – сказал он с нескрываемой гордостью, – я привожу на Кубу раввина из Гвадалахары, у еврейской общины в моей стране есть президент, доктор Миллер, и я пригласил вас, чтобы вы удостоверились во всем этом. Вы посетили еврейский центр, встретились с детьми, которые поют песни на иврите и изучают Танах. Я, конечно, критикую ваше правительство, но не питаю ненависти ни к одному еврею».

По дороге к лифту, куда Кастро непременно хотел меня проводить, я завел разговор о Роне Араде и пропавших без вести в бою в Султан-Якубе, о которых ничего не было известно уже двенадцать лет, и попросил у него помощи, которую он может оказать в силу своих связей с Саддамом Хусейном и Хафезом Асадом. Кастро воздел вверх палец и спросил, неужели спустя двенадцать лет я все еще верю, что они живы. Я поведал ему о том, что за пять месяцев до нашей встречи точно такой вопрос был задан мне Римским Папой. В своем ответе я привожу слова отца одного из пропавших солдат, сказавшего, что даже если его сына уже нет в живых, все его устремления направлены на то, чтобы имя его сына осталось среди живых. Прежде чем оставить этот мир самому, он хочет знать, что у его сына есть могила, над которой установлено надгробье с его именем. Будучи в глубине души человеком сентиментальным, несмотря на свое суровое обличье и военную форму – с которой он не расстается, – Кастро отреагировал словами: «Что ж, вы попали в цель! Я понял вашу мысль и убедился в ее справедливости. Обещаю вам поговорить, с кем нужно. Я ведь уже сказал вам, что ваши враги – мои друзья». Был один час пополудни. Наша встреча, таким образом, продолжалась целых три часа.

Часа через два раздался стук в дверь виллы, где мы жили. Я не сумел сомкнуть глаз, в основном из-за переполнявших меня после встречи чувств и вертевшихся в голове мыслей. Открыв дверь, я увидел грузчиков, внесших внутрь два шкафчика. В каждом было по три ящика, полных сигар. Грузчики сообщили, что посылка прибыла от команданте, просившего

вложить в ящики три конверта с его визитными карточками. На каждом из конвертов он вывел собственной рукой имя получателя. Ицхак Рабин, Шимон Перес и Тедди Колек. С этой посылкой мне предстояло добираться на перекладных до Израиля.

Посещение Кубы, несомненно, стало одним из самых интересных опытов в моей жизни. Я встретился с лидером, разрыв между личностью которого и сложившимся в мире образом ее огромен. Я нашел человека, живущего скромно, без показухи, по крайней мере, внешней. Народ любит его, видя в нем личный пример удовлетворения малым, равенства и несгибаемой национальной гордости. Я нашел интересного собеседника, любознательного и обладающего широкими познаниями.

Моя встреча с еврейской общиной была волнующей, как никакая другая. Было что-то чудесное в том, чтобы увидеть людей, у которых нет еврейской школы, нет синагоги, которые в течение многих лет не видели раввина, людей, корни которых не очевидны и не ясны им самим. Я был горд и взволнован тем, что мне выпала честь ступить на землю страны, где в течение последних 35 лет не появлялось ни единого официального представителя Государства Израиль. Я много думал о моих тете Мете и дяде Бруно-Берахьягу. Думал и о сотнях кубинских евреев, которых никто не спрашивал, живы ли они еще, не справлялся об их здоровье и благополучии, с которыми вообще не было никакой связи: ни писем, ни телефонных звонков. Полная изоляция – на исходе XX века. Меня не оставляла мысль, что, по сути дела, мы ничего не поняли и не извлекли никакого урока даже через пятьдесят лет после того, что случилось в Европе; что мы своими руками увековечили обрыв связи с евреями Кубы. И я с удовлетворением отметил, что этим визитом я внес свой скромный вклад в дело возвращения нескольких кубинских евреев в лоно еврейства.

* * *

То, что я не мог сказать евреям Кубы, где мне приходилось тщательно следить за каждым срывающимся с моих уст словом, евреям Южной Африки я заявил без обиняков: «Не за тем, чтобы собирать пожертвования, я приехал к вам, но по ваши души или, по меньшей мере, по души ваших детей». Эти слова я обыкновенно произносил в еврейских общинах Южной Африки. И действительно, почти каждый раз, когда я приезжал в эту страну, моей целью было собирание душ – ловля душ, а не сбор денег, хотя я не подвергаю сомнению важность сбора пожертвований в различные фонды и отдаю себе отчет в том, какой вклад в обеспечение финансового тыла Государства Израиль вносят такие богатые еврейские общины, как община Южной Африки. Я ощущаю особенно сильную связь с евреями Южной

Африки, среди которых много выживших в Катастрофе или тех, кто покинул Европу в преддверии войны или в ходе войны. Несколько лет назад раввин Биньямин Бент Мельхиор пригласил меня выступить с серией лекций в Копенгагене. В ходе поездки мои хозяева повезли меня на кладбище маленькой еврейской общины шведского города Мальмё, находящегося недалеко от Дании. Рядом с могилой сына Шолом-Алейхема я обнаружил две могилы летчиков-евреев из Южной Африки, участвовавших в бомбежках Германии во время Второй мировой войны. Их самолеты были сбиты немцами, и молодые евреи погибли на земле Германии и были погребены в Мальмё. Эти две могилы не покидали моих мыслей при каждом моем посещении Южной Африки. Для меня они стали символом еврейского участия в войне против нацистской военной машины. А кто не знает, что начало израильским ВВС было положено иностранными добровольцами из Южной Африки, приехавшими, чтобы помочь нам во время Войны за Независимость?

Еще в юности я много слышал о южно-африканском еврействе от моего учителя и наставника, главы йешивы «Поневеж» рабби Йосефа Каганемана, да будет благословенна память праведника. Материальное обеспечение йешивы в годы моего в ней обучения шло из Южной Африки. Туда переселилось много евреев из Литвы, которые знали рабби Каганемана еще со времени его службы главным раввином города Поневеж в Литве. Они взяли на себя ответственность за сбор пожертвований для финансирования йешивы «Поневеж», которую рабби Каганеман основал в Бней-Браке.

С тех пор, на протяжении многих лет, начальники отдела репатриации Еврейского агентства – Рефаэль Котлович, Ури Гордон, Давид Левин и Хаим Агарон – не раз обращались ко мне с просьбами поехать в Южную Африку с миссией содействия репатриации, и я всегда охотно отвечал им согласием. Эта община проникнута твердыми сионистскими убеждениями и горячим чувством любви к Израилю. В 5756 (1996) году, к десятилетию пребывания раввина Сирила Хэрриса на посту главного раввина Южной Африки, я, будучи тогда Главным раввином Израиля, был приглашен в качестве почетного гостя на торжественную церемонию, организованную в его честь. Среди прочих гостей на торжестве присутствовал Фредерик де Клерк, бывший президент Южной Африки и положивший конец политике апартеида, за что ему была присуждена Нобелевская премия мира. В аэропорту, носящем имя генерала Яна Сметса, в день моего приезда меня ожидали раввин Хэррис, главы еврейской общины страны и с ними Амбаки, заместитель Нельсона Манделы, впоследствии избранного президентом Южной Африки. Мы выехали в столицу страны Преторию, чтобы быть принятыми в резиденции Нельсона Манделы. Он встретил нас в цветастой рубашке,

ставшей его символом. С первого же мгновения эта встреча оказалась самой сердечной из всего разнообразия памятных мне встреч с выдающимися деятелями нееврейского мира и с лидерами вообще. Чтобы разбить лед, нам не потребовалось прибегать к обычным, ни к чему не обязывающим изъявлениям вежливости. В начале встречи Мандела с жаром обнял меня и не выпускал моей руки все время встречи. Его обаянию нельзя было не поддаться. Вручая ему в подарок переплетенное в кожу издание Танаха на иврите и английском, я выразил свое уважение и преклонение перед его героической борьбой, в которой он поставил себе целью повести свой народ из рабства к свободе и даровать ему независимость и равенство. Я также заметил, что мне известно о том, что к алтарю свободы он возложил многие годы страданий, и добавил, что мне бы хотелось обратить его внимание на стих в главе 28-й книги Дварим, который наверняка заденет какие-то струны в его душе. «Утром ты скажешь: – О, если бы пришел вечер! А вечером скажешь: – О, если бы наступило утро! – от страха сердечного, которым ты будешь объят, и от зрелища, что узрят глаза твои»¹. В душе человека, сидевшего многие годы в тюрьме, которому только и оставалось, что каждый проходящий день скрести ногтями по каменной стене, в душе того, кто жаждал увидеть проблеск света в конце тоннеля, слова эти вызовут тяжелые воспоминания.

Все время, пока я объяснял ему этот стих, Мандела был сосредоточен и погружен в свои мысли. Он захотел прочесть стих сам, в английском переводе, кивнул головой и заложил страницу ниткой. Закончив, он сказал, что знает о моем прошлом, о том, что мне пришлось испытать в детстве. «Так как вы знаете, что пережил я, могу вам сказать, что ваша судьба была значительно тяжелее моей», – заключил он. Я удивился его выводу, потому что я пережил шесть лет страданий во время войны, тогда как он и его друзья провели в заключении 26 лет. Мандела, знакомый с моей историей во всех подробностях, согласился со мной, однако прибавил: «Но моих родителей не убили, как убили ваших». Эта фраза в один миг объяснила мне причину его столь теплого ко мне отношения. Он действительно знал во всех подробностях историю моих злоключений в период Катастрофы. Знал, что мой брат Нафтали был правой рукой Моше Даяна, и знал даже то, что брат прятал меня в заплечном мешке, делая – по наказу нашего отца – все, чтобы спасти меня. Мы обсудили общность судьбы наших народов – судьбы преследуемых меньшинств: с одной стороны – евреев, с другой – чернокожих, и так по всему миру на протяжении многих столетий. Я напомнил ему, что первыми, кто поднял знамя борьбы за выход из рабства на сво-

¹ Дварим, 28:67.

боду, были – не в южной, а в северной Африке – Моше и Агарон, выведшие сынов Израиля из Египта. Мысль о том, что борьба за свободу началась, по сути дела, на африканском континенте, очень понравилась Манделе. На континенте, выступающем в глазах всего мира самым ярким символом рабства, тысячи лет назад было поднято знамя свободы. Я развил эту мысль для него: «3400 лет назад у евреев в изгнании появился лидер, сказавший царю-притеснителю: «Отпусти народ мой». Наш исход из Египта указал путь всем народам мира». «Вы раскрыли мне глаза», – сказал Мандела. Благодаря теплому отношению и безусловной симпатии, проявленной им ко мне, спустя несколько лет я позволил себе обратиться к нему с личным письмом: «От бывшего заключенного бывшему заключенному, ради нынешних заключенных», в котором я просил его приложить усилия к освобождению 17 евреев, без суда арестованных в провинции Шираз в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В письме я рассказывал о страшных пытках, которым они подвергаются. Шестнадцатилетнего парня довели до того, что после полугодового заключения он не узнавал свою мать, к которой его привели на свидание. К моему сожалению, прошло время, но я так и не получил никакого ответа от Манделы, который в то время уже собирался оставить президентский пост, и я так и не узнал, предпринял ли он какие-либо действия для освобождения узников.

* * *

В Кейптауне мне довелось встретиться с архиепископом Десмондом Туту. Незадолго до этого он был назначен Манделой на пост председателя Комиссии по установлению истины и примирению, призванной расследовать преступления режима апартеида. Исполнение этой должности занимало все его помыслы, и он задал мне вопрос, как бы я, будучи, как и он, религиозным лидером, подошел к обязанностям, сочетающим в себе расследование преступлений сотрудничавших с режимом людей и деятельность по примирению белых и черных граждан. «На мой сторонний взгляд, тут, безусловно, наличествует конфликт между поиском истины и стремлением к умиротворению», – предпринял я попытку анализа. Я процитировал ему установление рабби Илаи¹, приводимое на странице 656 трактата Йевамот: «Разрешается менять ради мира», то есть разрешается ради мира отступить от истины, ибо мир есть высшая ценность. Я пояснил это положение, приведя в качестве примера стих из 50-й главы книги Берешит. Там рассказывается о том, как после смерти Яакова братья говорят друг другу: «Что,

¹ *Танна* третьего поколения, живший в Эрец-Исраэль во II веке. Ученик рабби Элиэзера, сына Горканоса, и раббана Гамлиэля из Явне.

если возненавидит нас Йосеф и воздаст, воздаст нам за все то зло, что мы причинили ему!»¹ Опасаясь мести Йосефа, братья вкладывают в уста умершего отца следующие слова: «Твой отец заповедал перед смертью своей, говоря: Так скажите Йосефу: О, прости же преступление братьев твоих и их грех, ибо зло причинили тебе!»² «Где же он это заповедал? А они просто погрешили против истины ради мира. Через 39 лет после продажи Йосефа в рабство братьев обуял страх перед расплатой, из-за чего они искажают истину, чтобы избежать возможной мести Йосефа. Однако Йосеф говорит им: «Разве вместо Бога я?.. Вот, вы замыслили против меня зло, а Бог обратил это в добро... дабы сохранить жизнь народу многочисленному»³. Я спасся из ямы, был продан измаильтянам, и все это от Бога, ради того, чтобы я мог спасти вас всех. Даже если намерения ваши были пагубны, в конце концов, они обернулись благословенными последствиями. Это, заметил я Туту, первоисточник утверждения, что разрешается отступить от истины ради мира. В дополнение к этим словам я привел мнение рабби Натана⁴, говорившего, что отступление от истины ради мира есть заповедь, ярким примером, подтверждающим это, служит танахический рассказ о том, как к Авраѓаму явились ангелы, чтобы возгласить ему, что «об эту пору» через год у Авраѓама родится сын. «И рассмеялась Сара про себя, говоря: Мне ли, когда я увяла, будет эта отрада? И господин мой стар»⁵. Господь же изменил ее слова и спросил: «Почему смеялась Сара, говоря: Подлинно ли рожу я, когда я состарилась?»⁶. Она возложила вину за отсутствие детей на Авраѓама, Господь же утверждает, что она возложила вину на себя саму. Другими словами, искажать истину ради мира, а в данном случае ради семейного согласия, – это божественная заповедь. Пророку Шмуэлю, страшившемуся царя Шауля, когда он шел в Вифлеем, чтобы помазать на царство нового царя из сынов Йишая, Бог также дает совет, как с помощью некоей уловки спастись от царского гнева.

Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира, выслушав меня с напряженным вниманием, улыбнулся во весь рот и расстался со мной со словами хвалы и одобрения еврейской традиции. Годы спустя мы вместе приняли участие в Давосском форуме, после обрушения башен-близне-

¹ Берешит, 50:15.

² Там, 50:16–17.

³ Там, 50:19,20.

⁴ Рабби Натан га-Бавли – танна четвертого поколения, живший во II веке. Родился в Вавилонии, однако уже в юности перебрался в Эрец-Исраэль, где был главой религиозного суда в Уше.

⁵ Берешит, 18:12.

⁶ Там, 18:13.

цов проводившемся в знак солидарности с городом в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория». Туту не преминул заметить, что мои примеры из Танаха стояли у него перед глазами при составлении отчета возглавляемой им Комиссии по примирению. Я дополнил для него картину тремя словами из книги пророка Зхарии: «Истину и мир возлюбите»¹.

Прешов – как вернулось древнее величие

«Я сейчас обращусь к вам с очень, очень странной просьбой», – сказал Нафтали любезной телефонистке международной телефонной станции, выяснив у нее, что можно получить номер телефона в Чехословакии и что у нее имеется телефонный справочник города Прешова. «Сделайте мне одолжение, начните зачитывать фамилии абонентов в телефонном справочнике Прешова. Читайте все фамилии, начиная с А, а когда я услышу имя, которое ищу, я вас остановлю и попрошу у вас его номер». Возможно, телефонистка была изумлена, однако выполнила его из ряда вон выходящую просьбу.

У Нафтали не было ни малейшего представления, какая судьба постигла еврейскую общину Прешова, и остался ли там, после Гитлера, Сталина и ассимиляции, хоть один еврей. Вот он и решил проверить. Телефонистка терпеливо читала словацкие фамилии типа Обек, Бубек, Горек и т.п., пока не дошла до фамилии Ландау. Тогда Нафтали попросил ее остановиться и дать ему номер телефона этого абонента.

* * *

После свадьбы моих родителей папу пригласили на должность раввина еврейской общины Прешова в Словакии, неподалеку от южной границы Польши. Большая еврейская община Прешова состояла из евреев, говоривших по-венгерски и по-немецки. Папа, свободно говоривший на идише, польском и немецком языках, прослужил в городе раввином восемь лет. В Прешове выросли трое моих братьев: Шико, Нафтали и Шмулек, да отмстит Господь за его кровь. Шмулек родился в Прешове и провел там свои младенческие годы.

¹ Зхария, 8:19.

В начале 90-х годов железный занавес начал приподниматься, и уже можно было подумать о посещении Восточной Европы с израильским паспортом. Советский Союз распался, в Чехословакии также произошла революция, и страна начала двигаться навстречу западному миру. Нафтали занимал тогда пост директора иерусалимского офиса Объединенного Еврейского призыва, и в нем начало пробуждаться острое желание вернуться к корням и посетить места, бывшие частью его безоблачного довоенного детства. В голове у него возникали вопросы, не дававшие ему покоя: остались ли там евреи, есть ли синагога, сохранились ли надгробные памятники.

Теперь, располагая телефоном абонента с такой явной еврейской фамилией, Нафтали незамедлительно позвонил ему. С другого конца линии ему ответил в высшей степени энергичный голос. Нафтали спросил на немецком, бывшем языке Прешова до войны: «Герр Ландау?» Голос тотчас же поправил его: «Доктор Ландау». Нафтали подумал, что человек, непременно желающий называться доктором Ландау, наверняка еврей. Уверенность в себе вернулась к Нафтали, и он сразу перешел к делу, спросив, есть ли у них в Прешове еврейская община. Его собеседник, даже не поинтересовавшись личностью неизвестного вопрошателя, ответил сразу же, как настоящий еврей: «И да, и нет. Я – президент общины, которую трудно назвать общиной, потому что нас меньше, чем нужно для миньяна. нас восемь человек, однако знаменитая Хоральная синагога Прешова сохранилась полностью. Я убираю ее по пятницам, и она точно такая, какой была до войны. В округе, в Бардеёве, есть еще два еврея, которые приезжают в Прешов: Шапиро и Якубович. Один из них умеет молиться перед кафедрой и читать свиток Торы, другой – трубить в шофар. Вместе с ними в Грозные дни у нас собирается миньян». Нафтали продолжил и спросил, есть ли у общины раввин. «Вы смеетесь надо мной? – прозвучало в ответ. – Для кого? Кто станет содержать для нас раввина? После того, как еще до войны нас покинул наш *оберраббинер*¹, мы так и не выбрали себе раввина. Было трудно найти кого-нибудь, кто мог бы с ним сравниться». На вопрос Нафтали, кто же был этот оберраббинер, президент общины ответил: «Оберраббинер Лау, Моше Хаим Лау, не слышали о таком?» Только на этом этапе их беседы доктор Ландау спохватился и спросил, с кем он, собственно, разговаривает. Нафтали обещал, что тотчас ответит на его вопрос, и попросил президента общины сесть. Сочтя, что тот успел усесться, Нафтали представился и сказал, что он сын оберраббинера Лау. Доктор Ландау не поверил ему: «Уже старый человек, и прошу не насмехаться надо мной, относясь с почтением

¹ Главный раввин (нем.).

к моим годам и моему положению. Мне известно, что из семьи оберрабби-нера Лау никто не выжил». Нафтали повторил свои слова и представился тем именем, под которым был известен в Прешове. «Я Толек», – сказал он. На другом конце линии воцарилась тишина. «Толек Лау? – наконец дрожащим голосом спросил доктор Ландау. – Я говорю с Толеком Лау?» «Именно так», – ответил Нафтали, добавив, что, возможно, они вместе гоняли мяч во дворе синагоги, где была папина квартира. Когда доктор Ландау услышал, что Нафтали говорит из Иерусалима, снова воцарилась тишина, прерывавшаяся изумленным восклицанием: «Я говорю с Ерузалемом?»

Немного опомнившись, он задал вопрос о судьбе Шико, нашего брата. Нафтали сообщил ему, что Шико живет в Иерусалиме. Тот продолжил и спросил о Милеке. Нафтали ответил, что Милек вместе с папой погиб в Треблинке. «Однако, – добавил Нафтали, – у меня есть брат, которого вам не довелось узнать, потому что он родился в Пётркуве, где папа был раввином после Прешова. Мой младший брат спасся вместе со мной, и он жив», – сообщил Нафтали. Доктор Ландау спросил, проживаю ли я тоже в Иерусалиме, и Нафтали поведал ему, что его младший брат – «оберраббинер Тель-Авива». Снова повисла тишина, после которой прозвучало очередное изумленное восклицание: «Сын оберраббинера Лау тоже оберраббинер? После Гитлера? Жаль, что я не могу приехать и увидеть вас», – огорчился доктор Ландау. Однако Нафтали приготовил ему сюрприз, выдвинув следующее предложение. Этот разговор происходил в мае, и Нафтали сказал: «В июле, в субботу перед 9-м ава, в субботу «Хазон» (видение), когда в синагогах читают отрывок из книги пророка Йешаягу, где описывается его видение, мы приедем к вам, чтобы дополнить миньян. В субботу «Хазон», перед 9-м ава. Я, правда, еще не говорил об этом с братом, но уверен, что он присоединится ко мне, когда услышит, что это возможно».

Выбор субботы «Хазон», сделанный Нафтали для нашего пребывания в Прешове, был полон символического смысла. В плачах 9-го ава оплакивается не только разрушение Первого и Второго Храмов, но и гибель десяти мучеников, убиенных по велению царя, изгнание из Испании и жертвы погромов 5408–9 годов¹. Затем оплакивают жертв Шпайры, Вормайзы

¹ Преследования евреев на Украине в 1648 году. Хотя погромы и резня продолжались в течение нескольких лет, в еврейском коллективном сознании они остались как «преследования 5408–9 гг.» Случаи массовой резни начались в ияре 5408 года (май 1648-го) и продолжались до кислева 5409 года (ноябрь–декабрь 1648-го), припадая на период наибольшего накала казацкого восстания против Речи Посполитой, возглавляемого Богданом Хмельницким. Последний в еврейских источниках упоминается под именем Хмель-злодей.

и Магенцы¹ и доходят до плачей Йеѓуды Ґалеви², начинающихся словами «Цийон, разве не взыщешь ты за своих узников». В мою бытность главным раввином Тель-Авива я добавил к этому брошюру с семью плачами по жертвам Катастрофы, сочиненными раввинами последнего поколения. Большинство авторов, как, например, раввин Вайсмандль и ребе из Бобова, сами пережили Катастрофу. Брошюра была распространена в 700 синагогах Тель-Авива-Яффо.

Мы прибыли в Прешов в летний пятничный день и поселились в гостинице «Шариш». Доктор Ландау поспособствовал распространению слуха о нашем приезде, и у входа в гостиницу было заметно движение людей. Нас повели в зал заседаний городского совета, где нас ожидал мэр Прешова, вручивший мне альбом с видами города. Я полистал книгу и обнаружил, что в ней нет упоминаний – ни единым словом – о том, что когда-то в городе жили тысячи евреев. В роскошном альбоме, изданном в сталинские времена, множество красивых фотографий и рассказов об истории, однако евреев в нем – нет. Мне удалось сдержать свою злость.

В зале заседаний сидела женщина лет шестидесяти и плакала, не умолкая. На каком-то этапе она встала, подошла к Нафтали и спросила, помнит ли он те дни, когда они вместе играли. Нафтали не помнил и попросил ее рассказать о себе. «Я дочь Шлойме Шварца», – сказала она. Его Нафтали помнил. При папе Шломо Шварц наблюдал за соблюдением кашрута в Прешове. Это был очень бедный человек, ютившийся в одной комнатке при синагоге – напротив папиной квартиры. Женщина, бывшая соседкой моих родителей и почти членом семьи, выжила одна из всей своей родни.

«Я услышала, что вы приезжаете, – рассказывала она Нафтали сквозь слезы, – и поскольку тут нет ничего кошерного, я испекла вам *брехес* на субботу». (Словом «брехес» народ называл субботние халы, над которыми произносят благословения – *брахот*.) Но самый дорогой подарок эта женщина, за минуту до этого бывшая нам совершенно чужой, пожелала вручить именно мне – человеку, которого никогда не знала. «Когда моему папе, да отмстит Господь за его кровь, исполнилось пятьдесят лет, раввин Лау привез ему из Кракова подарок – серебряную башенку-коробочку для благовоний, для совершения *ѓавдалы*. Все эти годы я хранила ее, а сегодня хочу вручить ее в подарок сыну своего отца – раввину Тель-Авива».

¹ То есть жертв погромов 1096 года в верхнерейнских городах Шпейере, Вормсе и Майнце.

² Йеѓуда бен Шмуэль Ґалеви (1075–1141) – выдающийся еврейский поэт и философ.

Эта башенка для благовоний, которую отец привез из Кракова в Прешов, выставлена теперь у меня дома в Тель-Авиве. Эта серебряная вещица, которую отец держал в руках, – единственное материальное напоминание о нем.

Мы проследовали дальше, к синагоге, для полуденной молитвы Минха и встречи субботы. Мы ожидали увидеть там восемь евреев, описанных доктором Ландау в телефонном разговоре с Нафтали. Войдя, мы обнаружили, что в Прешове более шестидесяти евреев, а не лишь восемь. Когда слухи о нашем прибытии стали распространяться, за время, прошедшее с мая до нашего приезда в июле, в городе начали пробиваться все еврейские ростки, при коммунистах прятавшиеся под землей. Один вдруг узнал, что он еврей, другой стал искать еврейских родственников, и так в синагоге собрались десятки евреев. «Вы даже не представляете, что здесь происходит, – с воодушевлением сказал доктор Ландау, – это поистине так, как если бы мертвые восстали из пепла».

Десятки евреев, потерянные братья, окружали, в основном, Нафтали, старшего из нас. Они обменивались с ним воспоминаниями и задавали вопросы. Их отношение ко мне было иным и несколько обескураживало меня. Они смотрели на меня, как смотрят на мезузу. В своем длинном черном кафтане и высокой черной шляпе – подобного одеяния здесь не видели десятки лет – я казался им странным. Они не осмеливались подойти и прикоснуться ко мне, а только, раскрыв рты, рассматривали меня издалека.

Однако я недолго оставался главной аттракцией. Внезапно я ощутил, что все отвернулись от меня. Вся взгляды обратились к двери, в которую вошел человек в летах, один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел: высокий, широкоплечий, с прекрасными чертами лица и гривой белых волос, венчавшей его голову, на которой была большая черная кипа из бархата – черное на белом. «Герр профессор, – поразились все окружающие, – что вы здесь делаете?» Оказалось, что это самый известный в Словакии кардиолог, возглавлявший отделение сердечно-сосудистых заболеваний в центральной больнице столицы страны Братиславы, бывшего Прессбурга – города Хатам-Софера¹. Он жил в Прешове, но никто из горожан даже не подозревал, что он еврей.

¹ Моше Шрайбер, или Софер (1762–1839) – крупнейший законоучитель и галахический авторитет первой половины XIX столетия, один из людей, сформировавших облик современного иудаизма. Известен под именем Хатам-Софер («писец подписал») по названию самого важного своего труда.

Профессор, знавший большинство собравшихся, с глубоким поклоном пожал руку Нафтали и мне и поведал нам поучительную историю своей жизни. Он родился в Прешове. Последний раз он был в синагоге шестьдесят лет назад, на свою бар-мицву. «Это было прямо перед окончанием срока службы оберраббинера Лау, – вспоминал он. – Когда оберраббинер говорил со мной в субботу утром, он стоял вот здесь, возле этой кафедры. Я стоял справа от него. Я помню всю его речь, почти дословно, как будто он произнес ее мгновение назад.

Я учился в университете в Братиславе, когда разразилась война, – продолжал он. – Я скрылся, а моему отцу не удалось спастись. Он погиб в Треблинке вместе с оберраббинером Лау. Затем я сделал карьеру в медицине, но все эти годы никак не обнаруживал того факта, что я еврей. Даже дома у меня нет ничего еврейского. Единственный, кто знал о моем еврействе, был доктор Ландау. Два месяца назад он позвонил мне и рассказал о телефонном разговоре с сыном оберраббинера Лау, трое из сыновей которого остались живы. Он сказал, что двое из них будут здесь сегодня, в шесть часов вечера. И у меня не было ни малейшего сомнения в том, что в назначенный день и час я окажусь в синагоге, порог которой моя нога не переступала шестьдесят лет. Признательность, которую я испытываю к покойному раввину Лау, слова которого отдаются в моих ушах все эти шестьдесят лет, сегодня я могу выразить его сыновьям.

Две вещи всю жизнь напоминали мне о моем происхождении: его речь на моей бар-мицве и черная ермолка моего отца, пролежавшая в ящике стола все эти годы. Я сказал себе, что когда приду в синагогу, на голове у меня будет черная бархатная ермолка, полученная мною в наследство от папы. И если есть мир грядущий и есть рай, а он, конечно же, там, то теперь он доволен своим сыном, не оторвавшимся от корней и надевшим ермолку по дороге в синагогу».

Эта синагога была потрясающе красива. Потолок ее покрывала роспись на сюжеты двух сновидений Йосефа: братья поклоняются отроку Йосефу, а все колена, все братья вяжут в поле снопы. «И вот, встал мой столп и стал прямо, и вот окружают его ваши снопы, и кланяются они моему снопу»¹. Конечно, роспись сводов в синагогах – вещь крайне редкая, однако запрета на нее нет, если в ней не присутствует изображение человека, а только – как, например, здесь – снопы и небесное воинство. У входа в синагогу установлена мемориальная доска с текстом на немецком и словацком языках и на иврите в память погибших в Катастрофе жителей города, прибывших в Треблинку в тот самый день, когда туда привезли

¹ Берешит, 37:7.

и моего отца с евреями Пётркува. и мархешвана 5703 года (22 октября 1942) на платформу станции Треблинка один за другим выходили из вагонов евреи Пётркува и евреи Прешова – у них не было общего языка, но нечто общее у них было: раввин Моше Хаим Лау. После 5696 (1936) года, когда отец покинул Прешов, еврейская община города больше не выбирала себе раввина, вплоть до сего дня.

В богато украшенной синагоге Прешова доктор Ландау показал нам кафедру, за которой обычно, произнося проповедь, стоял отец. Бархатное покрывало, оставшееся с тех времен, по-прежнему было расстелено на ней, и доктор Ландау чистил его каждую неделю. У восточной стены, недалеко от кафедры, все еще стоит кожаное кресло, в котором любил сидеть отец, а рядом с ним три кресла поменьше, также обитых кожей. В них, сказал нам доктор Ландау, обычно сидели трое сыновей раввина: Шико, Толек и Милек. Когда перед нами открылись эти обрывочные картины реальной жизни моего отца и моей семьи, мы на время лишились дара речи.

Молчание нарушил доктор Ландау. Он напомнил Нафтали данное тем в их первом телефонном разговоре обещание: что его брат, главный раввин Тель-Авива, то есть я, произнесу в субботу «Хазон» речь, стоя за кафедрой, с которой обычно выступал мой папа, последний раввин Прешова. Словно в промежутке и не было потопа.

В своей речи я говорил о Катастрофе и о 9-м ава. Я начал с замечательного рассказа, приводимого в мидраше «Эйха рабати»¹ – в одном из вводных рассказов к этому толкованию свитка плачей о разрушении Храма, приписываемого пророку Йирмиягу. Когда наступил день 9-го ава, и Невухаднецар велел своему начальнику над палачами Невузарадану² поджечь Храм, и кровь многих из сынов Сиона и Иерусалима лилась как вода, и не было человека, который похоронил бы их, – в тот день пророк Йирмиягу, предвещавший разрушение, отправился к Гробнице Рахели в Вифлееме и к Меарат га-Махпела (Пещере Праотцев) в Хевроне, дабы пробудить ото сна вечно спящих, чтобы они «призвали милость к своим сынам и дочерям, усекаемым мечом и отправляемым в изгнание в час, когда пламя пожирает их дом», как это описывается в мидраше. Мидраш рассказывает, как пророк пробудил спящих от их глубокого сна и, взяв их за руки, поведал им о том, что происходило в это самое время. Праотец Аврагам первым обратился к Пресвятому, да будет благословен,

¹ Талмудический комментарий к свитку Эйха, в русской традиции известному под названием «Плач Иеремии».

² См. Млахим II, 25:8–9; Йирмия, 52:30.

с риторическим вопросом: «Владыка мира, сыны мои где?» Слово «где» подразумевало здесь вопрос не об их местонахождении, а о том, почему это с ними произошло. И Бог ответил ему: «Твои сыны прегрешили». Авраѓам продолжал: «Кто же свидетельствует о них? Неужто Судья над всею землей не содеет суда?!» Совсем как тогда, когда он молил о Содоме и Гоморре «Хула для Тебя сие! Неужто Судья над всею землей не содеет суда?». Пресвятой, да будет благословен, отвечал: «22 буквы алфавита, составляющие все книги Торы, придут и засвидетельствуют, что сыны твои прегрешили против всего, что написано в ней». 22 буквы поднимаются на свидетельскую трибуну. Первой выходит буква «алеф» и хочет дать показания. Прежде чем она успела открыть рот, подошел к ней праотец Авраѓам и с насмешкой стал спрашивать, как ей не стыдно: ведь десять заповедей открываются заповедью «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства»². «Кто принял десять заповедей? Кто повиновался велению этих десяти заповедей? Мои дети! Сегодня же, когда они так нуждаются в добром слове, ты платишь им черной неблагодарностью за добро и являешься обвинять их?» Устыдилась буква «алеф» и отошла в сторону. Ее место заняла буква «бет» и только открыла рот, чтобы давать показания, как праотец Авраѓам прервал ее и сказал: «Бет, стыд тебе и позор! Вся Тора начинается с тебя: «Вначале сотворил Бог небо и землю»³. Бог представил свою Тору всем народам и языкам в мире и спросил, кто желает получить ее. И все народы спросили, что в ней написано, и стали ее проверять: стоит ли или нет, легко ли или тяжело это, желательно ли или не очень. Только мои дети не стали спрашивать, что в ней написано, но предварили понимание действием⁴. Сегодня же они нуждаются в слове ободрения, в хлопке по плечу, в свидетельстве в свою пользу, ты же, буква «бет», явилась свидетельствовать против них? Стыд и позор!» Устыдилась буква «бет» и отошла в сторону. Так поступил праотец Авраѓам и со всеми остальными буквами Торы, заставив их тем самым подавить свой свидетельский порыв.

Моше Рабейну в словах прощания с народом Израиля в заключении книги Дварим описывает последние дни мира: «И не восстал более

¹ Берешит, 18:25.

² Шмот, 20:2. В оригинале первое слово заповеди – «анохи» (я) – начинается с буквы «алеф».

³ Берешит, 1:1. Первое слово стиха – «берешит» (вначале) – начинается с буквы «бет».

⁴ См. Шмот, 24:7. Стих гласит: «И взял он книгу завета, и прочитал во услышание народа, и сказали они: Все, что изрек Господь, исполним и услышим».

пророк в Израиле, как Моше, которого Господь знал лицом к лицу»¹. И продолжает: «И будет: когда постигнут его – народ Израиля – многие злоключения и беды, то отзовется песнь эта пред ними свидетельством, ибо не забудется она устами потомства его»². Я пересказал собравшимся в синагоге в Прешове толкование этих стихов, которое дал мой тесть, раввин Френкель, да будет благословенна память праведника. Согласно этому толкованию, Моше, по сути, сказал следующее: «Перед моим внутренним взором стоит картина, отличная от той, какую видел праотец Аврагам. Он просил у Торы, чтобы она не стала свидетельствовать, я же – напротив – прошу и умоляю ее ответить. Пусть эта песнь – Тора, песнь нашей жизни – ответит и засвидетельствует пред Пресвятым, да будет благословен, что не забылась она устами потомства его. Когда евреи убегали в лес, чтобы там протрубить в шофар, не упустив тем самым исполнение заповеди, данной на этот день, когда евреи были готовы в течение долгих дней отказываться от хлеба, дабы запастись в обмен на него картошкой на праздник Песах, когда евреи собирали кусочки маргарина и растапливали его над горячим чаем в жестяной кружке, чтобы налить в полые пуговицы, оторванные от полосатых арестантских роб, и зажечь таким образом ханукальные свечи, фитили для которых делались из скрученных ниток, вырванных из рукавов тех же полосатых роб, – неужто после всего этого надо просить Тору промолчать?» И песнь эта ответила ему, дав свои свидетельские показания. Что же она сказала? Что не была забыта устами потомства его даже в самые тяжелые дни.

Это толкование моего тестя, раввина Френкеля, я пересказал в синагоге моего отца в Прешове, и было в этом что-то вроде завершения полного круга и победного возвращения к исходной точке. В синагоге моего отца, в которой мы собрались в Прешове, я связал свои слова с темой кануна 9-го ава, даты нашего собрания: «Сегодня мы читаем о наших отцах и матерях и об их молитвах, и читаем на этой неделе свиток Эйха. Мы смотрим на пустые ряды кресел в синагоге Прешова и хорошо помним, кто проповедовал с этой кафедры до меня, а потом со свитком Торы в руках был привезен в Треблинку – «ибо не забудется» – и покинул мог, не выпуская его из рук, и вместе с вашей общиной, людьми Прешова, и своей общиной, людьми Пётркува, прочитал «Шма Исраэль» и произнес слова покаяния, закончив их провозглашением «Да возвеличится и освятится великое имя Его». И если так, то понимаете ли вы теперь, что означает «вечность Израиля»? И что значит утверждение «Народ Израиля жив»?

¹ Дварим, 34:10.

² Там, 31:21.

Свою речь я решил закончить рассказом об Урке Нахальнике¹, который погиб, прыгнув – чтобы спасти от огня свитки Торы – в охваченную пламенем синагогу в городке Отвоцке, что в Польше. В канун 9-го ава, в городе Прешов, в синагоге моего отца, да будет благословенна память праведника, эта история приобретала особое значение и наполнялась глубинным смыслом. Наше присутствие – мое и Нафтали, сыновей раввина еврейской общины Прешова, – в синагоге нашего отца также олицетворяло собой вечность еврейского народа.

В земле живых

«Евреи, а вы заплатили за газ, которым пользовались в печах?» – эту холодящую кровь фразу я ношу в суме своей памяти многие десятилетия. В месяце ав 5742 года (июль 1982-го), примерно через месяц после начала Ливанской войны, я был приглашен в Австралию, чтобы выступить с серией лекций в еврейских общинах Мельбурна и Сиднея, где я мог встретиться с бывшими узниками Бухенвальда, которых не видел со дня освобождения. Я обратил свои стопы в Землю Израиля, они же – за неимением выбора – в Австралию. На субботнюю трапезу я был приглашен к раввину Ицхаку Грюнеру, проживающему в еврейском квартале в районе Ист-Сент-Килда в Мельбурне. По завершении трапезы я – в сопровождении адвоката Хеши Купера, хабадника, – пошел в гостиницу, в которой остановился. Наши одежды – черные шляпы и долгополые черные капоты – выдавали нашу принадлежность к еврейству. Мы стояли в центре города, ожидая зеленого света на светофоре, когда у пешеходного перехода остановилась роскошная машина, в которой сидело два человека лет сорока, с иголки одетых и при галстуках. Окно открылось, и один из них прокричал в нашу сторону: «Евреи, а вы заплатили за газ, которым пользовались в печах?» – и машина умчалась. Мы стояли в молчании. Шок. Потрясение. Услышать такую страшную фразу в Австралии, на краю земли, в 5742 (1982) году? Это ускользало от понимания. Я посмотрел на Хеши Купера, родившегося в Австралии, и мой взгляд выражал мольбу об объяснении. Купер молчал. Я спросил, правильно ли я понял слова, и он утвердительно

¹ Ицхак Барух Фарбарович (1897–1939). Происходил из обеспеченной семьи и с успехом учился в йешиве, затем сбился с пути и сделался преступником. Впоследствии стал популярным автором детективов на идише, которые писал под «говорящим» псевдонимом Урке Нахальник.

кинул головой. Я спросил, что он делает в таком месте, и он ответил: «Я и сам не раз задавал себе этот вопрос». Но постарался сгладить впечатление, сказав, что это – исключительный случай. Я не мог принять его объяснение и указал адвокату Куперу на то, что эти двое были примерно моих лет, а значит, были детьми во время Второй мировой войны, когда нас вырезали в Европе. И если в Австралии, где немногочисленные евреи живут в мире и согласии с местными уроженцами, вдруг поднимается молодой человек и говорит, что мы заплатили недостаточно, и что евреи все еще должны нееврейскому миру за потраченный на них газ, то единственный вывод, к которому можно прийти, заключается в том, что ни одно место в мире, кроме Земли Израиля, не может быть нашим домом. Эту историю, не дававшую мне покоя, я рассказал во время одного из «Маршей жизни» в Освенциме, на который прибыли представители 45 стран. В заключение я сказал с волнением, которое не мог подавить: «На этой проклятой земле, ставшей самым большим погостом в истории человечества, были убиты лучшие сыны нашего народа. Но до сих пор находятся люди, спрашивающие нас, оплатили ли мы счет за газ, которым нас душили. И подобные вопросы неумолимо свидетельствуют о том, что юдофобия не исчезла из этого мира».

* * *

Однажды, когда я служил районным раввином в северном Тель-Авиве, а мой тесть – раввин Ицхак Йедидья Френкель – районным раввином в южной части города, он попросил меня, чтобы я отвез его на моей машине проведать большого поэта Ицика Мангера¹. От раввина Френкеля я услышал, что величайший из идишских поэтов – писатель, драматург, человек высокого духа – лежит в больнице «Герцфельд» в Гедере, и состояние его настолько серьезно, что опасаются, что он уже не выйдет оттуда. Раввин Френкель пожелал исполнить заповедь посещения больных, навестив того, кем уже почти никто не интересовался, одинокого человека в конце жизненного пути.

Итак, мы поехали к поэту Ицику Мангеру. Зашли в полутемную палату, в которой висел дым. На пороге нам в нос ударил запах алкоголя, такой резкий, что трудно было дышать. Раввин Френкель, мгновенно оценив положение дел, распахнул окно палаты, и ворвавшийся снаружи порыв свежего осеннего воздуха развеял заполнявший палату «туман». Наконец можно

¹ Ицхак (Ицик) Мангер (1901–1969) – выдающийся еврейский поэт и драматург. Писал на идише.

было вздохнуть и отчетливо увидеть все детали происходящего. На единственной в палате койке лежал невысокий человек, изможденный и худой, как иссушенная куриная шейка, глаза его были закрыты, и казалось, что дыхание жизни покинуло его. Встав по обе стороны койки, мы с раввином Френкелем долго всматривались в больного. Спустя минуту я поднял взгляд на раввина Френкеля, будто спрашивая, что мы здесь делаем, и опасаясь, как бы Ицик Мангер не очнулся вдруг и не перепугался из-за нашего присутствия; главным образом, из-за вида раввина Френкеля, напоминавшего своим обликом библейского патриарха. Мало-помалу Мангер приоткрыл один глаз, затем второй. Его маленькие – но крайне пронизательные – глазки мгновенно опознали раввина Френкеля. Первая фраза, сказанная им на идише с варшавским выговором, была: «Шолом-алеихем, раввин Френкель. Чтобы у вас не было жалоб или досады на меня, чтобы не было у вас ощущения, что что-то вышло не так, чтобы вы не жаловались. Я – Ноах после потопа». Раввин Френкель посмотрел на меня, а я – на него, и у нас обоих возникло ощущение, что этот человек пребывает в мире грез. Может, потому что напился, а возможно, на ясность его рассудка повлияла болезнь. Вся его речь выходила за рамки общепринятого, так как Мангер не стал говорить обычных слов вежливости или спрашивать о благополучии посетителей. Этот одинокий больной человек испытывал сильнейшую потребность поговорить с кем-нибудь, что он и делал. Мы молчали, а он продолжал: «Знаете, раввин Френкель, мне с малых лет не давал покоя один вопрос. Вот, ведь сказано: «С Богом ходил Ноах»¹, и он был единственным, кого Бог позвал в ковчег, чтобы спасти от потопы. Бог говорит ему: «Ибо тебя увидел я праведным предо Мною в поколении этом»². Тора тоже свидетельствует о нем: «Вот житие Ноаха: Ноах был человеком праведным и непорочным в поколениях своих»³. Были ли еще люди, к которым Владыка мира обращался бы так, так свидетельствовал о них и восхвалял их? Я знаю, что есть такие, кто толкует этот стих в осуждение Ноаха: мол, только в поколениях своих он был праведником, и праведность его была установлена относительно поколения потопы. Живи он в поколении праотца Авраама, и был бы никем. Всегда найдутся люди, которые скажут, что ты праведник в этом поколении, а в других поколениях ты бы был никто. Но выдержать в таком поколении и быть праведником? Чтобы сам Бог сказал о тебе, что ты праведник, разве это пустяк? Ноах был исключительной в своем роде личностью, почему Бог и выбрал его, чтобы заново

¹ Берешит, 6:9.

² Там, 7:1.

³ Там, 6:9.

построить весь мир. У первого человека было три сына: Каин, Гевель и Шет. Через десять поколений явился Ноах, у которого тоже было три сына: Шем, Хам и Йефет, он-то и положил миру новое начало. Коли так, Ноах действительно был великий человек. А что случилось дальше? «И начал Ноах, муж земли, и насадил виноградник. И выпил он от вина, и опьянел, и обнажился посреди шатра своего»¹, – написано в нашей святой Торе. То есть Ноах выставил в шатре свою наготу на всеобщее обозрение». Большой Мангер, истощенный и высохший, продолжал неотступно развивать эту тему, словно черпая энергию из какого-то внутреннего источника: «Если так, то как это возможно: чтобы праведник был пьяницей? Я всегда испытывал сомнения по этому поводу. Но теперь я понимаю. Я дожид до такого возраста и дошел до такого состояния, что понимаю Ноаха. Человек вошел в ковчег с женой, тремя сыновьями и их женами. Но когда вернулся, он стал искать свой штетл – свое местечко – и ничего не нашел. Он хотел пойти в свой *штибл*, в свой бейт-мидраш, в свою синагогу, а от них и следа не осталось. Где местечковая лавочка, где письмоноша, которого он знал, где извозчик? Никого уже больше нет. Нет дома, улицы, квартала, друзей – ни единой живой души. «И стер Он все сущее»². Чтобы забыть об утрате своего мира и о своем одиночестве, «и выпил он от вина, и опьянел», – слабым голосом пояснил Мангер. Но внезапно голос его окреп. «Я Ноах после потопа», – возгласил Ицик Мангер с больничной койки в больнице «Герцфельд» в Гедере и стал бросать миру в лицо свои обвинения: «Где Варшава? Где Налевки?» И продолжил перечисление хасидских дворов и разных йешив в Варшаве, имен раввинов, которых знал, и членов своей семьи. «Никого из них не осталось в этом мире. Так пусть раввин Френкель извинит меня, если я, бывает, немного выпью, чтобы позабыть этот ужас». Это был Ицик Мангер, величайший идишский поэт, один из самых плодовитых драматургов, потерявший в Катастрофе всю семью и на склоне лет приехавший в Израиль одиноким бобылем. Когда он только приехал, его приняли в Израиле с царскими почестями, однако со временем звезда его все больше угасала, число его читателей и почитателей еще с польских времен уменьшалось, так что, в конце концов, их почти и вовсе не осталось. Лишь единицы по-прежнему ценили его талант и его творчество. Такова была судьба поэта и судьба идиша в целом. Я не сужу его за его слова и не критикую за сделанный им выбор. В моих глазах Ицик Мангер – пример того, от чего предостерегала Бат-Шева своего сына Шломо, в 31-й главе книги Мишлей: «Не царям, Лемуэль, – «Лемуэль» – одно из имен Шломо – Ш-ломо-эль, – не

¹ Там, 20:9.

² Там, 7:23.

царям пить вино и не князьям – пьянящую влагу»¹. В отношении питания Писание предлагает альтернативную возможность в продолжении этой главы, а именно в той части, которая начинается словами «Кто найдет жену добродетельную»². Я не сужу Ицика Мангера, но я и не забываю тех людей, которые перенесли страшные страдания во время войны, однако выбрали совершенно другой путь в жизни после нее. Именно пережитые ими ужасы подвигли их к тому, чтобы использовать каждый миг, добиваясь свершений и полной самореализации в жизни. Одиночество отнюдь не всегда должно быть предлогом для депрессии, не раз оно становилось стимулом в борьбе за успех, порождало в людях стремление все успеть и завершить, чтобы восполнить потерянное в те страшные годы время, как это описано песнопевцем царем Давидом, отцом Шломо, в 90-м Псалме: «Возвесели нас по числу дней, в кои Ты заставил нас страдать, лет, когда видели мы бедствие»³.

* * *

В бытность мою Главным раввином Израиля я был приглашен президентом Тель-Авивского университета на академическое заседание с участием почетного гостя из Франции: кардинала Люстиже⁴. Заседание было назначено на канун Дня Катастрофы, и мое выступление должно было состояться в восемь часов вечера, время, когда в «Яд ва-Шеме» проходит мемориальная церемония. Я спросил президента университета, почему он проводит заседание параллельно государственной церемонии в «Яд ва-Шеме». Он объяснил, что добиться согласия Люстиже приехать в Израиль уже само по себе явилось значительным достижением, а кроме того, гость пожелал выступить на тему «Место Бога в Катастрофе» именно в час проведения государственной церемонии в «Яд ва-Шеме». Также он выразил желание, чтобы я был его оппонентом. Я отказался.

Люстиже – еврей-выкrest, чья мать погибла в Освенциме. Будучи шестнадцатилетним отроду, по свободному выбору пошел в церковь в Лионе и принял крещение. Агарон Лустигер превратился в Жана-Мари Люстиже.

Я отказался принять участие в этом коллоквиуме в Тель-Авивском университете и протянуть руку этому человеку, который будет приведен в при-

¹ Мишлей, 31:4.

² Там, 31:10.

³ Тегилим, 90:15.

⁴ Аарон-Жан-Мари Люстиже (имя при рождении Агарон Лустигер) (1926–2007) – французский кардинал. Родился в еврейской семье выходцев из Польши и в возрасте 13 с половиной лет принял крещение в 1940 году, скрываясь от нацистов в христианской семье в Орлеане.

мер молодым евреям-студентам, я полагал, что Тель-Авивский университет мог найти другой способ выразить свою солидарность с темой Катастрофы. Как гражданин Тель-Авива, гражданин Государства Израиль вообще и просто как еврей я был до глубины души возмущен идеей пригласить Люстиже в этот день.

В речи, которую я произнес в том году в Хоральной синагоге Иерусалима перед поминальной молитвой Изкор, я дал выход своей реакции, сказав, что Гитлер предоставил нам шесть миллионов причин для произнесения Кадиша по мученикам Катастрофы, путь же Люстиже ведет к тому, что в мире не останется ни одного человека, который мог бы сказать Кадиш. Он бросил свой народ, когда для того наступили самые тяжелые и темные времена во всей его истории, когда народ более всего нуждался в поддержке и ободрении. Он дезертировал с передовой линии борьбы за самое существование еврейства. Кардинал Люстиже не только оставил «Шулхан арух» и отказался от еврейского образа жизни, сам его выбор отказа от брака и создания семьи неминуемо ведет к тому, что в следующем поколении не останется ни одного человека, который мог бы сказать Кадиш.

Я знаю, что в дни годовщины смерти его отца и матери кардинал Люстиже снимает кардинальскую сутану, надевает обычный костюм и шляпу, идет в синагогу в Париже и произносит Кадиш. Я не сужу его. Есть Создатель мира, судия над всей землей, ему и творить суд. Но я осуждаю инициатора извращенной идеи представить Люстиже как модель для подражания.

* * *

В моей памяти запечатлена другая история, начало которой было похожим, а конец – совершенно противоположным.

Это история дочери раввина, забеременевшей после войны от парня-нееврея и отдавшей своего новорожденного ребенка в католический монастырь. Сама она полностью порвала с еврейством. Молодой раввин, ученик ее отца, пытался по окончании войны связаться с ней, чтобы узнать о судьбе ее отца, его наставника, однако она предпочла не отвечать ему. Тогда он решил прийти прямо к ней домой. Увидев его лицо, она захлопнула перед ним дверь. Он не отступил. Открыв дверь во второй раз, она рассерженно выпалила: «У меня с вами нет ничего общего, я начинаю жизнь с чистого листа». Он попросил стакан воды. Женщина опустила голову и пригласила его зайти. Еврей снова спросил, что стало с ее отцом, объяснив, что испытывает к нему почти сыновние чувства и считает себя обязанным перед его памятью. И женщина заговорила.

Однажды утром, после молитвы, ее отец, облаченный в талит и тфилин, сидел за столом и изучал Гемару. Вдруг раздались мощные удары в дверь, словно в нее бил дикарь. «Я открыла. В комнату ворвалось трое гестаповцев. Они бросили меня на пол. Я поднялась и побежала за ними, чтобы понять, что они хотят. Они вошли к папе в комнату. Он поднял на них глаза, и этот его взгляд я не забуду до конца жизни. Он смотрел на них, словно спрашивая, что они хотят от него, что он может для них сделать. Это был его последний взгляд. Один из них сдернул с плеча винтовку и со всей силы ударил папу прикладом по голове. На миг показалось, что головные тфилин вошли в мозг, расщепив его надвое. Кровь струей ударила из папиной головы. Его прекрасная белая борода мгновенно стала красной от крови, и он ничком упал на Гемару. Чего вы от меня хотите? Вы не понимаете мою горечь? Мою злость? Так у меня отняли моего отца».

Еврей сидел перед ней и плакал о своем наставнике, и дочь плакала вместе с ним. «Сестра моя, – сказал он ей, – ты даже не можешь представить, как я тебя понимаю. У меня тоже есть множество вопросов и ни одного ответа. Ни у одного человека из плоти и крови нет ответа на эти вопросы. «Сокрытое – Господу, богу нашему...», нам же положено исполнять «...открытое – нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнить все речи Учения этого»¹. У деда твоего ребенка есть только один внук, – продолжил он и пояснил: – сейчас в твоей власти принять историческое, судьбоносное решение. Если твой ребенок и дальше пойдет по пути, на котором стоит сейчас, ты отдашь победу в руки убийц твоего отца. Это как раз то, чего они хотели: затоптать тлеющий уголь, задуть еврейскую свечу, чтобы она уже никогда не горела. Однако если ребенок пойдет по стопам деда, то твой отец победит, а они потерпят поражение. Кто более достоин победы? Ключ в твоих руках. Хочешь завершить начатое ими? То, что они не доделали физически, ты хочешь довершить духовно? Или же твой отец одержит верх, и ребенок продолжит изучение листа Гемары, который отец не дочитал?» Так сказал ей этот еврей и вышел вон. Слова его как громом поразили ее. Она побежала за ним, села в его машину и сказала: «Я готова сейчас же забрать его оттуда». Но поставила условие: «Если ты возьмешь на себя заботу о его воспитании. У меня нет никого, кто бы мог это сделать». Он согласился, но поставил свое условие: мать должна сопровождать его на этом пути, так чтобы резкий переход не причинил мальчику вреда. «Ты приблизишь его к себе, я же приближусь к нему через тебя», – предложил он.

Сегодня этот мальчик возглавляет йешиву в Иерусалиме. Он единственный потомок того старого раввина из Варшавы.

¹ Дварим, 29:28.

* * *

Безымянный человек из Варшавы, именем которого не назовут улиц, один из тех, чья жизнь – залог продолжения существования еврейства. Путь покойного Ицика Мангера был попыткой забыть прошлое и не обращать внимания на любые напоминания о нем, дабы приглушить чудовищную боль. Путь еврея-кардинала, конечно же, не обещает продолжения существования народа. Наш путь, путь выживших в Катастрофе, должен обеспечить передачу будущим поколениям факела еврейского наследия, дабы он никогда не угас. В духе стиха из псалма царя Давида: «Ходить буду пред Господом в земле живых»¹.

Примером передачи факела служит, в моих глазах, история ребецн Циля Сороцкин, да будет благословенна память праведницы, тетки моего зятя. Она была воспитателем Божьей милостью, одной из лучших, кого когда-либо порождало движение «Бейт-Яаков». Она была учительницей, воспитательницей, руководила другими учительницами, но главное – она была выдающейся личностью. Ребецн, сама из выживших в Катастрофе, рассказывала моей дочери Мири: «Я плакала только один раз за все шесть лет войны. Я была в самых страшных лагерях, потеряла всю свою семью, осталась одна в мире, была сломлена духовно и физически – и не плакала. Вернулась в наше местечко и не нашла там ни единой живой души – и по-прежнему не плакала». Так рассказывала ребецн Циля Сороцкин. «Мне сказали: «Поезжай в Лодзь, может, там отыщешь друга или знакомого». Совершенно обессиленная, я добралась до Лодзи. Мне показали место, где собираются евреи. Из последних сил я шла в час сумерек по улице, как вдруг – из одного окна – я услышала знакомые звуки. Завороженная, как если бы кто-то звал меня, я открыла калитку, вошла во двор старинного дома и отворила дверь. В полумраке мои глаза различили ряд детей с пейсами, сидевших по обе стороны длинного стола, во главе которого был бородастый еврей в кепке с козырьком. И дети вслух, напевно, разучивали алфавит. Больше я ничего не помню... Я очнулась на полу комнаты, на меня лилась вода. Меламед, что пытался привести меня в чувство, озабоченно спросил: «Что случилось? Я могу помочь? Садись, может, съешь что-нибудь? Кто ты? Откуда?» Понемногу я пришла в себя и ответила ему: «Это первый раз, что я плачу за последние шесть лет. Но не от боли – от радости». Я много скиталась, пока добралась до Лодзи, и видела Польшу, какой она была тогда. «И если после всего, что мы пережили, – так я сказала меламеду – здесь сидят маленькие дети с пейсиками, и старый меламед разучивает с ними алфавит, то нас

¹ Теѓилим, 116:9.

никто не сможет победить. Только дайте мне успокоиться, а такя в полном порядке. Это слезы счастья, а не боли».

* * *

Одно из благословений молитвы *Шмоне-эсре*, которую мы читаем три раза в день, посвящено собиранию изгнанников. «Труби в великий рог о свободе нашей; и подними знамя собирания рассеянного народа; и собери нас всех вместе с четырех концов света. Благословен Ты, Господь, собирающий изгнанников народа своего, Израиля». Следующая фраза в молитве гласит: «Верни нам судей, подобных тем, какие судили прежде, и советников, какие были раньше, и да будем мы избавлены от скорби и печали». В этих двух фразах подняты совершенно разные темы, казалось бы, никак не связанные друг с другом, но – только на первый взгляд. Между ними существует прочнейшая связь. Во время собирания изгнанников нам следует молиться о том, чтобы у нас были судьи, подобные тем, какие судили прежде, и советники, какие были раньше, дабы мы были избавлены от скорби и печали. В этом сосредоточена вся проблематичность, которую таит в себе собирание изгнанников. Мы приезжали в страну: дети-сироты, осколки больших семей, с разбитыми и поломанными судьбами, переполненные нелегкими вопросами. Многие не знали, кто есть кто. Кто у человека отец, кто мать, жив ли муж. Вдруг женщина не вдова, а мужняя жена? Или человек женат? Может, у человека, собирающегося жениться, осталась жена, а он не знает, что она спаслась из ада в каком-нибудь монастыре или глухой польской деревне? И тем самым он нарушит запрет Рабену Гершома? Моя волна репатриации, как и всякая другая волна, несла с собой множество специфических для нее проблем. Мы – поколение собирания рассеянного народа Его, Израиля, приехавшего из 104 разрозненных общин и отчаянно нуждающегося в «возвращении судей, подобных тем, какие судили прежде». Двумя из этих судей, посланных Пресвятым, да будет благословен, в нужное время и место, были любавичский ребе и раввин Шах, два мира в духовном руководстве, совершенно не схожие по своим качествам и мировоззрению, но оба – титаны духа в нашем поколении. От каждого из них я старался взять самое лучшее. В одном ряду с ними стоит рабби Овадия Йосеф, являющий собой – с моей точки зрения – пример возвращения былого величия, выразившегося в его настойчивом стремлении дать выпрямиться в полный рост сефардскому еврейству с его величайшими светилами. Я не раз советовался с ним по самым разным возникавшим вопросам, как в области обязанностей раввина, так и в религиозном судействе, и он всегда вооружал меня ответами, основанными на источниках, знании и чистом и ясном толковании.

Рабби Овадия Йосеф также очень чуткий человек. Однажды он попросил у меня книгу моего брата Нафтали «Народ как лев», в первой части которой описывается наша с ним история в период Катастрофы. «Может быть, он согласится дать мне ее в обмен на одну из моих книг, я был бы очень рад», – сказал мне рабби Овадия. Нафтали приехал к нему домой и передал ему книгу с посвящением.

Какое-то время спустя я был вместе с ним на заповедной трапезе по поводу внесения свитка Торы в его бейт-мидраш «Йехаве даат». «Я каждый день внимательно читаю книгу «Народ как лев», – сказал мне рабби Овадия, – но у меня не выходит читать больше одной страницы за раз. Просто глаза у меня застилают слезы. Ваша история во время Катастрофы крайне трогает меня». И он попросил передать свое признание моему брату. Это явилось для меня еще одним свидетельством того, что тема Катастрофы занимает не только европейских евреев. Эта тема принадлежит всей общности Израиля, пуская ростки в сердце каждого человека, сохранившего в себе искру человечности.

* * *

Наша история в Земле Израиля начинается со стиха: «И сказал Господь Авраму: Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе»¹. И уже в той же главе, после того, как он получил великие обещания: «Потомству твоему дам эту землю»², описывается, как в этой земле наступил голод, а Аврагам был вынужден взять в руку посох странствий и спуститься из-за сильного голода в Египет. Дойдя до границы, Аврагам говорит Саре: «Вот, знаю я, что жена прекрасная видом ты. И будет: когда увидят тебя египтяне... и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи им, прошу тебя, что сестра ты мне... и жива будет душа моя благодаря тебе»³. Аврагам, прибывший за провиантом, но испугавшийся, что стражи границы убьют его из-за Сары, по сути дела, сменил личность и ушел в подполье. Он действовал так, как поступают в чреватых опасностью для жизни ситуациях, когда идут на все, чтобы спастись и выжить. Такова еврейская ментальность, знакомая нам по разным периодам нашей истории.

В одном из мидрашей рассказывается, что Аврагам спрятал Сару в ящике, и этот мидраш всегда напоминает мне самого себя. Ведь и меня мой брат Нафтали протащил с собой в заплечном мешке, где я чуть не задохнулся.

¹ Берешит, 12:1.

² Там, 12:7.

³ Там, 12:11–13.

А зачем он это сделал, если не из-за того же стиха: «Иди с земли твоей... на землю, которую укажу тебе»?

Далее, в 14-й главе книги Берешит, Авраѓам уже вернулся на землю Израиля и поселился в Кирьят-Арбе, и тут – случилась мировая война: четыре царя во главе с Кедорлаомером победили пятерых царей местности Кикар и увели в плен жителей Содома и Гоморры, среди которых был и Лот, племянник Авраѓама. «И пришел беглец, и известил Аврама-еврея... что взят в плен его брат... и снарядил он питомцев своих, рожденных в доме его, насчитывавших 318 человек, ... и преследовал их до Дана, ...что по левую руку от Дамаска»¹. За главу до этого, когда Авраѓам был немного моложе, он отнюдь не проявил себя бойцом и не защищал Сару своим телом, а тут вдруг он стал великим воином, преследовавшим врага от Кирьят-Арбы до Дана и освободившим всех пленников. Объяснение этой метаморфозе в личности Авраѓама просто и сводится к его географическому местопребыванию. Прежде он был в изгнании, а теперь у себя дома, на родине, на земле обетованной, отданной ему его Богом. Из всех этих стихов вытекает один-единственный вывод: будучи на чужбине, еврей не может проявиться во всей красоте и силе своей личности. «Иди с земли твоей... на землю, которую укажу тебе», и только там я смогу показать, кто ты есть на самом деле, Авраѓам. Только там ты сможешь проявить себя человеком, готовым на самопожертвование, способным на великие свершения, человеком, выпрямившимся во весь рост и твердо стоящим на ногах. В изгнании же у тебя нет выбора, ты должен скрываться, бежать, порой выдавать себя за другого, ибо там не твоя родина.

Командир подразделений, сражавшихся за Латрун, впоследствии начальник Генштаба ЦАХАЛа, Хаим Ласков, известный своим немногословием, сочными и яркими красками, тепло и трогательно описывал бойцов в Латруне, тех, кто прямо из лагерей уничтожения попал в самое пекло боев за независимость Государства Израиль. Ласков предпочел воспользоваться цитатой из плача Давида по Йеѓонану: «быстрее орлов, сильнее львов они были»². Выжившие в Катастрофе люди, о чьих семьях и друзьях говорили, что они, как скот, шли на бойню, сойдя по трапам кораблей, перевозивших нелегальных репатриантов, попадали на поля сражений в Латруне, Фалудже, Малькии и с великой доблестью обрушивались на позиции врага. Это были люди без удостоверения личности, без личного армейского номера или военного билета, однако у многих из них на руках были номера, которыми нацисты заклеили их плоть. Сотни

¹ Там, 14:13–15.

² Шмуэль II, 1:23.

таких людей, подобно Шалому Тепперу, павшему в боях за Фалуджу, не прошли ни курса молодого бойца, ни какой-либо другой военной подготовки на учебных базах ЦАХАЛа. Прямо с утлых суденышек нелегальной репатриации, вывезших их из долины смерти, они попадали на поля сражений, где получали команды от юных командиров взводов, даже не понимавших их языка. Но они были – «быстрее орлов, сильнее львов». Они воевали за свой, а не за чужой дом, за дом, без которого невозможно еврейское будущее. В войне за родину, бывшую их родиной, и за землю, бывшую их землей, они больше не чувствовали себя беженцами, а становились гордыми воинами. Здесь они точно не были подобны скоту, ведомому на бойню, в них не оставалось ничего от тупой покорности стада, но только огромная душевная сила, мужество и доблесть. Военные участки на кладбищах, надгробные памятники, рассеянные по всей стране, полны имен выживших в Катастрофе, кому суждено было жить на Земле Израиля считанные дни и чья кровь обильно полила эту землю. Таков был их вклад в строительство национального дома для еврейского народа. Это поистине чудесное явление.

* * *

Тогда другие ветры дули в молодой стране. Это был иной мир, в котором все было проникнуто духом взаимопомощи, отсутствия безразличия, сближения сердец. Хотя после Катастрофы поднимались нелюбимые вопросы, как, например, достаточно ли сделало еврейское население в Земле Израиля для спасения европейского еврейства, и на эти вопросы не всегда можно было получить удовлетворительный ответ, когда суденышки, заполненные беженцами, стали высаживать их на берега Кфар-Виткина, Нагари и Пальмахим, и было необходимо обеспечить им кров над головой, – все еврейское население страны взяло на себя исполнение этой задачи. Без министерства абсорбции и прочих государственных ведомств. Люди теснились в своей единственной комнате, давая место вновь прибывшим на все время, пока те как-нибудь не устроятся своими силами. Атмосфера в только что появившемся государстве была проникнута идеалами. Люди верили в справедливость выбранного пути. И поэтому парни, только вырвавшиеся из долины смерти, самоотверженно сражались за Землю Израиля, не задавая слишком много вопросов. Впервые за много сотен лет евреи, наконец, воевали за свой дом, флаг, независимость. Они воевали за самое жизнь. Никто не сражался ради личного успеха, трофеев или для того, чтобы увенчать себя лавровым венком или стать звездой победных реляций. Люди умели осознать смысл слов «война за жизнь», они точно знали, что есть борьба за выживание. И поэтому, по моему мнению, только

что прибывшие в страну беженцы Катастрофы воевали более упорно. В течение шести лет они лицом к лицу сталкивались в Европе со смертью и теперь всей душой желали того, чтобы это больше никогда не повторилось, ни для одного еврея, где бы он ни был. Они жаждали начать самостоятельную жизнь в своей стране. Я уверен, что это горевшее в их сердцах желание компенсировало недостаток боевого опыта, нехватку оружия и неумение им пользоваться. Это была героическая борьба, в которой люди черпали силы в тяжелейшем личном опыте, приобретенном ими вследствие всех выпавших на их долю испытаний. Мой брат Нафтали, описывая в своей книге период после нашей репатриации, рассказывает о том, как, будучи учеником йешивы в Петах-Тикве, он участвовал в ночных учениях Хаганы.

Я не могу служить примером человека, который, выжив в Катастрофе, должен был сам выбирать свой путь. Не я устанавливал, идти ли мне путем Ицика Мангера, напивавшегося до потери сознания, или путем Ка-Цетника, который выбрал затворничество, или путем Шалом Тейпера, героически погибшего на полях Фалуджи, или путем моего брата Нафтали, да продлятся его дни в отличие от них¹. Я почти родился здесь. Я приехал в страну восьми лет отроду, и с немногих детских фотографий, снятых до моей бар-мицвы, на меня смотрит мальчик с раздвинутым – с зубами или без них – в почти неизменной улыбке ртом, и видно, что ему хорошо. Мои воспоминания о религиозной школе в Кирьят-Шмуэле, неподалеку от Кирьят-Моцкина, где жили мои тетя и дядя, связаны с игрой в мраморные шарики, которые мы называли блорами, – красивые, разноцветные, круглые. Я помню, что в восьмом классе, в мой последний год в школе, я заметил, что на годовщину смерти кого-нибудь из близких, после молитвы в синагогу принято приносить вино и домашние пирожки, чтобы выпить за вознесение души покойного, прежде чем сотворить молитву *Тиккун* в его память. В тот год, в годовщину смерти моего отца, *пешвана*, вместо вина я решил принести все мои «блоры», чтобы раздать их детям, ибо меньше чем через год мне предстояло отправиться на учебу в йешиву, где, как я полагал, они мне больше не понадобятся. Выйдя на школьный двор на большой перемене, я подбросил в воздух пригоршни моих блор, как разбрасывают в синагогах конфеты, и все дети, с первого по восьмой класс, ринулись их подбирать. Это был момент, когда я ощутил глубокое личное удовлетворение. Вспоминая эту картину 56 лет спустя, я могу сказать, что это было исключительное событие. В то время сабр не занимали такие вещи, как *йорцайт* – годов-

¹ Нафтали Лау-Лави скончался, когда готовился перевод этой книги на русский язык, 6 декабря 2014 года, в возрасте 88 лет.

щина смерти близких, я же неизменно нес в себе память о моих погибших родителях. Юные сабры не знали, что значит быть круглым сиротой, но, несмотря на это, я был частью их общества, участвовал во всех дворовых играх и не меньше, чем они, был без ума от мраморных шариков, выкрашенных во все цвета радуги.

Я не могу быть примером борьбы за начало новой жизни, ибо мое будущее определяли другие люди, а не я сам. Нафтали решил, что я отправлюсь к дяде и тете, он и раввин Райнер убедили моего дядю отпустить меня на учебу в йешиву «Коль Тора». Только в возрасте 13 лет и двух месяцев, оказавшись в йешиве в Иерусалиме, я начал принимать самостоятельные решения. До тех пор мой мир формировался другими людьми, так что мне было легче, чем взрослым людям, выжившим в Катастрофе. Я ни разу не издал слова критики или неудовольствия. Моя реакция всегда подпадала под определение «исполним и услышим».

* * *

В 5748 (1988) году Авраѓам Ѓиршзон из Национального профсоюза трудящихся и доктор Шмуэль Розенман, мой ученик из мошава Хемед, предложили мне возглавить «Марш жизни» – шествие на расстояние в три километра, разделяющее лагеря Аушвиц и Биркенау, а затем в районе разбомбленных бункеров провести церемонию поминовения мучеников Катастрофы. Целью было показать самим себе и всему миру, что «наш твердый шаг еще докажет всем: мы здесь»¹. Речь, конечно, не шла о декларировании нашего стремления пребывать, упаси Господь, на польской земле, но о желании в этом месте показать еврейскую нестигаемость – нашу способность к выживанию наперекор всему. Именно в этом месте важно показать, что народ Израиля жив и продолжает цепь поколений.

Понятно, что я согласился. 700 подростков из Израиля и диаспоры приняли участие в этом мероприятии, наряду со «взрослыми» делегациями из Израиля и со всего мира. Израиль представляли тогдашний министр просвещения и культуры Ицхак Навон и депутаты Кнессета, сами пережившие Катастрофу: Дов Шилианский, Хайка Гросман, Ицхак Арци, Авраѓам Вердигер и Шевах Вайс. Писатель Эли Визель прибыл из Нью-Йорка, сопровождаемый послом Израиля в ООН Биньямином Нетанияѓу.

По плану у крематориев лагеря должна была состояться мемориальная церемония, на которой будут произнесены речи, зажжены факелы, после чего обладатель чудесного голоса, кантор Биньямин Муллер из Антвер-

¹ Последняя строка из «Гимна еврейских партизан», в 1943 году написанного на идише в Виленском гетто Ѓиршем Ѓликом (1922–1944).

пена, должен был провести поминовение и исполнить молитву «Эль мале рахамим». Но было чувство, что нам чего-то не хватает. Кто-то высказал мысль, что следует добавить инструментальную часть, и все с ним согласились, но ни у кого не было представления, кто будет играть, если это не было изначально предусмотрено программой мероприятия. Лихорадочные поиски принесли свои плоды. Накануне церемонии ко мне в комнату привели пятнадцатилетнего поляка из Варшавы, скрипача-виртуоза. Кто-то говорил, что он, возможно, еврейского происхождения. Мы попросили его исполнить что-нибудь, что подходило бы для евреев. Он забегал смычком по струнам скрипки, но все фрагменты, которые он исполнял, не подходили. Когда мы почти отчаялись, я спросил его, было ли это всем, что он знает. Паренек ответил, что именно в этот миг у него в голове всплыла еще одна мелодия, которую любила напевать ему бабушка, когда он был маленьким. Когда комната снова наполнилась звуками скрипки, от волнения нас охватила дрожь: это была мелодия песни «Пожар, горит местечко»¹. Скрипка польского юноши покорила наши сердца. Четыре человека, раскрыв рты, сидели в комнате. Мало-помалу мы присоединились к скрипачу, напевая слова песни на идише, однако сам он не знал ни единого слова из песни, а только мелодию. Послушав его игру, мы поняли, что в его душе есть еврейская искра. Выяснилось, что его бабушка была еврейкой, и он запомнил песню, которую она тихонько напевала ему вдали от чужих ушей, ведь дело было в коммунистической Польше. Я положил ему руку на плечо и попросил исполнить эту мелодию на следующий день, на выжженной земле лагеря Биркенау. Мысленно я уже видел эту картину: сотни юношей и девушек прибывают в лагерь с походными рюкзаками на плечах, это все выглядело, как ежегодный школьный поход. Когда же наш парень заиграет мелодию этой знакомой всем песни, это сразу же заставит всех сосредоточиться и настроит на нужный лад. Так и вышло: при первых звуках его скрипки отпала всякая необходимость в обычных призывах в микрофон «тихо, тихо».

700 молодых людей, сопровождаемых взрослыми со всего мира, начали с посещения музея Освенцима, в котором перед их глазами впервые предстали груды чемоданов, волос, талитов, принадлежавших когда-то живым людям, которых убили на этой земле. Господин Элизер Клунский из дирекции отдела образования при муниципалитете Тель-Авива протрубил в шофар под надписью "Arbeit macht frei", и марш начался. (В после-

¹ Песня, написанная в 1938 году поэтом и композитором Мордехаем Гебиртигом (1877–1942). Содержание песни было навеяно событиями погрома в польском местечке Пшитик 9 марта 1936 года.

дующие годы в «Маршах жизни» принимал участие доктор Элвин Шиф из Нью-Йорка.) В молчании, взявшись за руки, подростки и взрослые в голубых плащах с белыми маген-давидами на спине шли по железнодорожным путям, на которые прибывали в Освенцим все поезда, откуда они следовали дальше, к крематориям Биркенау. 18 израильских флагов были распределены по всей длине колонны. Я воспротивился тому, чтобы каждая делегация несла флаг своей страны. Я посчитал, что правильнее будет, если мы все сплотимся вокруг израильского флага, сообщающего такому месту, как Аушвиц, особый смысл, с нашей точки зрения. Я чувствовал, что мы приехали сюда, чтобы показать, что есть в мире израильский флаг, белоголубой по цветам талита с шестиконечной звездой посередине, – а кроме него, ничего не важно. И делегации согласились со мной.

Я шагнул впереди первой шеренги, пока мы не дошли до рампы позади того места, где доктор Менгеле, да сотрется его имя, проводил свои селекции. Там сохранился только один барак, на стене которого кто-то позаботился повесить большую фотографию выстроившихся в ряд еврейских заключенных, с Йозефом Менгеле, стоящим против них и указывающим большим пальцем в их сторону. Тем самым большим пальцем, который определял людские судьбы: кому идти направо, а кому налево, кому к жизни, а кому на смерть. Внезапно раздались звуки скрипки, ее струны пронзили воздух, и воцарилась тишина. Участники марша присоединились к скрипке, подпевая тихими голосами: «Горит, братцы, горит! / Весь наш штетл в огне. / А вы стойте, сложа руки, / Не помогая тушить пламя». Скрипка заставила содрогнуться сердца всех присутствующих. Скрипач, не знавший ни слова из песни, которую в младенчестве слышал от своей бабушки-еврейки, надел голубую кипу на гриву своих белокурых волос. С высоты рампы я обозревал первый ряд участников марша, шедших вдоль забора с колючей проволокой. Там было около тысячи людей, все в голубом: молодые, взрослые и старики – выжившие в Катастрофе. Среди них был Йехиэль Райхман из Монтевидео, бывший свидетелем на процессе Демьянюка, и Хаим Басук – партизан из Виленского гетто. В одной из шеренг я увидел человека, который шел, завернувшись в талит. Когда он подошел ближе, стало видно, что талит уже совсем желтый от старости. Я сделал ему знак, чтобы он подошел ко мне, и спросил, как его зовут и откуда он. «Я Мендель Каплан из Кейптауна в Южной Африке», – ответил он. Со временем он стал председателем Всемирной сионистской организации¹, но тогда его имя мне ничего не сказало, и я спросил, почему он решил облачиться в этот талит. «Мой отец

¹ Мендель Каплан (1926–2009) – южноафриканский адвокат. В 1987–1995 гг. занимал пост председателя совета директоров Еврейского агентства.

родился в Литве, – отвечал он, – совсем недалеко отсюда. Отец не оставил мне ничего, кроме этого талита и своих тфилин, и наказал мне: «Куда бы ты ни шел, не забывай, что ты еврей». Сейчас не время накладывать тфилин, но мой долг перед отцом – облачиться в его талит в этом месте. У меня такое чувство, что папа будет доволен, когда узнает, что в этом талите я демонстрирую продолжение еврейского существования».

Когда мы прибыли в Освенцим в День Катастрофы, 27 нисана 5748 года (14 апреля 1988), шел снег. Когда у въездных ворот в лагерь раздался звук шофара, снег прекратился, и выглянуло солнце. Снег снова начал падать, когда Биньямин Муллер запел «Эль мале рахамим» в самом начале церемонии. И так в тот день солнце все время перемежалось снегом, как будто небеса плакали вместе с нами. Я подошел к микрофону и стал читать псалом: «Не умру, но буду жить и возвещать деяния Господни... Строго наказал меня Господь, но смерти не предал... Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения... Ходить буду пред Господом в земле живых»¹. Краем глаза я заметил, как девушки, ученицы класса 11-го, вытаскивают из своих рюкзачков головные платки и шарфы и повязывают ими головы, верно ощутив, что это – молитва, на которой женщине подобает быть с покрытой головой, хотя им было лет по 17, они не были замужем и не были обязаны покрывать голову. Однако они проделали это совершенно спонтанно – то была реакция на сильное эмоциональное потрясение.

Эли Визель читал полуденную молитву по вижницкому обычаю, какой она запомнилась ему в доме его родителей в венгерском городе Сегед. Шесть факелов были зажжены в память жертв Катастрофы, и церемония закончилась пением «Ани маамин» («Я верую») и «Га-Тиквы».

С тех пор я участвовал и возглавлял несколько «Маршей жизни». Я всегда говорил о месте, в котором мы в этот момент находились, как о самом большом кладбище еврейского народа. И, обращаясь к молодежи, всегда повторял и напоминал, что мы продолжим «Марш жизни» в день Памяти павших в войнах Израиля и в День Независимости Государства Израиль. Я просил их не забыть поцеловать землю, когда мы вернемся в Иерусалим. Возвращаясь из Польши, люди избавляются от малейших сомнений в отношении нашего права на свой дом и свою родину. «Поднимись и восстань из развалин, полно тебе пребывать в юдоли плача»².

Сегодня я могу уверенно сказать, основываясь на своем опыте и наблюдениях, что евреи из разных стран мира, принявшие участие в «Марше

¹ Тегилим, 118:17–18; 116:8–9.

² Из субботнего песнопения «Леха доди».

жизни», возвращаются после него домой большими израильянами, чем были, а израильяне – большими евреями.

В прошлом я часто слышал выражение «внедрить более глубокое осознание Катастрофы», и да спасут меня мои уши. Что значит «внедрить»? Молотком? Пробиваясь через каменную стену? Я не понимаю этого.

Когда я был ребенком, начались разговоры о «Дневнике Анны Франк», и я был исполнен любопытства, о чем идет речь. Психолог из отдела молодежной репатриации посоветовала моим дяде и тете в Кирьят-Моцкине спрятать от меня эту книгу. Она считала, что ребенок должен родиться как бы заново. Дайте ему играть в шары, и он родится заново, – таково было ее профессиональное заключение. Идея принудительного забвения и рождения заново не имеет под собой никакого основания. Восемилетний ребенок не может забыть Бухенвальд. Всю свою жизнь он снова и снова видит картины и слышит крики, которые видел и слышал там. Высказывания типа «родиться заново» или «внедрить более глубокое осознание Катастрофы» лишены всякого смысла, и было бы лучше, если бы они никогда не произносились. «Дневник Анны Франк» я прочел, когда мне было двенадцать лет, в доме у соседей, где я сидел с маленьким ребенком, и книга глубоко разочаровала меня. Настоящая жизнь не была в ней описана. Там не было ужасов Бухенвальда, не описывалось папино унижение, не было смерти, болезней, бессилия и скатывания к животному состоянию.

Исключительная сила «Дневника» в том, что он впервые познакомил мир с трагической и эмоциональной личностью еврейской девочки 14 лет от роду. Трудно, невозможно осознать астрономическое число – шесть миллионов! Значительно легче почувствовать свое родство с одной девочкой, у которой есть имя, семья, способности и которая испытывает такие человеческие чувства. В этом секрет «Дневника Анны Франк», а нам следует извлечь из этого урок.

Я все помню и я в состоянии напоминать другим – в этом моя награда.

Мы все – Ноах после потопа, как поэт Ицик Мангер. Каждый из нас, выживших в Катастрофе, всегда должен задавать себе вопрос: чем я заслужил спасение, которого не удостоились так много других людей? Может быть, у меня есть задание, есть предназначение? Возможно, мне было суждено нечто совершить, сделав это по-своему?

* * *

Мой старший сын достиг возраста бар-мицвы в субботу «Шира» (субботу «Песни Дворы»), когда в синагогах читают раздел Торы *Бешалах* («когда отпустил <фараон народ>» – раздел, начинающийся со стиха Шмот, 13:17). Изначально я вовсе не собирался произносить по этому случаю пропо-

ведь. Но так как выступавшие передо мной, и среди них мой дядя, раввин Фогельман, и мой тесть, раввин Ицхак Йедида Френкель, действительно подталкивали меня к этому, я решил поговорить о последнем стихе в *мафтире*¹: «война у Господа с Амалеком во всех поколениях»².

Не с помощью оружия или боевой мощи мы обязаны воевать с Амалеком, народом и явлением. Наша обязанность – вести эту войну из поколения в поколение. И война наша выражается в том, что поколение наследует предыдущему поколению. В преемственности поколений и заключается наша подлинная война и великая небесно-духовная победа Израиля в борьбе с Амалеком. Наша победа в войне с Амалеком в том, что мой сын, Моше Хаим Лау, идет по стопам моего отца, Моше Хаима Лау – своего деда, в вихре вознесшегося на небо.

Моше Хаим есть первая свеча в том личном ханукальном светильнике, который мне выпала честь соорудить. Моя супруга – его основание, из которого вышли на свет восемь «ветвей», я же – *шамаш* (девятая, «служебная» свеча в ханукальном светильнике), призванный зажечь остальные свечи, дабы светили и прославляли, каждый по-своему, чудо вечности Израиля.

¹ Мафтир – другое название для гафтары – отрывка из книг Пророков, завершающего публичное чтение Торы в субботу, праздники и посты. Мафтир в субботу «Шира» – Песнь Дворы, содержащаяся в 5 главе книги Шофтим.

² Шмот, 17:16.

Лау Исраэль Меир

СКВОЗЬ ГЛУБИНЫ

**Рассказ мальчика из Бухенвальда,
который наконец вернулся домой**

Издатель – Герман Захарьев

Куратор проекта – Давид Мордехаев

Перевод – Сергей Гойзман

Редактор – Сергей Подражанский

Художественное оформление – Елена Сашина

Корректоры – Евгений Барыбин, Мария Бондаренко, Олег Пуля

Компьютерная верстка – Маринэ Курузян

Подписано в печать 21.04.2015.

Формат 70х100/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ № 1929

ООО «Феникс»

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150

Тел./факс: (863) 261-89-50. 261-89-59

Сайт издательства: www.phoenixrostov.ru

Интернет-магазин: www.phoenixbooks.ru

Отпечатано в типографии ООО «КубаньПечать».

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.



Трудно представить, что семилетний мальчик – бывший узник концлагеря Бухенвальд, не умеющий читать и писать, чудом выживший и спасенный из этого страшного места, – станет великим общественным деятелем и встретится с королевой Елизаветой II, двумя папами римскими, королем Хусейном, Нельсоном Манделой, Михаилом Горбачевым, Фиделем Кастро, несколькими американскими президентами и многими другими влиятельными политическими и религиозными деятелями.

В этой книге раввин Израэль Меир Лау рассказывает историю своей жизни: как, столкнувшись с невероятными трудностями, он стал самым молодым выжившим узником Бухенвальда, а в будущем – главным раввином Израиля и председателем совета «Яд ва-Шем».

Он родился в маленьком городке в Польше в 1937 году и происходит из известной династии раввинов, продолжающейся уже более 1000 лет. Вся его семья, не считая двух братьев – Нафтали и Йехошуа, погибла во время Холокоста, и лишь дядя успел эмигрировать.

Сегодня раввин Лау делится с миром своим опытом выживания и вспоминает дорогих людей, которые в тот момент были рядом, – это его брат Нафтали и русский узник концлагеря Федор из Ростова-на-Дону, которого раввин Лау хотел найти всю жизнь и в конце концов нашел...

Книга вышла на разных языках и стала бестселлером во многих странах мира. Русскоязычному читателю она представлена впервые, выход в свет этого издания приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

